

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й  
М И Р

12

Н О В Ы Й  
М И Р

1985

12

1985



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 12

Декабрь, 1985 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ — Стихи. Перевел с грузинского Михаил Синельников	3
АНАТОЛЬ КУДРАВЕЦ — Посеять жито..., роман. Перевел с белорусского И. Киреенко	7
СИБГАТ ХАКИМ — Память, стихи. Перевел с татарского Равиль Бухараев	150
ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ — Свет вечерний, рассказ	152
ГЕВОРК ЭМИН — И только в этом счастье..., стихи. Перевели с армянского Ю. Кузнецов, Е. Евтушенко, П. Грушко, Л. Григорьян	171
ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ — Князь Барятинский, поэма	173
ВАЛЕНТИН КУЗНЕЦОВ — Ты меня позови, стихи	176
ВИКТОР МЕНЬШИКОВ — Из цикла «Испания», стихи	177
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
ЗОРИЙ БАЛАЯН — Без промаха	179
<b>ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ</b>	
Н. ЭЙДЕЛЬМАН — Секретная аудиенция	190
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
И. КАЦЕВ, Б. ХЕССИН — В литературе и на экране. О телевизионном кино	218
Е. СТАРИКОВА — Ищущая душа. Заметки при чтении повести В. Распутина «Пожар»	232
МИХАИЛ БЕЛЯЕВ — Родники бьют из глубин. (Актуальный вопрос)	237

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
<b>Олег Смирнов.</b> «Писать историю — дело нелегкое...».	240
<b>Аркадий Гаврилов.</b> Три портрета времени.	
<b>М. Туровская.</b> Трудные пьесы.	
<b>В. Каягор.</b> Люди, книги и лабиринты Хорхе Луиса Борхеса.	
<i>Политика и наука</i>	
<b>В. Острогорский.</b> Репортажи с переодеванием.	256
<b>Наум Мар.</b> Флотоводец, ученый, писатель.	
<b>КОРОТКО О КНИГАХ:</b>	
Борис Багаряцкий. — Галина Серебрякова. Юность Маркса. Роман. ♦	
Г. Петрова. — Николай Никонов. Глагол несовершенного вида. Повести. ♦	
М. Вашкевич. — В. В. Кунин. Библиофилы и библиоманы. ♦	
Елена Алексеева. — И. Фоняков. Сергей Марков. Р. Дияжева. С. Н. Марков. Очерк творчества. ♦	
В. Казаков. — На баррикадах. Воспоминания участников революции 1905—1907 гг. в Петербурге. ♦	
А. Андреев — П. С. Грацианский. Политическая и правовая мысль России второй половины XVIII в.	261
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	266
<b>СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1985 ГОД</b>	267

---

---

## ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ



### Да здравствует жизнь!

Дай крикну и я хоть разок напоследок,  
Ведь стал я богатым на старости лет!  
Вот в небе полночном — огни всех расцветок,  
Пылает Мадрид, рассеивается свет.  
Здесь тысячи бурных застолий клокочут,  
И нет перерыва, раздумия — прочь!..  
Мадрид полыхает на празднестве ночи,  
Как перед войною тбилисская ночь.  
И подняты все паруса каравеллы,  
Жизнь плещет, как пряностей жгучая смесь...  
И здесь она в небо летит обомлело,  
Вся — самозабвенье, вся — песня... И здесь!  
Да здравствует жизнь, этот праздник счастливый,  
Живущих сближающий, полнящий нас!  
Да здравствует жизнь, бесконечное диво,  
Что нынче милее нам в тысячу раз!  
Да здравствует жизнь!  
Эти краски и виды,  
«Манола» и сладостное «Болеро»,  
И каждый на поле гремящей корриды —  
Сраженный тореро, одетый пестро.  
И если сегодня война на пороге,  
Ее не зови ни войной, ни чумой —  
Еще мы не знали подобной тревоги,  
Ведь это — угроза для жизни самой.  
Да здравствует жизнь!  
Эти доли, пригорки,  
И солнце, и голос иных берегов...  
Да будет мой тост поминанием Лорки,  
Он перед расстрелом был плакать готов...  
По-прежнему хищные вороны зорки,  
Смешон им отважного рыцаря пыл...  
Да будет мой тост поминанием Лорки —  
А что, если в чем-то он впрямь поспешил?  
Но с хорами хоры смешались бурливо,  
Гул к небу восходит и в небе парит,  
Жизнь вольно ликует, и гребни прилива  
Несут в небеса вознесенный Мадрид.  
Дай крикну и я хоть разок напоследок,  
Ведь стал я богатым на старости лет!  
Вот в небе полночном — огни всех расцветок,  
Пылает Мадрид, рассеивается свет.



## Грустная юмореска

В возрасте этом великий скончался Акакий...<sup>1</sup>  
 Все изменилось... Стал возраст не хуже, чем всякий.  
 Ходишь сегодня без посоха и провожатых,  
 В мире живешь без ровесников, временем сжатых.  
 Ходишь прямаясь, безбородый, безусый — как странно!  
 Витязь без войска, вожатый без каравана.  
 С массой вопросов каким еще энтузиастом  
 В шляпе моднейшей и в галстукe ходишь цветастом:  
 Новых волнений ты ищешь по собственной воле,  
 Жадно взираешь на ринг и футбольное поле.  
 Ходишь в собранья и праздников жаждешь все снова,  
 Сердце лихое как будто влюбиться готово.  
 Рвется душа снова мир облететь, и — о боже! —  
 Манит, зовет развеселый напев молодежи.  
 И не печалит и даже успело забыться  
 Слово Акакия: «Смех — старику молодиться!»

\* \* \*

Никто не усомнится, так и ведай:  
 Ты — за добро в борьбе добра и зла;  
 Ты хочешь одному из них победы  
 В той битве, что со дня творенья шла.

Но осторожней:  
   нынче на ристанье —  
 Не то что чет и нечет, как в былом,  
 Сейчас за грош  
   меняются местами  
 Добро со злом и зло с добром.

\* \* \*

Раз уж веселье —  
 Угрюмство долой  
   и унынье.  
 Если уж горе —  
   будь Иов под гнетом скорбей.  
 Если уж мавр обезумевший  
   гибнет донине —  
 Сам ты, актер,  
   умереть на полмостках сумей.  
 Нету иного пути, дороги другой,  
   к совершенству!  
 Так насладись и сегодня  
 И этот  
   пройди перевал...  
 Что ж, слава богу —  
   свое ты изведal блаженство,  
 Слава творцу —  
   перед смертью ты сам умирал!

---

<sup>1</sup> Церетели Акакий (1840—1915) — великий грузинский поэт.





---

---

АНАТОЛЬ КУДРАВЕЦ

★

## ПОСЕЯТЬ ЖИТО...

Роман

Рождаемся мы простыми людьми, а умирать нам следовало бы как богам.

Дюла Ийеш.

I

**Е**сли идти из Клубчи на Липницу, то по левую руку сразу будет колхозный машинный двор. Долгие годы здесь, на юру, сбившись в кучу, будто так было теплее, стояли трактора, комбайны, сеялки... Немного дальше, возле почернелых от пыли и копоти лозовых кустов, напоминая побуревшие кости каких-то доисторических животных, валялся всевозможный железный лом — отслужившие культиваторы, грабли, бороны. Нередко сюда попадали совсем новые, окрашенные в веселые заводские тона штуковины к различным машинам — все, чему колхозные механизаторы не смогли найти разумное применение. Через несколько месяцев и штуковины эти уже ничем не отличались от прочей ржавой непотребщины.

Так было когда-то, а точнее — еще лет десять назад, при Заборском. Теперь здесь огромной буквой «П» встали сборные бетонные навесы, которые облегчили участь людей и техники. Правда, хлама не убавилось, просто его стали сваливать в кусты за стенами навесов — подальше от досужего глаза.

За машинным двором будет кладбище — десятка два разбросанных по песчаному взгорку закоржавелых вековых берез, обнесенных невысоким дощатым забором. Забор, а больше кустовье, что любит расти на могилах и вокруг них, надежно упрятал кресты, памятники и металлические оградки, и лишь подойдя ближе, можно разглядеть, что это вовсе не роща.

И впрямь место для кладбища выбрано не самое лучшее, а быть может, и того хуже. Покойникам, хотя им теперь вроде все равно, не повезло. Кто же хоронит людей в самом селе? Тут всякая всячина — то «мать», то «господи», то куры, то собаки, а мертвые любят лежать спокойно, и уши им не заткнешь.

Так считает Игнат Степанович. Взять хотя бы осень сорок второго, когда партизаны брали волостной гарнизон, а был он в старой школе, почти в центре села, и насчитывал ни много ни мало — шестьдесят человек. Сила — дай боже. Немцы были тоже не дураки, знали, что тут, на границе Терeboльских лесов, которые сразу присвоили себе партизаны, десять — пятнадцать человек — ничто.

Как оказалось потом, и шестьдесят было тоже ничто: какие партизаны станут терпеть этакое под боком, на самом ходу. Дороги в глубь района хотя и неважные — известно, лес да болото, — зато можно достать и до Осиповичей и до Бобруйска. Там шоссе, там чугун-



ка. Потому партизаны и поставили пулемет на углу кладбища. Место сподручное; это теперь навесы, зерносушилка да мастерская с заправкой отгородили кладбище от села, а тогда все было видно как на ладони. И до школы метров триста, не более. Школа под прицелом — это уж так, на крайний случай, там хлопцы сами знали, что делать, а пулемет в засаде — если вдруг побегут сюда. А побежать должны: здесь проще выскочить на дорогу в район, к своим.

Так оно и случилось. Часового сняли тихо и забросали школу гранатами, а те, что находились в соседних со школой хатах, повыскакивали и начали отстреливаться. Увидели, что отбиться не удастся, стали отходить на кладбище. Было уже утро, туман стал расплзаться, и белые фигурки немцев и полицейских — в чем выскочили, в том и приняли бой, до формы ли тут — видны были хорошо, точно белые грибы у дороги. Вот тут и сказал свое пулемет. Злости хватало и у него, и у тех, что по картофельным бороздам перебежали сюда. Одного из немцев пулеметчик расстрелял, можно сказать, в последнее мгновение: тот дополз по канаве обочь дороги до кладбища и уже привстал на колено, чтобы резануть из автомата... А двоим все-таки удалось вырваться из села. Покуда бой шел возле школы, они задами выбежали в конец поселка, но кинулись не в сторону кладбища, а правее, по ложбине. Расчет был верный. Это самый короткий путь до леса, и он не просматривался из села, если не брать во внимание, что перед лесом начинался подъем. Его и взлобок тот можно было обойти болотцем, что и сделал один из них. А второй пошел напрямиком. Должно быть, решил, что отбежал уже далеко, а может, и страх гнал скорее в лес. Но как только он вылез из ложбинки и показался во весь рост, прогремел выстрел. Оказывается, за ним давно следил партизан, положив винтовку на жердину забора. Когда знаешь, что в самого тебя не пальнут сзади, да если пристроиться на что-нибудь твердое, можно хорошо прицелиться.

Тот единственный, кто убежал, был Стась Мостовский из Липницы. Он добрался до района и сообщил, что гарнизона в Клубче уже нет и даже школа, в которой он располагался, сгорела.

Сквозь черное сито надмогильных берез в вышине просвечивает порыжелая железная бочка водонапорной башни. Без этой бочки не могли бы жить обитатели трех широких, раскоряченных на земле свинарников. Опять же, зачем было их тут ставить? Разве кругом места мало? Заборскому так захотелось — Заборский сделал. Ему что! Ни родных, ни близких здесь не было, а теперь и подавно не будет. Приехал и уехал.

Дальше за кладбищем близ дороги под острой черепичной крышей стоит двухэтажное здание, сложенное из тесаных смолистых бревен в чистый. «немецкий» угол, без мха, но так, что трудно различить пазы между бревнами. Оно почернело от времени, дождей и снега, бревна потрескались, темно-зеленые наросты мха расплзлись по некогда красной ребристой черепице. Видно было, что здание это отслужило свой век, да кому-то пришло в голову заколотить досками двери и окно на втором этаже. причем сделано это лишь бы как, сырыми досками, которые уже потемнели и рассохлись, а шляпки гвоздей поржавели.

Так это все выглядело, если смотреть издали, с дороги. Если же подойти поближе, то увидишь, что фундамент слеплен словно впопыхах. Местами из крупных камней-голышей, связанных цементным раствором, и раствора, видать, не жалели, ляпали почем зря, так что он позастывал шероховатыми наростами; местами в него пошли куски колотого камня, вырванные из старой кладки. С одной стороны здания двустворчатые двери, крепкие, плотные, на петлях из толстого листового железа, с фигурными разводами, с другой — то ли двери, то ли ворота, сколоченные из подвернувшихся под руку досок. И сколочены они давно — тоже почернели и рассохлись.

И пристройки нет. О том, что она некогда была, говорят более светлые полосы на стене по бокам дверей и выше, на втором этаже, где они сходятся на конус, как у крыши.

Но это на глаз стороннего человека, который, увидев строение, заинтересовался бы им и пригляделся вблизи, а Игнат Степанович рассказал бы о нем гораздо больше.

Благо и просить его об этом долго не надо: ведь здесь находится колхозная мельница и привод для пилы-циркулярки, а начальником над всем — Игнат Степанович. Играть в молчанку он никогда не любил и теперь не любит.

— Вопщетки, у каждого есть что сказать, надо только найти затравку или что-нибудь иное важное, — говорит он, цепляя замок на пробой рассохшихся дверей. Запирает их с такой поспешностью, будто за ними по меньшей мере склад стратегического оружия и Игнат Степанович не имеет права показывать его даже самому близкому человеку.

Слова его обращены к Валере. Стало неписанным правилом: из школы Валера возвращается не поселком вместе с другими учениками, а сворачивает сюда, к Игнату Степановичу. Дальше до Липницы они пойдут вместе, как это часто бывает, едва ли не каждый день.

— Взять хоть бы Сидора Тумиловича. Тот никогда больше двух слов связать не мог, да и те — «дай закурить», а можно было, так и вовсе молчал. Хотя и работа у него была такая: сторож, да ночной. С кем ночью поговоришь? Разве что с собакой, если она трется у ног. А в пятьдесят шестом году снегу горы навалило, около телятника по самые стропила намело, вот по этой горе волки и забрались на крышу. Нашли соломенную заплату, разгребли — и внутрь. Пять телок зарезали. Утром телятницы пришли кормить, а они лежат с выпущенными трубухами. Видно, кто-то спугнул, а так могли бы всех перерезать. Разыскали Сидора: дрыхнет себе на печи. «Где ты был и что видел? Вот тебе телефон — докладывай сам председателю, как все вышло». Сидор и так чуть живой был, когда своими глазами увидел, как волки распорядились, а тут... Кто займет смелости сообщить о таком председателю? Да некуда деваться. Взял трубку и говорит: «Дак во, Семен Мартинович, вчера это ничего такого, а сегодня — на тебе, во што...» Председатель ничего не понимает, а он — опять. Раза три повторил, пока тот не отверезил его вопросом: «Что такое — «во што»? Тогда только Сидор нашелся и со злостью выпалил: «Не знаете, что такое «во што»? Волки ночью пять телок зарезали — во што!..» Как он и жив остался — мало кто догадывался. Судить собирались за халатность, что прокараулил ту заплату. Заборский человек был крутого нрава, да оно и правда часто так бывает: вчера ничего такого, а сегодня — на тебе... — В голосе Игната Степановича слышится озабоченность чем-то, даже раздражение.

— Что-то давно я леса не вижу возле мельницы. Или доски никому уже не требуются? — интересуется Валера, оглядываясь вокруг.

— Кому нужны, кому не нужны. Сегодня завернул на своем «газике» Гончаренок, председатель. Зашел внутрь, все облазил, ощупал, где, что и как. Спрашивает: «С годик еще эта бабулька послужит нам или нет?» Говорю: «И больше послужит, если с головой». Словом, никаких досок. Есть столярный цех, нехай там и разбираются. А тут только зерно молоть. Вопщетки, оно и верно, у них там вертикальные пилы, станки разные, а не просто голая крутелка, как у нас...

— Значит, дядька Игнат, объекту нашему приходит конец? — по-своему объяснил ситуацию Валера.

Он сказал «нашему» неспроста. Игнат Степанович давно научил Валеру ходить возле пилы, запускать жернова, и Валера подменял его, когда в этом была острая необходимость.

Игнат Степанович ничего не ответил. Положил ключ в карман и по раскисшей земле двинулся на дорогу. Валера шел следом.

— А чего-то вы сегодня не на мотоцикле? — снова поинтересовался Валера, направляя мысли Игната Степановича в другую сторону.

— Вопшетки, мотор что-то стал барахлить. Хотя с мотором можно было бы что-то придумать... сам видишь, на Яворской гребле такая каша — танк потопишь, сунувши.. А мотоцикл, скажу тебе, когда справный, и по грязи и по снегу волокет, как зверь.

«Зверь» — это трехсильный драндулет Минского велозавода, самая первая модель, которую сейчас вряд ли где увидишь, даже в музее. Игнат Степанович взял его через сельпо, как только они пошли в продажу. «Вопшетки, машина не уступает заграничным маркам», — упрямо твердил он, когда кто-нибудь заводил речь о том, что мотоцикл уж больно трещит и не дает спать не только собакам, но и людям.

Игнат Степанович сделал к нему прицеп на велосипедных колесах и что только не ухитрялся таскать на нем: дрова, мешки с мукой, цементом, ящики с гусями и поросятами, даже жерди. Но не было ничего страшнее, чем видеть, как Игнат Степанович везет с дальней делянки сено. Разогнав свой мотофургон в лесочке (дорога там шла под уклон), он вылетал на ровное место и, набирая все большую скорость и теряя сдуваемые ошметья сена, торпедой несся к селу. Казалось, нет такой силы, которая могла бы остановить эту бешеную торпеду, спереди которой, согнувшись в три погибели, добровольным смертником сидел Игнат Степанович. Пугая до одури сонных кур, он пронесился мимо своего двора и одному ему известной силой останавливал мотофургон где-нибудь возле третьей или четвертой хаты. Потом долго отцеплял тележку и, впрягшись в нее, доставлял сено домой...

А что в Яворское болото сейчас лучше не соваться, это чистая правда: грязи там по уши.

Игнат Степанович останавливается на дороге, достает из одного кармана металлический портсигар с гончей на крышке, из другого — трубку, натаптывает махоркой. Достает спички, раскуривает трубку. Делает все это молча, сосредоточенно. Наконец глубоко затягивается, пускает дым и тихо, словно говорит сам с собой, произносит:

— Камень на одном месте и тот обрастает, а начни катать его туда-сюда — в порох рассыплется.

— Все же центр колхоза: контора, школа, сельсовет, — рассуждает Валера, поддерживая плечом съехавший ремень распухшей от тетрадей и учебников сумки. Он словно хочет успокоить Игната Степановича.

— Ты научился говорить, как когда-то Заборский. Любил этак: «Все должно быть в одном кулаке...» И подтащил что успел. Вон оцепил кладбище со всех сторон. — Игнат Степанович кивает назад. — Мельница стояла в Липнице и нехай бы стояла. Так нет, захотелось сорвать...

Мельница раньше и в самом деле находилась в Липнице, и движение ее жизни давал паровик. что стоял в пристройке из таких же тесаных бревен, как и все здание. Огромные, метра полтора в поперечнике жернова тяжело ходили на втором этаже. Возле камней к глубокому, сколоченному из дюймовых досок ковшу вела крутая лестница. Когда на дворе стояла непогода, мешки с зерном сгружали внутрь мельницы и по этой лестнице поднимали наверх. Разворачиваться с мешком здесь было неудобно, особенно когда доводилось разминуться двоим, — мало пространства — да что поделаешь. При хорошей же погоде мешки доставлялись прямо к ковшу по наружной лестнице вдоль стены.

Чахкал паровик, широкий брезентовый привод гнал его силу главному валу, а тот — верхнему камню жерновов. Верхняк сперва медленно, будто нехотя сдвигался с места, затем шел быстрее и быстрее, пока не набирал свой размеренный многотонный круговой гон, от которого дрожали, ходили из стороны в сторону дубовые опорные стойки, глухо гудели и подрагивали стены. Чувствовалось, что силы у паровика гораздо больше, нежели он выказывал, и если б дать ему волю, он показал бы, на что способен. Однако людям нужна была его разумная сила, и они давали ему такой разгон, какой требовался.

Игнат Степанович любил выйти из кочегарки в темноту ночи и наблюдать, как взлетают ввысь, словно живые, и суматошливо умирают яркие искры. Сколько их надо было, этих искр, чтобы заставить жернов вертеться! И глухой голос мельницы казался Игнату Степановичу равномерными вздохами здорового человека, который делает тяжелую, но по силам ему работу, и делает ее с охотой: у-у-ух! у-ха-ха! у-у-ух! у-ха-ха!..

Сыпалась мука из желоба в подставленные мешки, славно пахло, серебрило белой пылью брови и усы дядьков, и они довольно улыбались, сосредоточенные на своих мыслях, отзывались громкими голосами, чтобы пересилить шум и грохот, которые глушили все вокруг.

Паровик отслужил свое, и ничто уже не могло вернуть ему жизнь. Игнат Степанович понял это раньше, чем кто-либо другой.

Под Новый год мололи ячмень для свинарников и уже засыпали последний мешок, как вдруг что-то зашипело в котле, пошел пар, им затопило все вокруг, и нельзя было разглядеть ничего ни в кочегарке, ни за стеной, в мельнице.

Игнат Степанович залил огонь в топке, отправил мужиков домой и сам ушел: в раскаленный котел не полезешь. Назавтра пришел, проверил и приуныл: потекли трубы. Кабы еще одна, а то сразу пять... И остальные... ногтем надавишь — прогибаются. Точно бу-мажные.

Весной паровик оттащили на металлолом, а здание решили перекинуть сюда, в Клубчу. Решили... Решил председатель, все тот же Заборский, мужик нервный и нетерпимый ко всем, разве что кроме самого себя да еще двух человек в колхозе: главного бухгалтера и главного агронома. Главным бухгалтером был Микита Гонта — высокосрослый и худой, с мучнисто-нездоровым бабьим лицом, ожесточенный ко всему на свете. Но какой председатель станет ссориться со своим бухгалтером, даже если у него и вздорный характер!

Игнат Степанович знал Микиту еще холостяком. Большой хвостун был, ни одни танцы не пропускал, и, считай, ни разу они не обходились без драки, если заявлялись парни из соседних деревень. Дрались, бывало, страшно, и Микита бился до последнего. Надо было — так и колья шли в ход и шкворни. Случилось так, что сцепился он один на один с Игнатом, а причиной тому явилась его сестра Камилла. Красивая девка была, вся беленькая лицо светлое, чистое, словно светится изнутри — так и тянет заглянуть, что там такое в ней живет. Игнату захотелось проводить ее с танцев, и она была не против: какая девка не желает, чтобы ее проводил парень. А парень — как тот охотник: проводил девку да не притиснул — считай, попусту ноги трепал.

Микита догнал их на улице недалеко от своего двора и велел Камилле идти домой, а Игнат попросил, чтобы она не спешила: они потолкуют — и все уладится. Лето, вечер такой хороший, дыши — не надышишься...

Но все напрасно. Микита прикрикнул на сестру, и она ушла, неохотно ушла, да разве не послушаешься брата. Миките, однако, хотелось большего. Взял он Игната за руку, точно щипцами взял, и сказал то же, что и Камилле:



— И ты ступай домой.— И добавил: — И чтоб я не видел тебя больше возле сестры!

Игнат Степанович и сейчас не любит, когда злость застит людям свет и они ничего не видят вокруг, а тогда не любил еще пуще. Был молод и силу в теле чуял крепкую. Это только кажется, что топор — инструмент легкий, а если держишь его в руке изо дня в день, то и рука это почувствует. Да и то сказать — мешок на восемь пудов брал с земли себе на плечи и через все село нес.

— А почему, ты мне можешь объяснить? — спросил он у Микиты.

Они стояли вплотную друг к другу, Микита левой рукой держал Игнатову правую, и замахнуться правой ему было ловчее.

— А потому! — ответил Микита и впрямь махнул правой.

Если б Игнат не присел, мог бы достать по носу. Не достал, крутнулся сам, как вертушка. Приседая, Игнат вырвал свою руку и обхватил Микиту, защемил его руки. И сжабил так, что тому и дышать стало нечем. Постояли так, обнявшись. Игнат все больше сжимал свои руки и чувствовал, что им есть куда сжиматься. Наконец Микита прохрипел:

— Пусти!

Происходило это возле глухой стены чьего-то хлева, в нем шумно вздохнула корова. Мимо прошли две парочки, глянули на них, захохотали: «Хлопцы целуются».

Отпускать Микиту сразу же Игнат не пожелал.

— Что ж ты так не уважаешь свою сестру? — спросил.— Ей замуж скоро, а ты с ней как с маленькой.

— Не твоя забота,— ответил Микита и снова прихрипел: —Пусти!

— Забота, ясно, больше твоя, и я тебя отпущу, но чтоб знал: могу и перекулить, и поставить на голову к стене, будешь стоять, как куль, и слушать, о чем думает корова, пока кто-нибудь обратно на ноги не перевернет,— пообещал ему Игнат и запросто мог проделать все это.

С тех танцев Микита зауважал его. Правда, Камилла вскоре уехала на Украину к тетке и назад не вернулась. А Микита, когда нарезали панскую землю, при землемерах ходил — помогал нарезать участок и Игнату. Мог бы, конечно, выбрать и не такую болотистую, да ничего, был там и взгорок и лужок.

До войны Микита работал бухгалтером в Клубче, вернулся на это место и после войны, потом к Клубче присоединили Липницу, и он стал называться главным. Когда ни встретишься с ним, вечно на слабость здоровья плачется и каждый год ездит в санатории, а руку стиснет до хруста.

Как-то на сходе — толковали тогда про заготовку сена за рекой, а косарей было мало — Игнат Степанович возьми да и подскажи: мужиков не так и мало, ежели собрать вместе и бригадиров, и конюхов, и кладовщиков, и, может, даже главному бухгалтеру будет полезнее думать про свое здоровье с косой на лугу, чем лежа без штанов на песке где-нибудь у моря.

— Между прочим — продолжал Игнат Степанович,— речка и у нас глубокая: ежели попытаться достать дно в Гнилой Яме, так и не достанешь. Да и берег там песчаный, чем тебе не пляж. А погода как раз такая, что хватай да хватай сено, да ежели раздеться до пояса или больше — кто там будет подсматривать? — то можно такой загар нагулять, что негры завиловать будут. Вон я три дня просидел на крыше, перекрывая коровник,— так закоптился, что женка керосином хотела отмывать.

Долго тогда смеялись в клубе, хотя Игнат Степанович говорил серьезно, и стал серьезен — аж позеленел — Микита. И сам Заборский слушал внимательно, потом выдал:

— Правильно говорит наш заведующий мельницей, надо всех мужчин кинуть на косьбу и женщин им на подмогу — сушить, грести, стоговать. А там и правда, может, попросить в районе путевку и отправить его в дом отдыха. Работник он честный, трудолюбивый, можно сказать, передовой.

«Его» — это значит самого Игната Степановича.

Говорит так председатель и посматривает на главного бухгалтера: что тот скажет?

— А почему бы и нет, Семен Мартинович, попросим путевку, и, я думаю, нас уважат, особенно если вы сами сделаете звонок,— отвечает тот, смекнув, куда клонит председатель.

Но Игнат Степанович не к тому речь вел. Снова встал.

— Я говорю тут не за себя, нет у меня времени разъезжать по домам отдыха, работа не хочет стоять, вон и косить надо помочь. А чтоб не пропала путевка, которую выписал себе Микита, пока будем косить и стоговать, отдать ее Костику Санько. Человек колхозу очень нужный, столько лет при наковальне стоит, а во прицепилась хвороба и не хочет отпускать. В больнице немного подлечили, а нехай бы еще и у моря погрелся. Микробы — твари капризные, но если и им которым хорошо припечь под хвост... Говорят, они не любят солнца и моря. Надо помочь мужику, а свое он всегда отдаст. Потому что надо думать о здоровье всех, а не только того, кто умеет ставить печатку на путевках.

— Правильно, надо мужика ставить на ноги,— слышались голоса.

Тогда и Заборский сказал:

— Что ж тут будем базар разводить? Отдадим путевку Санько, пускай набирается силы: его работу и правда никто за него не делает.

Микита так зыркнул на Игната — хоть возьми да откупись. А что там откупаться... Не успеют человеку кресло подставить, а он уже готов, присвоил себе, приковал себя к нему, и неизвестно, что важнее — он или кресло. И уже не мыслит себя без него, готов и за хлев с ним бегать.

За столом втихомолку, пряча глаза в бумаги, усмехался еще один человек — его Заборский тоже слушался, может, даже побаивался. Это был главный агроном, вернее, агрономша. Сама-то она редко перечила председателю, но уж коли ей вздумается, никто не переломит. Раза два сцепились они с председателем, тот начал кричать на нее, да она так осадила его, что Заборскому и сказать было нечего: «Вы, Семен Мартинович, можете на свою женку покрикивать, когда того хочется, только не на меня».

Она ковырнула в самое больное. Беда в том, что и на жену свою председатель не мог накричать: она вместе со взрослыми дочками жила в шестидесяти километрах, в Бобруйске, сторожила собственный новый дом, а он, присланный в колхоз, был здесь — ни зять, ни примак, и с агрономшей ему надо было встречаться каждый день. Да не просто встречаться, но и решать, где что сеять, когда убирать и все такое прочее. Потом они поладили, и Заборский без нее уже и не выезжал по колхозу. Видели их вместе и в поле, и на лугу, и около леса — всяко поговаривали, однако Игнат Степанович сомневался в том. Хоть бабенка она незамужняя, справная, шустрая, но строгая и с дипломом.

Если бы все ж тогда хорошенько поразмыслили, то не перетаскивали бы мельницу в Клубчу, тем более что в Липнице она стояла на взгорке, между тремя поселками, а электролиния проходила невдалеке. Но так захотелось председателю: пусть стоит на центральной усадьбе, все равно ведь сюда запланировано перетянуть все малые поселки как неперспективные. И агрономша приняла его сторону: «Что ни говорите, основные фермы здесь, ближе будет возить муку».

И тогда Игнат Степанович слегка засомневался в ней, хотя и отца ее знал когда-то. Добрый был пчеловод, колод двадцать держал в лесу, партизан подлечивал, но конца войны не дождался: нашли неживого, с простреленной головой возле одной из колод. Колода стояла близ дороги, и стрелял кто-то прямо в затылок с небольшого расстояния: даже волосы осмолило. Не иначе полицейских работа.

— А как же с теми фермами, что в Липнице? Там ведь тоже и коровник и телятник, ни много ни мало — сто голов,— поинтересовался Игнат Степанович.

— Со временем и фермы сюда перекинем,— сказал Заборский. Сказал как отрубил, для него все было ясно.

— И трамвай, может, пустите? — вновь не удержался Игнат Степанович.

— Какой трамвай? — не понял председатель.

— А чтоб доярок да телятниц возить сюда из Липницы. Своих тут вряд ли наберете.

— Там будет видно, кого куда возить, а вы лучше подумайте, как скорее перевезти мельницу и пустить в работу.— Заборский тот раз на удивление смирен был — ни голос повысить, ни рукой по столу. Видать, потому, что за столом сидел парень из района, пусть и молодой, а все же из района.

— Я уже один раз перевозил этот костёлок и собирал, нехай теперь сделает это кто-нибудь лучший,— ответил Игнат Степанович.

— Какой костёлок? — опять не понял Заборский.

— А тот, что вы хотите перевозить,— сказал Игнат Степанович. Сказал и ушел со схода: что тут воевать, когда все завоевано.

Про костёлок даже из клубчанцев летами постарше мало кто хорошо помнил, а откуда знать Заборскому? Он и объявился тут не потому, что очень уж хотел сюда ехать,— прислали. А в ту пору, когда шла речь о мельнице, был, считай, уже пенсионером и поглядывал на свой Бобруйск.

Мельницу перевезли, подвели электричество, поставили щиток с рубильником, и Игнат Степанович снова остался начальником над ней. Упросил сам Заборский.

— Я от работы не отказываюсь,— ответил Игнат Степанович.— Буду ездить и сюда, раз уже к технике душой приставлен, а жернова надо, чтоб крутились.

Заборского и вправду вскоре отправили на пенсию, однако он успел еще премировать Игната Степановича сапогами.

Вышло это довольно неожиданно и странно: премировали пастухов Игнася Сергейчикова и Мишу Крота и вдруг ни с того ни с сего — Игната. А сапоги крепкие кирзовые. Игнат Степанович три года носил их, в них не страшно было лезть в любое болото. Вручил сапоги сам Заборский. Игнат Степанович перекинул их через плечо и хотел было идти, а тот и говорит:

— Это не просто премия а аванс наперед.

Игнату Степановичу пришлось задержаться и что-то сказать. Он и сказал:

— Сапоги мне нужны. я два раза ездил в район, чтобы купить, даже в райзо заходил к самому Храпке. но и тот побоялся пообещать. Сношу эти — можно будет купить новые: раз уже начали выпускать, то не так просто остановить эту работу.

## II

Они шли по стежке обочь дороги: высокий, несколько сутуловатый Игнат Степанович в ватнике подпоясанном ремнем, в кирзовых сапогах и кепке и Валера — рослый, худой, с большими голубыми глазами и по-девчоночьи нежным лицом, усыпанным вокруг носа бурыми конопушками.

И тот и другой шагали легко, и лишь сутулость человека в ватнике выказывала, что он старше, хотя и на много ли старше — на десять, двадцать лет — издали не определишь.

А было одному семьдесят, другой пока что ходил в девятый класс.

Шли и разговаривали меж собой. Игнат Степанович — взмахивая старой брезентовой сумкой, которую держал в руках, Валера — подбывая плечом ремень раздувшейся, перегруженной учебниками и тетрадами черной сумки. Тяжелая сумка стягивала ремень с плеча, и, чтобы вернуть ее на место, Валера время от времени подергивал плечом.

Говорил больше Игнат Степанович, Валера слушал. Однако ни у того, ни у другого не возникало ощущения, будто тут что-то не так или могло быть как-то иначе. Игнату Степановичу довольно и тех немногих слов, которые нет-нет да и подкидывал Валера, и его желания слушать. В этом желании было нечто большее, нежели обычное уважение школьника к старшему, хотя бы и соседу.

Валере хорошо было слушать Игната Степановича, следить за ходом его мысли, которая подчас делала такие неожиданные петли, как заяц, скидывая след, что нелегко было угадать, куда она поведет дальше. Однако продолжение непременно следовало, хотя и держалось чаще всего на внутренней логике, порой совсем неожиданной. Сам не замечая того, Игнат Степанович перескакивал через десятилетия, но все, о чем он говорил, хотя это было и давно, жило в его воображении так свежо и отчетливо, будто происходило не далее как вчера. Порой он забывал, что его собеседник на пятьдесят, если не больше, лет моложе и не может знать ни того, о чем речь, ни условий, в которых это происходило. Он говорил о себе самом, он весь жил в том времени, и все оживало там.

— Вопщетки, как пора года меняет личину земли, так и люди любят напяливать на себя всякое новое тряпье. И тряпье это бывает настолько смешным, что иной раз человеку делается противно за самого себя. Это все равно как долго пить, а потом, протрезвев, увидеть себя в зеркало. Моды проходят, а все остается. И однажды, проснувшись с чистой головой и посмотрев на небо, человек вдруг открывает для себя такое, что должен бы знать давно: что солнце всходит там, где оно всходило и пятьдесят лет назад, когда ты еще бегал без штанов. Правда, тогда, может, там стоял лес, болтал тетеревами и другими птицами, а теперь поле как плешь. Оно так: коли что есть, так не надо спешить уничтожить его. Начинают с малого, а кончается большим, и от этого никуда не уйдешь. Иному кажется, что земля пропадет, если он на ней не перевернет все вверх ногами, а выходит наоборот. В историю все идут пешком, и она сама находит себе избранников.

— Не знаю, как в истории... А мода... — сверкнул глазами Валера. — Моды тоже разные... Мода на штаны, на платья... А возьмите ракеты, спутники, атомные корабли — тоже мода. Сегодня человек залез в атом, как вот... — Валера указал на свежий холмик земли, наточенный кротом, — как этот крот в землю, и копается там, будто в своей хате. Тоже мода...

Игнат Степанович бросил косой взгляд на холмик земли, пыхнул дымом.

— Вопщетки, крот всегда корни подрывает, это ты верно подметил. А я хочу сказать так: только чудаки считают, что все начинается с них и кончается ими и что своя пядь самая большая. Допустим, сегодня и в Липнице мало кто помнит, что это была вовсе не мельница, а костёлок. — Игнат Степанович кивнул назад, туда, откуда они только что вышли.

— Костел? — не поверил Валера.



— Костёлок,— повторил Игнат Степанович.— И службу в нем справляли и покойников отпевали. Только стоял он на том, польском кладбище, что за седьмой бригадой. По округе их много сидело — поляк не поляк, шляхта не шляхта. Понаехали, еще когда делились Польша с Россией. Земля всегда манит к себе людей. И они люди как люди, хотя, скажу тебе, гонору больно много. Старались цену себе держать. Оно опять-таки: человек без цены — ничейный человек, никогда не знаешь что он выкинет. А некоторые повзрости тут крепко. Все один к другому «пан» да «пане». Пускай себе, всякий человек должен как-то обзываться. Я сам не люблю, когда подходит к тебе с бычьими глазами — и не знаешь, чего он хочет: «здравствуй» сказать или на рога посадить. У них «пан», у нас «товарищ». А некоторые широко распростерлись тут — и земля, и лес, и батраки... Паны... Сам пан, а, кроме «быдло», других слов не знает. Ну, эти сбегали вместе с поляками в двадцатые годы. И было их — разве только Яворские и Казановичи? Батраки и организовали в их подворьях кооперативы, или, как говорили, коммунии. А почему не организовать: и дом на месте, и конюшни, и овчарни. Сады были и ставки. Оно, может, и вышел бы из всего этого какой-нибудь толк, ежели бы кто разумный взял все в свои руки, а то подохотился на это дело Рыгорка Захойжий. Он долго батрачил у Яворских, все больше при конях, на конюшне. А на это много ли мужчины надо? Правда, служил потом в Красной Армии. Вернулся из войска и ничего лучшего не придумал как опять во двор пойти, в конюшню. Коней стало меньше, и самого пана уже не было, но осталась его дочка. Она еще до революции слюбилась с батраком, тот и украл ее ночью через окно. Батяка позлился-позлился, да все же дал лесу, они и построили себе хату через дорогу от его двора, вот как будем идти — за лесом по левую руку. Рыгор прослышал, что кругом создают коммунии и сами батраки хозяйничают, объявил коммунию и тут. Коммуния — это хорошо, да и в коммунии работать надо. И пахать, и сеять, и за скотиной ходить. Земля человеком держится, отступился от нее — и все на закат пошло. А Рыгорка был не шибко грамотен в этом. Привык при конях — «но!» да «но!». Кони и те не всегда это любят, а люди и подавно. «Но»-то можно и послушать, а есть надо! И пошли под нож то баран, то овечка... Словом, погнали Рыгорку из начальства. Выделили ему земли. Садись, Рыгорка, и воюй, шевелись. Да недолго он сидел там: только и успел поставить хату, а тут колхоз начали собирать, он и переехал в поселок. «Зачем я,— говорит,— буду там обстраиваться чтоб опосля снова перевозиться? Да уж одним ходом». Оно и верно. Можно сказать, он первым и записался в колхоз. Пошло еще человек десять. А председателем выбрали Габриеля Василевского из Кутиня. Тут много понаехало, как стали землю нарезать. Ведомо, земля добрая, ухоженная. И лесу много. Пришел он тогда и ко мне: «Давай, Игнат, в колхоз. Что ты будешь на хуторе сидеть? Да и надо. Пойдешь ты — за тобой остальные пойдут. На тебя многие кивают». «Ну и нехай кивают,— говорю.— А я хочу поглядеть, что вы будете делать, когда последнюю овечку Казановича под нож пустите». Так, знаешь, кажется, человек человеком, а тут раскраснелся, как буряк. Потом мы сошлись с ним, он и за кума у меня был, Соню крестил. «Ты с этим не шути,— говорит,— а то за такие шутки можно далеко угодить». И аж слюной брызжет в глаза: была у него такая болезнь много слюны во рту собиралось. Так что ж ты ее на людей пускаешь? «Ты во что, Габриель,— говорю ему.— слюной на меня не пырской, лучше возмись хоть какой порядок в колхозе навести. А колхоз вопщетки, дело добровольное: хочу — иду хочу — нет. И что до овечек, то правда. Почему-то у вас в колхозе они болеют, и вы их прирезаете, как неделя — так овечка, а у всех других людей они живут здоровые». «Легко тебе говорить. Попробовал бы сам на моем месте». «На твоём»

месте я не был и, по всему, не буду. Нет у меня такой прыти. Делаю что умею. Мне бы со своими рубанками и прочей такой амуницией управиться. А что про овечек сказал, так запомни: это не я один вижу». Он-то и сам это знал, да кому приятно, когда тебе твоим же в глаза колют? Потом прислали Вержбаловича. Габриель рад был, что скинул наконец начальницкую заботу с головы. Забота заботой, а и тюрмы стал побаиваться. Совсем люди осмелели, тащить начали. И не в колхоз, а все из колхоза. И не только ночью, но и днем. А у Габриеля смелости духа не хватало, чтобы заступить кому дорогу. Командовать тоже надо иметь талант. Это не то что на коров: кнутом замахнулся — они и пошли. Люди! Он раз пошел, а два в голове понес, а ты кумекай что к чему.. А костёлок раскатили уже при Вержбаловиче.

— Как... раскатили?

— Как и полагается разбирать: сверху донизу... Сперва разобрал, потом собрали. Вопщетки, я сам разбирал его, тот костёлок. Ты и теперь глянь на крышу, он и тут простоит годков двадцать, а то и больше, если стропила не лягут. А тогда... Надо было каждую черепичинку снять, спустить вниз, положить да все целехонькие и перевезти. Пусты которого, так он такого натворит! — Игнат Степанович засопел, зачмокал трубкой, но она уже потухла. Остановился, достал спички.

Дорога поднялась на взлобок, и перед глазами открылся низовой разлог, который, точно строгой линией циркуля, был обведен вдали темно-синей стеной леса.

— Я тебе скажу,— прикурив, заговорил он снова,— Вержбалович человек был приметный и видный не только в Липнице, а и на весь район. Потому и прислали, хоть он и из-под Виркова. Вирковцы, знаешь, люди заводные и отчаянные. По-моему, так про них много напраслины наговаривали. Кто где украл коня — вирковцы, а если двух или трех — то наверняка они. А тут надо разобраться. Что дружны как один, так это верно. Дал он мне в помощь Василя Мацака и Лександру Шалая. Привел их и говорит: «Вот тебе, Игнат, помощники». «Спасибо»,— говорю. Лучшего помощника, чем Василь, и искать не надо. И не больно высок ростом был — ну, метр семьдесят два, а плечи — как сруб у колодца, и сила... Все дивились, откуда она у него такая. Мацак так Мацак! И что было: на пасху начали катать яйца, а собралось человек пятнадцать, если не считать зевак... Катают. И Василь среди них — не заводила, но и не последний хвост. А заводилой был Горавской Юзик. Чуть повыше Василя и здоровяк, косяя сажень в плечах, прокос не уже двух метров гнал. А тут вышла чересполосица с очередью — кому катать: Василь говорит — мне, тот — мне... Там и выигрыш-то был два яйца, а может, и меньше, да ведь азарт. Игра игрой, а перешло на серьезное, за грудки схватились. «Хорошо,— говорит Василь,— будем биться». «Как?» — «Как хочешь. Только бьемся по разу». — «А не пожалеешь?» — «Не пожалею... Мужики будут судьями». На том и порешили: уж очень заелись оба. Юзик бил первым и ударил под вязы, думал сразу с ног свалить. Да не свалил. Василь отлетел метра на два, но устоял на ногах. Из рта потекла кровь, он и не вытирал ее, видать, не замечал, что она течет. Вразвалку, как бы щупая землю, прошел вперед и стал на прежнее место. Кто-то из мужиков вытер ему кровь. «Дык разве ж так бьют?» — сказал Юзику. Тот тоже встал на место по уговору. Мацак как стоял вполоборота к Юзику, так и рубанул ребром ладони по шее. Кажется, и не замахнулся, а просто так, вроде бы страшая, вскинул руку — Юзик с копыт и вставать не хочет... Подняли его, дали воды. С полгода потом ходил со свернутой шеей, чем только не растирал, покуда на место поставил. А Василь после признавался мне: «Разве ж я на полную силу бил? Да я гета. если б юкнул...» И правда, он уж если юкнет, так юкнет, ни один на ногах

не устоит. Силу имел человек удивительную. Считай, и жить остался, еще когда с поляками воевали, в двадцатом, только потому, что силу такую имел. Когда наше войско переправлялось через Березу, ему перебило левую руку и сорвало с моста. Он летел и зацепился здоровой рукой за поперечную балку. Зацепился и повис. Внизу вода несется как бешеная — мост на мелком не ставят, — а большего сам ничего сделать не может, ранен. Рука так пристала к дереву, что чуть оторвали. Целую неделю потом фельдшер растирал ее — не хотела разгибаться. А то было и такое: согнул он большой палец крючком и говорит — не разогнете. Несколько человек пробовали сделать это, и не вышло. Шомполом разгибали — шомпол гнется, а палец хоть бы что. Они все, Мацаки, были крепыши, как дубы, хоть и жили бедно. И работники были тяговитые, да что ты хочешь, без земли, все больше батрачили. А когда землю нарезали, дали им вон там, по ту сторону леса, за бродом... Они скоро обжились — и хату, и хлев, и гумно поставили, ведомо, работы не боялись, а лес никто не стерег. И сад насадили, а тут надо перебираться на поселок. Перебрались, а сад остался. И долго еще стоял. Одну старую яблоню так, наверно, лет пять назад ветер свалил... Лес кругом обступил, а она стояла. Сладкие яблоки были на ней.

— Житники, полосатые такие, — подтвердил Валера.

— Ага, как поросята у дикой свиньи. Василь когда-то батрачил у Казановича, а у того был горбатый брат Игнась, хороший садовник и человек смирный. Все ходил по лесу и щепил яблони. Увидит дичок — прицепит. Все Казановичи съехали после революции, а он остался, за садом присматривал. Его никто и не трогал.

— Еще одна такая яблоня есть в углу за Стаськовой пасекой, в ельнике, — напомнил Валера. — Яблоки сочные, но с горчинкой.

— Одичала, наверно... Вопщетки, и человек дичает среди чужих, и дерево тоже.

— Ага... Я тут за грибами пошел. Поздней осенью, уже листва осыпалась. Надумал и побежал... Грибов не набрал, а на яблоню наткнулся. Иду по ельнику, домой уже собрался, и вдруг — яблоко под ногами, потом еще... Думаю: откуда они тут? Может, наносил кто? Бывает же, тащит ежик да потеряет. Гляжу дальше, а там вся земля усыпана ими вперемешку с листвой. Только тогда и яблоню заметил. Затиснули ее елки, как она, бедная, и выросла: тонкая, высокая, ветви с лапками воюют.

— Вопщетки, так оно и есть... Жил горбатый панок, и кто бы его вспомнил, кабы сам не напомнил о себе... Если поискать по лесу, еще много где можно встретить его работу. Делал человек свое дело, на него как на дите смотрели: ходит с ножиком, забавляется... А он вон как выходит... Каждый хочет чем-то прославиться... Так вот: я, Мацак и Александра Шалай. Александра тоже хлопец был ничего и силу имел, только больно суетлив и голосок тоненький. Если не знаешь, то можно и за бабий принять. От такого голоса не жди серьезности: писком погоды не поправишь. Значитца, полезли мы втроем на крышу костёлка. Василь увидел, что нас ждет копотливое дело, и говорит: «Что мы, Игнат, будем этой вошебойской работой руки занимать... Возьмем колья, повыбиваем клинья, подважим одну стропилину, другую и спустим крышу на землю, к чертовой матери...» Подважить и столкнуть можно было, да какой толк... Говорю: «Ступай, Василь, подгоняй подводы, а мы тут с Александром черепицу сымать будем». Самое трудно было начать, взорвать железную обшивку, что шла по коньку, а конек оголился — там пошло полегче. Мы приспособили мешок как кошель, связали вместе двое вожжей, перекинули через слегу, рычаг такой сделали. Я загружаю мешок черепицей, а Александра спускает его вниз. Выгрузит и снова подает мне наверх... Я тебе скажу, если б не Вержбалович, полез бы я на тот костёлоч? Все-таки божий дом, нехай и не нашего бога, и веры в него у меня

не было. Бог богом, а коли сам не сделаешь — никто не поможет. Да Вержбалович подъехал ко мне так, что и отступить было некуда. «Кто, — говорит, — окромя тебя, все это порядком сделает? Если бы, — говорит, — надо было только развалить его, этот костёлок, тут легко найти кого угодно, а надо ведь и сложить все обратно. В районе я договорился, паровик дают, и спрячем мы его под эту черепичную крышу. Вместо креста трубу поставим, во как оно будет. И с религией надо бороться...» Делали мы эту работу ночью. Как только я не сорвался вниз — сам не знаю. Встали люди утром, глянули на костёлок, а он стоит без головы, стропила просвечивают. А черепица уже там, на взгорке, где мельница должна стоять...

— Разбурить всегда проще, — заметил Валера, подтолкнув плечом портфель.

Игнат Степанович только чмокнул губами и замер, прислушиваясь к чему-то, потом повернул к нему голову.

— Я тебе скажу, и разбурить, если сделано с головой и серьезно... Кажется, что там такого: ни единого железного гвоздя, только стяжки на болтах, будто все само по себе держится, а не подступиться... Я два дня приглядывался, и с той и с другой стороны заходил, прежде чем лезть наверх.

— Ну а... если б это теперь, в наши дни, пришел к вам председатель и попросил: «Игнат Степанович, помоги...»? Полезли бы вы, как тогда, а?

Игнат Степанович молчал, словно не слышал вопроса, и, наострив слух, к чему-то напряженно прислушивался.

— Постой, Валера, давай послушаем...

Поднял руку. Запрокинул голову в небо, разинул рот, обсыпанный седой щетиной, и застыл неподвижно, точно охотничья собака, учуявшая зверя.

Валера тоже прислушался. Откуда-то, казалось, с высокого неба, доносился протяжный тоненький звон. Нет, это была не песня первого жаворонка, не пчелиное жужжание...

Перед ними лежало широкое, темное, будто затуманенное пылью поле. На нем изредка встречались стеклышки-лужицы, они сверкали, искрились. Поле спускалось вниз, в широкое раздолье, и уходило дальше, к лесу. Что-то волновало, тревожило Игната Степановича — то ли само поле, то ли этот весенний звон, — словно он только что поправился и вновь ощутил счастье жить и изведать радость жизни. Радость ступать по этой жесткой, затверделой стежке, скользить по льду, усыпанному изнутри потом вешних капель, и слушать доносившийся с неба звон.

Игнат Степанович долго искал источник этих звуков вверху, пока не догадался опустить глаза вниз, и тогда увидел, что это звенел, умирая, снег. Зимой здесь намело огромный сугроб, снег растаял, остался лишь тонкий и прозрачный, как оконное стекло, ледяной козырек. Он отпотел на пригреве, и с ледяной коры срывались капли воды и звенели, словно ожившие в улье пчелы. Тонкий, пронзительный пчелиный голос. Сжалось, защемило сердце.

С приходом весны Игнат Степанович ощущал себя птицей, которой надо лететь в далекий край. Она не знает, куда и зачем лететь, но потребность полета живет в ней, как сама жизнь. Он был человек, не птица, однако это ощущение не покидало его.

Игнат Степанович бросил хитроватый взгляд на Валеру, спросил:

— Вот ты хочешь знать, как бы я поступил, если б теперь попросили сделать то же самое с костёлком... А я сперва хочу узнать это у тебя. Если б пришли и сказали такое тебе, что бы ты делал?

— Я? — Валера подумал. — Конечно, не полез бы...

— А интересно знать: почему?

— Ну хотя бы потому, что под мельницу можно было пустить какую-нибудь из панских построек или поставить новый сруб... Да



и... вы же говорите: редкой руки мастера его строили. Пускай бы стоял.

— Вопщетки, голова у тебя правильно варит... А вот ты комсомолец, и тебе надо с богом что-то делать, ну с той самой религией... Как ты тут будешь?

— Ну, разъяснять людям надо... Лекции читать, кино показывать. Человек должен сам к этому прийти...

— Сам-то сам, конечно. Это теперь, когда с богом все на ты, можно и самому, а тогда... Я, вопщетки, и теперь, если б пришел Вержбалович и сказал, полез бы... Очень было интересно все это... посмотреть, какая из него мельница выйдет... А мельницу, какую мельницу отгрохали! Пять сельсоветов кормили. А Вержбалович и тогда не всем по нутру пришелся. Особенно выступали против Мостовские. Их было двое братьев и шурин третий. Они и рассчитывали, что кто-нибудь из них сядет на это место. Был Габриель — так почему бы и им которому не покомандовать? Миша был самый младший, а Стась и шурин Василь уже в самых годах и по семь классов имели. Классы классами, охота охотой, да надо еще, чтоб люди надумали позвать. Сидели они на хуторе, туда, под Бродец, и слазить с него не хотели. И в колхозе и на хуторе: тут тебе и лес, и луг, и поле. И скотина — где хочет, и сам — где хочешь. Оно и слепому видно: куда ни пойдешь — всюду свое: и свое — свое и колхозное — свое... Сход проводили на выгоне перед подворьем Казановича. Подворье было крепкое: конюшня, овчарня, два амбара, гумно и дом комнат на двенадцать, парадный подъезд на круглых еловых столбах, широкие двери, закругленные окна. На фронте вывели: «Колхоз «Червоны прамень»<sup>1</sup>. Хорошее название придумали. Всем нравилось. В панском доме и разместились контора колхоза и детский сад. Да две комнаты занял Вержбалович: приехал он не один — с женой и тремя детьми. Женка снова тяжелая была, рожать собиралась — а как без своей хаты? Другом смелый человек был. Позднее уже, когда мы сдружились, однажды я и спрашиваю его: «Как это ты так — сразу с семьей? А вдруг бы не выбрали председателем?» А оно и такое могло быть. «Ну и что, — говорит, — попросился бы в колхоз, неужто земли пожалели б, не приняли?» Принять-то приняли бы, да и из района прибыл человек сход проводить, все-таки подмога, но вот так: связать все в узел, детей, бабу на подводу и, как цыган, в белый свет — тут риск нужен. Правда, и женка его, Люба, легка была на ногу. Не успели сгрузить узлы с подводы, она и пошла командовать: тут это повесить, тут то поставить, это взять, то отдать. Идет, живот выставила вперед, прет, как танк.

Мостовские крик большой подняли на сходе, аж не по себе было слушать: «Разве у нас своих нету, обязательно чилых надо?!» «А кто тут чилый? — поинтересовался тогда Мацак. — Все мы чилые, грыземся, как собаки, а порядка нету. Много у нас развелось таких: что урвал — то и тянет». Он вроде бы и не говорил напрямую о Мостовских, а глотку им заткнул. Вержбалович сразу дисциплину взял строгую и о том еще на сходе предупредил: «Я вам по-большевистски говорю: без дисциплины добра не будет. Так давайте вместе его шукать. А что говорите, чилый, так глядите сами. Я большинство из вас знаю, да и вы меня, видимо, немного узнали». Оно и верно: многие его знали. Знали, что учился в Минске на коммунистических курсах. Правда, тогда никому в голову не пришло спросить, почему он не окончил их и вернулся на работу. А по правде, так довелось ему утекать с тех курсов. Знали бы это Мостовские — не преминули бы спросить, гвалт поднять. Он рассказал мне об этом года два спустя. «Червоны прамень» в то время уже крепко держался в районе, и на

<sup>1</sup> «Красный луч».

трудодень начали давать — и хлеб, и бульбу, и даже яблоки. Вержбаловича приняли и те, кто и не хотел принять. Увидели: человек и говорит и делает, а не в свой хайлук тянет. Видно, и на курсах он был такой же горячий. Любил всюду проверить, крепко ли завинчено, а нет — то и перевинтить по-своему. Говорит, собрались как-то в свободный вечер в комнатенке, и немного было, человек восемь. Стихи, байки, а потом и на религию перешли. Тогда этим все кончалось. После кулака да мирового империализма религия была первейший враг. Стали вспоминать, как когда-то шло богослужение, какие молитвы читались, псалмы. Голос у Хведора густой был, в одном конце поселка гаркнет — в другом на постели не улежишь. Возьми он да затяни вовсю: «Суди меня, боже, и дело мое ты веди против народа без сердца! От людей криводушных и неправедных вызволи ты меня! Ибо ты — бог, заступник мой. Почему же ты отступился от меня?» И другие псалмы и молитвы: память его многое держала. Посмеялись, пошутили, а назавтра вызывает Хведора к себе начальник курсов и зачитывает письмо, в котором черным по белому сказано: курсант Вержбалович мало что сам в бога верует, так еще и других смущает в эту веру. И много всякого-разного было наклепано в той бумаге... Начальник курсов человек был честный, из старых большевиков, он и посоветовал несчастному безбожнику: «Эта бумага лежит у меня на столе и пусть лежит, а я тебя со вчерашнего дня не видал. Ты захворал и уехал куда-то в село... А с песнями разберись, где какие петь. И с религией. И кому что петь. Понял?» Чего уж тут было не понять... Вот каким макаром он вернулся назад в свой район, а оттуда к нам...

Помолчали. И снова первым подал голос Игнат Степанович:

— Я должен сказать тебе так: на земле каждый должен топтать свою стезьку сам. Однако важно не сбиться, знать, куда идти. Это как ночью в лесу... А председатель он был на редкость. Как только всюду и успевал... Еще и птица не подает голоса, а он уже на ногах, марафонит по бригадам. Или в поле, или на конюшне. Тут и веселое и серьезное. Сам он заметил, или кто подсказал: кто-то буряки крадет с колхозного поля. И хитро крадет: буряк возьмет, а ботву обрежет и назад в землю воткнет. Она и сидит, пока желтеть не начнет. И неизвестно, когда это злодейство делается: днем видно, ночью сторож ходит. Буряки росли по одну сторону дороги, а по другую был овес. Хведор разглядел в овсе чуть приметную стезьку и залег в борозде. Три ночи пролежал, а на четвертую дождался. Человек так привык ходить этой дорогой, что не смотрел под ноги и зацепился за самого председателя. И покатился: сам в одну сторону, мешок с буряками в другую. Хотел было бежать, да куда ты убежишь. Столько караулить — и упустить?..

Опять небольшая пауза, опять раздумье.

— Или было еще: вышли косить. Трава поспела, погода так и млеет — тут в могиле не улежишь, не то что дома по закуткам отираться. Взялись дружно, как один. И надо ж было придумать: всем, кто на ударной косьбе с косой ходит, писать по дню двадцать пять. Оно вроде и правильно, если брать во внимание ударную работу. Но одно — станет на прокос Юзик Горавской — гектар на ровном свалит, — или тот же Мацак, или, вопщетки, и я: меньшей косы как девятка и в руки неловко было брать. А тут же Миколка Юрчонок когда и старается — больше пятидесяти соток не собьет, а ежели шалый-валяй, так и сорок. Или Стась Мостовский: то закурить, то воды попить... И всем день двадцать пять. Косим день, другой, а на третий к обеду, жарко было, я и шумнул: «Бросай, хлопцы, косы, айда в тенек: все равно день двадцать пять». Так и сделали. Перекурили самое пекло под кустами, а немного спала духота — опять взялись за косы. Дело было под выходной. Как раз кино привезли, собрались все в том же Казановичевом доме. Поглядели кино, начали

вставать, по домам расходиться, а Вержбалович и говорит: «Погодите, не все еще показали». И правда, снова засветилась простыня на стене, а на ней человек намалеван: нос шкворнем и в зубах папироса как оглобля. Вроде и не похож на меня, а слова мои: «Бросай, хлопцы, косы, айда в тенек: все равно день двадцать пять». Вопщетки, тогда я еще трубки не знал... Все хохочут, а мне какой смех, хоть после и вышло по-моему: бригадир стал замерять, и кто сколько накосит — столько и писал. А то взяли моду: маши не маши — день двадцать пять...— Игнат Степанович хмыкнул, развел руками. Было видно: это воспоминание и сейчас глубоко сидит в нем.

— Ну а буряки? Кто крал буряки? — напомнил Валера.

— Кто крал?...— переспросил Игнат Степанович. Он словно бы возвращался к тому происшествию из своего далека.— Кто... Вопщетки, Вержбалович никому этого не сказал. Даже о том, что сам стерег в борозде, не проговорился. Только мне как-то признался, что это была женщина. У меня было подозрение... Жила тут у нас Сабина из Закупления. Мужик рано помер, малое на руках. Приметная собой женщина, правда дикая. Идет и глаза боится от земли оторвать. А взглянет — насквозь пронзает. Зашла как-то речь о ней, я и говорю: «Диковатая она, вопщетки». Вержбалович помолчал, а потом с горечью: «Диковатая... Что мы о людях знаем? Только то, что он сам покажет... Ей еще и тридцати нет, а уже вдова, и дитя, и мать больная...» Вопщетки, он знал про нее больше, и, пожалуй, нечто такое, чего не мог знать я. А она там была или нет — не будем гадать. За давностью поры надо ли ворошить тот пепел? Он и сам не хотел перелопачивать все это. Было после, что и в ударницы она вышла по льну аж два года подряд, а Люба его все равно не хотела признавать ее. У баб на все свой нюх и своя мерка. Особенно жели это касаться ихнего брата, да еще когда ревность примешается. Не знаю, с чего там началось, но один раз я сунулся было к Хведору, решить что-то надо было, и слышу — за дверью Люба кричит: «Да посади ты ее середь улицы и через два года приезжай — она будет сидеть, как кукла, никто и не тронет!..— Перевела дух и добавила: — Такую ударницу я и из грязи слеплю...» Я понял: это она про Сабину, — и сказал бы, что это кругом неправда, да разве станешь доказывать чужой женке? Тут и со своей сладить не всегда хватает терпения.

Через лес шли молча. Дорога пересекала болотистую низинку, по сторонам стояла рыжая вода, из которой торчали пучки осоки и черноголовика. Трактора и грузовые автомашины изрезали свежую насыпь глубокими колеями — придется гнать грейдер и каток, чуток только подсохнет.

Из леса дорога круто пошла в гору, на широкое поле. Отсюда хорошо видна была низина с мелиоративными канавами. Слева рябым частоколом поднимался березняк, дальше за черными метлами обсад шли хаты Липницы.

Игнат Степанович привычным глазом окинул широко открывшуюся панораму и отметил про себя, что еще лет шесть назад Липницу не увидел бы отсюда, если б и хотел. Не давали кусты, разросшиеся по берегам речки, и Казановичев лесок.

— А с Мостовскими все всерьез обернулось и отозвалось в войну, — продолжал Игнат Степанович. — Оно и сразу, как только приехал Вержбалович, видно было, что мира не будет, а дальше — больше. На правлении постановили переселить всех с хуторов до гурта, в поселок... Колхоз любит, чтобы все в куче было. И оно так, но попробуй доведи каждому, что так должно быть. Непросто сорваться с места, где обжился, огляделся, обвык. Пускай люди далеко, зато лес близко. Уговоры уговорами, а потом Вержбалович собрал бригаду из четырех хлопцев, дал им две подводы. Приезжают на хутор: «Помощь требуется?» Кто понимал, к чему все идет, сразу отвечал: «Требуется». Хлопцы помогали и крышу спустить, и хату

разобрать, и перевезти в поселок. А кто не хотел понимать, с теми случалось и такое: пойдет косить, или жать, или еще что, возвращается домой, а в хате средь бела дня темно — крышу спустили и приставили к стене, заслонив окна. Вот и решай теперь, как жить дальше: переезжать или не переезжать. К Мостовским на хутор вместе с хлопцами приехал и сам Вержбалович, там чуть не дошло до бойки. Встретил их Стась с топором в руках. «Попробуй сунься который, голову снесу», — пообещал и, вопщетки, пошел бы на это. Дикой человек был в ярости. Но тот раз никто не стал ничего доказывать ему. Только Хведор сказал: «Мы уедем, а ты хорошенько подумай. Я тебе по-большевистски говорю: надо перебираться». Постояли они так друг против друга, посмотрели один другому в глаза и разошлись. Разошлись, чтобы снова когда-нибудь сойтись. Больше ни Вержбалович, ни хлопцы на хутор к Мостовским не заезжали. Да и необходимости в том не было. Через месяц или два Стась сам снарядил обоз из четырех подвод, и они за один день перебросили все подворье в поселок. И тот и другой не умели отступить, да что поделаешь: сила перегнула силу... Хведор радовался, как дитя: «Вишь, сами переехали, а ты боялся. Я тебе по-большевистски говорил: один и в каше не спорый. Никуда они не денутся, все будет добра. И по моему вышло. Мы еще посмеемся над этими хуторскими». «Вопщетки, в каше, может, один и не спорый, — говорю ему, — а если стать за углом, да еще с ломом... Гумно же кто-то подпалил? Смех беду качает, и весело тому, кто смеется последним». В колхозе все кипело как на сковородке и шло на лад. Люди старались не хуже, чем на своем, и видно было: сдвинулись дела. И заготовки сдавали, и трудодень не пустой был. Финская война началась, некоторых мужиков забрали, труднее стало разворачиваться, а все равно попевали. И Хведор принялся дом строить. «До каких пор я в панских покоях сидеть буду? И тесно, и люди смеются: сидел один пан, теперь другой сел», — оправдывался он. А что тут оправдываться? Про панов — так это в шутку. Что это за человек, который не умеет развеселить себя? Но и семья выросла. Люба умудрилась подкинуть ему сразу двойню — хлопчика и девочку. Тут без своей хаты нельзя. А с другой стороны, люди смотрят так: почему ты не хочешь, как все, на земле осесть, корни пустить? Нужна хата... И вдруг ночью загорелось гумно с житом. Хорошо хоть огонь не успел как следует разгуляться, и пруд оказался поблизости, а то весь двор фукнул бы...

Игнат Степанович умолк, ушел в себя. Валера тоже молчал.

Если смотреть на дорогу из Клубчи в Липницу издали, то может показаться, что она совсем ровная и метит небосклон одной линией, да и весь простор окрест предстанет почти равниной, на которой разве только лес мешает увидеть одно село за другим. Но стоит двинуться в путь — и тотчас убедишься: дорога то поднимается вверх, то скатывается вниз и пересекает не такие уж незаметные взгорья — они спрячут и человека и машину.

Впереди в полуверсте, то показываясь во весь рост, то совсем пропадая, шли гуртом пятиклассники и шестиклассники. За ними, немного отстав, виднелась еще одна, более крупная фигурка в ярко-красной спортивной куртке и красной же вязаной шапочке. Это была десятиклассница Адасева Олька. Она явно не спешила, нет-нет да оглянется назад, будто хочет убедиться, идут ли Игнат Степанович и Валера. Когда они вышли из лесу, Олька остановилась, наклонилась, долго поправляла что-то на ноге — не иначе с замком сапога что случилось, — снова бросила быстрый взгляд в их сторону.

— Вопщетки, Валера, ты твердо уверен, что Олька не на тебя озирается? — спросил Игнат Степанович.

— Почему это на меня? Я ей ничего не должен, — сердито ответил Валера, и Игнат Степанович понял: попал, точно в сук.

— У них это, как у детей, часто бывает: у тебя в мыслях одно, а они решают по-другому, и выходит, будто ты сам вызвался. Вон Надя Митрофанова, магазинщица, думаешь, как взяла в руки Мишу Криворотого? Сам он из Бора, не то что пил — мокнул в горелке до такой линии, что женка отступилась и выгнала из хаты, а сама с дитем осталась. Он после этого взял еще больший разгон. Человек без дисциплины — низшая инстанция, поскольку никаких ресурсов нет, и тут сам бог не помощник. Считай, пропащий, конченный. Но когда трояк или пятерка зашуршит — приятели найдутся. А он тракторист, не без грошей, а там и к Наде: «Открой магазин». Она возьмет и откроет. А потом и вовсе забрала его к себе домой. Говорит, сердце изболелось глядеть, как он пьет и не закусывает. Людям потеха: сдурела, не иначе. Ждут все: надолго ли хватит ее закуски? А Миша живет у нее неделю, другую. И что интересно: кончит работу — и сразу к ней домой. Первое — она отрезала его приятелей, как волки отрезают от косяка слабосильного лося. Сунулись было они за ним в хату, а Надя встала на пороге: «Хлопчики, нельзя, у него режим». Потоптались на дворе, ушли. Горше всего, что и магазин закрыт. Уйти-то ушли, а любопытство, как грех, терзает душу: что это она такое придумала, чтобы все ихнее ему стало немило? И подсмотрели, притаившись под окном. И что увидели? Приходит он в хату, а на плите уже горячая вода стоит, Надя с кружкой над тазом, сливает, рушник подает. Умылся, надел чистое — за стол. А там, кроме всего, и поллитра стоит. Сел он за стол и поглядывает на Надю. Она: «Выпей, Миша. Я по себе знаю: бывает, хочется выпить. И я с тобой...» «Ну, если и ты со мной...» Ей хочется выпить... За всю жизнь, может, полчарки и взяла на душу. Пригубила чарку, сидит, ест, с ним разговаривает. Но дивно другое: Миша две стограммовки выпил — и все. Встал из-за стола, а бутылку оставил. Это если б кто сказал, не поверили бы... А тут — своими глазами... Вопщетки, потом она взяла его, и поехали в район, в универсальный магазин наведаться решили. Примерили ему костюм, ботинки. Потянула она его в отдел, где все детское: давай выберем костюмчик. «А как же, Миша, он же в школу собрался, а это такой праздник!» Это она про его сына. И рассказывает о себе, как ей хотелось когда-то купить платье, а у матери не на что было. Он, Миша, до-о-обрый куль соломы, мешалка нужна, чтобы выбить что-нибудь людское, а тут, говорит, у меня и горло перехватило... Вернулись домой, она опять же — собрала узел, гостинцев и отправляет: «Сходи, Миша, отнеси. Своими глазами увидишь, может, еще что надо». «Так, может, сходим вместе?» — хотел он взять ее с собой. Сомневался в себе, как там все обернется. Но она не поддалась: «Что ты, Миша, как же я пойду...» Одедся он, обулся и пошел. Вернулся под вечер и тут уж сам попросил выпить. А за столом признался Наде, что и там была бутылка, да он не принял... И вон уже двоих хлопчиков нашли с Надей, и хорошо, а ты, вопщетки, говоришь...

— Меня этим не купишь. И нечего ей озираться на меня. Пускай на своего Галузу озирается.

— Это который, Степанов?

— Нет, Костиков.

— Батька ж маленький совсем, из-за мотоцикла не видать.

— И сынок такой. Но отличник.

— Гляди ты... Значит, нет на него надежи?

— А какая тут надежа нужна? Кончит она свои десять, уедет, поступит — и все.

— И куда надумала поступать?

— В Институт культуры.

— А что это такое?

— Ну, песни, танцы, самодеятельность разная.

— Так это ж интересно. Хотя и смелость нужна на люди выходить.

— У нее этого станет.— Валера усмехнулся.— Уже теперь начала готовиться к экзаменам. И поделила: с Галузой — историю, со мной — литературу, сочинение.

— А ты хотел бы, чтоб и историю с тобой?

— Со мной? Они же в десятом, а я только в девятом...

— Сурьезная девка.

— А то не серьезная.— И Валера решительно дернул плечом вверх, дав понять, что разговор несколько затянулся.

— Вопщетки, я бы тебе посоветовал начать носить сумку на левом плече,— неожиданно предложил Игнат Степанович.— Ты носишь на правом и все подбиваешь и подбиваешь вверх. И сам скривился направо, и плечо стало дергаться.

Валера взглянул на него, усмехнулся:

— Ничего, выпрямлюсь.

Дорога подходила к Липнице. Простучали по бетонному мосту, перекинутому через мелиоративный канал. Мост глухо вторил их шагам. Седая холодная вода стремительно неслась по прямому трехметровому желобу.

Игнат Степанович замедлил шаг, сказал задумчиво:

— Вопщетки, только дурни могут думать, что где-то есть что-то такое, что не имело бы своего имени. По правде все иначе. Уж коли оно есть, то как же без имени, а?

Валера вскинул удивленные глаза. А шли они как раз по той земле, где когда-то, еще до колхозов, стоял двор Игната Степановича. Но Валера этого не знал.

— Как я думаю, это ж еще на твоих глазах вон там, немного не доходя до канавы, стоял дуб,— сказал Игнат Степанович, качнув головой вправо: там, горбясь красновато-черной землей, вдоль дороги тянулся высокий берег канала. Сказал и поймал себя на том, что показал немного не туда: дуб стоял против развилки дороги, а до развилки они еще не дошли.

— Ага,— оживленно подхватил Валера,— я тогда во второй класс ходил. Помню, сидим на уроке, а Павел Никифорович рассказывает про свое партизанство, как они ходили взрывать мосты... Он, оказывается, подрывником был. Вошел в самый раж. Рассказывает и показывает, как они тихонько подползли к мосту, сняли часовых, подложили тол... Мы все притихли, рты пораскрывали, и вдруг как бабахнет, аж стекла заходили. Мы и поприседали за партами, а Коля Цедрик шепчет: «Во, еще один!» «Так тут же мостов близко нет»,— усомнился кто-то. «Как нет? А около леса!» — напомнил Коля. «Так он же маленький!» «Ну и что, что маленький...» Шепчемся и поглядываем на Павла Никифоровича. И никому в голову не приходит, что это никакая не война, что она была вон когда... А Павел Никифорович и сам ничего не поймет. Говорит: «Наверно, самолет пролетел». Пришли домой и только тогда узнали: мелиораторы пень того дуба взорвали. Потом два дня тракторами корни выдирали.

— Диво что, такой дуб был! Трое мужчин брались за руки, и только так можно было обхватить. Хведорков Адашь с брательником два дня шаркали пилой, пока свалили. Вопщетки, до войны и в войну вокруг него рос березняк. И немолодой уже был, а дуб стоял над ним, как голова над плечами. Даже темной ночью, бывал, выйдешь на край поселка, приглядишься, и видна эта голова.

— А кто сегодня скажет, что там дуб стоял! — Валера повел глазами в ту сторону, куда показал Игнат Степанович.

— Ага! — словно обрадовался Игнат Степанович.— Там и елки были и сосны. А поле шло полосой меж дорогой и лесом... Камнем можно было докинуть из конца в конец борозды...

Что-то похожее на грустную улыбку появилось на его лице. Валера заметил это, но промолчал. Любят эти старики копаться в прошлом, как вепрь в муравейнике. Залезет так, что и самого не видно, только труха летит вверх.

Игнат Степанович мерил дорогу дальше и тоже молчал. Однако улыбка не сходила с его лица.

Подошли к старому, скособоченному амбару (пуне), который ждал своей очереди, чтобы кто-нибудь разобрал на дрова. Свернули вправо — и увидели Ольку. Она стояла, прислонившись спиной к темным потрескавшимся бревнам и повернув голову в их сторону. Валера невольно дернул правым плечом.

— Вы все равно как заговорщики какие,— произнесла Оля, оттолкнувшись от стены и пристраиваясь идти рядом с ними. Ростом она была чуть ниже Валеры, ступала упруго и легко, будто пританцовывала, будто и не отмахала пять километров от школы. В ней было что-то от проказливой дикой козы.

— Много ты разбираешься,— хмыкнул Валера.

— Если б не разбиралась, не говорила бы,— ответила Оля, поглядывая на Игната Степановича, словно угадывая в нем союзника.

— Вопщетки, можно считать, так оно и было. Когда надо решать важное что, без этого никак нельзя. Тут надо с головой. Дурня и в церкви бьют.

— А я тебе что говорила?

— Что ты говорила?

— Чтоб подождал меня, а то... Как вы сказали, дядька?.. Дурня и в церкви бьют? — Оля расхохоталась.

Валера замахнулся на нее сумкой. Она кинулась прочь. Валера за ней. Так, со смехом, дурачась, они и вскочили в село.

### III

Этот скудноватый на урожай клочок земли, принадлежавшей прежде Казановичу, выделили им на двоих со старшим братом Михайлой в двадцать пятом году.

Михайла уже был женат, имел двоих детей, и его расторопная Арина ходила, тяжелая третьим. Игнат же только что воротился из Бобруйска. Черная, тонкого сукна поддевка с большим каракулевым воротником, галифе, сапоги с высокими голенищами да специальность столяра — вот, пожалуй, и все главное, что он представлял из себя в ту пору. К этому нужно добавить и слово «вопщетки», которое довольно часто стало попадаться в его речи, впрочем, сам он этого не замечал за собой — подметили люди.

Быть может, он и остался бы на мебельной фабрике навсегда, если б не отец.

— Неча скитаться по свету, отираться у чужих углов, надо ближе к земле держаться,— сказал он, давая Михайле на обзаведение корову и двух овец.— И тебе дам телушку, когда будешь жениться... вопщетки,— посулил Игнату, вставив для весу новое и для себя слово.

В ту пору как раз ходил с землемерами Микита Гонта. Возделанной земли было скуповато на всех, и им с Михайлой дозволили расширяться до березняка: вздирайте дикий луг сколько потянете. И взодрали. Поставили хату одну на двоих, разделив ее на две половины дощатой перегородкой с дверьми — не ходить же друг к другу через двор. Скидали хлев, гумно, посадили садок. Хата стояла вдоль дороги, и из двух окон было видно, кто куда едет или идет. Под окнами рябина, две липы, палисадник с цветами. Арина любила цветы, и они цвели у нее до поздней осени. По другую сторону дороги над ставком осел Андрей Цукора. С ним они и угодили на памятные танцы в Курганок.



Угодили совсем случайно. Помогали трелевать лес Андрееву тестю, поужинали и ехали домой. В концевой хате наяривала гармонь, слышалась скрипка и гремел бубен. Андрей придержал коня.

— Может, заглянем?

— А почему бы и нет? Заглянем. Только чтоб Ганна твоя не прогневалась,— ответил Игнат.

Было всего лишь полгода как Андрей женился и жену взял отсюда, из Курганка.

— Мы скажем: искали тебе невесту,— засмеялся Андрей.

— Вопщетки, можно и так,— согласился Игнат.

Привязали коня к ограде, подкинули сена и зашли в хату. Там полно было молодежи, и никто на них не обратил внимания. Впрочем, они и не лезли наперед, ведь собирались не на танцы, а в лес: на них были валенки, кожаные рукавицы. С Андреем, однако, поздоровались и разговорились два хлопца: откуда и куда на ночь глядя? Андрей, как будто всерьез озадаченный, ответил: «Приехали человеку девку выбирать» — и указал на Игната. Смех смехом, а хлопцы приняли это взаправду:

— Девочек таких и нет. Разве что у Шпака; правда, старшая уже замужем, средней сегодня что-то не видать, а самая меньшая, Марина, вон в углу у окна стоит семечки грызет.

Тогда Игнат и рассмотрел ее: невысокоенькая, приглядная и коса ниже пояса.словно та белочка, которую сегодня видели в лесу. Отчаянная такая, сама подбежала к саням, встала в снегу на задние лапки, держа передние на груди, ушки чутко вздернуты, хвостик закручен — как на картинке. Стоит и плясает на них глазенками-зернышками. Никаких тебе забот, словно вся жизнь — одна радость скакать с ветки на ветку, грызть орехи да спать в своем гнезде, укрывшись хвостом.

Так и эта: стоит у окна, грызет себе семечки, стреляет глазами по хате. Взглянула на них, повела глаза дальше.

С тем они и уехали: дело шло к ночи, а дорога через лес, километра четыре...

В следующую субботу после обеда вновь запрягли коня. Теперь уже ехали с определенными намерениями. Андрей охотно взял на себя роль свата. Он и коника подшевеливал, хотя тот и сам бежал спорой трусцой, точно от мороза.

Подъехали к Шпакову двору, привязали коня, вошли в хату словно бы погреться. Шпачиха лежала на печи, сам Шпак сидел на лавке у окна: круглая густая русая борода, маленькие глаза под кустистыми бровями. Марина собиралась в село на танцы. Какое там село, когда хлопцы сами заявили в хату. И не просто пришли — приехали из-за леса.

Андрей присел на лавку подле хозяина, завел речь о скотине, о погоде — зима выдалась свирепая и снежная.

Игнат подсел к «белочке». Она и теперь напомнила ему того непоседливого зверька. Толстая каштановая коса, большие карие глаза — живые, усмешливые и вроде бы старше ее самое. Ей и семнадцати еще не было, а глаза, казалось, знали много больше и не скрывали того, что знали. Игнату понравилось и это. Глаза словно подначивали его и поощряли, звали куда-то, где он еще не был. И не хотелось думать ни о морозе, ни о снеге, никуда не хотелось уходить из этой теплой хаты. И когда некоторое время спустя Андрей спросил (это был вопрос-пароль): «Ну что, слегка обогрелись, может, и на коника?» — Игнат ответил:

— Мне тут хорошо, я бы уже и остепенился.

— Ну тогда выйду коню подкину,— сказал Андрей.

Подкинув коню и накрыв его постилкой, он вернулся в хату с литровкой в руке. Теперь и Марина увидела: хлопцы завернули не просто погреться и от них так легко не отмахнешься. Было похоже

на запоины<sup>2</sup>, и она вспыхнула румянцем, схватила со стены шубейку, поспешно стала одеваться, но остановил ее спокойный голос матери — она слезла с печи и принялась собирать на стол:

— Куда ж это ты, доченька? Люди на порог, а ты за порог?

— Ну, люди ж не в пустой хате остаются... Им и с вами будет интересно.

— С нами как с нами, да надо, чтоб и ты была,— заметил старый Шпак, и Марина повесила шубейку назад на крюк. И весь вечер сидела за столом ровно чужая.

Пошли на танцы, они были в той же концевой хате. Танцы как танцы, но под конец Марина выскользнула за дверь и припустила домой. Игнат догнал ее уже возле самого двора.

— Вопщетки, чего это ты? — спросил.

— Ничего.

— Сказала бы, вместе б пошли...

— А почему я должна тебе говорить?

— Ну...

— «Ну» — это на коня, а у нас с тобой ничего еще не смешалось. Ты — себе, я — себе.

Это была правда. У них ничего еще не смешалось, ничего между ними как будто не произошло, однако Игнат уже не мог не думать о ней.

— Белочка, хвостик бантиком,— посмеивался Андрей на обратном пути, почмокивая на коня, хотя тот и сам ходко бежал по накатанной дороге.

Безмолвный лес нависал с обеих сторон, укрывая дорогу от звездного неба. Игнат понуро молчал, насупив брови.

Через два дня его конь снова стоял у Шпакова двора. На сей раз Марина встретила Игната как своего. Игнату даже показалось: она ждала его и была рада, что он приехал.

И еще несколько раз наезжал Игнат в Курганок — и один и с Андреем. И никогда не знал, как его встретит и проводит Марина: настолько разная была она каждый раз. Видел бы, что он чужой ей, неинтересен, перестал бы ездить: насильно мил не будешь. Так нет же. И коня приласкает: «Вислоухенький, дуренький ты мой!» — припадет щекой к теплому храпу, и до леса в санях иной раз проводит. А случалось, что и из хаты во двор не выйдет. Потом чуть было и вовсе не расстроилось все.

Старался сват и перестарался.

В одно ядрено-морозное воскресное утро глянул Игнат в окно на дорогу и увидел: возле рябины стоит привязанная лошадь и рослый мужчина в длинном белом тулупе несет из саней охапку сена. Около саней притопывают, согреваясь, разминая ноги и бросая взгляды на окна, закутанная в белый вязаный платок молодлица и еще один хлопец в ярко-рыжей, похоже, лисьей шапке.

Гости были из Курганка. В молодлице Игнат узнал старшую сестру Марины Галю, высокий мужчина в нагольном тулупе был ее мужик, Петрок, а хлопец в лисьей шапке — Маринин брательник, живший где-то дальше, за Курганком.

— Батяка с поясницей слег, попросил к доктору съездить: или самого привезти, или мази какой-нибудь. Приехали в Клубчу, а Капского дома нет, смотался куда-то. Собрались было обратно, да Галя вспомнила: «Где-то тут недалеко живет наша будущая родня». И верно: для старца миля не круг и, глядишь, вот и мы вдруг,— объяснял Петрок Игнату причину внезапного появления всей их компании. Объяснял, усмехаясь в рыжие обвислые усы и меряя широкими шагами не слишком просторное жильё Игната, нисколько не беспокоясь, поверят его байке или нет. Разумеется, байке этой никто не по-

<sup>2</sup> Стовор.

верил. Было ясно: старый Шпак прислал разведку — посмотреть, что за люди набиваются им в родню.

Михайла и Арина были дома. Они вышли со своей половины, поздоровались, и, пока Игнат раздевал и усаживал гостей — кого на канáпу<sup>3</sup>, кого на табурет, — Арина раскинула на столе скатерку, принялась носить тарелки с едой. Михайла сходил через дорогу за Андреем с Ганной, и вскоре все сидели за столом. Пожалели, что гости спешат, а то надо было бы отскочить через лес за матерью и отцом.

Заправлял за столом Андрей: и как свой человек, и поскольку на плечах у него лежали нелегкие обязанности свата. И пили, и ели, и гомонили. Гости уже чувствовали себя как свои, особенно Галя. Она перешла с Ариной на другую половину — понынчиться с малышом. Начали поговаривать о том, что пора собираться домой — зимний день короток, а путь не ближний, — когда Андрей принес еще одну темную литровую бутылку. Налил всем и стал настаивать, чтобы выпили сватову на легкую дорогу.

Первым поднес свою чарку ко рту Петрок. Поднес и отставил в сторону, пристальным взглядом обвел застолье. За разговором не спешили выпивать даже эту сватову чарку. И Петрок предложил выпить за здоровье самого свата, но только чтобы сват непременно выпил первым. Тот долго не отнекивался: что ни говори, обязанность у него непростая, и хоть люди говорят, что свату всегда первое и чарка и... но он решительно чокнулся с Петроком, сделал два глотка, поперхнулся и, выпучив глаза, вылетел во двор. Вслед за ним повалили из хаты и гости:

— Так это ты нарочно решил так поточевать гостей? — тряс Андрея за грудки Петрок.

Галя поспешно закручивала на голове платок, брательник ее в лисьей шапке разворачивал коня...

— Да я, да что вы, хлопцы! — оправдывался Андрей. — В темноте в погребе... стояли бутылки и с горелкой и с керосином... Да вот и она... настоящая...

Долго пришлось уговаривать гостей, доказывая, что никто ничего такого не замышлял, просто перепутал человек, за что и поплатился... Свату сватово, не сладкое, так горькое...

Ой сват, сват, сват,  
Не бери меня за зад...—

пела спустя месяц на сестриной свадьбе Галя, дерзко наступая на захмелевшего Андрея. Тот растерянно улыбался, отступал, озираясь то на свою жену, то на Петрока, радуясь, что так ладно все кончилось с его сватовством. Высокая, статная и веселая была у Шпака старшая дочь. Как будто и не оставила дома троих детей — песни, припевки, шутки. И Петрок хоть бы что: гуляй, баба.

Марина же вышла ростом невысокая, но живая, расторопная. То туда бежит, то сюда: на ней были и корова, и свиньи, и огород, и поле — то огурцы, то жито, то картошка, то лен, она и ткала и пряла. Ни дня, ни минутки свободной, и все делалось словно само собой. И детей носила и рожала легко. Со стороны, кажется, и незаметно ничего, лишь малость округлится, будто поправится, в поясице раздастся, да щеки посветлеют: то были смуглые, а то вдруг весенняя бледность ляжет на них. «Хитрая у тебя, Игнат, баба, — смеялись мужчины. — Сегодня бегаешь, как девчушка, а завтра, смотришь, готово — дочку нянчит».

Что правда, то правда, гораздо была на это. Станет ей плохо, начнутся схватки — пока он сбегает за повитухой, пока приведет, она

<sup>3</sup> Деревянная скамья со спинкой.

уже готова, опросталась. Так было с Соней, так и с Гуней. Одно знай Игнат: запасайся вином да встречай баб — в отведки идут...

Умела баба работать и любила все делать быстро. Тут взялась — тут готово. Игнат любил смотреть, как она жнет. На жатву всегда одевалась как на праздник: белая купленная кофта с красной вышивкой на рукавах и на груди, черная юбка с красной оборкой по краю, белые балетки. Косынка гладко облегает лоб, уголки убраны назад под волосы.

На жатве ее и ужалила гадюка. Было это уже при Вержбаловиче, когда они перебрались на поселок. А жали на бывшем двореце Яворских. Земля там была хорошая, жирная, и жито выгнало в рост человека.

Марина и тот раз гнала свой загон первой. Распрямилась посмотреть, как другие бабы жнут, обвела взглядом поле — широко и ровно раскинулось оно вплоть до самого леса, и разноцветные платки мелькали на нем, точно камешки сквозь веселую речную воду: то покажутся, то пропадут. Смахнула пот со лба и направилась к вишенику, который одичалым кустом рос возле дороги. Там в тени стояла крынка с хлебным квасом. Нагнулась, протянула руку к крынке и почувствовала, как что-то кольнуло в икру. Обернулась, и сердце екнуло в крапиву рябой бечевкой вильнул острый гадючий хвост. Она схватила какую-то рогатину, хотела настичь хвост, но гадюки и след простыл. Тогда крикнула женщинам:

— Бабоньки, гадюка!

Сбежались бабы, усадили ее на сноп, перетянули фартуком ногу повыше раны, под коленом, побежали за лошадью.

Игнат как раз был дома, заканчивал рамы на веранду в колхозные ясли, когда во двор вскочила перепуганная Вержбаловичева Люба:

— Хватай, Игнат, коня да скоренько на поле! Марину гадюка укусила, в больницу надо!

К счастью, и телега свободная была во дворе, и конь на выгоне, и сбруя в телеге. В момент Игнат запряг коня, и телега затарахтела по дороге. Бабы уже вели побледневшую Марину в село. Уложили ее на клевер в телегу, и Игнат, встав во весь рост в передке, погнал подводу в Клубчу. Гнал, а сам то и дело бросал тревожный взгляд на лицо Марины, на ноги. Толстела, наливаясь синевой, ужаленная нога, и серым, бескровным делалось лицо.

— Подожди, немножко потерпи, Мариночка. Уже скоро, сейчас будем у доктора, — приговаривал он, успокаивая и ее и себя, а сам непрерывно нахлестывал вожжами коня, хотя тот и так летел что было силы. — Но! Но! Но!

Капский оказался дома, и это спасло Марину.

— Ты кого мне привез? Я спрашиваю, кого ты мне привез?! — увидев помертвелое лицо Марины, закричал доктор, надвигаясь на Игната своей десятипудовой тушей.

— Женку, батька... гадюка укусила...

— Женку, раззява! Женку... Покойницу — вот кого ты мне привез! — Пухлая рука доктора держала маленькую Маринину руку, нащупывала пульс. — Еще несколько минут, и... — Капский не договорил, приказал: — Неси в хату!

Игнат легко подхватил на руки обмялую жену, отнес в приемный покой, опустил на небольшой диванчик. Капский уже шел к ним со шприцем.

— Да я же, батька... — пытался что-то сказать Игнат, когда уже обессилевшая Марина забылась спасительным сном.

— Батька... Скажи своему батьке, Степану скажи, пускай сдерет с тебя вот эти магазинные штаны и дубовым кнутовищем... Чтoб щепки полетели... Ногу по-людски перевязать не умеете. Сердце, сердце могло не выдержать... А баба хорошая... А, хорошая? — переспросил,

строго глядя на Игната, и стал прикуривать папиросу. Игнат увидел: толстые пальцы его дрожали. Это у невозмутимого обычно Капского! Мужчине за шестой десяток, широченный, как стол, столько всякого повидал на своем веку — казалось, ничто уже не может вывести его из равновесия...

Капский посмотрел в окно на взмокшего, как вытянутая из воды крыса, коня и сказал:

— Ты хоть назад не гони его...

— Да уже... как же,— продохнул наконец Игнат.— Большое вам спасибо, батька.

— Ему скажи спасибо,— грубым голосом ответил Капский, кивнув на коня.— А жену через три дня приедешь забереешь. Только смотри мне, береги... Ты ведь, наверно, хочешь, чтоб она тебе еще детей нарожала?

— А как же без детей?

— То-то... Так через три дня,— напомнил. И его широкая спина скрылась за дверью в соседнюю комнату, но тотчас снова открылась дверь.— Я слышал, ты мастеровитый столяр?

— Вопщетки, как глядеть. Вот в Бобруйске на фабрике мастера...

— Что мне тот Бобруйск,— скривил лицо Капский.

— А что надо? — Игнат почувствовал неловкость, будто он заранее отказывался что-то сделать.

— А нужен шкаф. Во всю стену — с дверцами, полочками, ящичками. И все это под стеклом, чтоб сразу видно было.

— Это можно. Только дуб хороший надо.

— Неужто для Капского во всем районе хорошего дуба не найдется?

— Вопщетки, думаю, что найдется.

— Я тоже думаю: найдется.— И Капский затворил дверь.

Игнат отвязал от частокола коня и пустил его по дороге: пускай себе идет как знает. Тот поначалу тащился нога за ногу, потом разошелся и за лесом побежал — сперва с горки, когда передок начал доставать по ногам, а потом и по собственной воле. «Молодец, ожил,— про себя похвалил коня Игнат, лежа на клевере.— Дорога домой всегда желанна и короче».

Коник бежал легко, взбивая копытами пыль. Она растекалась над землей, и от нее шел запах муки, которой посыпают лопату, перед тем как посадить ковригу в печь. Была усталость во всем теле и пустота в голове. «Человек, который тонул и которого спасли, многое может рассказать»,— подумал Игнат.

#### IV

Еще и теперь, спустя годы, Игнат Степанович в мыслях не однажды возвращался к далеким военным дням. И всякий раз события той поры вставали перед глазами так живо, будто происходили вчера. Эта отчетливость неизбывной памяти даже причиняла боль. И вместе с тем Игната Степановича не покидало ощущение, что в его воспоминаниях недостает некоего маленького, но весьма важного звена. То ли он что-то запмятовал, то ли его вовсе не было, хотя оно и должно было быть, и если бы было, то все могло сложиться иначе: не так страшно, не так несправедливо.

И еще было чувство, что звено это каким-то образом связано с самим Игнатом Степановичем, что от него зависело правильно распорядиться всем, а он не распорядился. И теперь пытался найти, где позволил себе слабину, и не находил.

Не сказать чтоб война свалилась на Липницу неожиданно-негаданно, будто о том, что она возможна, никто и не догадывался. Ждать не ждали, а то, что она не за горами, многие предчувствовали, хотя вслух об этом не говорили. Свет неспокоен, однако начать войну —

значит, и свою голову под дубинку подставить. Кому же при своем уме этого хочется? Хотя и дураков немало, если почитать газеты да послушать радио. Тот же Гитлер и его компания... Словом, коли что большое начнется, мало кому поздоровится.

Но одно — когда все это происходит где-то далеко, а другое — когда снаряды начнут ковырять твой огород. Конечно, жалко людей, конечно, фашисты — они фашисты и есть, и надо спасать от них свет. Вон из Клубчи сын старого Середы был в Испании и недавно вернулся. Приезжал к отцу. Ничего, жив, здоров.

Вержбалович съездил в Минск, пробыл там дней пять. Возвратился — и все, как обычно, что слово, что дело, не сидится человеку: «Давай, хлопчики, давай!» А заговорил с ним Игнат: «Вопщетки, как там столица смотрит на жизнь?» — он ответил: «Строго смотрит. Время такое, сам видишь, кругом неспокойно».

Из села несколько человек пошли в армию. Призвали и Игната. Помаршировал немного под Бобруйском: «Встать! Ложись! С колен!» — и ближе к границе.

На финской из Липницы побывал Александра Шалай, но вскорости, как только мир заключили, вернулся. Прихрамывать стал на левую ногу. Он всегда был форсун и задавака, а теперь вон как важно расхаживал по селу в гимнастерке, новых диагоналевых галифе. Оно то и была на то причина: человек вернулся от т у д а, своими глазами видел и знает что к чему. И ранение получил.

— Коли что такое случится, подотрем им сопатку! — убежденно говорил Александра, когда мужики сбивались в гурт и заводили речь о том, что творится на свете.

«Им» — имелось в виду врагам. Конкретно он не называл, кто они — ими могли быть и немцы, и еще кто-нибудь из тех же фашистов. Мужчины курили, кивали, всем хотелось верить, что так оно и будет: если что — так по сопатке!

— Ну вот ты, Александра, говоришь: «Коли случится...» — не смолчал однажды Стась Мостовский. Разговор происходил возле кузни, и кто сидел на мельничном жернове, кто на куче свезенных на ремонт телег. — А если и вправду случится, то с кем? Ты всех нас ближе был к войне.

— Куда уж ближе... Нога и теперь никак не разойдется, — ответил Александра. Ему понравилось, что этот гордец Мостовский как будто начинал смотреть на жизнь по-человечески. — А если случится, то, по моему понятию, потенциально нам придется воевать с немцами.

— Как это — потенциально? — присвистнул Стась. — Ты что, газет не читаешь? Не знаешь, что у нас говорят про немцев?

— Читаю и думаю! — вспыхнул Александра. — Потенциально, потому что фашисты наш первейший враг. А где этот враг сидит?

— Всюду сидит, куда ни кинь.

— Всюду-то всюду, а в Германии в особенности, во что я тебе скажу.

— Ну если так, то нам туго придется.

— Почему это туго? — Александра даже соскочил с кучи.

— А потому что сила у них большая, техника...

— Ты во что... сила. На силу тоже есть сила... Думаешь, у него, у Маннергейма, не было силы?.. Ты это перестань... — припугнул Александра.

— Я и перестал. — Стась криво усмехнулся. — Чего ты вскочил? Все равно как я про Маню Болбасову что-нибудь сказал. Тьфу! — И Стась плюнул под ноги.

— А оттого я вскочил, чтобы думал, что говоришь. Болбасы люди как люди, и Маня тоже, пожалуй, не ровня иным хуторянским. А сомневаться в нашей силе мы никому не позволим. — Александра

произнес «мы» с особым нажимом, чтоб было ясно: себя он причислял к этим «мы» едва ли не в первую очередь.

— Я и не сомневаюсь в нашей силе. Я говорю, что и у него сила большая. А Маня... Нравится тебе, так и ходи на здоровье.

Было ясно как день: с этим Стасем так просто не разойдешься. И Александра, быть может, впервые по-настоящему почувствовал невыгодность ситуации, в которую его ставила раненая нога. Была бы она здоровая, он по-другому поговорил бы со Стасем. И Маню припел... «Какое твое собачье дело, к кому я хожу? Видишь ли, он дозволил: «Нравится, так и ходи на здоровье!»..»

Вержбалович редко встречал в подобные разговоры, а когда и встречал, то больше затем, чтобы напомнить о своем: война войной, а вон картошка не вся еще посеяна, да и сады надобно подмолодить, эти финские морозы наполовину деревья повредили. Однако ему крайне не понравились слова Стася Мостовского и то, как они были сказаны.

— Ты плюешь так, будто знаешь что-то такое, чего никто не ве-  
дает. Гляди, доплюешься,— предупредил он Стася.

— Ты мне, может, и плюнуть запретишь? — показал и ему зубы Стась.— Повестка на руках. И меня вызывают в военкомат. Что-то дадут в руки. Пойду послужу.

— Плевать плюй, только выбирай, куда плюнуть... Разум надо иметь,— уже спокойнее заметил Вержбалович.

— Дай тебе боже разум, а мне гроши,— усмехнулся Стась.

— А в самом деле, мужики, работа не ждет,— оборвал этот непростой разговор Вержбалович.

Возможно, они забыли бы ту словесную перепалку, да и остальные мужики, вероятно, забыли бы, однако события вскоре приняли столь неожиданный поворот, что не вспомнить о ней было невозможно.

Для Игната она пролила свет на многое. Правда, это произошло немного позже, когда война катилась уже далеко от Липницы, быть может, где-нибудь под Смоленском.

Сидели они за столом в Игнатовой хате — Вержбалович на канаве, Игнат, раскрасневшийся после бани, в натальной рубаше с расстегнутым воротом, на табуретке напротив. Горела лампа. На столе стояли соленые огурцы в миске, сковорода с салом, лежал хлеб.

— Вопщетки, я тебе скажу,— вспоминал Игнат свои злоключения,— война застигла меня под Белостоком. Приняли мы бой, и тут надо отступать. Я был при пушке четвертым номером, а пушку разбил. Никуда не денешься, отступать так отступать. Шли на Гродно вместе с беженцами. Война есть война. Тут без смерти как-то не положено. В общем, перегоняет нас машина, полторка. Гляжу, в кузове Матвей Миранович из Тереховоли. Ты должен знать его, хата его стоит на краю села, а батька его еще в двадцатом, когда поляки стояли на Березе, в нашей войске служил. Отчаянный мужик был, отчаянный и храбрый. И вот с его Матвеем мы попали в одну часть, он при штабе, я при пушке... Как-никак земляки, хотя, если по правде, он не очень чтобы и привечал земляков. Я сам едва волочусь: жара, усталость, не спали двое суток. «Матвей, погоди!» — кричу. Смотрит он на меня и не узнает. Я за борт хватаюсь, а он прикладом по пальцам, как только не растолок. «Нельзя,— орет,— военное имущество везу!» А сам, вижу, как озверел. Отпустил я руки, что тут говорить, имущество так имущество. Езжай, мать твою так. А тут немецкие самолеты над дорогой один за другим, один за другим, только и ищешь какую-нибудь ямку, чтобы укрыться. Отсидишься — и дальше. У солдата своя задача — воевать, даже когда отступаешь. И что ты думаешь, километров через пятнадцать глядим — лежит машина эта самая на боку, сейф раскурочен, кишки наружу, и только ветер бумажки с места на место перекидывает — ведомости какие-то.

Прямое попадание бомбы. От Матвея мокрое место... Я так скажу: страх всегда впереди человека бежит, только нельзя его далеко отпускать от себя, пропадешь, как муха.

— Это правда: страхом хату не покроешь. А дальше как было? — спросил Вержбалович. Сухощавое смуглое лицо его еще больше, чем прежде, было обтянуто кожей, темнее стали впадины под глазами.

— И дальше все то же. Отступали, напоролись на засаду, командира убило. Собрались в кучу, посоветовались: какой план держать дальше? Решили добираться домой, жизнь сама даст команду. И во, сегодня чуть свет, как злодей, постучал в окно, женку напугал до смерти — такой страшный был, черный, обросший. Теперь немного отмылся.

— Грязь отмоется. Слышал или нет еще — Стась Мостовский объявился... в полиции, в Березани. Пошел, как и ты, а вынырнул в полиции.

— Вопщетки, может, неправда. Хлопец он рискованный, но чтобы вот так, в полицию...

— Не знаю, сам с ним не говорил.— Вержбалович помолчал, задумчиво повторил: — Не знаю... Жалею, что хату свою не успел довести. Думал, этим летом влезу.

— Успеешь с хатой.

— Когда успеешь? Такая семейка. Случись что — куда они?

— А хоть бы и ко мне, места хватит.

— Места, может, и хватит, да... Словом, посмотрим.— Вержбалович поднял чарку.

— Вопщетки, можно и так.

Чокнулись, выпили.

— Должен сказать тебе,— Вержбалович склонился над столом,— за рекой, в Терeboли, хлопцы зашевелились, сюда наезжали пару раз.

— Кто?

— Наши, из района. Лапа Богдан, Артюх Цыбулька. Несколько из окруженцев. Я отозвал Богдана в сторону, спрашиваю: «Что делать дальше?» Как ни говори, секретарь исполкома. Что делать... Запасаться оружием где только можно. И пока особенно не высываться, дома пореже бывать. Потиху собирать своих людей. Это он мне и сказал о Мостовском... Так что имей в виду. Это и тебя касается.

— Вопщетки, мое оружие со мной. Командира убило, так наган его забрал... И еще... А немцы как?

— Один раз прошла танкетка и, не останавливаясь, порезала из пулемета штакетник около школы, побила все окна. Там, знаешь, над дверьми висел маленький вылинявший флажок — по нему и чесанули. Другой раз заехали две пароконные фуры с четырьмя солдатами. Остановились на колхозном дворе, у амбара. Никого из взрослых не оказалось, одни ребяташки. Солдаты долго объясняли им, что нужен ключ отомкнуть амбар. Потом сбили замок прикладом. В одном из закровов был овес, нашлись и пустые мешки. Нагребли мешков десять, вскинули на фуры и уехали. Словом, присматриваются.

— Присматриваются. А может, и время еще не пришло. Место не главное,— отозвался Игнат.

Разговор этот происходил поздней осенью, а учинилось все через зиму, уже летом. Партизаны за рекой не то что мозолили немцам глаза, а сели поперек горла. Насобирались их там несколько отрядов, и они начали диктовать немцам, по каким дорогам ездить, а по каким нет, по каким ездить ночью, по каким днем. Все сходило до тех пор, пока не заметили: там убили полицейского, там обстреляли фуражиров, похитили старосту — это еще куда ни шло, война есть война... А когда разгромили одну и другую управы, затем добрались и до районного центра — разогнали тамошний гарнизон и возвратили



советскую власть,— стало понятно, что так все не обойдется. Понятно это было и немцам и партизанам.

Все перевернулось о двух днях. Перед тем в Липницу приехал Богдан Лапа с двумя партизанами. Приехали вечером, постучались к Вержбаловичу, отошли за осаду. Лапа был мрачен, серьезен. Сообщил:

— Начнется блокада партизанской зоны. Всю зону фашисты блокировать едва ли смогут, территория слишком большая, целый район, но пуцу постараются обложить. И не только постараются, уже сейчас берут в клещи оттуда, со стороны Березани, Могилева. В села прибывают воинские части с артиллерией, танкетками. Наводят порядок: расстреливают коммунистов, советский актив. Так что надо подумать, как вам быть.

— Как нам быть... С вами. Куда вы, туда и мы,— ответил Вержбалович.— В покое нас все равно не оставят. Вот только что делать с семьями?..

— В покое вас не оставят, это верно. Тем более что...— Лапа не стал досказывать, что значит «тем более», так как все это знали.

В Липнице, считай что, с самого лета уже был создан свой небольшой партизанский отряд. Шалай Александра — командир, Вержбалович — комиссар, в отряд пошли также Игнат, Василь Мацак, Ахрем Мелешкевич, Микола Юрчонок и еще несколько человек, у кого нашлось оружие. Предполагалось, что это будет ядро настоящего отряда. Делалось все втайне, но многое ли скроешь от соседей? Да и что скрывать?

— Словом, суток двое у вас еще есть. А семьи... Семьям необходимо затаиться. Некуда их брать. Да их и не должны тронуть,— довел свою мысль до конца Богдан. С тем и уехал.

Назавтра Вержбалович переговорил с мужчинами. Решено было добираться в Теребольские леса.

Из Липницы вышли засветло, кустами, смеркаться начало уже за лесом. Цепочка из пяти человек — Вержбалович, Шалай, Игнат, Ахрем Мелешкевич и Василь Мацак, на одном плече торба с харчами, на другом винтовка, только Хведор с наганом,— двигалась не дорогой, а тропами. Клубчу обошли стороной, подошли к реке. Тут в кустах была припрятана лодка: Вержбалович и Шалай не раз пользовались ею. Переплыл через реку — и ты уже в партизанской зоне. Так было еще недавно, но сейчас... Беспокойство и тревога, которые чувствовались и в речи и в настроении Богдана, передались всем.

Лодка была на месте, и Шалай хотел сразу грузиться. Вержбалович удержал:

— Не спешите. Давайте послушаем.

Присели под копной сена. Река тихая, словно застыла в безмолвном ожидании чего-то. Так бывает перед грозой. Не играет, не подает признаков жизни рыба. Только комары зудят — не отеребиться. Далеко за лесом, по ту сторону реки вылезает багровая луна. Выкатилась до верха сломанной ветром сосны. Вода густая, черная, с янтарным отсветом. Лес опрокинулся в воду, и трудно сказать, где он настоящий — сверху или внизу.

Где-то далеко закукакала сова. Мужчины переглянулись, словно кугаканье говорило что-то каждому из них.

Потянул ветер. Над самой водой, клубясь, точно дым, поплыли гривы тумана. И, вероятно, никто бы не удивился, если б из-за поворота реки, из этого тумана вдруг выплыл древний струг с людьми в острых шеломах, в латах, с длинными, наставленными вверх пиками...

Медное блюдо луны повисло над вершиной сломанной сосны. Туман перевалил за реку, в низину. Листья калужницы покоились на воде, изредка поблескивая, словно рыба чешуей. Опять закукакала сова.

— Ну что, хлопцы, пошли? — нарушил тишину Хведор и уже хотел было встать, но увидел, что Василь Мацак предостерегающе поднял руку.

Все стали прислушиваться.

И действительно: за рекой в лесу рождался едва уловимый ровный гул, будто где-то далеко в высоком небе шел самолет. Звук, казалось, не приближался, но и не пропадал, как возник, так и тянул свою однообразную ноту. Нет, это был не самолет. Тогда что же?.. Машины?

Минут через десять гул несколько набрал силу, стал отчетливее и оказался не столь уж ровным — он то снижался, будто проваливался в яму, то взмывал, доходя до звона. И мало-помалу приближался, заполняя собой все окрест.

— Танкетка! — выдохнул Игнат.

Никто ему не ответил, все замерли словно по команде. А гул все больше нарастал и ширился. Теперь уже явственно слышался не один мотор, а несколько — двигалась колонна.

Впереди шла танкетка. Шла с включенными фарами, покачиваясь, будто нащупывая дорогу выброшенными вперед огнями. Возле сломанной сосны нырнула в котловину — лучи фар метнулись вниз, достав до другого берега реки, осветили воду, снова метнулись вверх, скользя по верхушкам кустов на этой стороне, как раз там, где стояла копка с липнинцами, — двинулась вдоль реки и уползла дальше в глубь леса.

За танкеткой проколыхались две большущие машины с солдатами в кузовах. Басовитый рокот моторов еще долго слышался над рекой.

«Вот вам и древние струги, и люди в шеломах», — подумал Игнат. Его дернул за рукав Александра и глазами показал на реку.

Молчаливо, словно во сне, к сломанному дереву приближался строй вооруженных людей. Тускло отсвечивали стальные каски, автоматы. Туман растекся за рекой, и было такое впечатление, что это из него выходят, точно вырастают, фигуры: сперва только головы, затем по пояс, наконец во весь рост. Их было человек тридцать. Шли друг за дружкой тяжким, мерным шагом. Прошли мимо сосны и тоже пропали в черноте леса.

«Вот тебе, товарищ Лапа, и двое суток...»

— Вопщетки, надо было выбираться вчера, — прошептал Игнат. Вержбалович в ответ лишь скрежетнул зубами.

Решено было возвращаться домой, затаиться, переждать.

И был второй день.

Игнат в тот день косил на Стаськовой пасеке. Она в стороне от дороги, а чуть что — рядом кусты и лес. Война войной, а скотину надо кормить. Корове не скажешь: «Потерпи, пока не прогоним фашистов, пока не утихнет все». Взял брусок, навел косу. Выбирался из дому на весь день. Так теперь делали все мужчины: косит где-нибудь в кустах или чем другим занимается, а уши, как у зайца, насторожены в одну сторону: что там, в селе? А к вечеру ждет посланца из дома.

Марина прибежала перед заходом солнца. Рассказала, что вскоре после того, как Игнат выбрался со двора, в хату зашли Вержбалович с Шалаем. Вержбалович при нагоне, Шалай с винтовкой. Шалай видел, как на рассвете Мостовский Стась задами крался домой. И вот они хотели взять его втроем. Пожалели, что не застали Игната, отправились вдвоем. Стася не нашли: он то ли убежал, то ли, быть может, Шалай обознался, хотя тот божится, что видел Стася: «Да я его слепой узнаю». Дома была только старая Мостовская, так Шалай накричал на нее, грозился, что все равно хоть из-под земли достанет сына.

Неизвестно почему, но Игнату очень не понравилось все это.

Раз Шалай клянется, что видел Стася, то, наверное, так оно и было. Зачем он приходил? Харчей взять? Так ведь сидит на полицейском пайке. Разнюхать что? Скорее всего разнюхать...

Игнат бросил косить, направились домой. По дороге он сказал Марине:

— Пока что дома мне делать нечего. Собери торбу, положи булку хлеба, сала и еще что найдется. Завтра темночи пойду к Грипе, побуду несколько дней. Там меня и найдете. Детям скажешь: сено кошу. А сейчас зайду к Хведору.

— Добра,— согласилась Марина. Грипина была ее двоюродной сестрой и жила на хуторе за Курганком.— Такое непонятное время настало. Побудь у Грипы, там тебе будет затишней.

Вержбалович был дома. Вышли под липы, закурили. Первым заговорил Хведор так, будто продолжал начатую ранее беседу:

— Или утек, или Александра все же обознался. Одна старуха сидела дома.

— Вопщетки, дело дрянь,— помолчав, произнес Игнат.

— Что дрянь?

— Дрянь то, что не взяли, а раз не взяли, то дрянь, что пошли.

— Это почему?

— Мстить будет...

— Ах, мстить... Может, надо поклониться ему, на колени стать перед ним?

— На колени, вопщетки, не надо. Не надо... Ну а что бы вы сделали, если б взяли? Расстреляли?

— Почему расстреляли? Допросили б... Хоть бы знали, что они замышляют. И вообще... Люди мы или не люди? На своей земле мы или так, все еще в батраках ходим?

— На земле-то на своей... Но сила не в нашу сторону... Как я понимаю, Хведор, дома нам оставаться нельзя. Нам всем, а тебе, вопщетки, в особенности. Ты коммунист, председатель. И Лександре тоже. Надо приховаться, и даже сегодня.

В тот вечер никто из мужчин не знал, что, когда Александра Шалай грозился в сенцах у Мостовских, Стась находился рядом. Он заметил в окно, что Вержбалович с Шалаем свернули к ним во двор, выскочил в сенцы, и старуха перевернула на него дубовую кадку, в которой ставили капусту на зиму и которую она вымыла только вчера...

— Не надо паниковать,— хмуро ответил Хведор и вдруг вскинул голову, сверкнул глазами.— Как кроты по норам. А?

— Вопщетки, по норам. Не кроты, но по норам. А разве не об этом и Лапа говорил? Пока что не выторкаться, переждать. Когда сечет пулемет, а ты лежишь на ровном, не высовывай головы, как косой срежет. Я это хорошо знаю. Надо выждать свой час, свой момент.

— Что ты мне про пулемет, будто я сам не вижу? — вспылила Хведор. Немного помолчал и уже более спокойно: — А укрыться надо. Надо. Где я тебя, если что, найду?

— У Грипины, Мариной сестры. Пойду косить сено...

Игнат кисло усмехнулся, встал. Встал и Хведор.

Расходиться обоим не хотелось. Стояла парная ночь. Понизу, над ставком, стелился белый туман. На болоте однообразно, без усталости, точно заведенный, тянул свою скрипучую песню дергач. Песня его разносилась окрест, и было в ней нечто тревожное, словно предупреждение. Мужчины некоторое время молча слушали, потом Хведор грустно заметил:

— Сколько их тут, на наших болотах, а кажется, сегодня слышу впервые.

— Вопщетки, сегодня и голос у него какой-то не свой.

— Ага, идет и кричит... Будто не может без крику...

Хведор прстянул Игнату руку:

— До завтра.

— До завтра. Хотя, вопщетки, может, завтра и не увидимся.

Они крепко пожали друг другу руки и разошлись. И потом, идя по гати через ольшаник, и на мосту, и уже на поселке Игнат слышал монотонный скрипучий голос. И больно было слушать его, и хотелось слушать.

Назавтра Игнат встал еще затемно. Принес из хлева завернутый в промасленный брезент наган, проверил его при лампе. Прикидывал: брать или не брать с собой? Завернул снова, направился в конец огорода, где стояла старая осина, сунул в дупло — оно было выше головы, — присыпал трухой. Отсюда взять он всегда найдет способ. Когда возвращался в хату, почудилось: где-то протарахтела телега — то ли на мосту, то ли еще где. Долго вслушивался, однако ничего похожего больше не уловил, лишь на дворе у хлева вздохнула корова да закукарежал на том конце петух.

Зашел в хату, взял торбу. Марина стояла у печи, словно чего-то ждала.

— Ну чего ты? — Он вернулся и неуклюже, как неумеха, свободной рукой притянул ее к себе.

Она всхлипнула, ткнулась лицом ему в плечо.

— Не надо. Что ты? — проговорил он нарочно строго и отстранил ее от себя. — Все будет добра.

Когда выходил из хаты, Марина перекрестила его вслед. Сам-то он в бога не верил, но все же... помоги ему...

Игнат достал из-под застрехи косу и направился в конец огорода, к осине, оглянулся на село. Туман уже немного осел и плотно держался разве только по канаве да на гати. Надо было поспешать. За ближайшими кустами вроде мелькнула неясная тень. Игнат подумал: не иначе кто-то из мужчин. Может, как и он, выбрался с косой. Но только подошел поближе, тень решительно шагнула из-за кустов. Это был немецкий солдат с автоматом в руках.

— Цурюк! — весело, видать по всему, радуясь впечатлению, произведенному неожиданностью, приказал он и кивнул на село.

— Я косить... траву косить. — Игнат показал на косу и повел руками так, как это делают, когда косят.

— Цурюк! — Голос теперь был требовательнее.

Игнат повернул обратно к огороду. Солдат следовал за ним.

Во дворе Игнат заткнул косу под стреху, отдал торбу жене — она стояла на приступках у сеней, будто знала, что он вернется, — и побрел на улицу. Солдат знаком показал, что идти следует в сторону колхозного двора.

Возле кузни было уже человек пятнадцать. Горавской, Юрчонок, Иваньков, Мацак — с того поселка и Зарецкий, Мелешкевич — с этого. Стояли среди мужчин и старый Анай и горбатый Игнась Казанович. «Значит, загребли всех, кого застигли, а не только...» — смекнул Игнат. Под этим «не только» он подразумевал их группу. Коль гребут без разбору, то, может, все не так и страшно.

Хотя нет. Привели Лександру Шалаю. Был он босой, в своих всегдашних диагональных галифе, в исподней сорочке. Тесемки на штанинах Шалай то ли не успел завязать, то ли ему не дали это сделать, и теперь они мокрые и потемневшие от пыли, хлестали по ногам. Сорочка расхристана на груди, выбилась из штанов, руки связаны сзади.

Вслед за ним вышагивал солдат, на плече дулом вниз он нес винтовку Шалаю. Чуть отстав от него, тащилась старая Маланка, маленькая, сухонькая мать Лександры. Она несла в руках пиджак сына. И как только Лександра и солдат остановились у кузни, подошла к сыну, накинула пиджак ему на плечи. Лександра с сожалением и

как-то жалостливо взглянул на мать, шевельнул плечами, пиджак сполз на траву. Александра сказал:

— Возьми, мама, мне он больше не пригодится.

— Как ты можешь так говорить, сынок! — Маланка ломала руки, диким взглядом обводила мужчин, словно о чем-то спрашивала.

Но никто не проронил ни слова.

— Возьми, тебе он еще сгодится, — хриплым голосом повторил Александра.

Маланка подняла пиджак с земли и осталась стоять с ним в руках.

Вержбаловича привел Стась Мостовский. Руки у Хведора тоже были заломлены за спину и связаны, однако он был выбрит, в чистой рубашке, в ботинках. Лицо спокойное, будто давно ждал этого. Позади за Мостовским шла Вержбаловичева Люба. Она тихо, без слов плакала. По бокам ее, вцепившись ручонками в юбку, тащились двухлетки-двойняшки — девочка и мальчик. Вслед за матерью, насупившись, как волчата, сверкая темными глазами, выступали Вержбаловичевы Миша и Алик. Старшей, Нины, не оказалось дома.

Хведор не выдержал рыданий жены, обернулся к ней:

— Люба, не надо. Я прошу тебя, не надо.

Подожли к кузне. Взгляды Хведора и Игната встретились. Хведор чуть заметно покивал. Что он хотел этим сказать, Игнат не знал, да и не узнает никогда, ясно одно: хотел о многом сказать.

Из своих Стась один был среди немцев. Десять немецких солдат, офицер и он, Стась Мостовский. Черный френч полица с белой повязкой на рукаве, черные галифе и сапоги — все, казалось, давно было сшито на него, и вот наконец он надел все это и вышел перед селом: полюбуйте. Он слишком долго ждал этой минуты, и она настала.

Стась прошелся перед мужчинами, выстраивая их в ряд. Немецкий офицер тем временем приглядывался к одному, другому, третьему... Взгляд его задержался на моложавом, по-детски светлом лице Казановича. Зажатый между мужчинами, тот выглядел мальчиком, очутившимся здесь по какой-то нелепости. И офицер вдруг сделал быстрый, как выпад, шаг вперед, схватил Игнася за ухо и потащил из строя. Лицо Игнася мгновенно налилось краской, он мотнул головой, стараясь вырваться, но облитая перчаткой рука держала цепко. Лишь выведя Игнася перед строем, офицер разглядел острый, выпирающий из-под пиджака горб, уродовавший человека, делавший его чуть ли не вдвое короче. Точно от чего-то гадкого, оторвал руку от уха, брезгливо отряхнул ее, качнул головой в сторону от строя. Однако Игнася то ли не понял этого кивка, то ли не желал понимать и стал обратно к мужчинам, только с краем.

— Стась, для чего ты выставил всех нас тут, перед ними? — спросил старый Анай и глазами указал на солдат. Высокий, сухопарый, в серых, сурового полотна портах, в белой выпущенной рубашке, боконогий, он, как и Игнася, выделялся в этом ряду здоровых молодых мужчин.

— Для чего? Чтоб показать... — начал было Мостовский.

Но офицер не дал ему договорить. Он повернулся к Мостовскому и, коверкая русские слова, словно читая молитву, произнес:

— Скажи им, что сегодня мы забираем коммунистов и командиров, а завтра... Завтра, если они не захотят помогать нам, заберем всех.

— Так вот, отвечаю, и не только ему, — Стась показал на старого Аная, — а всем. Пан офицер говорит: сегодня мы забираем коммунистов и командиров, а завтра, если не будут помогать новой власти, за ними пойдут все.

— Вопцетки, а куда Хведора и Александру? — спросил Игнат.

— Там разберемся кого куда.

«„Разберемся“... Вон как ты заговорил...»

— Вопщетки, как это так, Стась?.. Свой ж люди.

— Были когда-то свои, а теперь... И ты тоже, Вопщетки!

Они смотрели один другому в глаза. И ничего своего в глазах односельчанина Игнат не увидел.

Мостовский подошел вплотную к Лександре, едва не толкнул его животом, тот даже отодвинулся назад.

— Дак что ты говорил вчера в нашей хате? — Мостовский кивнул на Хведора.

Шалай молчал.

— Язык отняло или память отшибло? Дак я могу напомнить.

Шалай вскинул голову, проговорил, выделяя каждое слово:

— Жалко, что мы его не застали... Но все равно мы его доставим.

— Ты сказал: «Все равно мы его доставим и расстреляем», так? — Мостовский сверлил глазами Лександру.

Тот облизал пересохшие губы.

— «Расстреляем» вчера не было сказано, а сегодня я бы сказал.

— Вот именно, все правильно, — с угрозой произнес Мостовский.

Он отошел к офицеру. Тот что-то сказал, и Мостовский тотчас вернулся к мужчинам.

— Пан офицер всех вас отпускает. Можете расходиться по домам. Косить сено, растить детей. — На его губах возникло некое подобие усмешки. — А вы, — он повернулся к Вержбаловичу и Шалаю, — на подводу!

Никто из мужчин не двинулся с места. Смотрели, как садились на телегу Вержбалович и Шалай, как долго не могли усесться: мешали связанные руки. Наконец кое-как устроились в задке, свесив ноги и плотно прижавшись друг к другу, будто связанные вместе.

Мостовский и двое солдат вскочили на ту же подводу, остальные немцы расселись еще на двух, и страшный обоз двинулся. Голосила, билась в истерике Люба. Тихими слезами плакала Маланка. Плакали другие женщины. Мужчины понуро молчали.

Мостовский хлестнул вожжой по лошади, подвода покатила быстрее. Вержбалович вскинул голову, что-то прокричал, но до оставшихся у кузницы долетело лишь одно слово: «Мужики!..»

Ближе к обеду из Клубчи пришел человек. Он принес весть, что Вержбаловича и Шалаю немцы расстреляли и их можно забрать...

Они лежали на соломе около школы. Били их по груди, и у обоих рубахи набрякли кровью. На свежую кровь набросились мухи. Люди боялись подходить, смотрели издали и уходили — подальше от этого жуткого места. Полудни возле школы появился Капский. Широкоплечий, грузный, он двигался тяжело, лицо было мокрое от пота.

Убитые как упали, так и лежали: Хведор — подломив под себя правую ногу, Шалай — упершись затылком в стену, подбородком в грудь. Светило солнце.

Капский перетасил Лександру в тень, положил поровнее на траву, перетасил Хведора, положил рядом. Развязал им руки, прикрыл лица и грудь постилкой.

Забирать их из Липницы поехали Анай и Юрчонкова-старуха. Анай доводился Лександру родным дядькой, а Юрчонкова была повитухой близнецов Вержбаловича. «Нам уже ничего не страшно на этом свете, а на том — бог батька», — говорил Анай, устраиваясь на сене в передке подводы, на которой сидела в ожидании старуха Юрчонкова в большом черном платке, молчаливая, словно неживая.

Мужчины разделились: одни пошли на кладбище копать две могилы, а Игнат с Тимохой Зарецким делали домовины. Не стали ждать, покуда привезут убитых, чтобы снять мерки. Делали домови-

ны навырост, чтобы не было тесно. Давно Игнат не брал в руки стлярного инструмента, давно на его подворье не стоял густой смолистый запах. Не знать бы такой радости вовек.

Роняли слова редко, по крайней надобности — поднести доски, примерить, подогнуть, обрезать... А то и вовсе молчали, погруженные в свои думы.

Всяких смертей насмотрелся Игнат, когда отступал из-под Белостока, — умирали дети, бабы, старики... Страшнее всего бомбы, да если еще человек не попадал под них и не знает, что это такое. Стоит будто вкопанный или бежит, выпятив от ужаса глаза, вместо того чтобы броситься наземь, затаиться, перележать...

Соддатская смерть — дело обычное. Солдату смерть как бы самим уставом предписана. Кто, если не солдат, может и обязан заступить дорогу врагу? И не просто заступить — уничтожить его, чтоб и следа не осталось. А нельзя иначе — так и умри. Умри, но не допусти надругательства над людьми.

Конечно, умирать никому неохота. Но и тут у солдата своя мерка. Он должен уметь убить врага. Пересилить, перехитрить, обмануть и убить. А самому выжить, чтобы делать свое дело дальше и радоваться всему, что есть на свете живое. Для того тебя и строю учили, и винтовку дали, и к орудию приставили. Ты — солдат и ты должен... Не ты на его землю пришел, а он на твою... Со смертью пришел. И ты должен найти способ не дать убить себя... Должен. Но как же так получилось, что двоих — Хведора и Лександры — уже нету? И все вышло так просто! Взяли, как овечек из хлева. Давно ли говорил Лександра: «Мы еще повоюем. А ежели большего не удастся, то хоть свою жизнь разменяю на чужую: смерть на смерть». А вышло, что и этого сделать не успел. И Хведор тоже. Приехали, скрутили руки, поставили к стенке и расстреляли. И помогал ведь свой же, сосед. Да кому помогал!.. «Дай тебе боже разум, а мне гроши...», «Были когда-то свои, а теперь...», «И ты тоже, Вопщетки!..», «Там разберемся... Разберемся!..»

— Вопщетки, если по правде брать, и я должен был лежать разом с ними, — промолвил Игнат, опустив руки с рубанком на доску, которую строгал.

— Не очень много ума надо, чтоб додуматься до такого, — понуро заметил Тимоха. — Мог и ты быть, и я, и другие.

— Хведор с Лександрой заходили за мной, когда шли к Мостовскому, а я как раз перед тем косить выбрался, — вел свое Игнат.

Тимоха пристально посмотрел на него, подошел ближе, навис над ним горбоносым лицом, прошептал, почти прошипел над ухом:

— Тебе хочется землю парить? Так я скажу: твое время еще придет, не волнуйся. Можно сказать, все только начинается, и надо думать.

— Я и думаю, — упрямо повторил Игнат.

В это время тишину Яворского леса взорвал отчаянный тонкий вопль. Он повторился несколько раз и затих, вслед затем послышались причитания. Липница встречала подводу с убитыми.

Хоронили их той же ночью: никто не знал, что будет завтра, а ждать можно было всего. Ярко светила полная луна, отвечивала кора берез, тусклый матовый блеск лежал на высоких мраморных памятниках, и издали чудилось, будто это не памятники, а огромные привидения. Странно и жутко было видеть среди этого застывшего безмолвия людей, темными тенями снующих между могил. Обессиленно всхлипывали исплакавшиеся женщины. Молча, роняя редкие слова, исполняли обязательную в таких случаях невеселую работу мужчины. Гулко стучали молотки, которыми заколачивали крышки домовин, шаркали лопаты, засыпая могилы. Потом цепочка людей потянулась обратно в село.

А на болоте, перебивая друг друга, словно поддразнивая, драли

глотки, аж стонала округа, два дергача. И с такой охотой, словно с насмешкой: драч, драч! драч, драч!.. Прямо хоть позатыкай глотки.

Этой же ночью Игнат с Тимохой ушли из Липниці.

— Время крутое, а бог дважды не милует. Надо самим думать. В Липнице пока что делать нечего,— сказал Игнат Марине.

Идти решили в Ленежку, к шурина Тимохи, а там видно будет. Кого-то ведь должны найти.

На этот раз торба у Игната была тяжелее, чем утром. Вместе с харчами и махоркой в ней лежали и ватник и пара белья. Сходил он в конец огорода к осине, слазал в дупло. У Тимохи тоже был добрый сидор за плечами.

Миновали гать, мимо курганов поднялись к присадам, остановились закурить. Как раз под теми липами, где позавчера стояли Игнат с Вержбаловичем. Старые деревья черной тучей нависали над ними, тревожно шептались. В окнах Казановичева дома блестели огни. Оттуда время от времени доносились голоса.

Небо на востоке начинало светлеть. Мужчины не сговариваясь посмотрели в ту сторону и двинулись в путь. Только не на Клубчу, а правее, через средний поселок и в лес. Оба понимали: оставаться дома нельзя,— однако ни тот, ни другой не знал, что ждет их впереди и когда они возвратятся сюда, под липы. И возвратятся ли вообще. Шла война...

И через годы она продолжается.

Обо всем можно вспоминать, но не все остается в памяти. И хорошо, что не все. Какая память может вместить те годы — день за днем, час за часом?.. Те пути-дороги, и неизвестность, и отчаяние, и голод, и холод, пережитые на этих дорогах. И сами дороги, что пролегли и по Белоруссии, и дальше, и в обратную сторону...

## v

Было ясное июльское предвечерье, когда на небольшой двухпутной станции притормозил свой тяжелый, многотонный бег воинский эшелон и из приоткрытых дверей первого пульмановского вагона на влажный песок — незадолго до этого здесь прошел дождик — полетели один за другим два солдатских вещмешка, а вслед за ними соскочил, пропахав сапогами размокший грунт, высокий сутуловатый солдат.

Из окна паровоза за всем этим наблюдал машинист. Он видел, как солдат, соскочив, встал на ноги и повернул голову в сторону паровоза. Машинист помахал ему рукой. Тот широко улыбнулся, вскинул вверх сжатую в кулак правую руку — салют!

Поезд пошел дальше набирать потерянный разбег. Мимо солдата с тяжелым стоном проплывали платформы с танками, орудиями, теплушки, в раскрытых дверях которых стояли солдаты и что-то кричали тому, на земле. Он смотрел на них с виноватой улыбкой, смотрел и тогда, когда хвост состава вильнул в сторону и скрылся за сумрачной кромкой леса.

Эшелон спешил на восток, туда, где еще шла война. С Японией. Солдат же прибыл домой.

Он стащил вместе оба вещмешка, достал из кармана трубку, набил махоркой, попытался разжечь ее от трофейной зажигалки, но слабый огонек тянулся вверх, махорка никак не разгоралась, и солдат не выдержал — задул пламя и достал из кармана спички. Раскурил трубку, затаился и решил оглядеться.

Самой станции и было всего-то лишь бревенчатый дом на высоком, в пояс человеку, каменном фундаменте по одну сторону путей и водокачка из красного кирпича по другую. В этот предзакатный час омытые дождем рельсы блестели, то вспыхивали, то меркли. Дальше за станционным зданием, у самого леса, под дубами стояли еще две хаты.



«Вопщетки, уцелели, выжили», — удивился солдат, поворачивая голову и обводя взглядом другую сторону железной дороги: за ложиной, заросшей ольховником, черемухой и лозняком, должна была находиться деревня. Она и была там: сквозь гривы кустов на взгорке просматривалась цепочка хат. «И ты выжила!» — обрадовался солдат, взялся за лямку вещмешка, намереваясь закинуть его за спину, и тут увидел: из здания станции вышел человек в форме железнодорожника и направился к нему. Человек приближался, и спокойное безразличие на его лице сменилось сперва удивлением, а затем открытой радостью. Последний десяток метров он не шел, а бежал, припадая на правую ногу.

Солдат тоже узнал железнодорожника и не захотел дожидаться его на месте, бросился навстречу. Это был Андрей Цукора.

Андрей долгое время противился перебираться со своего насыщенного хутора над ставком, однако Вержбалович начал настаивать, и он снялся с места, переехал. Но не в Липницу, а сюда, ближе к станции, заново отстроился. Обживаясь здесь и ногу покалечил. Залез на высоченную ель нарубить сучьев на заплот и, можно сказать, оголил ее доверху — оставалось каких-нибудь суков пять — и тут не рассчитал удара: топор срикошетил и вонзился в колено.

— Игнат?! Браток! Живой? — закричал Андрей, раскинув руки, обхватил и сжал солдата в объятиях.

— Живой, Андрей, живой! И ты, вопщетки, тоже... — растроганно говорил Игнат, похлопывая свата по худым плечам.

— Приехал?

— Ага. Приехал.

— Насовсем?

— Кажись, насовсем.

— Ах не верится...

— А ты думал: уже все, пропал курилка?

— Не хотел думать, да сам знаешь, какое время. А ты как ушел, так и пропал.

— Вопщетки, ты правду сказал: столько было всякого-разного! Признаться, и я не планировал, куда война завернет. Вышли мы с Тимохой к его шурина, сошлись с партизанами. А потом сложилось так, что образовались витебские ворота, можно было пройти через линию фронта и назад, мы и перекинулись туда. А оттуда почтальона не пошлешь: передай привет от Игната. Вот там меня снаряд и перевернул с ног на голову. И мысли не было, что жив буду: и осколки и контузия. Но доктора подключили медицину, подправили, и я пошел воевать дальше. Скажи, как там мои?

— Живы, здоровы... сам увидишь. А ты молодцом, во, вернулся, — заспешил Андрей, но Игнат не почувал в его поспешности ничего подозрительного, стоял, растянув в улыбке рот, похоже, он и сам все еще не понимал до конца, какое выпало ему счастье — вернуться домой. — Так зайдем ко мне. — Андрей взялся за лямку вещмешка, потянул к себе: мешок оказался не настолько легок, чтобы так просто закинуть за плечо. Пошутил: — У тебя тут золото, не иначе.

— Оно и не золото, а не дешевле. Собирая в дорогу, хлопцы подобрали слесарный инструмент и все такое прочее, тут сгодится.

— Еще бы не сгодилось. Сейчас иголка в доме — все равно что когда-то пила или топор для лесоруба. А уж такое, да по специальности...

Игнат подхватил второй вещмешок, и они пошли.

По толстому бревну, служившему балкой разобранного в начале войны моста, перебрались через ручей. По правую руку заросли крушины и ивняка, по левую, несколько отступив от дороги, темнел ельник. Изрезанная колесами песчаная дорога поднималась в гору. На ней и остановил их неожиданный голос кукушки. Он послышался совсем близко, как будто из дубовой бочки.

Ку-ку! Ку-ку-ку! Ку-ку-ку!..

Кукушка словно бы удалялась, но голос ее был все такой же густой и отчетливый.

Ку-ку! Ку-ку-ку! Ку-ку-ку!..

— Знаешь, как давно я не слышал ее? — спросил Игнат, поворачивая голову вслед за голосом. — Можно сказать, уже и забыл, что она есть на свете.

— Тут тоже было не до них, — задумчиво ответил Андрей.

Кукушка смолкла, а Игнат еще долго стоял, напрягая слух, желая услышать еще, но лес молчал. Андрей снисходительно, как больному, улыбнулся Игнату, проговорил:

— Пошли. Теперь у тебя будет много времени, еще наслушаешься.

— А вопщетки, и правда, — улыбнулся Игнат.

У Андрея была небольшая, но уютная хата на две половины, и садик при ней, и хлев. Во всем чувствовался заботливый хозяйский глаз, тяга к порядку и завершенности, и Игнат снова подумал, как долго Андрей противился переезжать с хутора: там у него также было все налажено и обихожено.

Возле двора, огороженного с улицы новым, из окоренного молодого сосняка частоколом, Игнат замедлил шаг, затем остановился.

— Вопщетки, это непорядок: ехать тысячу километров и даже больше — и, вместо того чтобы спешить домой, идти в гости.

— Пошли. — Андрей отворил воротца, дав тем самым понять: он и мысли не допускает, что можно тут поступить как-то иначе. — Не так много у тебя сватов, чтобы раздумывать, зайти или нет. Да и не был же ты у меня вон сколько, и вечер надвигается. Проехал тысячу километров, так уж тут доберешься.

Все верно, и Игнат не стал упираться.

Андреева Ганна обрадовалась Игнату как отцу родному. И плакала и смеялась, что не мешало ей хлопотать у стола, как обычно, когда гостя долго ожидают и он наконец приходит. Ганна и сейчас была открытая и быстрая, как и раньше, с мгновенными перепадами от веселья до слез. Ни смех, ни слезы не затрагивали ее природной душевной доброты и равновесия. И с Андреем они быстро поняли, что им словно бы судьбой назначено жить друг подле друга, но годы шли, а они все никак не могли заиметь ребенка. Это омрачало и незримым грузом угнетало обоих. «Война, по всему, не внесла тут никаких поправок», — отметил про себя Игнат, доставая из вещмешка банку тушенки и приобщая ее к расставленным на столе тарелкам. Но Андрей взял банку и решительно стал заталкивать обратно в вещмешок.

— Не надо, детям отнесешь.

— Детям еще есть, — заперечил Игнат, не давая Андрею настоять на своем.

Так они некоторое время боролись, пока Ганна не сказала тоже твердо:

— Игнат, у нас найдется что поесть и на столе, видишь, не голо, а это отнеси детям. Мы ж вдвоем и оба работаем. Отнеси, ей-богу, — попросила она.

И Игнат подчинился.

Андрей взял в руку стакан.

— Давай выпьем за тебя, Игнат, за то, что вернулся. Это главное. Сколько людей не пришло страх подумать. У нас на селе из пяти хат хорошо, если в две вернулись, да и те — кто без руки, кто без ноги. А ты — слава богу. И все остальное, что может быть... — Андрей перехватил настороженный беспокойный взгляд Ганны и поспешил закончить: — Ага, а все остальное... самый что ни есть пустяк.

Перехватил этот взгляд и Игнат, но поднял свой стакан.

— Ну что ж, вопщетки, ты правду говоришь. Как бы там ни было, на войну идут умирать, хоть каждый и надеется на своего бога. И счастлив тот, кто вернулся. Как подумаю, сколько раз переглядывались со смертью, то не верится, что так полюбовно разошлись. Взять хотя бы, как при оружии был. Ляснет — и все тут. Когда снаряд летит на тебя, его уже не подправишь. Не скажешь ему: «Возьми чуток левее или ближе». А гляди, как вышло. И одно орудие разбило, и второе перевернуло, а я остался. Первый раз троих накрыло, второй — двоих. Во какая алгебра. Правда, когда перешел в артиллерийские мастерские, экспозиция изменилась. Там больше работа была, война дальше отступила. И во, видишь, приехал. Так уж она распорядилась.

Игнат махнул рукой и с некой отчаянной решимостью выпил. Поймал вилкой ломтик сала, вкинул в рот.

Сидели, закусывали, вспоминали, как доводилось тут и что было там.

Ганна тоже выпила горелки и, хотя смелости ей никогда не надо было занимать, почувствовала себя смелее обычного.

— Игнат, вот ты только что оттуда, из Германии. А как у них там?

— Что — как? — переспросил Игнат.

— Как живут они? Вот у нас повертались некоторые, кого немцы взяли, когда отступали. Так они говорят, что там у них бабы, окромя комбинашек, никаких сорочек не носят. Правда это?

Андрея словно подбросило на лавке. Он круто посмотрел на жену: о чем ты, баба, думаешь? И не смолчал:

— Ты больше не додумалась, о чем спросить?

— Дак они вот так и говорили: там бабы, окромя комбинашек, никаких сорочек не носят, — повторила Ганна теперь уже для Андрея, однако понятно было, что отвечать на этот вопрос надобно Игнату.

Игнат озадаченно потер рукой щеку, будто проверяя, хорошо ли выбрит, хотя выбрит был чисто.

— Должон заметить, мне тут трудно что рассказать. Навроде как не по моей это части.

— Как до баб, так по вашей, а как для баб — не по вашей. — Ганна покраснела. Видно было: она и стеснялась говорить на эту тему, и в то же время ей очень хотелось знать, как оно там, у них.

Андрею это явно не нравилось, но на сей раз он смолчал.

— Вопщетки, я не то что совсем ничего не могу сказать, а что могу сказать — мало. Мы делали свое дело, я работник оружейных мастерских, ну там прицельная планка, инструмент поворотного механизма, щит там, допустим, а это...

— При чем тут поворотный механизм? Ты был в Германии?

— А откуда ж я как не оттуда?

— Вот и расскажи, как оно там... Хотя... Все вы одинаковы. Добейся от вас правды.

Игнат и теперь не очень понимал, что именно хочет услышать Ганна, и начал несколько издалека:

— Вопщетки, я не люблю тумана. А ежели ты, Ганна, хочешь в открытую, — тут Игнат даже голос повысил, — то могу сказать по-вашему, по-бабьи... Не знаю, что они и как на себя напяливают, с кружевами там, махрами или без всего этого. Надо сказать, и для них не то время было. Когда за окнами барабанят чужие танки, а свои солдаты бегут кто куда может, мало кто отважится выйти на улицу, чтобы похвастаться новым платьем. Хотя что до меня, то бабы всюду одинаковые и всегда найдут причину показать свое. Важно только, в какой порядок она поставлена.

— Так уж и одинаковые, — не то рассмеялась, не то осерчала Ганна. — Были бы все одинаковые, то не было б всяких... разных.

Игнат понял, что копнул не в ту сторону, поворотил обратно.

— Заняли, значит, мы городок, ну, может, как наши Осиповичи, потому что Бобруйск уже намного больше. Заняли наши, мы пришли после, мы — тыл, боевое обеспечение, ремонт, мастерские. Боев больших там, считай что, и не было, то и у нас работы немного... И один раз мы вышли в город, увольнительную дали нам — помощнику начальника мастерской Ивану Новосельцеву и мне. Интересно поглядеть, что за город. Когда еще доведется. Городок аккуратный, чистый, как на картинке. Его и не бомбили и не обстреливали: они боялись в котел попасть, отступили, а мы заняли. Домишки прижались один к другому, крыши по большей части острые, черепицей крытые, вроде нашей мельницы. И — ни живой души: городок будто вымер. Идем по улице, автоматы, конечно, при нас, но не по себе как-то: не может быть, чтобы город остался, а людей не было. Знаем, что есть и, конечно, видят нас, только не показываются. Будто попали в какое-то безлюдное, мертвое царство. Иван Новосельцев хлопец высокий, стройный и грамотный. Он и по-немецки хорошо понимал — и говорить и читать. Как признался потом, он с немцами еще до войны встречался, приезжали какие-то спецы к ним на завод. Ходим. Он читает, пересказывает мне, где какая лавка, циркульня, и все равно неприкаянно на душе. И еще, скажу вам, видел я, как немцы оставляли наши города и что от них оставалось, и злость на них берет, даже на этот городок: вот же чистенький, целехонький, и окна, и витрины. Это я про себя. А приказ суровый: не трогать ничего, иначе... А что иначе — штрафной батальон. И вот Новосельцев остановился перед одним двухэтажным домом — что он там прочитал, не знаю, но как-то хитро усмехнулся и спрашивает у меня: «Зайдем?» «А что это?» — спрашиваю в свою очередь. «Что-то веселое, — говорит. И по-немецки название этому дому. — Зайдем, а?» Не понимаю, правду он говорит или брешет. Брешет, видать, но вижу: очень уж интересно ему знать, что там, за этими дверьми. А двери красивые, по краям красной медью обшиты, железные выкрутасы разные, и все так мудрено переплетено, вроде как и не металл это, а, допустим, лоза. На что Максим, наш коваль, может сделать такое что на загляденье, попотевши, а тут не знаю, что и он сказал бы. За железом фигурное стекло темное-желтое. Скажу, и меня любопытство взяло, хоть я и старше его и приказ имеем категорический: в ихние дома — ни богу ногой, чтоб ничего такого. Было, что и пропадали люди ни за что ни про что: вошел и не вышел, откуда ты знаешь, кто за теми дверьми. И под трибунал можно пойти. А что такое трибунал, когда война на сгон идет, победа, считай, впереди светит, оркестры скоро марш заиграют... Но опять же, быть там и ни глазом не глянуть ни в одну хату — никто не поверит, во как ты. — Игнат повернулся к Ганне.

— А что я? — засмеялась Ганна. — Я — баба. Мне все интересно.

Игнат достал трубку, хотел было закурить, но Андрей удержал его за руку, показал на чарки. Выпили. Игнат опять взял трубку. Набил ее, раскурил, затянулся и словно бы повеселел, озорным взглядом кинул на Ганну.

— Говорю Новосельцеву: «Ладно, хоть ты и выдумываешь, но где наша не пропадала, пошли».

Заходим за эти двери, а там прихожая, два дивана мягких, столик на низких ножках. Выходит женщина, пожилая, но аккуратная, чистенькая. Новосельцев сказал ей что-то. Она исчезла и тут же вернулась с двумя альбомами. Вопцетки, сели мы, начали смотреть альбомы, фотокарточки. Красивые девчата такие, молодые, которая так сидит, которая эдак, которая курит, а которая смеется...

— А одеты во что? — добивается своего Ганна.

— А во, в чем мать родила.

— Совсем?

— И совсем, а если и есть что-нибудь, так тоже как совсем.

— А бо-о-о! — всплеснула ладонями Ганна. — Тут во, бывает, летом искупаться захочется, и то ищешь место, чтоб никто никогда...

— Во, а ты говоришь: никаких сорочек, окромя комбинашек, — расхохотался Андрей.

— Ай, что ты знаешь, — незлобиво отмахнулась от него Ганна. — Ну и что дальше?

— Я как увидел эти фотокарточки, сразу встал: «Пошли, Ваня, нечего нам тут...» Но он опять: «Игнат Степанович, раз уж зашли, поглядим». А что там глядеть? — Игнат поморщился, махнул рукой. Видно было: ему не больно нравилась и сама эта история, и то, что он начал рассказывать ее. Да куда денешься, начал... — Подошла как раз эта женщина. Новосельцев и говорит: «Идите, Игнат Степанович, а я здесь побуду». Вопщетки, можно было и не ходить, — дело добровольное... Словом... повела она меня по коридору. Подвела к двери, кивнула: мол, ступай. Я еще сомневался, да она весело подтолкнула вперед. Ну что ж, отступить некуда, можно сказать, сам напросился. Открыл я дверь, вошел. Маленькая комнатенка, кровать, столик, пара кресел. За столиком боком ко мне сидит девчурка... облокотилась на столик. И совсем голенькая. Взглянула на меня, сначала вроде испугалась, но тут же заулыбалась, залопотала что-то, показывает: смелей, мол, раздевайся. А я... знаешь... сапоги, шинель, пилотка... Столько дорог, дым, грязь... Война — это тебе не прогулка в Курганок на танцы. Вопщетки, вроде увидел себя сбоку. И она, девчурка... как Соня моя, может, чуть постарше... И так мне не по себе стало, так гадко, будто хотел злодейство какое-то над собой и над всем светом учинить. И злость на фашистов всех этих. Надо же до такого людей довести... Повернулся я и назад за дверь... А Новосельцев сидит за столиком, с той женщиной растабаривает. «Вопщетки, — говорю ему, — пошли-ка отсюда, и чем скорей, тем лучше». А самого аж трясет.

— С таким и ушли? — не то с радостью, не то с разочарованием спросил Андрей.

— Ага, — мрачно ответил Игнат. — Новосельцев извинился перед хозяйкой того заведения, достал из сумки банку тушенки, оставил на столике, и мы пошли. Потом мы с ним никогда не говорили об этом и никому не рассказывали. Кому расскажешь? А тогда вышли, я и говорю ему: «Ну что, сходили в гости?» Он мне: «Я наперед знал, что тем все кончится. Но, Игнат Степанович, это тоже надо увидеть». «Видеть-то видеть. А если б им вздумалось провокацию против нас организовать — как бы ты на это посмотрел?» — «Против провокации я и остался в коридоре...» — «Ну а кабы я... Ну, вопщетки, это самое... Война, когда я видел ту женщину... Ну если б я... Что тогда?» — «Война есть война, а мы — люди...» А потом рассказывает: «Я спросил у хозяйки: как же мы расплачиваться будем?..» Марки что, марки уже были ничто. И она ответила: «Вы победители и вы первые зашли... Мы вас бесплатно обслужим». Ну и разошлись я на него тогда. Победители... Может, с месяц прошло после того, мы переезжали на новое место, и налетели откуда-то самолеты, бомбить начали. Одна бомба накрыла их машину. Зачем он остался сидеть в машине, когда все по канавам лежали, не знаю. Вот так, Ганна... Скажите-ка лучше, как там мой? Давно вы их видели? — спросил Игнат уже о своем.

— Не сказать чтоб давно... Живут... Сам увидишь, — забеспокоился, будто виноватый в чем-то, Андрей.

— Ты налил бы еще, — подсказала ему Ганна, поглядывая на мужчин напряженным взглядом.

— Нет, мне достаточно, — остановил Андрееву руку с бутылкой Игнат. — Ты, вопщетки, имеешь что-то мне сказать, да не осмелишься. Так давай!

— Ну что ж, — начал Андрей, — если б не встретились мы с тобой, пусть бы лучше другой кто сказал тебе все это, а раз так полу-

чилося, должен буду сказать я. На мою долю выпало быть твоим сватом, так, видать, до конца. Дома у тебе не все ладно. Как оно и что, сам увидишь.

— Сам увижу — это ясно. Живы все — дети, Марина?

— Живы...

— Тогда что же? Другой мужик в хате?

— Был. Теперь, кажись, нет. Марина выпроводила его. Выпроводила, как только пришло от тебя письмо.

— Ясно.— Игнат сжал зубы, на скулах заострились, окаменели желваки.— Ясно. А кто он?

— Из партизан. Стоял в твоей хате, был тяжело ранен, долго не мог оклематься. Так и...

— Прижился,— ответил за него Игнат.

— Не прижился, раз выпроводила,— резко вмешалась Ганна.

— И что ж мне теперь делать? — тихо спросил Игнат.

— Что делать? Домой идти,— снова заговорила Ганна.— Домой. У тебя дети, трое их. И они ждут батьку. А сами разберетесь. Разберетесь как-нибудь. Мало ли что бывает на свете, мало что людям видится. Надо самому поглядеть, разобраться.

— Вопщетки, это так. Надо будет разобраться,— спокойно заметил Игнат, так спокойно, что Ганна удивленно уставилась на него: не показало ли ей это? Игнат глубоко затаился, выпустил дым, найгранно веселым тоном произнес: — Вот тебе, брат, и «ку-ку-ку». Первая кукушка, первая радость.

— Что за «ку-ку-ку»? — переспросила Ганна.

— Так,— махнул рукой Андрей.— Шли со станции и услышали кукушку.

— Ну и что?

— Ничего,— сказал теперь уже Игнат.— Я давно не слышал, как они кукуют. И вот услышал... Кукушки всегда кукуют в два выдоха, дуплетом — «ку-ку», а эта с тройным доворотом — «ку-ку-ку». Аж дивно.

— Ну и нехай себе,— не могла взять в толк Ганна.

— Конечно, нехай себе. Просто это моя первая кукушка дома. Да-а... Так что, вопщетки, сегодня мне, наверное, выбираться в дорогу не стоит?

— О какой дороге ты говоришь? Ночь на дворе,— неожиданно рассердился Андрей.

Желая успокоить, Игнат хлопнул его по плечу и задержал на нем руку. Потом встал из-за стола.

На дворе и вправду была уже ночь. Внизу за огородами лежало болотце, текла речка, и оттуда тянуло свежестью.

Вспомнился Игнату последний вечер с Хведором Вержбаловичем: и тот дергач, и звон лошадиных пут, и тревога в душе и на земле. На какое-то мгновение ему показалось, будто ничего с той поры не изменилось и вообще ничего не произошло, что это тянется все тот же вечер. Но это ощущение сразу же сменилось суровой и ясной трезвостью, пониманием неизбежности всего, что было после той ночи. И та неудачная попытка уйти к партизанам, и немцы с Мостовским, и ночное кладбище... И все то, что было и последовало затем — их скитания с Тимохой, потом партизаны, переход через линию фронта, ранение, госпиталь, и снова фронт, и Германия, и вот это возвращение домой, и то, чем встретил его родной дом. И он почувствовал некую вину перед Хведором и Лександрой, словно причиной всему, что случилось и как случилось с ними был не кто иной, как он. Игнат. Точно он был виною тому, что им скрутили руки и увезли в Клубчу. Увезли, чтобы загубить, загнать в землю.

По стежке, ощущая росяной холодок от ближних загонов картофеля, Игнат спустился вниз, к речке. Над ней стоял густой туман. Он

затопил всю низину, а выше над ним темнел гребень леса. Остро пахло вянущей травой и еще чем-то очень знакомым. Будто где-то тут, на луговине у речки, приостановилось стадо коров. Их только что подоили женщины и оставили на пастуха, а сами сейчас двинулись в село, повязав ведра сверху от мух и пыли чистой белой холстиной. Надо только подождать немного — и увидишь их. И с ними Марину. Косынка надвинута на лоб, повязана на затылке, и под нее спрятаны, подобраны волосы. Идет, чуть покачиваясь на своих маленьких упругих ногах. Ведро в правой руке, левая для равновесия слегка отведена в сторону, она взмахивает ею и под белой вышитой кофтой в такт взмахам подрагивают груди. Игнат даже застонал от столь живого воспоминания. Воспоминания, которое так часто приходило к нему...

Постоял немного на возвышении у ольхового куста, будто и впрямь надеясь увидеть, как из тумана с оживленным гомоном выйдут спокойные, смягчившиеся женщины. Игната всегда удивляла эта перемена в них. Собирается иная на дойку — ворчит, покрикивает, кипятится, а побудет наедине с коровой, поговорит с ней, подоит — и словно подменяет ее: станет добрее, оттаит душой. Идет обратно, весело переговаривается с другими бабами, и лицо светится добротой и лаской. Будто корова — сам поп-батюшка: она и выслушает, и успокоит, и разумному научит. С мужиком будет браниться, кричать, кипятиться, а к корове — с теплотой, с добрым словом, с лаской. Знает: накричи на нее — и можешь без молока пойти. Вот так бы и людям друг с другом. Со скотиной научились разговаривать, а меж собой разучились.

Никто из тумана не вышел. Потом вдруг за спиной застонала земля. Задрожала, и, прорезая ночь слепящим клином огня, через станцию прошел тяжелый эшелон — снова туда, на восток. И Игнат позавидовал всем, кто был в этом эшелоне: они знали, куда едут. Впрочем, так ли уж знали?

Игнат возвратился ко двору Андрея, сел на лавочку у ворот. Ехал домой — все было ясно: приходи, засучивай рукава — и за работу. Ведь кругом ее — делай не переделаешь. Мужик воюет — земля плачет.

Все у него было спланировано задолго до того, как пропахал сапогами влажный песок на своей станции. Сложить пристройку к истопке под мастерскую. А пока не готова пристройка, можно и в хате отвести угол. Он там и был у него когда-то — по правую руку от двери, около окна. И видно и сподручно — и что надо внести и вынести. А свежая сосновая либо кленовая стружка никогда не вредила здоровью. И вот все твои планы — собаке под хвост. Андрей попусту не стал бы огород городить. Не тот человек. Хорошо еще, что встретились, что хоть предупредил. Другой мог бы и умолчать. Кому охота чужие прорехи перетряхивать. Пришел бы и увидел сам: «День добрый! Вопщетки, 'это я!» «А кто такой ты? Твое место уже занято...»

Сидел Игнат, размышлял, почему все так вышло. Кажись, все было, как у людей. Ну не без перекосов, не без того, чтобы иной раз обозвать крутым словом. Крутое слово — не кривое. На что уж голуби полюбовные птахи, да и то, случается, грозятся друг на дружку, а это ж люди. Не так взглянул, не так ступил... Не то, не так... Тебе кажется — не то, не так, а по мне в самый раз. Всякий видит жизнь по-своему, особенно если человеки эти мужик да баба.

Однако потом, коли в голове что-то есть и козь сошлись вместе не просто так, не из чужого бору и не людей смешить, можно столкнуться. Легко сказать: горшок о горшок — и вон из родни... Одни черепки посыплутся. А дети не черепки. И опять-таки, может, издали и виднее, что у обоих носы кривые, да ведь и с кривыми носами люди умудряются жить и даже целуются. Это если разум до кучи, а не враздобрь.

Он знал: бывает, и даже часто бывает, что мужик с женкой расходятся,— но всегда считал: недолго они думали, перед тем как сойтись, а еще меньше — разойтись.

Допустим, разошлись со своими Адам Яблонских и Володя Цедриков, так у них сразу видно было: толку там навряд ли много будет. Надо было иметь Адамов гонор, чтобы взять в жены Лелю и еще думать, что из этого что-нибудь путное получится. Она баба что твой стог, идет — земля прогибается под ней, а он заморыш, сморкач рядом с ней, одно что шляпа на голове. У Цедрикова же вроде и лучше складывалось. Мужчина он под потолок. Люда намного меньше его. Но прожили лет пять вместе, а детей не нажили, как и Адам с Лелей. Потом как будто кто подсказал: поменялись — и все стало на место. И у тех дети пошли и у этих. Мужики посмеивались еще: не там искали. А тут вроде и там искали и то...

Сидел Игнат, посасывая трубку. Вышел Андрей, присел рядом.

— Пошли спать, Игнат, с дороги ведь... Там все уляжется.

— Вопщетки, оно так. Дорог довольно было, набралось. Полсвета обошел. Тот же мой Новосельцев говорил: «Мы, Степанович, должны понимать свою миссию. Пол-Европы прошагали — когда такое бывало? И не просто прошли, а чтоб очистить ее от фашизма, чтоб никто и никогда больше не помышлял ни о чем подобном». Но самому, бедняге, совсем трошки не хватило довести эту миссию. Как-ких-то двух месяцев.— Игнат осветил трубкой лицо, и Андрею показалося: глаза его вроде бы повеселели.— Тут ты правду говоришь: уляжется. А не уляжется — утопчем. Ага, утопчем. Пошли. Ночи сейчас короткие: не успеет как следует зачернить, глядишь, снова на ясное повернуло.

Однако долго еще Игнат не мог уснуть. Все думалось, вспоминалось...

Тревожный сон сморил его лишь под утро, когда за окнами совсем рассвело, но тревога не оставляла и во сне, она жила в нем, точно осколок в здоровом теле. Он слышал, как встала Ганна, как выгоняла корову в стадо, затем хлопотала у печки, наконец побежала на работу.

Завтракали вдвоем с Андреем — молча, каждый со своими думами. Слова казались излишними. Игнат попросил Андрея передать детям консервы.

— Или сам попадешь в Липницу, или, может, кто из детей заглянет к тебе. Скажи — от военкомата, а про меня ничего не говори. Пока что я на фронте, а там будет видно.

И опять ушел в свои тяжелые мысли. Слезами начинается война да слезами и кончается. Понасыпает могил, наплодит сирот и вдов — тут не плакать уж просто нельзя. Хоть бы душу слезами омыть да обдумать жизнь дальше. Плачь не плачь, а жить надо. У человека ведь руки есть, и они не только для винтовки приставлены, хотя иной будто только ее и умеет держать.

Он оставил у Андрея и один вещмешок со всеми слесарными инструментами, тщательно завернутыми в промасленную материю. Да попросил топориче: топор он тоже привез с собой — знал, куда едет. Насадил топор, завернул в тряпку, сунул в вещмешок.

— Так куда теперь? — поинтересовался Андрей.

— Робить работу. Топор и то-другое у меня есть, а рукам работа нужна...

— Еще бы не нужна,— задумчиво произнес Андрей.— Работы хватит. А дети, дети как?

— Дольше ждали, подождут еще...

— Подождать-то подождут, а все же я советовал бы тебе подумать...— Андрей не договорил, о чем подумать.

Игнат улыбнулся с печальной хитринкой:

— Вопщетки, батюшка тоже советовал грешнице податься в рай,



а та все равно в пекло заблудила.— Он протянул руку.— Бывай. Пойду в сторону Бобруйска. Села там побольше, значит, и работы больше.

«И села побольше, и от дома подальше»,— подумал Андрей, однако ничего не сказал.

Пожали друг другу руки, и Игнат зашагал по селу — высокорослый, сутуловатый, с солдатским вещмешком на правом плече. Вещмешок, казалось, нисколько не тянул вниз, вроде бы распрямлял спину. И из него торчало затянутое бечевкой новое березовое топорщице. Игнат удалялся, а топорщице долго еще виднелось белой заплатой на сером поле шинели.

## VI

Работу Игнат нашел в тот же день пополудни. Шагал, время от времени перекидывая вещмешок с плеча на плечо, через одно село, через второе и третье. И первое, и второе, и третье назвать селом могли лишь тот, кто хорошо знал их прежде. Две-три бог весть чьей милостью уцелевшие хаты, а в большинстве землянки и погреба. Как будто из самой земли торчит труба, из трубы тянется дымок. Тут же в песке греются куры, играют дети.

И свое накипело в душе Игната, а эти картины добавляли еще более страшно. В который раз припоминался тот чистенький, аккуратный, не тронутый бомбами и снарядами немецкий городок, по которому они гуляли с Новосельцевым. Были злость и чувство великой несправедливости: по какому праву люди творили такие разрушения, такой разбой на этой тихой земле? Идешь вот уж сколько километров — и не найти села, где все было бы, как должно в селе: чтоб и хаты, и хлева, и сады.

Наконец-таки нашлось. Стояло это село на пересечении шоссе с рекой, на более высоком ее берегу. Несколько приземистых кирпичных домишек, остальные все бревенчатые. За рекой, как окинуть оком, тянулась широкая заливная пойма, еще дальше вставал лес.

Село делилось на несколько улиц. Где-то в стороне от главной из них таяли два топора, и Игнат свернул туда. Кто-то строил хату, сруб был подведен пока только под окна, и на нем, оседлав бревно, сидели двое голых до пояса мужчин — один постарше, с усами и сединой на висках, другой с черными как смоль волосами, оба в солдатских шароварах, с топорами в руках. Игнат подошел, поздоровался.

— Слезайте, хлопцы, передохните, в старости не отрыгнется.

Они слезли, присели на бревно. И только теперь Игнат разглядел: у того, усатого, левая рука была отхвачена по самое запястье. Второй вроде остался невредимым. Две пары солдатских сапог с кирзовыми голенищами стояли тут же под стеной.

— Столько лет в сапогах без отдыха,— заметил младший, перехватив взгляд Игната.— Нехай ноги хоть ветерок почуют.

Игнат согласно кивнул: он-то понимал это желание подставить ветру или солнцу живое тело. Бросил взгляд на белые солдатские ноги: одна была здоровая, другая прошита малиновыми рубцами. Видать, крепко покромсало, сшивали из остатков...

Что нужно солдату для знакомства? Пара затяжек да несколько слов: где воевал, где ранили, как остался жив. А если еще на одном фронте воевали, то и вовсе родня.

Оказалось, строят хату Василине, сестре того, что моложе. До войны и в войну она с двумя детьми сидела неподалеку отсюда, в соседнем селе, пока не сожгли его фашисты. Хорошо хоть сама с детьми успела укрыться в лесу. Мужик погиб где-то в той же Германии, и баба присмотрела место рядом с сестриним домом. Ближе к родне как-никак смелее: тут и сестра и брат.

Вскоре пришла и хозяйка хаты — высокая женщина с продолго-

ватым приятным лицом, охваченным прямыми черными волосами, гладко причесанными на пробор. Что-то умудренное, мученическое, как у святой, было в ее печальном лице. И Игнату сразу почему-то вспомнились сожженные деревни, через которые в тот день он проходил.

Женщина принесла обед — она готовила его у соседей в печи. Сказала и Игнату снимать шинель и присаживаться.

Игнат на это заметил, что у него в вещмешке завязан топор, но пока что он никакого задания себе не придумал.

— Тогда Василина придумает тебе задание, — сказал усатый вроде бы в шутку, а вышло всерьез.

Игнат сел обедать.

Усатый хоть и с культей, а мог и бревно обтесать, и на углу недурно сидел. У младшего же еще не было сноровки и рука меры не знала, иной раз как зацепит топором — хоть выбрасывай бревно. И все-таки в три топора дело пошло более споро. Через неделю положили балки, а там и стропила поставили.

За работой Игнату было легче. А ночью, оставшись один, не мог пересилить боль, которая раскаленным куском железа жгла в груди.

Чаще всего вспоминалась почему-то одна незадача, случившаяся вскоре после того, как поженились. Привез он Марину, и в его доме она сразу нашла себя, словно всю жизнь здесь прожила. Что со скотиной, что с кроснами, когда и успела научиться, совсем ведь девчонка еще, только что коса...

Коса... Поглядел однажды он в районе на трактористок, на их короткие, ровненько подрезанные волосы, и захотелось, чтобы и она так сделала. «Ты что, сдурел? Как я без косы?.. Им, комсомолкам твоим, куда те косы при машине? Еще прихватит и втянет которую. А как в селе без косы?»

Сама не сделала по-доброму, так он сделал по-дурному. Подкрался с ножницами к спящей и отрезал. Да так высоко, что волосы и ушей не закрывали. Несколько месяцев платок с головы не снимала, людей стеснялась. А гвалту было — хоть домой не показывайся. И в самом деле по-дурному сделал. Кому они мозолили глаза, такие волосы? Бывало, вымоет в польнном щелоке, просушит, так всю подушку укроют, а уж как пахли... Наверно, и теперь лежит та коса где-нибудь в боковом ящичке сундука вместе с разными шпильками, нитками...

Хата у Василининой сестры оказалась просторная, пожалуй, даже огромная, и она отвела Василине с детьми одну половину. Там можно было и Игнату спать, на канаве, однако он не захотел: «Много ли солдату надо: охапка сена под бок, шинель на себя — и спи себе на здоровье». Рай да и только.

Руки скоро привыкли к топору, а душа места не находила.

Притих как-то Игнат со своими мыслями, слышит — скрипнули ворота.

— Есть тут кто живой? — послышался голос Василины.

Она хотела казаться веселее, смелее, чем обычно.

— А как же, есть, — ответил Игнат.

— Пришла глянуть, хорошо ли тебе тут. Не надо ли чего? — Голос доносился все оттуда, от ворот.

— То погляди... Лестница вот тут, у столба. — Игнат зашуршал сеном, подавшись ближе к выходу. — Дай руку, а то заблудишься.

— В такой темени можно и заблудиться. — Василина подала руку.

— Тут во подушка, тут постилка, тут и шинель...

Василина на ощупь нашла постель, но садиться не спешила.

— Ничего, кажется, жить можно.

— Раз живу, то можно. И одному можно, а вдвоем...

Игнат потянул ее за руку, и она покорно, как надломленная, опустилась рядом на постилку. Он притянул ее к себе за плечи, нашел губы. Она не сопротивлялась, но когда рука его нащупала пуговицу на коф-

точке, содрогнулась вся, словно ток прошел по ней. И тотчас будто очнулась, порывисто, отчаянно бросилась к нему...

Потом она приходила к нему еще несколько раз. И все у них было, как и должно быть между мужчиной и женщиной, однако отпускал он ее легко, как если бы между ними ничего и не было. Последний раз Василина долго лежала подле него, молчала. Игнат знал, что она не спит, но ему не хотелось говорить. Он нащупал шинель, набил трубку, закурил. Никогда не делал этого на сене, а тут закурил.

— Ты, Игнат, наверно, болен. Здоровый мужчина не может быть таким,— проговорила она.

— Каким таким?

— Таким... холодным. Ты бы хоть притворился, что ли.

— Чего не умею, того не умею.

— От тебя холод, как от ледовни... Даже когда... когда у человека все горит...

— Ты больше не приходи сюда,— сказал он.— Не приходи.

Она говорила правду, и он тоже сказал правду.

— Я не приду. Я после первого раза думала не приходить, да... Видела, какая одинокая твоя душа, как тебе тяжело... и хотела...

— Сделать ей легко?

— Не легко — легче... Не для себя... Я знаю, ты тут долго не завашишься...

— Много у вас, у баб, сердца, к нему б еще разум...

— И кем бы вы были возле такого сердца? Челядниками?

— Вопщетки, может, и челядниками, а все-таки...

Крышу уже кончали решетить. Игнат сидел на самом верху и вдруг почувал, что с другой стороны улицы не сводит с него глаз мальчонка лет семи. Он давно стоял там. Постоял, сходил куда-то и вернулся обратно. Мальчишкам всегда любопытно, где что делается. Но этот давно стоял. Босиком, в холстинных штанишках, в сорочке и пиджачке, с крашеной торбочкой, с какими в школу ходят. Мальчонка поймал на себе взгляд Игната и отвернулся, стал глядеть на гнездо аиста, что сплюснутой шапкой сидело на липе в соседнем дворе.

Дело шло к осени, молодые аисты уже встали на крыло, где-то на болоте пугали лягушек, уступив свой дом в полное распоряжение воробьям, и те надсаживались в крикливом веселом азарте доказать что-то миру. На сей раз крик был беспокойный, всполошенный. Игнат повел взглядом по липе и увидел причину птичьего беспокойства: это был большой черный кот. Он добрался уже до спиленных верхних сучьев, на которых покоилось то гнездо. И Игнат видел, как мальчонка размахнулся, и пущенный им камень щелкнул в кору перед самым носом кота. Тот с испугу припал на лапах к стволу, крутнулся, как белка, и с высоты, распластавшись в воздухе, сиганул в огород на грядку. Мальчонка рассмеялся и вновь глянул в сторону Игната. И Игнат почувствовал, как расслабляющий жар прошел по всему телу. Не вставая нащупывая ногами решетины, он спустился на край крыши, потом по лестнице уже быстрее, а там через двор по щепе поспешил на улицу. Мальчик стоял на месте, уставясь на Игната серьезными, как у взрослого, глазами. И Игнат, не имея мочи идти спокойным шагом, бросился к нему:

— Леник, сынок!

Он подхватил сына на руки, прижал к себе, ощутил мелкую, птичью легкость худенького тела. Леник поморщился, закрутился, высвобождаясь:

— Пусти, больно...

— Что болит?

— Спина болит.— И уже когда Игнат поставил его на землю, виновато улыбнулся:— Я ловил в канаве вьюнов, а Антось Яблонских подкрался из-за кустов и из рогатки. Видишь?— Он повернулся к Иг-

нату спиной, задрал пиджачок вместе с сорочкой, обнажив тело: вся спина была посечена засохшими, точно заживающая короста, ранками.

— Чем это он тебя?

— Жерствой. Насыпал в рогатку да как шарахнет...

— Да за это, знаешь, что полагается?

— Они свое съели. Мы подкараулили их — Антося, Стася ихнего, Петю Зининого — и так всыпали, что надолго запомнят.

— Что же это вы так?

— Воюем... Как партизаны с немцами.

— И кто ж немцы, а кто партизаны?

— А мы меняемся: неделю они, неделю мы.

— Никудышная это война... А как ты тут объявился?

— Тебя искал. — Леник поднял глаза на отца и скорее приказал, чем попросил: — Пошли домой. Мы тебя давно ждем.

Он стоял перед отцом — босой, с черными от пыли, в ссадинах ногами, в истрепанных штаниках. Большая, давно не стриженная голова на тонкой и длинной шее, большие серые глаза, затаенное упорство на лице.

— Давно? — будто не поверил Игнат.

— А как дядька Андрей консервы принес, только про тебя и думаем...

— Вопщетки, так это, выходит, он подсказал, что я тут?

— Ничего он не подсказал. Просто мы все догадались, что ты есть, а домой идти не хочешь... Я подъезжал с ним за гать и сказал, что пойду искать тебя. Тогда он сказал, чтобы я шел по дороге на Бобруйск. Я уже второй день тут.

— Второй день?

— Ага. Вы тогда только начали жерди прибивать.

— Где ж ты ночевал?

— В пойме, в стогу. Там их чоршта. — Леник качнул головой за реку. — Ну пошли, тата.

— Добра, сынок, пойдем, только пообедаем. Ты ж, видать, голодный?

— Ага... Да можно и так. Там брюква, за селом, растет.

— Брюква брюквой... — Игнат глянул на своих напарников. Они сидели по-прежнему наверху.

— Что, сын батьку нашел? — поинтересовался усатый.

— Вопщетки, так. Сын батьку, а батька сына. Так что, хлопцы, заканчивайте сами, а я должен идти...

— А то как же, идите счастливо.

Василина поняла все с первого взгляда. Скоренько собрала на стол. Ленику дала молока, хлеба. Он ел, жадно глотал непрожеванные куски, запивал молоком, а она с болью и печалью смотрела на него, и две крупные слезы словно сами по себе скатились по щекам.

— Ну это ты зря, — рассердился Игнат, и она спохватилась:

— Спасибо тебе, Игнат, за все... за помощь... Не знаю только, как и...

Он вновь рассердился, не дал ей договорить:

— А так — и все тут... Думал: вместе закончим, да хлопцы уже сами... А ты... Словом, будь здорова, Василина.

Василина догнала их уже на улице, протянула Игнату торбочку с чем-то тяжелым и твердым.

— Что ты выдумываешь? — Игнат не хотел брать торбочку.

— Возьми, ей-богу, возьми. Тут сало и хлеб... Ты ж видишь нас есть, а у вас... Возьми...

— Ну чего ты стоишь? Бери, да пошли, — выручил Леник.

Игнат посмотрел на сына, затем на Василину, взял торбочку, развязал, переложил сало и хлеб в свой вещмешок, торбочку отдал обратно.

Они прошли километров пять, когда их догнал воинский «студебекер», направлявшийся в район. Игнат закинул в высокий кузов вещмешок, помог Ленику залезть и сам забрался. Стояли, опершись на кабину. Ветер дул в лицо, трепал волосы. Когда уже подъезжали к райцентру, Леник повернул голову к отцу, попросил:

— Только ты не бей маму.

— А почему ты думаешь, что я буду бить ее?

— Не знаю. Вон Хведорков Вова тоже вернулся и начал гонять свою Маню. Выпьет, а потом гоняет. Она взяла да повесилась.

Игнат не находил, что сказать на это.

— Что еще нового у вас? Как дед и баба?

— Какие дед и баба?

— Какие? Твой дед и баба. Вопщетки, их у тебя и осталось только двое. Дед Степан и баба Агапа.

— Так они ж давно померли. Еще летось. Дед зимой, а весной баба. А потом уже дядька Михайло. На него пришло письмо, что погиб. Я видел, как хоронили бабу. Мы были с мамой, а к деду она ходила одна. — Все эти новости Леник выпалил одним духом, с некой даже гордостью, что первый сообщает про все отцу.

Игнат больше не решался спрашивать. «Надо было посылать еще по свету, может, сподобился бы еще что-нибудь услышать... И Андрей тоже молодец... Хотя что там молодец... Достаточно с него и того, чем обрадовал...»

И еще Игнат подумал о том, что все в этой жизни идет не так, как подобает. Из дому ушел кругом свой, а возвращается кругом сирота. И это за каких-нибудь три года. И далее. Вчера ничего не знал об отце и матери, о брате, все они были живы, и он был с ними. А теперь уже все, остался Игнат один-одинешенек... Хотя стоп, Игнат, стоп. Почему же один? А сын? А дочурки?..

## VII

С давних времен идет заведенка голосить, провожая на войну и встречая назад. Бабья мода, от нее никуда не денешься, однако если вернуться домой ночью, то, пожалуй, того крикливого салюта никто затевать не станет. Не по нутру был этот салют Игнату, даже когда все подобру-поздорову, а тем более сейчас, после всего, что случилось. И потому он подгадал заявиться в Липницу, когда село уже угомонилось.

Из района километров пять они скоротали подводой, затем добирались пешком. Леник поспешал рядом, стараясь попадать в ногу с отцом, что было непросто — у того шаг был намного шире. Леник рассказывал, как встречали Миколоя Бабеню. Со станции в Липницу его привезла на подводе санитарка, так как сам он мог передвигаться лишь на костылях, держа на весу раздробленную ногу, точно большую, спеленатую бинтами куклу. Собралось все село, принесли патефон, пластинки, подвыпили. Сперва пели, танцевали, а потом начали плакать. Оно и понятно — одни бабы. Из мужиков были только Анай, он носит почту, да сам Миколой. Три ноги на двоих да два костыля — не больно распляшешься. Хведорков Вова воротился уже потом, а дядька Тимоха и того позже.

Липница спокойно спала, когда они вошли в село. Темные хаты, пышные кусты и деревья по ту сторону заплотов и тишина, будто в селе ни единой собаки. На мгновение Игнату почудилось, что он вступает, как часто бывало на войне, в чужое село и эта тишина — не что иное, как безмолвие настороженно притихших людей. Никто не спит, каждый чутко вслушивается в ночь, готовую вот-вот взорваться голосами множества военных людей, короткими командами, гулом моторов; зашкряпая ворота, застучат двери, затеплятся огнями, словно продирая глаза, окна хат.

Это ощущение жило в нем лишь мгновение, и тотчас все пред-

стало перед ним как в прежние времена: и тишина, и темень, и острый запах крапивы, и укропа, и отсыревшей пыли — все, чем всегда в эту пору пахла улица Липницы, как бы вернулось назад.

Игнат глядел по сторонам и отмечал про себя, что и хаты целы, и хлева, и колодцы нацелились стрелами ввысь там, где они были и до войны.

Леник приумолк, шлепая босыми ногами по мягкой земле, время от времени шмыгая носом. И лишь когда дошли в их конец и во мраке блеснул и пропал, затем снова блеснул осторожный огонек, он вскрикнул:

— Ждут! Я ж тебе говорил, что ждут!

Он первым свернул во двор, в распахнутые ворота, будто указывая отцу, куда идти, первым проскочил сенцы и вошел в хату, оставив открытой дверь, выждал, когда он войдет, и торжественно воскликнул:

— А вот и мы!

Игнат снял с плеча вещмешок, поставил у порога.

Марина сидела за машинкой лицом к двери, что-то шила. На стук двери оторвалась от машинки, какое-то время смотрела то на мужа, то на сына, точно не верила, что это они, и вдруг с возгласом «Игнат!» бросилась к нему. Припала к мужниной груди и, содрогаясь в плаче, приговаривала:

— Игнат! Игнат!..

Одеревенелой рукой Игнат гладил ее по спине и сквозь наволочь слез видел перед собой лишь большое розовое пятно вокруг лампы, оно то сужалось, делалось совсем маленьким, то раздавалось вширь, занимая всю хату.

Потом этот круг прояснился, и из него выплыли, заслонив собой все, такие знакомые и такие родные лица дочурок.

Дочки не бросились к нему, растерянно замерли перед ним в длинных посконных сорочках, не иначе повскакали с постели, со сна. Они и стеснялись его и, наверное, боялись. Кажется, много ли времени прошло, пока его не было, а как вытянулись! Особенно Соня. Да и Гуня... Марина отстранилась от него, как бы уступая им отца, давая возможность приблизиться, и они тотчас кинулись к нему, он сгреб их руками, стал целовать лица, волосы.

— Тата, таточка!

— Ну во и встретились... И я тут, вопщетки, во... дома... Не плачьте... Все будет... Как-то все будет.

Игнат обнимал их, ощущал под руками худенькие, хрупкие спины с острыми позвонками, и что-то цепкими безжалостными щипцами сжимало сердце, будто он сам был виноват в том, что они такие худые и что на них эти грубые посконные сорочки.

— Ничего, ничего... Все будет добра... — приговаривал он, пряча лицо, чтобы никто не видел его мокрые глаза. — Ага, все будет, все будет...

— Вы же с дороги и, наверное, голодные совсем? — спросила Марина.

— А неуж не голодные, — и за себя и за отца ответил Леник и, стараясь казаться недовольным, обвел всех взглядом. — Я им батьку привез, а они... Эх вы!

— Зараз, Леня, — всерьез и как бы винясь ответила брату Соня и исчезла за дощатой перегородкой — одеваться.

За нею шмыгнула туда и Гуня.

— Ага, мы зараз, — спохватилась и Марина, взглянула на сына, точно он был за главного в хате и только его команды и ждали. — Присаживайся, Игнат. И ты, Леник, посиди, а мы зараз... Думала, закончу тебе штаны, и мало что не успела, в поясе надо примерить.

Марина откатила швейную машинку в угол, накинула на нее шитье.

— Уцелела? — удивился Игнат, глядя на машинку. Он сам закапывал ее в огороде — станок отдельно, головку отдельно. Если кто и доберется, так не все разом...

— Ага, уцелела, — встрепенулась на его вопрос Марина. — Правда, прижавела в двух местах, но не страшно, достали вовремя. Почистили, смазали... Шила и партизанам и себе, да и теперь... Осталась одна такая на всю Липницу. — Марина говорила, а тем временем отворнулась за перегородку, достала из шкафа скатерку, начала застилать стол и вдруг поникла, застыла над столом.

— Ну ты, мама, как будто не знаешь, что собралась делать, — по-взрослому серьезно подсказал Ленник.

— Ага, сынок, не знаю, что делаю, — ответила Марина. — От радости не знаю, что делаю.

Марина бросила взгляд на Игната, ожидая, что скажет он. Игнат молча разглядывал фотографии в рамке на стене. И Марина поджала губы, решительно распрямилась и стала поторапливаться, как поступала обычно, когда нужно было поскорее что-нибудь сделать.

Спали Игнат с Леником на большой кровати, что стояла меж окон на улице, Марина с дочками — за перегородкой. Сделана была эта кровать из толстых, высушенных до звона сосновых досок. Сущил их Игнат сначала на дворе под поветью, затем на печи. Долго подбирал дерево, плотно пригонял, сажал на клей, гускал под фуганок. И получилось так, будто спинки были выпилены из одной, во всю ширину кровати сосны. Потом, когда работа была закончена и кровать покрыта лаком, Игнату и самому непросто было отыскать глазом линию, где одна доска была подогнана к другой.

Делалась большая кровать, когда родилась Гуня и стало тесно на малой. Она тоже стояла здесь меж окон, а сейчас стоит за перегородкой, на ней и поместились Марина с Гуней. Соня легла на печи. Делалась большая кровать на двоих, но не было тесно на ней и когда Марина клала с собой приспать третьего человека — сначала Гуню, а потом и Леника.

Сегодня Ленник попросился лечь с отцом: «Мужчины с мужчинами, бабы с бабами». На том и порешили, и решение это понравилось Игнату.

Хотя спать легли поздно, однако, как только начало светать и прояснились окна, Игнат очнулся. Встал осторожно, чтобы не разбудить сына, вышел во двор, закурил. Село еще спало, и словно спронец пробовали голоса во дворах петухи.

Игнат постоял на улице и направился в конец ее. Колхозный двор тускло вырисовывался за гатью сгрудившимися строениями, которые были прикрыты обсадой из высоких деревьев. Левее на фоне серого неба над линией березняка отчетливо, словно обведенная грифелем, проступала пышная голова дуба. А еще левее, над курганами, оброненным птицей пером висело облачко березовой кроны. На душе потеплело от мысли, что все тут осталось на месте, как и тогда, когда они с Тимохой уходили из Липницы.

По едва приметной росистой стежке, обогнув Анаевы огороды, обнесенные изгородью в две жердины, Игнат выпшел к опушке леса. Сел на пень, положив руки на колени. Лес стоял на возвышении, и село лежало перед ним как на раскатанной скатерти — один поселок, второй, третий. За третьим тоже начинался лес, и за лесом розовело небо — скоро должно было взойти солнце. Поползла вниз стрела Тимохина колодца, затем снова, как пушечный ствол, нацелилась в небо. В чьем-то дворе заскрипели ворота — выпустили во двор корову. Где-то звякнуло железное ведро. Липница начинала свой день.

«Ну что ж, надо начинать и нам», — подумал Игнат.

— Вопцетки, надо начинать... — произнес он вслух, как бы обращаясь к кому-то, стоящему рядом, хотя никого поблизости не было, и Игнат сам не знал, что делать и с чего начинать.

«Задала ты мне, житуха, задачку, задала...» — подумал и скрипнул зубами.

И вдруг как бы что-то вспомнил. Выбил о пень давно потухшую трубку, затолкал ее в карман и решительным шагом, словно боясь опоздать, устремился краем леса в конец своего огорода. Шел и тянул голову, жадно глядя вперед. Увидев за кустами кучу бревен, замедлил шаг. Ведь это уже в войну навозил их — собирался прирубить тристен к хлеву. Не до того было. Успел лишь ошкурить да в штабель сложить. И, вишь, остались целы, не растащили, не пустили на дрова. И, кажется, не погнили... Не погнили.

Обошел вокруг штабель, стукнул ногой в одно бревно, в другое. Ничего, ничего. Нижние слегка тронул грибок, а остальные, видать по всему, здоровые... Значит, так. Хлев хлевом, хлев подождет...

Осина с дуплом, в котором когда-то прятал наган, тоже была жива. Игнат погладил рукой ее мокрую шероховатую кору, покивал. И через грядки по картофельной борозде решительно направился к своему двору. Возвратился обратно минут через двадцать с топором в руках.

Загремело, скатываясь вниз, подваженное колом верхнее бревно, грузно легло на поперечины. Игнат поплевал в ладони, взмахнул топором — раз, другой, третий. Воткнул топор, поднял отколотую щепку. Она радовала глаз чистотой здорового, хорошо высохшего дерева, золотисто-белыми сквозными линиями разорванных волокон. Втянул в себя воздух и ощутил живой запах смолы.

Игнат любил работу с деревом. Из него, если приложить руки, можно сделать что-нибудь такое, что глянется всем. Но сегодня он с особым умилением смотрел на этот кусок мертвой древесины как на что-то нежное, хрупкое, живое. И эта шершавая мягкость только что отколотой щепки — он ощущал ее пальцем, — и острый запах смолы, которая, казалось, и теперь живой кровью текла по древесным жилам, — все, на что раньше Игнат не обращал внимания, навело его на мысль о великой справедливости того, что он остался жив, что он дома и может приняться за свое исконное дело.

Игнат отбросил щепку, снова взял топор и уже не выпускал его из рук до тех пор, пока не прибежал Леник звать обедать. Леник смотрел на два ровненьких, как по шнуру, обтесанных бревна, и они чудились ему двумя длиннющими усмирненными рыбинами, которые, прижавшись, лежали бок о бок на подложенных колодках.

В обед, когда Игнат встал из-за стола, Марина осторожно сказала:

— Может, собрать что на стол на вечер?

— А что будет вечером? — Игнат сделал вид, что не понял, о чем говорит жена.

— Праздник как-никак, может, кто зайдет.

— Не такой большой праздник, чтоб кричать о нем.

— Людям дорогу в хату не заступишь, им интересно послушать, поглядеть...

— А то еще не нагляделись за войну... разного интересного...

— Горелка есть и на стол найдется... Консервы твои еще целы, не открывали.

— Консервы... Вопщетки, дети вон худые, как шкелеты...

— Не помрут дети. Доседова не померли и теперь живы будут, — настаивала на своем Марина.

— Некогда рассиживаться. А кому захочется увидеть — увидит. Увидит и послушает. — С этими словами Игнат вышел из хаты.

— Житка — тоже работа, и от нее никуда не сбежишь, — сказала Марина.

Думала, что сказала это сама себе, про себя, но слова ее настигли Игната в дверях. Он дернулся, медленно поворачиваясь на поро-



ге, должно быть, раздумывая, как быть дальше. Вернулся, стал перед Мариной.

— Вопцетки, я никогда... никуда и ни от чего... не бегал... И ты это знаешь... И сегодня ни от чего не сбегаю и не побегу. Запомни... А кое-что знать хотел бы...

Он возвышался над нею на целую голову и говорил тихо, с глухим придыханием. Она надеялась, ждала, хотела, чтобы он размахнулся и ударил ее, ей было бы легче. Она просила его своим упрямым взглядом, но он не пожалел ее, повернулся и вышел во двор.

Под вечер в конец огорода, откуда слышалось мерное настойчивое тыпанье топора, подошел Тимоха. Игнат как раз заканчивал тесать бревно. Разогнулся, поднял как бы навстречу ветру вспотелое, разогревшееся от работы лицо и увидел соседа. Топор ненароком глубоко впился в бревно.

— Здоров, сосед!

— Здоровенька-а-а!..

Обнялись и принялись тормошить, ломать друг друга точно в схватке.

— И здоровенек, нехай тебе прибудет здоровья,— расчувствовавшись, говорил Тимоха. Он отступил немного назад, желая еще раз издала окинуть взглядом Игната.— Ворочаешь, как медведь.— Тимоха кивнул на обтесанные и аккуратные и аккуратно одно к одному сложенные на колья бревна.— Не иначе за один день хочешь обстроиться?

— Вопцетки, оно не мешало бы. Если по-серьезному, так и неделю тратить на это много. Хочу тристен к истопке привязать под мастерскую. Чтoб и верстак было где поставить, и инструмент пристроить, чтoб и под рукой, и от чужого глаза подальше. Чтoб и не в хате, и не на холоде...

— Это ясно. Да как же ты один?

— На земле ничего, а выше — придется искать подмогу.

— И на земле вдвоем ловчей, а на углу тем более... Во что: дотесать бревна ты сможешь и сам, а там я пособлю. Это не дело — одному. А теперь забирай свой инструмент и пошли к нам. Там Клавдия с Мариной вечерю уже приготовили.

Тень недовольства легла на лицо Игната.

— Бабы есть бабы. Как надумает что-нибудь, будет добиваться до конца. Говорил же ей: не надо, не хочу.

— Ты во что, Игнат, ты на Марину напрасно так строго сегодня. Это моя затея. Я зову тебя в свою хату и хотел бы, чтобы ты послушался меня. И еще, Игнат. Может, это моя вина, что так вышло, будто тебя живого похоронили. Это я написал, что тебя убило. Помнишь тот прорыв под Ленинградом — и как мы бежали в атаку, и как перед тобой взорвался снаряд и тебя, будто снап, перевернуло и кинуло наземь? Это же было на моих глазах. Думал ли я, что после такого можно остаться в живых? Я и написал об этом...

— Вопцетки, я и сам думал, что уже все, хана. А во — живой. Живой,— повторил Игнат, точно сомневаясь в том, хорошо это или плохо.

— Война так перемешала и подчистила все... И не радоваться тому, что остался жив и вернулся к детям, просто грех. Как говорил Вержбалович, не по-большевистски. Так во, посидим, погмоним, вспомним молодое. Бери топор и пошли.

— Вопцетки, Тимоха, ты мне ломаешь планировку жизни, да, видно, надо подчиниться.— Игнат натянул гимнастерку, застегнул ремень.

— А с мастерской сделаем так. Возьмем завтра в бригаде коня, перебросим бревна, а там и сруб сложим. До ума будешь доводить сам: думаешь, долго дадут тебе посидеть дома? Гляди что и завтра проведает Змитро. Не завтра, так послезавтра.

— Потому-то я и хочу сложить скорей, чтобы было от чего начинать.

Смеркалось. Совсем низко, едва не над самыми головами, с картавым кряканьем прошелестела крыльями утка и, взметнувшись над ельником, пропала.

— Неужто где-то тут ночуют? — поинтересовался Игнат.

— На этом болотце за гарью и днюют и ночуют. Их тут несколько выводков. А что им: тихо, спокойно.

— Некому потревожить?

— И некому и нечем... Разве что ты во... Твоя двустволка цела?

— Не успел еще проверить, но Марина говорила, будто есть.

— Позовешь на разгонимы, — засмеялся Тимоха.

— Никуда не денешься, придется.

Их давно уже ждали. На столе стояли соленые огурцы, крошечная редька, блюде с нарезанным салом, сырые яйца. Картошку высыпали из чугуна, как только они вошли в хату, и она дымилась над столом белым паром. Тут же стоял графин с горелкой, и подле него, как строгий охранник, сидел высокий и прямой, весь седой дед Анай. Он встал навстречу Игнату, вышел на середину хаты. Обнялись без слов, постояли так несколько минут. Было у старика два сына, Микола и Алексей, оба не вернулись, и Игнат не находил, что тут можно сказать.

Тимохина Клавдия поздоровалась с ним за руку, и получилось у нее это так просто, будто Игнат не далее как вчера был в их хате. Сложнее оказалось с Полей, соседкой. Она обхватила Игната как родного, поцеловала и, не спеша отпустить, оглядела с головы до ног.

— Дайте хоть на чужого мужика налюбоваться.

Сказала это весело, затем всхлипнула, заплакала. У нее и прежде смех и слезы всегда были рядом, а теперь и подавно. Ее Ахрем, здоровенный мужчина, под сто кило, не вернулся из могиловского лагеря, дошел там с голода. Покинул ее с двумя детьми на руках: крутись, баба. Хорошо хоть хлопец постарше: и дров нарубит, и за сестрой приглядит.

И еще один человек присутствовал на этой встрече и казался самым спокойным из всех — Марина. Она, как могло показаться, только и думала о том, чтобы у всех были ложки, стаканы да было как подступиться к столу.

Не хотел Игнат, не собирался устраивать праздник — не тот настрой, не те мысли, — а увидел, с какой радостью его ждали здесь, в чужой хате, и что-то перехватило горло.

— Вопцетки, опять же скажу так: хоть я и не верю в бога и знаю, что его нет, а порой придет на ум — может, и есть. Сколько раз думалось: вернуться бы домой да собраться вместе, по-соседски. Думалось и не верилось, что такое возможно... А вот на тебе... — Игнат повел рукой вокруг себя.

И первое слово было его — за тех липницких мужиков, что сложили головы, воюя за свою землю. Вспомнил Вержбаловича, Шалая, Анаевых хлопцев, Ахрема, Михайлу, брата своего, Василя Мацака, эдакого здоровилу, казалось, век ему износа не будет, а нашел шальной снаряд аж в Чехии... Ноги занесут, где голове лечь... Или взять Габриеля Василевского. Пережить войну, пойти на рыбалку и не распорядиться толовой шашкой, бикфордовым шнуром и запалом!.. Да нехай бы она, эта рыба, плавала еще сто лет, хоть и есть тоже хочется. А Капский?.. Всех лечил, всех спасал, сколько повытаскивал осколков из живого тела, сколько партизан, считай, собрал из частей, сложил, сшил и пустил: «Живи, человек!» И живут люди, а сам заразился кровью — и все, и сгорел, как свечка... Или тот же Игнась Казанович. Из панков, а какой человек! Это ж надо: война кругом, а он яблони щепит. И убили немцы — так, для потехи. Едут по дороге, видят на углу леса человека, колушается с ножиком у дерева.

Торба на боку, дубцы из нее торчат. Что им подумалось, а может, и ничего не подумалось? Приложился из карабина и стрельнул. И все тут. А человек как стоял с ножиком в руке, так и лег. Как ту козявку... Захотелось раздавить — и раздавил...

Вспомнил Игнат и отца с матерью: если б не война, может, долго жили бы еще... И выпил решительно, как пьют ядовитое зелье,— раз и навсегда. И все выпили в тихом, молчаливом согласии.

— Вопщетки, человек родится, чтобы верить во что-то свое — во что, он, быть может, и сам не знает, а на войне часто и не успеет узнать, времени не хватит. Насильная рука забирает людей в самой поре, и потому на войне счастье уже то, что тебя не убило, даже рана принимается как подарок. А уже когда миновало все страшное и оставило тебя жить, начинаешь думать о том, что может быть и иное счастье, иная жизнь, когда вовсе необязательно думать о том, чтоб стрелять и хотеть кого-то убить. Потому как у каждого есть где-то своя родина-мать, его земля. Дети или, может, еще кто, и он крепко ждет тебя, и по нему всегда болит душа. И тогда приходит и не дает спокойно спать мысль о том, кто ты, и что ты, и отчего ты шатаешься где-то, как бездомная собака, а не вертаешься туда, откуда ушел. И не даст она тебе воли жить, пока не вернешься, своими глазами не увидишь, как оно там и что делать дальше...

Игнат и сам не знал, почему ему вдруг захотелось говорить обо всем этом. И говорил он тихо, как бы про себя, однако слушали его с жадным интересом, а на глазах у Марины навернулись, побежали по щекам слезы.

Выпили еще по чарке, затем повторили, и зашумели, загомонили все, слушая и не слушая друг друга. Дошли и до песни. Поля затянула «Мае вочы чорныя, чорныя...». Любила эту песню необычайно. Заводила ее и до войны, но только теперь Игнат увидел, что глаза у нее и в самом деле черные, как смородины, и что она хорошо поет, только в голосе чуялось то ли виновность, то ли обида.

Ой вазьму я сваю долю,  
У лузе закапаю...

Как же ты ее закопаешь, молодичка?

## VIII

Еще до свету, едва подаст голос какой-нибудь дурной петух, Игнат ступал ногами на пол. Закуривал уже во дворе и курил неторопливо, знал: весь день — его и весь он — впереди. На дворе всегда находилась работа, которую можно было делать впотьмах: либо принести с угла леса жерди, либо отпилить часть бревна, либо еще что-нибудь. И это лишь поначалу после хаты кажется, что кругом темно. А привыкнут глаза — и можно делать все.

Как он и прикидывал, через неделю у истопки стояла разгороженная на две половины продолговатая пристройка. Игнат спешил срубить ее, опасаясь, что если не сделает сейчас, с первого захода, то после будет сложнее. Одну половину пристройки он наметил под склад, под материалы и не стал ничего в ней делать, а вторую — о двух небольших окошках — под самую мастерскую. Главное было возвести стены и спрятаться под крышу. Они с Тимохой справились с этим за три дня, благо погода позволяла и материалы были под рукой. Остальное — окна, двери, потолок — доделывал сам. Стекло на одно окно вынул из старой рамы, сохранившейся на чердаке, второе пока что заколотил. Не было только досок на пол, но невелика беда. Окопал подвалины, чтобы не поддувало, в валенках, да притом с печкой, можно будет терпеть и зимой.

Как бы там ни было, а мастерская стояла: с верстаком, инструментом — столярным и слесарным. Все эти пилки, молотки, тиски,

клещи, напильники, сверла, рубанки висели на стенах и лежали на полках, в ящиках старого, поточенного шашелем комода, который Игнат перетащил сюда из сеней.

День заканчивался. За старой осиной, за гарью густо, как зарево от пожара, пламенело небо: там только что закатилось солнце. Игнат сидел на пороге мастерской, откинув голову к косяку, смотрел во двор, курил и, недовольный собой, грустно усмехался.

— Ну что ж, Игнат Степанович, завод есть, нужны заказы,— произнес вслух, словно обращаясь к кому-то, но вставать с порога не спешил. Дома не было ни детей, ни Марины, и наедине с собой он размышлял о том, как быть дальше.

Дела в доме шли ровно, обычно: каждый был занят своим. Дети — в школу, он — с топором, Марина — с корзиной, то в колхозе, то возле дома. Ели, спали, разговаривали. Все вроде как у людей. А между тем жизнь текла как во сне, без улыбки, без радости. Глухая тишина тяжким камнем висела над всеми.

Как и в первую ночь после возвращения, Игнат с Леником спали на большой кровати, Марина с дочками — за перегородкой. Получалось как-то не по-людски, и это чувствовали все, даже Леник. Если поначалу, едва стемнеет и они повечеряют, Леник первым залезал на постель, устраивался у стены и оттуда следил за отцом, скоро ли он ляжет, то теперь все чаще спал на печи. Нередко «в гости» к нему туда забирались Соня и Гуня. Подвесив лампу под матицу, они делали уроки, потом оставались там на всю ночь. Долго шевелились, бубнили, не поделив меж собой что подстелить, чем укрыться. Марина не выдерживала, повышала на них голос. Игнату же приятно было слышать их возню, незлобивую перебранку, и он втихомолку улыбался, лежа на своей постели. Правда, иногда и ему приходилось присоединять свой голос: «Вопщетки, может, вы прекратите свой хоровод?»

Игнат неожиданно открыл в себе такое, чего прежде у него, как считал он, не было и что, по его убеждению, и необязательно мужчине. Его вдруг потянуло к детям, хотелось поговорить с ними, приятно было даже знать, что они рядом. Стоит кто-нибудь из них, смотрит, как он воюет с топором, или насобирает щепок и отнесет в хату. А то все вместе затеют игру во дворе со своими детскими возгласами и щebetом. Не раз он ловил себя на том, что невольно прерывает работу и наблюдает, как они играют, носятся по двору.

Если б не война, Соня уже ходила бы в шестой класс, а она только в третьем. Однако учится, старается. Надо! Куда денешься, коли так сложилось. Душа у нее добрая, открытая, вся на виду. Вся нараспашку. Гуня более скрытна, не сразу выкажет сокровенное. Леник тоже человек серьезный, настойчивый. Мужчина. Война всех сделала взрослее.

Думал Игнат о детях, жалел их. Думал и о себе, о том, что стал он каким-то размягченным, точно воск возле огня, и искал этому оправдание.

Конечно, все эти слезные переживания не красят мужчину, но он был рад, что обнаружил их в себе. Это его тайна, и никто не должен знать о ней. Никогда он не думал, что в нем накопилось столько подобного. Это было как открытие, будто он долгое время считал себя смертельно больным, и вот наконец собрались врачи и сказали: неправда, страшный диагноз не подтвердился. Он подумал, что такие же чувства овладевают, наверное, каждым. Отчего же тогда они незаметны? Почему люди старательно закапывают в себе то, чего жаждут сами? Не умеют показать их перед другими? Или не хотят? Всякий замыкается в себе, все, что есть доброго в нем, старается запереть на ключ. Запереть-то можно, да надолго ли хватит сил держать под замком? И надо ли держать?

Требовался мох для топки. И Игнат закинул ружье за плечо,

отправился поглядеть, где его можно надрать. А кроме того, тянуло побродить по лесу.

Мох он заметил сразу за гарью. Небольшая болотина, а мху здесь было — хоть всей деревней вози, да чистый, длинный, как лен. И место доступное — можно и на лошади подъехать.

Он углубился в лес. Чем дальше ходил, тем больше удивлялся тому, как попер вверх молодняк. Особенно по краям, в ложбинах, на вырубках. Казалось, лес отплачивал людям за их напористое вмешательство в его порядки: «Вы хотели потеснить меня, и потеснили, и думали: все, одолели,— ан нет! Я тут. Живу, расту, иду вширь. Начинайте сначала...»

Стояла та пора, когда в зеленые летние тона осень постепенно начинала вплетать свои желтые нити. Их пока было мало, зелень все же забивала, но пройдет недели две — и они отвоюют себе добрую половину зеленого, а еще недели через две и вовсе будут господствовать кругом. Было время, когда листья крапивы покрываются белыми пятнами, начинают исподволь темнеть и жгутся уже слабее; еще недавно ярко-зеленые мерезжки папоротника начинают блекнуть, а непоседливые синицы принимаются тенькать по-осеннему грустно и сиротливо. И это в то время, когда не выспели еще орехи, на кустах малины много сладких ягод, а хмель только завязался в зеленые узелки. Осень в лесу идет снизу.

Игнат остановился закурить перед продолговатой зелено-бурой кочкой. Сверху на ней, напоминая крохотные пики, на высоких тоненьких ножках выметал головки кукушкин лен. Он взял одну из них, ковырнул ногтем, и на ладонь посыпалась нежная желто-зеленая пыльца. Игнат так и замер на месте, пораженный открытием: сколько того растеньица, а у него есть свой кузовок, есть и крышка на нем, а под крышкой, точно в кадке мука, эта пыльца...

Шел Игнат по лесу и вдруг почуял, как в нос ударил горьковатый запах цветущего дикого горошка. Он даже остановился, поискал глазами вокруг: ничего похожего, только подсохшая листва под ногами. Но запах был явствен, и он не давал покоя. Поднял глаза: перед ним стояла молодая осинка, это от ее недолговечной листвы исходил такой запах...

Ступал Игнат по мягкому мху, по сухой ломкой хвое, прислушивался к голосам птиц и чуял, как на душу ему ложился покой и умиротворение. Как будто его жгла огнем рана, но промыли ее, смазали йодом — и боль утихла, унялась, и стало еще лучше, чем было раньше, когда тело было здоровым.

С таким умилением в душе он и повернул обратно. Потом рассказал Марине, что было дальше. Она сидела на скамейке подле грядки, перебирала лук, Игнат стоял против нее.

— Понимаешь, иду краем болота туда, под Курганок, по-за Горавских дворищем. Думал, может, утку где-нибудь подниму. И вдруг слышу крик, аж лес звенит. Орет баба: «Люди, помогите! Люди!..» Черт его знает, может, зверь какой, ведь бывало когда-то, что и медведя видели, а теперь волков развелось... Бегу, ружье взял наизготовку. Подбегаю: катаются двое по мху, баба внизу, он сверху. Она кричит не своим голосом. Хватил я его по шее, он носом в кочку... Баба вскочила, одернула юбку и ходу. Даже о корзинке с журавинами<sup>4</sup> забыла... Что ее погнало по такую пору, они хоть и крупные, да зеленые совсем. «Журавины возьми!» — кричу ей. Вернулась, прячет глаза. Совсем молодая еще. «Не прячь,— говорю,— глаза, разве ты виновата? Откуда сама будешь?» — «Из Вяленника». — «А его знаешь?» — «А неуж не знаю. На, Язеп Куртика сын. Только вы его больше не бейте, дядька. Он ничего, да во сдурил что-то». Она уже просит меня. Ага, не чужие, значит, не дальние. Поднял его, встряхнул. Открыл глаза. Ну, жив будет. «Эх ты,— говорю,— мужчиной хочешь быть перед бабой!»

<sup>4</sup> Клюква.

Не сговорился с головой». Батка ж толковый был человек. Дал ему пинка, припутнул: «Иди и не хвались никому, а то приду в село...» Кавалер, мать твою так... — Игнат закончил свой рассказ, рассмеялся, взглянул на Марину и придушил смех.

Она сидела, опустив руки на подол, и снизу вверх смотрела на него. И таким чужим, напряженным и пристальным был ее взгляд.казалось, она не понимала, хотя и пыталась понять, к чему он рассказал все это, над чем смеялся. Под глазами у нее были темные, будто подведенные сажей, тени.

— Ты что это так?.. — смутился Игнат.

Марина как бы очнулась, приходя в себя, грустно усмехнулась, но глаз не отвела и взгляд ее не смягчился.

— Живому живое, — сказала. И без всякого перехода, как о давно выношенном, наболевшем: — А мы с тобой, Игнат, и дальше так будем жить?

— Как — так? — хмуро спросил он.

— А так... Порознь спать, порознь есть, слоняться, как волки, один мимо другого.

— Ты говоришь так, что выходит, ко всему прочему, будто я же и виноват. Так это надо понимать? — Игнат хотел сказать грубо, как теперь говорил обычно с Мариной, и не смог, что-то помешало.

— Никто тебя не винит, Игнат, никто. Скажи только, кому мне повиниться?

— Вот этого не знаю.

— А я думала, знаешь. Где ты был все эти годы?

— Вопщетки, не под юбкой прятался.

— Нам нужно поговорить, Игнат, к чему-то прийти. Больше я так не могу. И дети не могут. Один ты...

— Мне легче. Мне совсем легко. Легко и весело.

— Нелегко, Игнат, но не дай бог тебе изведать то, что пережили мы за эти годы... Да что мы — все переживали. И все же если б не Тимоха, если бы он не написал про то, как вы вместе бежали по полю и как тебя перевернуло снарядом, как он еще приостановился, а ты лежал мертвый, — если б он этого не написал...

— А тебе, поди, только это и надо было.

Марина даже содрогнулась от этих слов, на глаза набежали слезы, однако она преодолела себя, прикусила губу.

— Не это нам надо было и не этого ждали... три года. А ты... Как ты мог столько молчать?

— Ага, вороне к хвосту привязал бы письмо — и давай, милая, носи через фронт туда, в Липницу, может, кто подберет... Так во что, Марина, раз без этого не обойтись... Расскажи сперва, как это все у тебя просто вышло, а потом будем думать, что мне сказать...

— Просто... Совсем просто...

Марина покачала головой, посидела и вдруг заговорила тихим и совершенно спокойным голосом, будто повторяла давно заученный на память урок. Смотрела мимо Игната через заплот, на дорогу, через поселок, на гать и колхозный двор...

— Было как раз на троицу. Попросились Соня и Гуня сбегать к твоим, тогда еще и мама жива была и батка. Хочется им сбегать, неведомо как хочется. Знают: баба так не отпустит, хоть что-нибудь даст с собой. А у нас тут бедность, и не голодные и не сытые. Бульбы еще с мешок было, прятала ее в подполе. Варили помаленьку — со щавелем, с ботвой. Прибрались девчонки, банты в волосы повплетали, просят: «Мы скоренько, мама, только туда и назад. Дорогу мы знаем, не бойся». А что тут дорога: поле, лес, а там и они, старики. Другое меня тревожило: только бы все ладно было. Время такое: ложишься спать, а сам не знаешь, как встанешь. Чужало мое сердце. Пошли они, поспедав, — солнце уже с обеда, а их нет. Я места себе не нахожу, выбегу да выбегу в конце поселка: не идут ли. И тут началось. Партиза-

ны отсюда, из центра, а те оттуда, из третьей бригады. Сначала винтовки, пулеметы, а потом самолет вызвали. Видно, знали, что партизаны тут и что штаб ихний разместился в конторе. Скинул он бомбы, одной развалил угол дома, вторая в саду разорвалась. Развернулся и опять сюда, да совсем низенько, кажется, трубы посворачивает. Мы с Леником сидим в яме на огороде, я как на иголках. Думаю, нехай бы старики задержали их, нехай бы оставили у себя. Говорю Ленику: «Посиди тут один, а я погляжу, где сестрички». И снова бегу в конец поселка. И вижу: по дороге вдоль посадок идут они, взялись за руки и идут. На голове у одной белый платочек, у другой черный, у Сони в руке узелок. И тут опять самолет, прямо над ними летит и строчит, и видно — пули в песке перед ними, как желуди, шпокают. Пролетел самолет, а они глядят, как он разворачивается. Божечко мой, что делать? Бежать — где ж ты добежишь, лечь — где ж ты улежишь... И тут выскочил из-под лип партизан, подбежал к ним, сгреб в охапку и назад под липы, а самолет за ними. Я и глаза закрыла: думаю, все, конец всем. Куда они спрячутся от этой вражины? Самолет построчил-построчил и улетел. Бой стих, и я кинулась через гать: где они, что с ними, живы ли? Живы. И ведет их тот партизан, злой как черт: «Ты что это, мати, думаешь? Куда детей посылаешь?» — и матом. А я кинулась к ним, обнимаю, целую и сама от радости не знаю, где я, на каком свете.

Марина умолкла, сцепила руки.

— А дальше? — глухо спросил Игнат.

— А дальше... Перешел он к нам на постой. На операцию идут — на неделю, на две, дети его провожают, с операции всегда к нам. А у самого никогошеньки не осталось на этом свете: семью немцы расстреляли, женку и двоих детей, он остался один как перст. Звали его тоже Игнатом.

— Хоть этим утешила... Значит, сошлись две сироты, и ты пожалела его?

— Не я его, он меня, он нас пожалел. Незадолго до прихода наших пошли они на операцию, и был страшный бой. Много партизан полегло тогда. Привезли и его раненого. Никто не верил, что выживет, так была побита голова. Три месяца кормили из ложечки, пока кости не порастались, пока не стал похож на человека. Поправился немного, стал по двору помогать. Дров привезет, напилит, поколет, огород загородил. Раны позаживали, и лицо стало не таким страшным, как поначалу. Война покатилась дальше, вернулся Тимоха. Рассказал подробнее, как все было в том вашем бою. И опять-таки: был бы живой, неужто не дал бы знать, не подал голос?.. А трое детей... Так он и остался тут и был у нас, аж пока не пришло письмо от тебя. Единственное за всю войну... — Марина вытерла глаза чистой стороной фартука.

— Может, и мне поплакать вместе с тобой? Пожалиться на то, как я поломал ваши планы? Должен был умереть, да остался жив. И мало что выжил, еще и домой приволокся... Вопщетки, а каков он был... мой наместник?

— Наместник? — Марину словно ударили.

— Ну а как я должен его называть?.. Тем более что и имя у него мое... — Игнат понизил голос: — Я это про то, что, может, карточка какая-нибудь осталась, чтоб я взглянуть мог.

Марина помолчала, потом заговорила снова, будто припоминая:

— У него их было три или четыре. Партизанские, снятые еще до того, как покалечило. Соня выпросила одну, но я приказала вернуть, когда уходил. Лишнее все это.

— Как кому... Ты во что мне еще скажи... — Игнат перевел дух, загляделся на улицу, на дорогу, будто для него важно было не то,

о чем он хотел спросить, а то, что мог увидеть по ту сторону заплота. Но там было пусто.— Скажи, он крепко понравился тебе?..

Марина, точно пойманная врасплох, блеснула глазами на Игната.

— Он добрый был... Сердце у него было доброе... И к детям ласковый. Хотя те же дети... Как услышали, что ты жив, переменялись к нему... То, казалось, совсем свой, а тут как отрезало. «А где тата? Почему мы не ищем его? Может, куда-нибудь написать?»

Марина подняла глаза, они были сухими.

— Не гляди на меня так строго, Игнат... Не виновата я душой перед тобою. Не замужество потянуло меня — дети потянули. Одно скажу: дальше так жить, как мы живем, я не могу. И не желаю. Думай как хочешь и что хочешь, только решай.— Она встала и скорым шагом направилась в хату.

Игнат видел: походка у нее была такая же легкая, как и прежде. И первый раз после возвращения в его груди горячим клубком ворохнулась жалость к жене. Кольнуло ощущение, что и он в чем-то виноват перед ней. Однако в глубине души что-то противилось, не позволяло вот так сразу принять новую реальность, в которую его бросило. Требовалось время, чтоб перегорело одно и вместо него выросло нечто другое. И когда Марина возвратилась с корытцами и принялась собирать в них лук, он произнес:

— Ты, Марина, не подгоняй меня. У всякой болячки своя пора, и надо, чтобы все вызрело, потухло и чтобы боль улеглась.

Марина ничего не ответила, только ниже склонилась над корытцами и руки ее заходили быстрее.

Еще одна важная забота была на душе у Игната. О ней он никому не заикался, да и кто поймет. Покуда был занят самим собой, работой, в которую влез с головой, она жила в нем смутным напоминанием о чем-то таком, что непременно надо исполнить, о чем, однако, никто не спросит, если и не сделаешь. После разговора с Мариной, разговора, который вроде ничего не менял и в то же время ставил все на свои места, забота эта словно бы вышла из тени на яркий свет. Игнат с досадой подумал о себе: как это его хватило не сделать до сих пор того, что надо было сделать сразу, как только вернулся! Столько времени уже дома и не выбрал часов сходить к Вержбаловичам.

В первый же вечер по прибытии Марина сообщила, что живут они в той хате, которую не успел достроить Хведор. А на его вопрос: «Как живут?» — ответила: «Живут, как все...»

Дома было еще две банки консервов. Игнат взял одну, завернул в газету и пошел. Впервые после возвращения он шагал по селу среди бела дня и многому дивился. А более всего траве. На улицах и во дворах она поднималась густой высокой щеткой, прямо бери косу и коси... Дятлина, подорожник, спорышник... Эти всегда любили улицу. Но лютики, курослеп... Даже луговые слезки перекечевали сюда... Были бы коровы, свиньи — не расселились бы так роскошно. А то ведь курицу редко увидишь. Оставалось удивляться и тому, что война пощадила и саму Липницу. Хаты стоят, как стояли до войны. А что хаты? Одна транссирующая в стреху — и задымилась, запольхала...

Люба шла с огорода с корзиной только что накопанной картошки. Увидела Игната, опустила корзину на землю, вытерла руки о подол.

— А я уже думала, побоишься и зайти,— сказала с упреком в голосе, грустно усмехнулась, и две крупные слезы нечаянно выкатились из глаз, повисли на ресницах. Она мотнула головой, словно желая стряхнуть их, и пошла к Игнату. Поздоровались, поцеловались. Люба вновь часто заморгала и отвернулась.

— Вопщетки, не то чтоб боялся, а тяжело было. Всегда были где-то рядом, втроем, их давно нет, а я во... Боялся... Чего мне бояться? Боять-



его Марина.— Сама одна да их двое — и обшить, и обмыть, и накормить. Что бы она делала без Витика?..

Игнат внимательно посмотрел на жену, размышляя, как быть, и все-таки пошел.

Полина хата стояла через три двора. Распиленная на кругляки липа лежала под изгородью на улице. Сразу видно было: около дерева походила не мужская рука — и слабая и неумелая. Какая там толщина сука, а на него замахивалась раза три-четыре и топор пускала не у самого ствола, так, что обрубки торчали, как у паленой свиньи уши.

Шел Игнат с намерением хотя бы отчитать хлопца, вразумить, чтобы больше не делал так, а посмотрел на эту слабосильную, неумелую работу — и расхотелось что-либо говорить. Так и пошел бы дальше по селу, если б на дворе не заметил Витика и Раю, Полину меньшую. Они стояли возле табуретки и ели помидоры — маленькие зеленые шарики, почти что завязь, которая по поздней поре не могла уже ни вырасти, ни вызреть. Брали эти зеленухи-помидорки, макали в крупную соль и с голодным жадным хрустом уплетали так, что синие брызги летели. Помидоры и соль. У Игната даже голову повело от оскомины и страха.

— Без хлеба?! — спросил, повернув во двор.— Да у вас животы болей будут!

— С хлебом было бы вкусней... А бульба еще варится,— засмеялся Витик.

Рая согласно закивала: рот ее был набит зеленью.

Во двор выглянула из хаты Поля, удивилась:

— Игнат?!

— Ага, видишь, вопщетки... — Он развел руками, кивнув на табуретку.

— Что делать... — Поля махнула рукой.— Заглянул, так, может, и в хату зайдешь? — то ли спросила, то ли пригласила она.

Игнат пошел за ней. Чисто вымытые сенцы. Высокий, старой работы комод у стены. В другой половине хаты тоже чистота и прохлада. Под рамками с фотографиями подвешены на нитках серебристые картонные рыбки, зайчики. Когда-то, до войны, вешали такие на новоднюю елку в колхозном клубе.

— Ишь ты, уберегла! — подивился Игнат.

— Ага, остались,— просто ответила Поля.

В камельке в чугушке на треноге варилась картошка.

— Присаживайся,— мягко попросила Поля.— Когда еще зайдешь! Угостила бы, да хлеба нет. А может, выпьешь? Бульба зараз будет готова.— Поля старалась говорить весело, хотя давалось ей это нелегко.

— О чем ты говоришь... Да и, знаешь, я никогда не был падок до нее... А чего это дымом тянет? — Игнат подошел к печи.

— Куда ж ему деваться?.. Труба треснула, не знаю, как и зиму перезимую.

По трубе едва не от самого потолка шла глубокая задымленная трещина. Через нее и выбивало дым в хату.

— Вопщетки, об этом надо было летом думать. Теперь же печь не станешь раскидывать.

— Думала, может, обожженного кирпича достану — не потала-нило. Так и вышли на осень.

— Надо сделать добрый замес глины и забить трещину, пока дожди не пошли. А летом обязательно надо перекаладывать трубу.

— Куда ни глянь — всюду край, достанешь,— грустно и безропотно согласилась Поля.

— Я тебе и советую: накопай глины да скажи мне. Разве можно так? — грубовато ответил Игнат.

На дворе не выдержал, спросил у Витика, кивнув на кругляки липы:

— Зачем ты ее свалил?

ся мне нечего, да и не с руки. Ты меня знаешь. Я люблю открыто смотреть людям в глаза, и свои прятать нет у меня причины. Да во, сама знаешь, вернулся, и пошло одно на другое, столько всякого-разного... А домик, гляжу, хороший, крепко стоит.— Игнат повернул разговор на более легкое.

Срубленный в чистый угол из смолистого леса, под гонтом, дом и в самом деле прочно и ладно стоял на высоком каменном фундаменте. Если бы не фронтоны, зашитые наспех старыми досками, смотрелся бы точно игрушка.

— Домик ничего, кабы еще довести до толку... Сам так спешил, так ему хотелось погулять с людьми в своем доме! Ты же знаешь, мы все на колесах — то в одном колхозе, то в другом. А приехали сюда, он сказал: «Все, хватит цыганить по свету. Построим свой дом, сад посадим...» Сад посадил еще на пустом участке, потом уже начали строиться. Построил, и ему построили... — Люба вымолвила это тихо, без слез, как давно переболевшее.

— А почему окна забиты? — спросил Игнат.

— Рам нету. Когда самолет разбомбил дом Казановича и его стали растаскивать — кто двери, кто окна, кто на дрова, кому что,— Алик говорил: давай, мама, и мы возьмем рамы. Там же столько окон было... Он уже было и вымерил, как раз подошли, да я не дала: батяка с топором встал бы, чтоб никто ничего не взял, а тут дети сами... Не пустила... Живем пока в одной половине. Зайдешь в хату?

— А уж зайду, почему не зайти. А заодно и окна погляжу, мерку сниму. Теперь-то не выйдет, а зимой сделаю рамы. А это на во, вкинешь в чугун детям. Оно и небогато, да солдатское ведь... — Игнат отдал консервы, которые все время держал в руке.

Люба приняла банку, прижала обеими руками к груди, не сказала ничего, только внимательно посмотрела в глаза Игнату, круто повернулась и заспешила к дверям.

## IX

Обратный путь Игнат выбрал так, чтобы пройти мимо колхозного двора. Дома Казановича, в котором до войны находилось правление, не было. От него остался лишь фундамент, несколько гнилых дубовых подвалов да горы раскисшей глины на том месте, где некогда стояли выложенные белым кафелем печи. Амбары и конюшни возвышались на прежних своих местах, сад зачах вконец. После страшной зимы сорокового года все думалось — деревья оправятся: весной они укрылись листвой, некоторые даже зацвели. Затем начали усыхать. Сухостой посрезали на дрова, и правильно сделали — какой толк от вымерзшего сада. Неприятно удивило Игната иное: больше половины старой липовой обсады оказалось вырезано. Зачем было глумиться так? Нужда в дровах? Так ведь их кругом, куда ни посмотришь, только руби да таскай.

Дома спросил у Марины:

— Когда это успели липовую обсаду порешить и зачем?

— Тогда же, в войну,— ответила она и спокойно пояснила: — Кто на кадушку-липовку, кто на севалку, а кто и на дрова.

— Вопщетки, так раз уж пошло, то давай и дальше — режь, круши, жги, война все спишет! — ворчал он себе под нос и нервно ходил из угла в угол хаты.

Быть может, Игнат и забыл бы про те липы — спилили, ну и спилили! — однако через день Леник примчался из школы и как великую радость сообщил:

— Витик Полин еще одну липу шахнул. Всю дорогу было завалил. Теперь уже прибрал — только мелкие ветки остались.

Игнат не выдержал, решил пойти и объяснить хлопцу, что можно делать, а что негоже.

— Куда ты пойдешь? С детьми биться? — попыталась остановить

- На дрова.
- Мало кругом ольховника?
- Липа ближе. И все так делают.— Витик с недоумением пожал плечами.
- Все кинутся топиться — и ты за ними?
- Я не такой дурень...

Как и предсказывал Тимоха, долго отсиживаться дома Игнату не дали. Как-то под вечер во двор заглянул председатель колхоза Змитрок Мелешка. Больше недели его не было на месте: ездил в область, оттуда аж под Гродно и вот воротился. И не один — пригнал лошадей.

Медлительный увалень с постоянной сонливостью на лице, он свою непростую председательскую службу исполнял довольно успешно. Всегда приходил к человеку с таким видом, будто давно уже с ним договорился о том, что надобно сделать, будто все уже было обговорено и договорено, оставалась лишь самая малость — кое-что уточнить или напомнить. И пока человек, ошеломленный таким неожиданным и бесцеремонным натиском, прикидывал, выгодно иль невыгодно предложение, с которым тот заявился, мерекал, как быть, соглашаться с ним или ссориться, председатель уже поплевывал на недокуренную папиросу, тщательно гасил ее и, спрятав окурки в белый, из трофейного дюралья портсигар, шел дальше. И выходило так, что спорить, доказывать что-либо было и некогда и некому.

До войны Змитрок работал бригадиром в третьей бригаде. Когда пришли немцы и всем стало ясно, что они создадут свои органы власти, партизаны попросили Змитрока побыть старостой. Он согласился и пробыл в чине нового начальника полгода. Быть может, он оставался бы старостой еще некоторое время, если б однажды ночью не завернули в село хлопцы из соседней партизанской зоны. Они разбудили старосту с быстротой и недвусмысленностью законов военного времени, вывели во двор и потребовали подводу, хлеба и картошки. Их было четверо, они были усталые и голодные, рука у одного висела на свежеекровавленной перевязи. Все это староста видел, и ему жалко было хлопцев. Однако и себя было жалко, чтобы вот так по-глупому подставлять свою голову под дуло автомата. Нажать на курок не штука, да кто потом расскажет, что и тебе не хотелось помирать, тем более от руки своего, что и у тебя был автомат и ты мог бы, как всякий настоящий мужчина...

Подводу и мешок картошки он хлопцам дал, а через день сам пришел в отряд. Отговаривать его никто не стал, тем более что и надобность в его старостовстве отпала: Липница целиком перешла под партизанский контроль.

— Пригнал кобылу и четырех коней. Поехали в область, и — на тебе! — встречаю знакомого командира части, с ним и махнул в Гродно. Лошади выбракованные, к воинской службе негодные, да нам еще послужат, а кобыла хорошая, и четырех лет нету. Ее-то чуть выпросил на обзаведение, на расплод,— выкладывал свои новости Змитрок.— Зашел в хату, а Христина и говорит, что ты вернулся. Оказывается, и правда. Ты, вижу, время попусту не терял, успел уже и хибару слепить.

— Вопщетки, решил место для работы узаконить. Теперь-то еще ничего, а пойдут дожди, снег, из сырого дерева не много толкового сотворишь, да и инструменты ржавеют,— ответил Игнат и открыл дверь в мастерскую.

Змитрок повел глазами по стенам, глянул на потолок и повернул к выходу, начал плевать на папиросу.

— Я уже собирался поспросить мастерового человека, чтоб поглядел паровик, что там не в порядке. Мельницу край надо запускать, а если б еще и циркулярку, то и совсем, как пань, зажили бы... Так ты,

может, завтра и прикинешь, что там и как? А к полудню и я подойду. Бульбу надо хватать, пока погода держится.— Змитрок говорил все это, идя по двору к воротам и поглядывая на небо, точно оно в любую минуту могло испортить всю обедню.

— Вопцетки, я потому и подгонял себя со своей работой, будто знал, что кто-то про меня вспомнит,— то ли в шутку, то ли всерьез заметил Игнат.

— Не слишком много есть кого вспоминать. Ты, да я, да мы с тобой, да еще несколько человек — вот и все наши мужики,— ответил Змитрок, протягивая руку.— Командир этот мой сказал, что скоро мужиков должно прибавиться, начали отпускать.

— Кто жив, рано или поздно объявится,— молвил Игнат.

Змитрок кивнул и подался в конец села — он веско, будто припечатывая что-то на дороге, ступал большими ногами в тяжелых яловых сапогах.

Игнат смотрел ему вслед, пока Змитрок не завернул за изгородь, и пошел в хату. С мастерской он разобрался, хотелось иной работы. Сколько же топтаться на своем дворе?

— Ты на уток? — поинтересовался Леник, увидев, что отец берет ружье, патроны.

— На уток.

— Можно и мне с тобой?

— Можно, сын, можно. Только ты будешь загонщиком. Пиджачок надень, а то комары съедят.

— Загонщиком так загонщиком,— обрадовался Леник.

На болотце вышли одновременно: отец с одной стороны, сын с другой. Игнат укрылся за кустом обочь чистой лощинки, в которую переходило болотце. По его прикидке, в эту сторону должны тянуть поднятые утки, если только они тут есть.

Леник загорланил, хлястнул палкой по воде, еще и еще раз, и три утки вскинулись из осоки и пошли над болотцем. Они летели низко, казалось, зацепятся за куст, за которым притаился Игнат, и он не только услышал шелест их маленьких крыльев, но и почувствовал на лице внезапный ветерок, пронесшийся вслед за ними. Он выстрелил вдогонку, когда птицы, завидев его, взметнулись вверх. Выстрелил, не слишком надеясь на удачу, и не столько обрадовался, сколько удивился тому, что одна из них сорвалась вниз и, продолжая отчаянно махать крыльями, шлепнулась в траву. Игнат подбежал к тому месту, где упала птица, и долго не мог найти ее. Даже в смертный час утка стремилась поглубже забиться в траву, и ее серенькие перья трудно было различить в наступающих сумерках.

Игнат выпутал птицу из травы. Дробина угодила в шею. Подбежал Леник.

— Ну что, тата, попал?

— Как видишь, рука не подвела. А это уже кое-что.— Игнат передал утку сыну.

Леник осторожно, двумя пальцами взял ее за маленькие желтые лапки, поднял перед собой. Глаза у птицы были открыты, они удивленными безжизненными кружочками взирали на мир. По широкому, беловатому на конце, будто стершемуся о песок клюву текла кровь. Радостное возбуждение на лице мальчонки сменилось испугом. Он смотрел на утку во все глаза и словно пытался уразуметь, что же произошло. Только что они с отцом пришли сюда, только что он ударил палкой по воде, загорланил, стараясь наделать как можно больше шуму и страху, и, похоже, добился своего: утки сорвались с места, где обосновались было на ночлег, понеслись над болотцем. Они летели точно связанные одной нитью — куда одна, туда и остальные,— и в мгновение ока все пропали за кустами. Затем прозвучал выстрел. Лес вздрогнул, посыпались листья. И вот — одна птица мертва.

Леник вскинул глаза на отца:

— Нашто ты ее так?

— Как «так»?

— Насмерть!..

— А как же это бить не насмерть?

— А чтоб была живая! — в отчаянии крикнул Леник.

— Живую не поймаешь и в чугун не положишь.

— И нехай бы не поймали.— Он едва не плакал.

— Ну во что... Давай-ка ее сюда.

Игнат забрал утку у сына, поспешно сунул в охотничью сумку. Он начинал злиться. Не на сына, на себя самого, что так легко поддался его просьбе взять с собой. Закинул ружье за плечо, хмуро прознес:

— Чтоб я еще когда-нибудь...

— Я и сам не пойду...

Возвращались домой молча, впереди отец, сзади в нескольких шагах от него сын, оба насупленные, взъерошенные.

Пройдут годы, сын подрастет, станет взрослым, заведет свою семью, будет мотаться по свету, изредка наезжая к отцу, не однажды станет свидетелем того, как отец набивает патронташ, собираясь на охоту, однако ни разу не попросится пойти вместе с ним; да и у отца ни разу не возникнет желания позвать его с собой.

Марина встретила их во дворе. И даже в сумерках она заметила, что между сыном и отцом что-то произошло, но выпрашивать ничего не стала, коротко приказала:

— Пошли вечерять. Бульба стынет.

Отдав жене утку и бросив взгляд на дверь, которую только что затворил за собою сын, Игнат сказал:

— Только оциплешь, чтоб он не видел, а то наделает крику.

Марина взяла мертвую птицу, положила на лавку.

— Дитя еще: душа жалостливая, не то что... — Она не договорила, ушла в хату.

«Не то что... Что не то? Кто не то? И кто то? Кто? Дети? Вопщетки, пускай себе: дети есть дети... Жалостливая душа... Пожалели...» Игнат полез за трубкой, присел на колоду.

Не первый раз он размышлял так наедине с собой и был твердо уверен в правоте той жесткой линии, которую взял дома и которой держался... А как же иначе? Каждый должен иметь в душе дисциплину, и ничто не вольно нарушать ее. Порушишь одно — повалится другое. Рубль до тех пор рубль, пока не разменянный, разменял — и посыпались копейки. Всюду должна быть дисциплина, а в семье особенно. Особенно в семье. Тут командиру не пожалишься и на воду не посадишь... Сам и командир и судья...

Рассуждая так, Игнат чувствовал, будто не во всем правдива эта его правда. Будто нечто важное обходила она стороной. Как-то поймал себя на мысли, что она, эта правда, не касалась случившегося между ним и Василиной. Того, что было меж ними, словно бы не существовало. Не помнилось. А раз не помнилось, значит, и не было. Раз не коснулось души... А может быть, так и у них, у Марины?.. Думал об этом Игнат — и хотелось верить: так оно и вправду было. Сколько раз он ловил себя на том, что украдкой, точно делал нечто недоброе, недозволенное, подсматривал за женой. И приятное тепло оттого, что она осталась такой же молодой, как была прежде, хотя родила и подняла троих детей, грело и успокаивало его, пока не вспоминалось то, что произошло, когда его не было.

Он видел ненормальность той жизни, которой жили они теперь, однако превозмочь себя не мог.

Шло время, дни сменялись днями, и незаметно менялась, оттаивала душа Игната. Он хотел остаться таким, каким вернулся, с той же

затаенной злостью на жену, считал: этак и должно,— однако видел, что дальше так продолжаться не может.

Канитель с паровиком предстояла немалая. Требовалось заменить колосники, найти другие дверцы в топку, эти были расколоты на две части. Кто-то сорвал манометр. Надо было вычистить колодец, захлащенный обрезками досок, мусором, мазутом. Впрочем, колодец — это уже пустяк, тут нужны руки да сила. Да, нет еще помпы для подкачки воды, придется искать...

Змитрок, как и обещал, появился к обеду. Игнат к тому времени облазил все, ощупал каждую гайку, каждый болт, вытер руки от ржавчины и мазута и, присев на толстую дубовую колоду, на которой щепали растопку и которая стояла в углу возле топки, на полях газеты составлял список того, что следует сделать, чтобы паровик задымил и начал крутить жернова.

— Ну, что ты скажешь? — спросил Змитрок, разглядев в полутемном углу Игната с карандашом и газетой в руках.

— Скажу, что надо браться за работу,— ответил Игнат, дописывая свою бухгалтерию.— Надо браться за работу, только где что взять? — И он протянул Змитроку газету.

Тот придвинулся к закоптелому окну, долго вчитывался в Игнатову писанину, не хватил терпения, вернул:

— На свою нумерацию. Можно подумать, любовное послание бабе точиняешь. Сам накрутил баранков, сам и читай.

— Ага, рука у меня такая, закручивает буквы, как рубанок стружку. Назавтра, бывает, и сам не разберу, хоть проси кого, чтобы раскрутил,— ответил Игнат, беря газету.— Так во первое — колосники, потом дверцы, потом манометр, потом помпа...

— И все? — не поверил Змитрок.

— Не все, остальное можно сделать самим.

— Тогда пошли ко мне обедать.

— Ты говоришь так, будто все это уже лежит у тебя в хлеву.

— Не лежит, но вижу — все это можно найти. Пошли.

— И что, всякий раз будешь меня обедом кормить?

— Не спеши радоваться. Считай, что это должок. Непустишь мельницу — должен будешь вернуть. Вместе с неустойкой.

— Вопщетки, хоть оно и рискованно, но пошли. Все-таки сегодня едим твой обед... А там увидим.

— А там... Помнишь, в Борке перед войной тоже была паровая мельница. Она и в войну молола партизанам жито, пока немцы не разбомбили. Надо хорошо походить вокруг нее, мне кажется, там кое-что можно найти. Коня я тебе даю — воюй: в район так в район, в область так в область. Понял?

— Что тут непонятного. Район куда ни шло, там до войны меня кое-кто знал, должен вспомнить, а в область — это округа не моего масштаба, тут уже будешь мараковать сам.

— Как-нибудь сладим. Нельзя, чтобы мельница стояла, а люди драли зерно жорнами. За пуск два пуда жита.

— Добра,— согласился Игнат. Они шли уже по селу.— Только мне помощь нужна будет.

— Хочешь попросить кого из мужиков?

— Нет. Вержбаловичевых хлопцев хочу взять.

— Дети ведь еще. Что они тебе пособят? Да и школа...

— Иногда после школы, иногда в воскресенье...

— Решай сам. Но больше жита не дам.

— Как-нибудь поладим.

Думал Игнат запустить паровик за неделю, а смог сделать это только за месяц. Колосники выдрал из паровика в Борке, оттуда и дверцы привез. Потом отрядил самого Змитрока: езжай ищи манометр, помпу, а заодно, если повезет, циркулярные пилы, приводные ремни... Воевать так воевать, а коли танцевать, то и крутиться.

Игнат с Мишей и Аликом тем временем принялись чистить колодец. Чего в нем только не оказалось! Извлекли тяжелые, набухшие чернотой обрезки досок, более сотни ведер мутной маслянистой жижи, ведер двадцать лоснящейся от мазута илистой земли, искореженный станковый пулемет и много другого металлического лома.

Вытаскивал ведра сам Игнат, а выливать в канаву носили попеременно то он, то мальцы вдвоем. Когда воды не стало, отправил их с лопатами вниз.

— Копайте,— подбадривал помощников,— там где-то в песке горшок с золотом зарыт. Найдем — председатель премию даст.

Мальцы, да и сам он были мурзаты, как черти, и вымотались так, что едва ноги переставляли. Казалось, если б надо было вытащить еще с десятка ведер — не смогли бы. Но все уже было позади, лопата ковырнула чистый белый песок — и словно открылась заслонка. Что-то зашипело, и ямка постепенно начала заполняться водой. Мальцы добрались до жилы.

Было воскресенье, солнце стояло еще довольно высоко над лесом, а с работой они покончили. Игнат присел с ребятами на плаху возле колодца, закурил.

— Ну во и докопались до... золота,— сказал, глядя в землю.

— Докопались,— повторил Миша, взглянул и засмеялся.— А вы, дядька, жилистый. Это ж столько перетаскать... Мы с Аликом, накапывая, притомились... Верно, Алик?

Тот молча кивнул.

— Вопщетки, на жилах человек держится. На жилах да на упрямстве. А оно и в вас сидит, молодцы.

Мальчишки не нашли что сказать, только некая тень пробежала по их скуластым смуглым красивым лицам. Они переглянулись и встали.

— Так мы пойдем?

Игнат не стал их задерживать.

— Песком руки потрите! — крикнул вслед.

Мальчишки обернулись, кивнули, но как шли, так и продолжали идти.

Чистить колодец они начали поутру, и Игнат вспомнил, как в полдень кликнул их: «Давайте, хлопцы, перекусим». Достал из сумки, развернул белую полотняную тряпицу, в которой была краюха хлеба, луковица, пара огурцов и шматок сала. Еще того, Василинина. Мальчишки посмотрели на сало, сглотнули слюну, переглянулись, и Игнат понял, что они давно не видели его...

Занятый своей новой работой, Игнат словно забыл, что у него дома есть и дети и жена. Завтракал, брал с собой полдник, возвращался назад — ужинал и валился в постель. И так изо дня в день.

Сегодня шел домой раньше обычного, и шел с мыслью о том, что хорошо бы теперь в баню да на полок с веником. Утром не сказал, чтобы истопили, и напрасно. Но ступил на свой двор — и сразу почувствовал кислотоватый запах недавно залитых головешек и обрадовался, как не радовался давно: вот подумал про баню, а баня готова.

— Я уже хотела Леню посылать, чтобы быстрее шел,— встретила его Марина.— Исподнее там. Дети помылись и побежали в кино.

И впрямь где-то возле школы начинал похлопывать движок.

Давно Игнат не хлестался с таким диким наслаждением. Сделал несколько заходов на полок, время от времени окуная голову в шайку с холодной водой.

Пришла Марина, разделась.

— Давай потру спину,— сказала так, как говорила некогда, как говорила всегда. Поливала из кружки чуть теплой водой, до тугого скрипа терла вехтем из мочала.

Когда Игнат вышел одеваться, поддала духу, похлесталась сама, начала мыться.

Игнат полуодетый сидел в предбаннике, курил. Марина плескалась в корытцах.

— Игнат, потри и мне спину,— размякшим голосом попросила она через приоткрытую дверь. Баба всегда найдет свой голос.

— Вопщетки, я уже одет.

— Разве раздеться трудно?.. Сюда никто уже не придет...

Игнат скинул нательную рубаху, исподники, но из предосторожности взял дверь на крючок...

На этот раз Марина постлала постель на большой кровати. Допоздна не спали. Дети давно поснули, а они все разговаривали тихонько. Надо было выговориться за долгую упорную молчанку, которая глухой удавкой захлестнула обоих.

Размышляли больше о том, как жить дальше, и говорила в основном Марина. Приближалась зима, требовалась теплая одежда детям. Соне что-нибудь получше надо поискать, вытянулась — почти уже дивчина. Поросята за лето и осень выросли в длинных, жадных укорыта подсвинков. Сейчас от них мало толку, но если покормить месяца два — кабанчика можно будет и заколоть. Заколоть да в город на базар. А кормить... картошка есть, надо желудей насобирать. Желудей нынче тьма на дубах. Свины и так едят их, а ежели высушить, да смолоть, да замешать с картошкой... Свинку можно заколоть позже, после рождества, да подумать о коровке. Как же без коровки?..

Марина спрашивала у Игната: может, лучше сделать так, может, этак? — но видно было, что у нее все давно обдуманно, все спланировано. И он разозлился на себя: жил до сих пор дома не как мужчина, не как хозяин, будто и не в своей семье и не в своей хате. Знал теперь: дальше так жить не будет.

С этой мыслью он и уснул.

Липа падала. И падала страшно медленно. Сперва она вздрогнула, встрепенулась всеми своими ветвями, словно хотела стряхнуть с себя остатки утренней росы. Вниз посыпались крупные капли, зашестелели по листьям, по земле, и запах прибитой пыли наполнил воздух, как летом на песчаной дороге после первых дождевых капель.

Затем липа пошла назад, в ту сторону, откуда ее пилили и где, отпрянув от ствола, стояли Игнат и Соня. Но внезапно она стала поворачиваться на пне, зажав намертво и увлекая за собой пилу, которую Игнат отчаянно дергал за ручку, пытаясь вырвать из плена, но ему это никак не удавалось. Соня большими округлившимися глазами наблюдала то за отцом, за его жалкими усилиями высвободить пилу, то за липой, которая стояла на пне, словно с ней ничего не случилось, словно она и не была спилена, нависала тяжелой высоченной кроной над ними, виновниками ее смерти, и не хотела заваливаться. Она словно потешалась: «Нате вот, съешьте; вы спилили и думали — это все, а я стою как стояла и буду стоять сколько пожелаю».

Игнат тоже растерялся, отпустил ручку пилы и начал шарить глазами вокруг, надеясь увидеть какую-либо жердинку, чтобы упереться повыше в ствол и сорвать липу с места. Поблизости ничего не было, тогда он схватил топор, размахнулся раз, другой, норовя вонзить его острием в распил, однако и это оказалось невозможно: цели не было, точно они и не пилили,— была сплошная темная потрескавшаяся кора, как и на тех немногих липах, что еще стояли вокруг сада, и из этой коры, будто вросшие в середину дерева, торчали концы пилы.

Игнат схватил камень и принялся лупить им по обуху, стремясь вогнать топор глубже, и тот наконец впился в разрез, вошел



на несколько сантиметров. Игнат не переставая бил камнем по обу-ху, левой рукой подвигая топор за топорище. И липа в конце концов медленно, нехотя пошла, разевая все шире щель.

— Беги! — крикнул Игнат дочурке, выхватил топор и пилу и отскочил в сторону.

Соня тоже отскочила от комля и остановилась, не зная, куда бе-жать. И тут липа начала тяжело разворачиваться, обнажая белый, как сыр, пень, и пошла на Соню.

— В сторону! — не своим голосом закричал Игнат, но дочь уже не слышала его.

Что было силы она кинулась бежать прочь от этой страшной ог-ромной липы. Бежала и всей душой, всем своим трепетным телом чувяла, что липа настигает ее, захватывает своей широченной, как ту-ча, кроной, и вот-вот накроет.

— В сторону!!! — завопил Игнат, и голос его слился с глубоким вздохом и треском рухнувшего дерева. Его ветви и листья долго еще ходили, шевелились, успокаиваясь.

Соня лежала на траве в самой вершине липы. Игнат подскочил, поднял ее, поставил на ноги.

— Ты жива? Жива? — повторял, еще не веря в счастье, ощупывая ее руки, ноги.

— Жива, тата, и мне нигде не больно, — бодро ответила она, не понимая, что была на краю гибели и что счастливый случай оставил ее жить. Но она видела испуганное лицо отца, видела, как он трево-жится, как напуган за нее, и это радовало Соню. Отец любит ее! Те-перь она знала это, она поняла это!

— И правда нигде не зацепило? — выспрашивал Игнат.

— Правда, тата. Только немножко по ногам.— Соня показала красные садины на икрах.

— А-а, это не страшно. Такое бывает, если хлестнуть лозинкой, а крапивой — того хуже... Верно?

— Верно, тата. Мне нисколько не больно, ей-богу... Только печет.

— Дай-ка я разотру, и все пройдет. Сядь на траву.

Соня села, вытянула ноги. Игнат взял ее ногу за тонкую, с су-хой обветренной кожей икру, начал тискать, растирать пальцами ушиб. Затем принялся за другую ногу, стал растирать ее и вдруг содрогнулся от пронзившего страха: а ведь оно, дите его, могло быть уже мертвым. По его неразумной слепой дурости. Он опустил ногу дочери на траву и уставился невидящими глазами перед собой. Дочь заметила этот его растерянный взгляд.

— Чего ты, тата?

— Ничего, дочка, ничего.— Он постепенно как бы возвращал-ся на землю.— Скажи, а отчего ты упала? Можно считать, тебя поч-ти и не задело.

— Не знаю, кажется, зацепилась.

— Ну как, не болит?

— Не-а.

— Тогда пошли домой.

— А липа?

— Черт с ней, с этой липой...

— Это ты из-за меня? Так не думай, мне, ей-богу, не больно.

Игнат поднял пилу, топор, и они пошли. Уже когда приближа-лись к поселку, он неожиданно спросил:

— Давай мы не будем никому об этом говорить, а?

— Добра, давай не будем,— взглянув на него с хитринкой, отве-тила Соня. Она радовалась, что меж ними есть и эта тайна.

Нет более мягкого, более нежного, более беззащитного дерева, нежели липа. Из нее что хочешь можно выделать: и улей выдолбить,

и ступу, и кáдолбед, и корытца вырезать, и миску, и ложку; и лапти сплести, и севалку шить, и ситечко... По ней и топора многовато, настолько легко она поддается рукам. И опять же: не дурак выбрал липу, чтобы вырезать бога — святого по образу и подобию человечьюму — и выставить его в церкви у всех на глазах.

Все это знал Игнат. Мучался, глядя, как одну за другой спускали с пня липы в Казановичевой обсаде, не удержался сам, захотел погреться у святого огня. И как мог додуматься до такого?! Что правда, то правда: если бог захочет покарать, он прежде всего лишает разума...

Два месяца пролежала та липа, никто не тронул, а потом пропала в один день, точно ее и не было.

## Х

На рассвете в темноте сенцев Игнат нащупал под балкой шило, долго ширкал им потом по бруску — счищал чернь, оттачивал. Поправил на бруске и ножи — свой охотничий и хозяйственный, сделанный некогда из старой косы. С утра была на ногах Марина, растерла в миске картошку с мукой, поспешила в хлев. Вскоре на дворе послышалось хрюканье кабана. Игнат вышел на крыльцо с вожжами в руке.

— Справишься один? Может, схожу за Тимохой?

— Не надо. Смолить позову, а тут... как-нибудь, не впервой.

Кабан был недурен, пудов на десять. Если б покормить еще с месяц, то, наверно, набрал бы и все двенадцать. Но и картошки не было и муки.

Кабан уткнулся рылом в миску. Игнат почесал его за ухом, дал освоиться. Потом подвел вожжу с петлей под одну ногу, захлестнул, обвел другую, стреножил, взял конец вожжи в левую руку, правой сгреб в горсть щетину на загривке. Кабан и теперь не выказал тревоги. Лишь захрюкал и поднял рыло, словно желая понять, что это делают тут подле него, и снова уткнулся в миску. Широко упершись ногами, Игнат рванул вожжи от себя, подсекая кабана передние ноги, а правой дернул его за щетину на себя. Тот как стоял, так и лег на бок, всеми четырьмя замолотил в воздухе, стараясь зацепиться за что-нибудь твердое. Тверда была только мерзлая земля под боком, но человек навалился сверху всей своей тяжестью и не давал возможности ни крутнуться, ни вывернуться. И тогда кабан завизжал что было силы, всем своим существом почуяв, что это никакая не игра, не шуточки...

Отчаянный визг его взорвал тишину села за какую-нибудь секунду до того, как холодный острый металл с внезапной невыносимой болью вошел в грудину под левую лопатку и глубже, и для кабана уже не осталось ничего на свете, кроме этого холодного острого металла, который ширился, рос, разрывая все внутри. Он открыл пасть, чтобы вдохнуть еще раз, возопить еще громче, он и вдохнул, но подать голос у него уже не хватило сил.

Он не слышал, как несколько минут спустя из его груди вынули этот острый металл и, чтобы не сбежала кровь, в маленькую ранку воткнули обмотанную куделей деревянную затычку; как его тащили за задние ноги по двору за хлев в затишек; как положили всеми четырьмя на землю, которую он только что пытался нащупать и которая, если б он нащупал ее, возможно, спасла бы его, должна была спасти; как в разинутую пасть положили небольшой круглый камень; как его обкладывали сухой соломой, будто хотели, чтоб ему было теплее; как потом чиркнули спичкой и поднесли к соломе огонь. Солома долго не хотела гореть, и все-таки после третьей спички занялся маленький шматок желтого пламени. Огонь медленно расплзся в стороны, пока наконец не взвился вверх, едва не выпалив человеку глаза, и к запаху горелой соломы присоединился и пополз по селу едкий, сухой запах паленой шерсти. Кабану было уже все равно.

Смолили кулями. Игнат еще осенью навьтрясал их целый закуток, знал: пригодится либо стреху перекрыть, либо еще на что-нибудь.

Смолили вдвоем с Тимохой, но заправлял тут Тимоха. Игнат же был при нем за подручного, и эта роль нравилась ему. Он следил, чтобы были кули под рукой, чтобы не погас огонь, иначе Тимохе пришлось бы заново разжигать солому, а когда прошлись по первому разу, сняли щетину и кабан весь почернел — чтобы была горячая вода омыть тушу и ножи — скоблить.

— Вопщетки, хорошо осмолить кабана тоже надо уметь, — похвалил соседа Игнат. Он и сам мог смолить и смолит не однажды, однако у него не всегда хватало терпения смолить вот так, как Тимоха, зажав в одной руке пучок соломы, а в другой нож, который пядь за пядью обходит, казалось, уже выскобленную до соломенной желтизны тушу.

— А что тут уметь, — понуро ответил Тимоха. Он всегда был угрюм, и даже живая работа возле кабана не поправила его настроения. — Надо только терпенье иметь. И жаром смолить, а не пламенем. Жар смягчает шкуру, а пламя сушит.

Часам к одиннадцати осмоленный, выскобленный и вымытый кабан лежал ногами вверх на широкой лавке. Разбирали тоже на дворе, но разбирал уже сам хозяин, этого он никому не доверял. Теперь Тимоха был у него в подручных — подхватывал и бросал в большие корытца куски мяса, сдор, относил в сенцы стегна, сало.

Уже сидя за столом, выпив две или три стопки горелки, развязавшей язык, Тимоха неожиданно поинтересовался:

— Ты слышал — опять хлопцы объявились?

— Вопщетки, ты о ком? — переспросил Игнат.

— Будто не понимаешь о ком, — скривил поросшие редкой щетиной губы Тимоха. — Все о них же, о бандитах. В Дулебах у одной вдовы — ты должен знать Аркадю Воронова, он из лагеря не вернулся, — у них кабана забрали.

— Его-то знал. Когда-то на облаву вместе выезжали, — ответил Игнат.

— Поговаривают, что с ними вроде Стась Мостовский.

— Стась? А его не взяли там, у Галынки?

— Шайку взяли, а он и еще двое ушли.

— Живучий, как выюн, отовсюду выскользнет. А интересно было бы поглядеть на него теперь. И потолковать. Что б он сказал? — Игнат не был пьян, и слова его были не от хмеля.

— Это ты сурьезно? — не поверил Тимоха.

— А почему ты думаешь, что несурьезно? Нехай бы рассказал, что думал тогда и что думает сегодня.

— Все что мог он уже сказал. А я вот что думаю: раз так, то он может объявиться и тут. — Тимоха кинул взгляд на стену, где у Игната висело ружье.

— Почему ж не может? Может, — ответил Игнат. — Что ни говори, родина.

А вечером он снял ружье со стены, смазал, прочистил стволы, выбрал из патронташа два патрона с пулями, загнал в патронник. Ружье и патронташ повесил на прежнее место на стену.

Лег спать. Марина управлялась еще с внутренностями, но вскоре легла и она.

Ночь стояла лунная, в хате было светло, как днем.

И приснилась Игнату липа. Она падала... Падала так медленно, нехотя, что казалось — никогда конца не будет ее падению и не будет конца страху, с которым Игнат не желал этого падения и все же ждал его... Тяжелая черная крона липы словно туча заслонила собой колхозный двор, все небо и шла теперь на Игната, и он не выдержал, закричал... Закричал и проснулся, как просыпался уже не раз.

Лежа на постели, ворочал в голове недавний сон. И в том сне виделось все так ясно, как происходило и взаправду, когда он, взяв в по-

мощники дочурку, отважился спилить ту липу, под которой они последний раз курили с Вержбаловичем. Не хотел, чтоб спилил ее кто-нибудь другой. А что ее свалили бы, сомнений не было: из всей обсады осталось лишь несколько деревьев. И эта липа была самая толстая, самая высокая и самая красивая.

Закашлял Леник. Побегал, видать, расхристанный, наглотался снега.

Встала Марина, вынула из печи чугунок с заваренным малинником, дала пить. Кашель унялся, и Леник, похныкав немного, затих.

Марина уж было хотела ложиться, но кинула глазом в окно. От ворот к хате шел человек.

— Игнат, кто-то идет по двору, — прошептала она тревожным голосом. — И за столбом у ворот кто-то стоит.

Игнат словно ждал этого: вскочил, скользнул рукой по стене, с ружьем стал к простенку между окон. «Как быстро пронюхали, — мелькнула мысль и тотчас другая: — Ничего, в патронташе патронов хватит».

— Сенцы на запоре? — спросил, прижав палец к губам: тихо!

— На запоре, — прошептала Марина.

Они стояли возле стены, выглядывая из-за косяка в окно.

Человек был в теплой поддевке, в зимней шапке и в сапогах. Оружия не видно было. Он поднялся на крыльцо, приблизился к двери, немного постоял, затем взялся за кольцо — дверь была заперта изнутри. Человек осторожно постучал кольцом. Игнат подтолкнул Марину к окну, дал знак отозваться. Сам кинул взгляд в другое окно на ворота. Из-за столба высовывался тонкий ствол винтовки.

— Кто там? — спросила Марина.

— Может, хлеба дадите, хозяйюшка? — подал голос незнакомец, повернувшись к окну, и не сходил с крыльца. Это был темнолицый мужчина с усиками. Голос молодой, тихий, с нотками усталости.

— Хлеб есть, — ответила Марина.

Как раз только вчера испекла пять булок. Одну съели, а четыре лежали под рушником на столе. Марина взглянула на Игната, он кивнул.

Разрезав ковригу, Марина взяла половину, направилась было к двери, но Игнат потянул ее за руку, показывая на окно. Два дня назад Леник ловил воробьев и нечаянно выдавил нижнюю стеклину. Нужного стекла не нашлось, и вместо него Игнат вставил фанерку. Марина отодвинула фанерку, гвозди не удержали ее, и она полетела в снег. Просунула полковриги на двор. Незнакомец взял хлеб.

— Может, еще и луку немножко? — все тем же тихим усталым голосом попросил незнакомец.

Отойдя к печи, где висели две изрядные плетенки лука, Марина оторвала от одной хвост, открыла шкафчик, взяла кусок сала ладони в две и подала все в выбитое стекло, из которого тянуло холодом. Незнакомец взял лук и сало, опустил в большую черную сумку на боку, где уже лежал у него хлеб.

— Спасибо, хозяйюшка. Плохо только, что нас боятся, — печально произнес он. — Боятся нас не надо. Всем хочется жить. Если бы мы хотели... могли бы... но мы никого так не трогаем... не тронули... Разве что поесть...

— Война давно кончилась, а вы не даете спокойно жить. Чего вы прячетесь от людей и бродите по ночам? — сказала Марина.

— Это так... бродим. — Незнакомец отошел от окна, потом вернулся, поднял фанерку из снега, приладил ее на прежнее место и только тогда двинулся к воротам.

Из-за столба вышел второй с винтовкой, и они зашагали по улице, но не в конец ее, а дальше в село.

— Меня аж трясет всю, бр-р-р, — вымолвила Марина. У нее зуб на зуб не попадал.

- Лезь на печь погрейся.
- Меня не столько от холода трясет, сколько от всего. Стою и думаю: нехай бы скорее все кончилось, скорей бы он ушел.
- Все равно лезь на теплое. Вопщетки, я и сам не знал, чем все это кончится. Одно знал: пока есть патроны, в хату они не войдут.
- Что ты со своим ружьем?.. У них винтовки, может, и автоматы.
- Конечно, автомат есть автомат, но и мое... А Галус и не отозвался.
- Ага, что это с ним? Ты думаешь, что это, может быть, еще не все? — спросила Марина уже с печи.
- Все будет, когда сдадутся.— Игнат закурил. И вдруг удивленным, оживившимся голосом добавил: — А они знали, что мы надьсыс кабанчика закололи. Зна-а-али.
- Как ты думаешь, куда они пошли?
- Куда или к кому?
- Разве это не одно и то же?
- Вопщетки, может, и так...— Игнат пыхнул малиновым огоньком трубки.— Люди, а без голов. Войну давно свалили, теперь берег один, и надо что есть силы прибиваться к нему. Надо иметь смелость глядеть правде в глаза.
- Это теперь один берег, а сколько их в войну было! Что ни день — то берег, что ни ночь — то другой.
- «И тогда, вопщетки, один был, один. То, что некоторые шукали какой-то своей выгоды, это другое. Они всегда шукали и шукать будут. И в одной семье не всегда гладко бывает: там поссорились, там не поладили, но когда батьку бьют, некогда лежать на печи или из-за забора выглядывать. Тут засучивай рукава — и в бойку. А раз нагрешил, будь добр — отчитайся за грехи. Это уж закон».

Снег выпал под утро. Спорый, мягкий.

Игнат вышел на крыльцо, долго вслушивался в глухую тишину, опустившуюся на село. Ни голоса, ни звука. Как будто все спало. Обошел вокруг хлева, затем вокруг хаты. За углом хаты увидел чужие следы. Это были следы того человека, что просил хлеба. Прежде чем пойти по двору, он зашел от леса, послушал за углом. Под стрелой снег не укрыв следов.

«Добрый снежок, добрая пороша... Надо сбегать поискать лисок», — подумал Игнат как о чем-то давно решенном, но не исполненном: все что-то не позволяло. Не позволяла зима. Сначала навалило снегу. Он шел целую неделю, казалось, и конца ему не будет. Навалило выше забора — ни пешком, ни на лошади в лес не пробиться. Потом повернуло на оттепель с ледяной сечкой, с холодом. Наконец ударил мороз. Поверх снега образовалась такая ледяная кора, что не только сани, но и человека держала, хоть на коньках катайся. И вот выпал, считай, первый после того снежок.

Несколько раз Игнат выходил с Галусом на охоту, но без толку: ноги, время убьешь — и все твои трофеи. Правда, с неделю назад двух белок подстрелил и куницу. Еще с дощечек не снял, сохнут около трубы. А позавчера поехал привезти дров, положил ружье в сани. Уже выезжая с возом из Стаськова угла, увидел: в поле мышковали две лисицы. Красивые, черти. Рыжие, прямо горят... Попробовал обмануть, подъехать на лошади — не подпустили. Отбежали метров на сто пятьдесят и, словно потешаясь — смотри, Игнат, и кусай себя за локти, — принялись носиться наперегонки по полю, только рыжие хвосты как метлы. Поглядел на их игру, показал Галусу: полюбуйся и ты, вояка. Но тот не видел, не чуял их и никак не мог понять, чего от него хотят. С тем и вернулись...

Из хлева через дырку в воротах, чтоб могли прятаться куры, вылез Галус. Отряхнулся от сенной трухи, ткнулся холодным носом в руку хозяина.

— Ну что, вопщетки? Проспал гостей? Или решил услужить им? — спросил Игнат.

Собака радостно завилыла задом, заскулила, залаяла, затанцевала вокруг него, норовя лизнуть в лицо.

— Я тебе про одно, а ты про другое... Ты про свое... Ну так что, сходим сегодня на лисок? Сходим... Ну будя, будя,— строго закончил Игнат, потрепав собаку за ушами.

Собака была высокая, на тонких кривоватых лапах, с широкой мускулистой грудью. Такая широкая грудь у гончих чистой крови редко встречается, но Галус был чистый гончак. Игнат перекупил его у Цыбульки из Усрх и не жалел. Уже в два года он и след зайца брал и за лисой шел. Теперь ему было три, и любили его в доме все, особенно Леник. После ужина, когда семья собиралась вместе, Леник садился на него верхом. Галус обычно располагался возле печи и, положив голову на лапы, умными янтарными глазами следил за Игнатом. Взяв в руки большие, точно листья лопуха, обвислые уши, Леник принимался растягивать их, как гармошку. Спрашивал у собаки и сам же отвечал: «Батька дома? Дома. Гармонь нова? Нова. Поиграть можно? Можно. Тума-та, тума-та-та!»

Он таскал собаку за уши, разводя их в стороны и прижимая к голове. Галус невозмутимо сносил эту музыкальную экзекуцию, покорно поворачивая голову то в одну сторону, то в другую. Не было случая, чтобы он огрызнулся или показал зубы. Водит головой из стороны в сторону, а сам следит глазами за хозяином: видит ли тот? Ви-и-идит. Ну, значит, все в порядке.

Игнат отворил ворота, кинул охапку сена в ясли корове, пошел в хату, чтобы взять ведра. Галус первым прошмыгнул в душную, не остывшую за ночь темную переднюю, едва не свалив хозяина с ног.

Игнат отправился за водой к колодцу. Сруб колодца обледенел так, что осталась лишь маленькая, едва пройти ведру, прорубь. За ночь ее сковало. Игнат принес жердину, отбил лед вокруг проруби ведром, выловил его. Набрал воды и только было хотел нести, как увидел Полю. Лицо обеспокоенное, волосы растрепаны и кое-как прикрыты шерстяным платком. Подошла, поздоровалась.

— Я за тобой, Игнат. Зайди-ка в хату.

— А что такое? — Игнат почуял: сегодня, поди, не у него одного была тревожная ночь.

— Сам увидишь. Только не гляди, что я такая... — Поля поправила, пригладила волосы, ту же затянула платок.

Вошли в сенцы, остановились. Поля принесла из хаты лампу. В сенцах все было перевернуто, поразбросано. Все ящики комода сверху донизу выдвинуты, на полках опрокинуты бутылки, банки, развернуты скатки полотна, рушники, обрезки материи. Кадушки и ушаты разметаны по всем сенцам. В кадушке было жито — теперь оно кучей лежало на полу. Одна половица отодрана и откинута в сторону, в подполе желтел перекопанный песок.

— Что ж это творится, Игнат? Как дальше жить? Пришли середь ночи, посрывали всех с постели — всё перевернули вверх ногами.

— Кто? — спросил Игнат, хотя можно было и не спрашивать об этом.

— Кто.. Если б я знала. В хате были двое. Один в сапогах, с автоматом, а второй без ничего, в поддевке, с черной сумкой. Третьего, с винтовкой, я заметила уже потом. Он стоял около ворот, за столбом.

— И что им нало было?

— Мед и самогон. «Где мед?..» А какой мед? Одно ведерко только и накачала из трех ульев. Так я же все сразу на базар отвезла. Пол-литровую баночку оставила на лекарство так и ту выпороли, вон там в углу на комодке за полотном стояла. Нашили, обрадовались, как дурачки. Правда, тот, что с сумкой, совсем молодой еще, черня-

вый такой, молчал, Зверел другой, с автоматом. «Есть, оказывается, есть, а говорила: нету. Значит, и горелка есть. Мы знаем, что есть». Ищите, говорю, мед нашли, может, и горелку найдете. Не нашли. В хлев дважды ходили. И меня тащили. Пошли, говорят, покажешь, где спрятана. Ждите, пойду. И Витик тут при мне: «Не ходи, мама». Перепороли все сено, думала, хлев спалют.

— Больше ничего не взяли?

— Два рушника. Им тоже надо умываться, чтоб вы кровью своей умылись.

— Ты им сама открыла?

— Кто им открывал? Рванули дверь так, что защепка разогнулась.

Игнат положил отодранную половицу на место, собрал в угол кадушки, ушаты, встал у комода.

— А дети где?

— В хате. Сидят перепуганные.

Хата была выстужена, точно ледник. Витик и Рая сидели на печи, обернув ноги постилками.

— Ну, чего взъерошились? Или в школу не думаете идти? И печь не топлена... Ты что это, хозяйка? — Игнат повернулся к Поле.

— Я уж решила: раз такое, нехай сидят дома.

— Вопщетки, что это за «нехай сидят»? — И приказал: — Ну-ка скоренько умываться, одеваться, перекусить и в школу! Все будет хорошо. И ты, Витик... будто и не мужчина.

— Я зараз, дядька Игнат. — И он стал надевать рубашку.

Игнат вышел из хаты, Поля шла за ним. Игнат подержал в руке разогнутый крючок, покачал головой. Ему трудно было поднять глаза на Полю, трудно было встретиться с ее взглядом, будто он был виноват в том, что случилось здесь этой ночью. У него не учинили такое злодейство, у него деликатно просили. Его боялись. И он дал им все, что просили. А тут творили что хотели. Потому что некому было дать им по зубам. Ахрем не даст. Его нет. Как могло не быть и его, Игната. А они вернулись. Нет, не вернулись! Они никуда не уходили! Они жили тут. И теперь живут. И не только просят — требуют. И сами берут...

У Поли были глубокие черные глаза, и они ждали чего-то, спрашивали о чем-то таком, о чем не осмеливалась спросить она вслух и чего боялся Игнат.

— Надо сделать новую защепку. Я сделаю.

— Хорошо, Игнат. Разве можно в хате так, без ничего? Хлев и тот запирают.

Ей что-то еще не давало покоя. Игнат хотел было спросить — что именно, но Поля сама вскинула голову, засмеялась.

— Знаешь, шукали горелки — не нашли. Не для них гналась. А приди ты — сразу найдется. Сделаешь защепку — и приходи...

— Вопщетки, ты это. Поля зря. Чтоб я... за горелку... ты это зря так про меня... И еще я не сказал тебе... Они были сегодня и у меня, — проговорил Игнат глухим голосом.

Полино лицо выгнулось.

— И что?

— Ничего... Попросили хлеба, луку... Я у стены с ружьем... Думаю, будь что будет. Полезете — хоть одного уложу. И уложил бы.

— И что ты им дал хлеба?..

— Дал. Дал! — раздраженно сказал Игнат, круто повернулся и вышел.

## XI

Домой Игнат вернулся хмурый. Сказал Марине:

— Возьми булку хлеба, сала, отнеси Поле. Ее тоже не обошли гости.

— Я так и подумала: не может быть, чтобы только к нам...

— К нам, к вам, к ним... — пробормотал Игнат, снимая со стены патронташ.

Просматривая припасы, раскладывал отдельно патроны с картечью — на лису, на зайца, на птицу. Патронов было мало. Достал из сундука ящичек, в котором лежали гильзы, порох, дробь, принялся набивать новые.

Галус лежал возле печи, опустив голову на лапы, поглядывал то на хозяина, то на окна, за которыми заметно синело небо.

Снег пружинисто, как мох, проседал под ногами, крахмально поскрипывал под бахилами. Идти было легко: внизу был крепкий, точно земля, лубяной наст.

Игнат пересек поле, где позавчера играли лисы. Хотя бы один след. Двинулся лугом. Галус рыскал впереди, то задира л голову вверх, нюхая воздух, то опускал в снег. Пока что ничего достойного серьезного внимания не попадалось, и он захватывал все более широкое пространство, сновал челноком туда-сюда, распаяя себя.

Из своего собачьего опыта он знал: где-то здесь, в этих кустах или, возможно, чуть дальше, есть зайцы и лиски. Они хитры, позарывались в снег, затаились и думают, что их никто не найдет, не вспорет. Вспорет!.. Какой молодой и пахучий снег! Он пьянит, точно молоко, ошалеть можно от радости. И воздух густой, как в лесу. И эта настороженная тишина! Будто все заранее знали, что они придут сюда на охоту, и притаились, притихли. Но они где-то тут совсем рядом, эти лиски и зайцы, быть может, иной уже следит за ними из-под куста, готовый вскочить и задать стрекача. Сам хозяин, сам Игнат Степанович сказал: «Ищи. Ищи-ищи». И раз он так сказал, значит, они есть. Надо искать...

Игнат шел расслабленным шагом. Ружье со взведенным курком лежало на согнутой левой руке, правой он придерживал его за ложку. Старая охотничья привычка — чтоб ни зверь, ни птица, даже выскочив из-под ног, не застали врасплох: рывок — и приклад у плеча.

Аккуратненькие, красивые, напоминающие листья клевера, лисьи следы встретились лишь возле Петрусева дворища. Зверь, видно, только что прошел, в иных следах еще осыпалась снежная пыль. Галуса не видно было. Игнат свистнул: «Тю-у! Тю-у!»

Через минуту запыхавшаяся, с высунутым языком собака была у ног. Игнат достал из охотничьей торбы ломоть хлеба. Галус осторожно снял его с ладони, отошел и лег на снег. Ел и преданными глазами поглядывал на Игната. Подобрав крошки, подошел опять. Игнат погладил его по загривку, указал на лисий след:

— Ищи!

Галус сунул нос в след, пробежал по нему метров двадцать, то опуская, то поднимая морду, и вдруг повернул назад. Сел неподалеку и начал почесываться, бросая виноватые взгляды на хозяина.

— Ищи! — уже строже приказал Игнат.

Галус снова вышел на след, но вскоре задержался возле молодой березки, поднял ногу, отметил, вернулся обратно и снова сел.

— Что это с тобой сегодня? Дома чужих людей не почуял, а тут!.. — разозлился Игнат. Подозвал собаку, взял за ошейник, схватил ремень из штанов и, сложив вдвое, принялся учить, приговаривая: — Ты будешь гонять? Будешь гонять? Во тебе! На тебе! Вопцетки, не хочешь гонять? Так я тебя погоняю! На тебе! Во тебе! На тебе! Во тебе!

Собака скулила, дергалась, пыталась вырваться, но рука у Игната была крепкая. Наконец рука расслабилась, и Галус вырвался. Отбежал и принялся зализывать побитые бока. Зализывал и скулил, плакался. Плакался и виновато поглядывал на хозяина.



— Поскули мне, поскули, так еще добавлю! — говорил Игнат, набивая трубку. Долго не мог распалить махорку: дрожали руки. — Поплачься мне, поплачься, — повторял больше для себя, нежели для собаки. И правда, ему было не по себе. Разве это дело — бить собаку? — Ну! — прикрикнул Игнат, стараясь скрыть в голосе свою неpravоту.

Галус посидел еще немного, затем покорно встал, отряхнулся от снега, вышел на след и пропал в кустах. Спустя минут пять загавкал.

— Ну во. Выходит, что и ты не можешь без понукания делать свое дело, — сказал вслух Игнат опять-таки скорее из желания оправдаться перед самим собой.

Он прошел немного вперед, ближе к лесу и стал под невысоким раскидистым дубком на краю прогалины. Прогалина глубоким острым клином врезалась в ельник, и стоило Галусу завернуть зверя назад, то уж никуда не денется, выскочит на открытое место.

На какое-то время собака затихла, потом голос ее послышался снова, только уже левее и глубже в лесу. «Ишь ты! Не дура, не хочет вылазить на чистое, пошла в чащу», — подумал Игнат о лисе, хорошо зная тот глухой, забитый ломьем и корягами молодой ельник, куда вел след. Правое крыло ельника огибало осочное болото, левое упиралось в старый лес. Он хорошо представлял лису, как легко она идет между деревьями, обминая кочки и кучи валежника. Остановится, присядет, напряженными ушами ловя голос собаки, может даже подпустить ее близко, а затем махнуть в другую сторону. Непросто будет Галусу выгнать ее оттуда: придется взять большой круг, да все по той же чаще, чтобы завернуть сюда. Завернет.

«Вопщетки, что ни говори, а собака добрая. Недаром Павел Шамаль отдавал за нее свою суку и двести рублей в придачу: «От-д-дай мне ее, я с ней н-на в-волков б-буду ходить, а т-тебе и с-суки хватит на зайцев и б-белок». Умник нашелся».

Игнат прислушался: Галус не давал о себе знать. Не иначе потерял след. Что-то с ним сегодня не то. Хотя даже у человека не всегда спросишь, что с ним, а это же собака. И не спросишь, и сама не умеет сказать.

А работник Галус отменный. С ним можно идти и на волка и на кого угодно. И ко двору пришелся. Уж на что Марина строга к собакам, а и ей он нравится: и накормит, и в хату пустит погреться.

Однако где ж он и почему молчит? Это уже не нравилось Игнату. Не иначе потерял след и сейчас прибежит с виноватыми глазами.

Вокруг было тихо, как ночью. Сверху сорвался комок снега, разбился о шапку, угодил за воротник. Игнат передернул плечами, мокрое потекло по спине. Галуса не было слышно, и Игнат не вытерпел, двинулся по следу сам.

След вел сперва по краю кустарника вдоль поля, затем через болото свернул в сторону леса. Тут Галус набрал свой обычный гон ровными размашистыми скачками. Его разлапистые следы четко значились рядом с лисьей цепочкой.

И здесь, на болоте, застарелый снег был прочен, точно утоптали его. Игнат легко шел поверху и сам не заметил, как побежал. Бежал, будто и впрямь догонял кого-то. Некое неведомое беспокойство гнало его вперед. Вместо того чтоб стоять, как всегда, в засаде и ждать, когда зверь выйдет на него, он сам бежал по следу, словно гончак. Бежал гончак за гончаком.

Болото кончилось, и Игнат остановился, прислушался: не денется ли знакомое «ах! ах! ах!»? Кругом стояла мертвая тишина.

За болотом след, как и предполагал Игнат, свернул в чащобу. Продавшись сквозь лозняк и крушинник. Игнат ткнулся в молодой ельник. Гуще всего он был по краю, по-над болотом, дальше поредел, и Галус тут вновь перешел на свой размашистый бег.

Уже с полчаса Игнат шел по следу, хорошо упарился, расстег-

нул верхние пуговицы фуфайки. Перед ним стояло несколько старых елей, дальше угадывался просвет, должно быть давнишняя вырубка, и Игнату вдруг тукнуло в голову: «Вопщетки, сдурел я, не иначе. Бегу вслед за собакой. Догоняю ее?..»

Мысль эта была так неожиданна и проста, что Игнат сбавил шаг, а приблизившись к старым елям, и совсем остановился. Решил закурить. Полез в карман за кисетом, взял щепоть махорки. Уминал ее в трубке и смотрел перед собой. В прогалине между серыми стволами, сквозь щетку подлеска метрах в десяти разглядел небольшую поляну. На ней что-то перемещалось, металось, вроде катался огромный серый клубок. Оттуда же доносилось глухое недовольное гыркание.

Это были волки.

Игнат как стоял, так и остался стоять, только сунул трубку в карман, развернулся чуть вправо, приподнял ружье на руке и, прижав приклад к боку, не целясь шарахнул из обоих стволов в этот живой клубок. Переломил ружье, выхватил пальцами гильзы, затолкал вместо них два патрона с картечью, рванул приклад к плечу.

На поляне никого не было.

Тогда он подобрал гильзы, воткнул в патронташ, вышел на поляну. Вспоротый, перепуханый множеством лап до земли снег, клочья шерсти — серой, волчьей, и рыжей, Галуса, — и кровь... И ошейник, который был на Галусе и за который Игнат всего полчаса назад держал его. И больше ничего.

Игнат поднял ошейник, подержал в руках, сунул в торбу. Медленно обошел поляну, присматриваясь к следам. Волков было шесть, и каждый повел след в свою сторону.

«Неужто ни одного не достал? Быть не может! Хотя, конечно, была бы это картечь, а то шел на лису. И все равно: бил ведь с десяти метров...»

Игнат прошел метров пятьдесят по одному следу. Никакого признака крови. Вернулся назад. Прошел по другому: опять чистый снег и на нем отпечатки огромных, метра по четыре в длину — с испуга — скачков.

Следы четырех волков вели в одном направлении. Метров через сто ельник расступился перед небольшой луговиной с редкими осинками и кустами лозняка. Выскочив на нее, звери сошлись вместе и один за другим почти след в след устремились в глубь леса.

На пятом следе шагах в сорока от поляны Игнат увидел кровь. Красные, словно рассыпанная клюква, шарики — и все. Видно, рана не страшная, где-то колупнуло немножко.

Вышел на последний след, ругая себя: дурень, надо было перезарядить. В том кровавом опьянении, с которым волки рвали на куски бедную собаку, они ничего не слышали и не услышали бы... И тут он заметил кровь. Не просто капли, а довольно большое пятно, шагов через десять еще. «Ага, тебе-то я угодил, — со злорадством подумал Игнат. — И хорошо угодил!»

Зверь уходил на трех ногах, почти не задевая снег четвертой — передней левой. Похоже, была перебита лопатка: из лапы столько крови не вышло бы.

Пройдя с полкилометра, волк прилег под елкой. Его рвало. Свежие куски рваного, только что проглоченного вместе с шерстью мяса.

На месте лежки снег набряк кровью. В лесу волк ложился еще два раза, оставляя за собой большие красные пятна. Кровь не успевала замерзнуть. Зверь чуял близко человека, вставал и двигался дальше. По огромным, во всю ладонь следам было видно, что это старый, матерый волк.

«Вопщетки, теперь-то ты от меня никуда не денешься. Нет, я тебя достану, куда бы ты ни свернул, — с мстительной уверенностью ду-

мал Игнат, на разные лады повторяя свою мысль, и в этом было, пожалуй, единственное утешение, которое он мог найти для себя. Теперь он знал, что если бы не побил Галуса, если бы не заставил его идти за лисой, тот был бы с ним и остался бы живой. Галус чуял, что неподалеку ходили волки... — Долго ты не попрыгаешь на трех лапах, у меня ты не погуляешь. Получишь свое, голубок. За все надо платить — это ты должен был знать. И чем больше урвал, тем больше, голубок, расплата...»

Ельник кончился внезапно, открыв чистый простор поля, посреди которого на взгорке стояла старая огромная груша. К этой груше и держал путь волк. Игнат увидел его сразу, как только вышел из лесу. Волк тоже увидел его. Между ними оставалось шагов двести. Они стояли и смотрели друг на друга: зверь на трех лапах, повернув голову назад, навстречу человеку, и человек с ружьем в руках, заряженными патронами с картечью.

У зверя была перебита передняя нога, он истекал кровью, и его то и дело рвало, хотя уже и нечем было рвать. Все то живое, теплое, с пахучей кровью мясо, которое он успел урвать, когда они все разом набросились на собаку, уже осталось на снегу. И все равно нутро выворачивало, гнало густую зеленую слизь.

Волку хотелось одного — полежать. Полежать, тогда, возможно, к нему возвратилась бы сила, которая убывала вместе с исторгнутыми кусками мяса и кровью, что оставалась на снегу; зверь знал: спокойно полежать ему не даст этот человек. Он не просто идет вслед за ним. Идет, чтоб убить его. И потому зверь старался не подпускать человека близко.

«Никуда ты, голубок, не денешься. Никуда. Ты свое взял, теперь должен заплатить», — повторял про себя Игнат, приближаясь к волку. Повторял, будто хотел убедить самого себя в справедливости того, что должен был сделать сейчас.

Волк прилег на открытом месте, дал возможность человеку подойти еще ближе, потом встал и заковылял в гору, к груше. Возле груши снова лег. Туда же шел и Игнат. На этот раз волк подпустил его шагов на сто, поднял голову, поглядел на охотника, перебрался по другую сторону груши, будто спрятался за дерево, и опять лег.

Игнат сделал полукруг и зашел с той же стороны. Теперь до волка оставалось метров семьдесят, и Игнат вскинул ружье. Волк не улежал, встал на ноги, и тут Игнат выстрелил. Зверя словно пружиной подбросило вверх, но на землю он встал ногами. Покачался с боку на бок, а потом здоровая передняя нога подломилась, и он ткнулся мордой в снег, привалившись к груше. Так и остался стоять.

Игнат перезарядил ружье и со взведенными курками стал приближаться к груше. Подошел метров на пять. Волк не шевелился. Стоял будто живой, будто копался лапами в снегу и на мгновение сунул морду в раскоп — поглядеть или понюхать, что там такое.

С груши сорвался ком снега, упал на спину волку и, рассыпавшись, остался лежать на нем белой пылью. Игнат зашел от груши, толкнул волка стволом. Зверь как бы с неохотой повалился на бок. Желтый, точно из мутного янтаря, глаз смотрел на человека с застывшей печалью. В уголке его блестела слеза. Игнату стало не по себе.

Видать по всему, это был вожак. Серебристо-серый, с широкой, простроченной сединой черной полосой вдоль спины. Оттопыренная в ярости верхняя губа открывала мощные, острые, как шила, клыки. В звере было не менее двух метров. Левая лопатка и весь бок были в крови.

Игнат перевел дыхание. Обычной охотничьей радости — что ни говори, такого матерого уложил! — сегодня он не испытывал. В ушах звучало жалостное поскуливание Галуса, перед глазами стоял его виноватый взгляд. Неотвязным было и то, как ждал последнего вы-

стрела зверь, повернув голову навстречу смерти. Смотрел на него и как бы спрашивал: «Что, идешь добивать?..» Нет большего паскудства, нежели добивать, бить надо сразу и насмерть. Однако вишь ты какого волчину свалил! Может, взять и второго — того, чью кровь видел на снегу раньше?

Он недолго задержался около груши. Пускай волк полежит, лошадь с санями он возьмет потом, а сейчас надо идти за вторым.

Время клонилось к обеду. Сквозь кудлатые, белые, словно чесаная шерсть, облака пыталось пробиться солнце, но пока оно проступало желтым ярким пятном. Желтые блески ложились на снег, слепили глаза.

Дома, собираясь на охоту, Игнат не стал есть, выпил лишь кружку простокваши. Краюху хлеба, шматок сала завернул в полотнину и положил в торбу. Половину хлеба скормил Галусу, перед тем как отправить его по лисьему следу, остаток же вместе с салом так и лежал нетронутый... С какой охотой Галус проглотил бы все это сейчас и какими благодарными глазами смотрел бы в глаза хозяину! «Батяка дома? Дома. Гармонь нова? Нова. Поиграть можно? Можно». «Поиграли, вопщетки».

Игнат не хотел возвращаться на ту злосчастную поляну, а взял наискось через ельник, рассчитывая выйти на длинную заболоченную луговину, которая, то сходясь на нет, то распахиваясь широкой поймой, тянулась в самый Штыль. На поле, откуда они пришли с Галусом и за которым, хотя и далековато, была деревня, люди, волк вряд ли пойдет. Он должен пробираться в Штыль. Раз не пошел с теми четверья, то должен самостоятельно пробираться в этот глухой лесистый угол. Игнат наверняка знал, что волки обитают в той стороне. Где-то там, в коряжнике, должно быть их логово. И бабы говорили осенью, что видели там волков. По всему, это не пришлые, местного развода.

Рассуждал Игнат правильно. След волка он увидел, как только вышел на луговину. Наст и здесь был тяжелый, слежалый. Он придавил траву, приобгладил, почти сровнял с землей кочки, и только спутанные ветром и обросшие изморозью кустики жесткой осоки небольшими сугробиками кое-где выделялись на этой белой постилке да в отяжелевшем покое стоял высокий, опушенный снегом тростник. Он тянулся сплошной полосой далеко вперед, словно забытый и несжатый загон жита, и Игнат подумал: «Вопщетки, надо будет летом забраться сюда с серпом: такая стреха на хлевушок пропадает». Мысль эта мелькнула, как мелькает падающая звезда на летнем ночном небосклоне, оживив его на какой-то миг и покинув таким, каким он был до сих пор.

С левой стороны на возвышении рос старый ельник. Даже отсюда, снизу, он казался глухим и дремучим. Это была Старина, начало Теребольских лесов, хотя сами Теребольские леса находились километрах в двадцати отсюда, за рекой. По правую сторону встречались редкие корявые березки, чахлые сосенки с невзрачными, точно обглоданными, вершинками. Место это мало кому добром может глянуться.

Немного дальше стояло несколько старых ив. Игнат помнил их еще с довоенной поры. Одна с широкой, донизу трещиной, остальные держались кучерявой дружной семейкой.

Волк шел болотом. Две или три небольшие, с орех, красные капли вновь подтвердили, что волк был ранен. Он дважды садился, должно быть зализывал рану, но дальше бежал ровной, спокойной трусцой. Испуг после выстрела, наверное, прошел, и тут он чувствовал себя уверенно.

С болотины волк свернул в ельник и, сделав полукилометровую дугу по чащобе, снова вышел в редколесье. Игнат покачал головой:

зверь выбирает путь как пожелает, а человек, будто невольник, вынужден петлять вслед за ним.

Крови на снегу больше не было, и скорее глупое упрямство, чем разумная сила, вело Игната вслед за волком: куда ж ты, падла, завернешь? неужто не покажешь логовище?

Занятый этими мыслями, Игнат не сразу заметил глубокие, присыпанные недавним снегом ямки, что размеренной цепочкой тянулись параллельно волчьему следу. Обратил внимание, лишь когда раза три споткнулся о них.

Это были человеечьи следы, и шел человек по глубокому снегу давно, еще до гололедицы. Подумал: «Откуда они тут? Кого и зачем занесло в эту глушь? По дрова? Сушняка и бурелома тут до черта, но попробуй возьми его отсюда, вытащи на дорогу. Да и чего лезть сюда, когда ближе полно дров? Сено? Тоже не видать, чтобы где-либо стоял стожок или копна...»

Следы подсказывали: шел высокий, грузный человек. Кого-то ведь загнало сюда. А может, как и он, вслед за зверем шел кто-нибудь? Конечно, за зверем, другой причины не могло быть. Тогда кто же? Шамаль? Только он мог забраться сюда. Но почему не заглянул к нему, Игнату? Почему не объявился в Липнице?

Павел Шамаль жил в Селище. Если взять отсюда напрямик, то будет километров пять, не меньше, а по дороге и все семь. Толковый охотник, пожалуй, один такой на район. И зверя знает, и бить умеет. Уж если возьмет на мушку, пиши пропало. Хоть зайца, хоть лису. В этом он, пожалуй, и ему, Игнату, не уступит. Может, в чем-нибудь другом, а в этом... Игнат не переоценивал себя, однако был убежден, что лучшего охотника, чем он, в районе нет. Да и по области надо еще поглядеть. Но если уж называть двух охотников, то, конечно, он да Павел.

Мужчиной для Игната был тот, кто умел держать в руках ружье. Ружье должно быть у каждого. Как, допустим, топор или пила. Что за мужчина без ружья? Положим, как ты пойдешь на зайца или хотя бы на тетерева, когда боишься ружья либо вовсе не привык к нему?

Встречались они с Павлом редко, и никогда не заводили речь о том, кто из них какой охотник, но каждый хорошо знал силу другого и по-мужски молча и всерьез уважал ее. Всякий раз, когда охотничьи тропы заводили Игната куда-либо под Селище, он не ленился сделать крюк, чтобы зайти к Павлу. Посидеть, покурить, потолковать. И Павел тоже не обходил его хату.

«Значит, Павел? Не-а... Слишком большие следы. Большие... И вроде бы с раскатом. Как будто человек шел, все время скользя. Скользя... А ведь он, вопще-таки, был не один. Их было несколько. И двигались они, стараясь попадать след в след...»

Под невысокой, придавленной снегом елочкой чернела какая-то точка. Игнат свернул в сторону, копнул бахилой снег. Горелая корка от картофелины. От картофелины, испеченной на углях. «Кто это, выбираясь из дому, загодя печет бульбу на углях? На углях бульбу пекут в лесу. А кто же, собираясь в лес, берет с собой сырую бульбу? Или у Павла не было краюхи хлеба себе и суке?»

Теперь уже Игнат и сам шел, стараясь попадать в чужие следы, будто примеряя к ним свой шаг, и это ему не стоило труда, из чего он сделал вывод, что прошли здесь высокие, его роста, мужчины. Почему-то у него и мысли не возникло, что это могли быть женщины.

Шагов через тридцать под бахилой снова зачернело: еще одна пригарка...

На этом месте волк круто взял вправо. Там, за кустами ивняка, было Гущево дворище. Некогда Игнат помогал Гуще переезжать в

село. Теперь от бывшего подворья осталось лишь две яблони. Волк не захотел идти по болотцу, полез на голое поле. Почему? Что-то почувял? Что-то... А может, кого-то?..

Теперь Игнату кое-что становилось понятно. Быть может, не до конца понятно, но он подумал, что и тут охотничий нюх не подвел его. Вывел на след...

Он прошел еще немного за волком, будто присматриваясь к следу, остановился, достал кисет. Набивал трубку, а сам цепким взглядом окидывал место, куда его занесло. Болотце здесь кончалось, вернее, оно начиналось отсюда, с криницы, которая выбивалась из-под корней старой наклоненной ели. Круглый год криница вздымала фонтанчиком белый песок и сгоняла в одно место, кружила сор — кусочки коры, травинки. Игнат не однажды бывал здесь и всякий раз не мог не напиться холодной, такой, что зубы ломит, прозрачной воды. До криницы оставалось шагов тридцать, но сегодня он не пойдет к ней.

Если отсюда повернуть налево, в гору, то вскоре выйдешь к лисьим норам. Дальше будут партизанские землянки. Их здесь пять или шесть. Видать по всему, человечьи следы вели туда, к землянкам.

Игнат еще раз обвел глазами вокруг себя.

Лес стоял сумрачный, настороженный. Недвижный, он словно спал, согрешись в снежном одеянии. Казалось, застыл навсегда, навеки и ничто никогда не нарушит это глухое нескончаемое безмолвие. От такого ощущения неуютно становилось на душе.

Неожиданно где-то сверху на одной из ближних елок зачалось какое-то неприметное движение, будто кто-то осторожно вздохнул, но этого было достаточно, чтобы вся навалившаяся на дерево толща снега рухнула вниз и взорвалась легкой пылью. Елка вздрогнула, тяжелые лапы торопливо заходили из стороны в сторону, и потребовалось довольно продолжительное время, чтобы все снова улеглось, успокоилось в прежней сосредоточенной окаменелости. Но теперь было понятно, что под снежным кожухом затаилась жизнь, ей надоело пребывать в этом холодном оцепенении и она только ждала момента, чтобы заявить о себе...

Игнат чувствовал: надо уходить отсюда, и чем скорее он сделает это, тем лучше. Но не мог же он побежать, как тот волк. Не мог и не хотел.

И он подставил спину старому ельнику, чиркнул спичкой и принался раскуривать трубку.

И тут раздался выстрел. Стреляли из боевой винтовки, и выстрел был такой оглушительный, что с елки и кустов посыпался снежный пух. Игнат дернулся вверх, выгнулся спиной и замер точно в ожидании чего-то. Спичка полетела в снег.

Сперва Игнат подумал, что его убили. Вроде даже почувствовал и пулю между лопаток. Потом показалось, будто его ранили, и оттого он стоит и не падает. Наконец понял, что его и не убили и не ранили, что он живой, ведь точно слышал, как пуля прошла где-то сбоку и выше головы.

И тогда вместе с радостью, что он жив и невредим, пришла злость: над ним пошутили. Хотели попугать. Застичь на чем-то гадком. Может, даже поймать на трусости. Игнат таких шуток не любил. Хочешь потолковать — выходи в открытую. А не так, из-за пня... Он чиркнул второй спичкой, припалил махорку, пустил дым и только тогда, словно решив что-то важное для себя, двинулся вслед за волком.

За Гущевым дворцом волк, сделав изрядный крюк, снова вошел в лес, но теперь Игнат не полез за ним, а направился на дорогу в Селище.

## XII

Павел был дома, колот дрова. Обрадовался, увидев Игната, пошел навстречу.

— Такая пороша, а ты щепки щепашь? — заметил Игнат, пожимая его горячую от топорщища руку.

— Н-не м-ного, к-как видно, и ты выходил.

— Вопщетки, выходил. Правда, мог больше, но и того достаточно. Потому и завернул к тебе. Запрягай коня да поедем. Волка надо забрать.

— Да ну? — не поверил Павел.

— Правда.

— И г-где ты его?..

— А во там, у старого дворища Витковских.

— Г-гляди ты... Д-да что-то ж не в настроении ты. И где собака?

— На волка променял,— криво усмехнулся Игнат.

— Не обманывай.

— Правду говорю.

— Т-такую с-собаку...

— Вопщетки, собака была добрая... Да ничего не поделаешь. Не мы смерть выбираем, а смерть выбирает нас — во какое право.

Павел вторкнул топор в колоду.

— Раз так, то я з-зараз.

Через несколько минут Павел вышел из хаты в колушке, подпоясанном ремнем, с бескурковкой в руке. Прошли на конюшню, заложили в сани сивого шустрого коника, устроились сами на соломе, поехали. Коник легко бежал по дороге, а Игнат вел рассказ про свой сегодняшний день, про то, как Галус не хотел идти за лисой, и он побил его, как догнал старого волка, как шел по следам молодого.

— Так к-куда, говоришь, м-молодой п-потянул? — переспросил Павел.

— В Штыль... Знаешь Гущево дворище? Так оно останется справа, а это левее, за криницу.

— Г-где лисьи н-норы?

— Ага... Прихожу, а там кто-то побывал уже, правда раньше, до этой гололедицы. Я подумал: может, это ты? — Игнат говорил спокойно, даже безразличным тоном, а сам внимательно следил за Павлом: что тот скажет?

Павел ответил тотчас и прямо:

— Нет, я н-никуда не в-вылазил весь м-месяц. А там... М-может, кто с-сушняку хотел п-пригладеть.

Игнат пошел напрямую. Рассказал про ночных гостей, про выстрел.

Павел долго молчал, затем со злостью спросил:

— Ч-чего тебя п-поперло т-туда, в Штыль? Н-надоело г-голову н-носить на п-плечах?

— Вопщетки, не надоело. Только я рассуждал так: раз они, считай что, в открытую пришли ко мне, то чего-то и хотели. Хлеба, лука — это одно... А другое... Вот я и решил пошукать их и сказать, чтобы выходили. Что они там высидят? Сдаваться надо. А не сдадутся — перестреляют. Как тетеревов.

— Ты это всерьез? — Павел посмотрел на Игната как на ненормального.— Ты д-думаешь, они сами н-не знают, что м-можно выйти? Что-то ж их не п-пускает.

— Что не пускает? Страх или неизвестность. Придется сказать им, что ничего страшного тут нет, надо выходить к людям, коли с людьми жить мыслишь.

— А ты з-знаешь, кто т-там? Что-то ж он м-мыслил, идя в

п-полицию. М-может, там у которого руки по локти в к-крови. М-может, тот же М-мостовский...

— Этот, вопщетки, все может... Хотя стреляли все-таки чтоб не попасть, а?

— Сегодня не п-попали, завтра п-попадут...

Игнат ничего не ответил, и на том разговор прекратили.

Конь стал тревожно фыркать и всхрапывать еще далеко от груши, а подъехали метров за двадцать — и вовсе заупрямился, попятился на передок саней, выламываясь из хомута. Пришлось взять под уздцы и почти силой тащить ближе. Рычала, скалила зубы, вздыбив на спине шерсть, и бросалась из стороны в сторону сука.

Павел подошел к волку, взял за загривок, приподнял.

— Ну, б-брат, и л-ломина. Совладать с т-таким — дай боже.

— Я ему хорошо угодил. Погляди.

Игнат показал на смерзшуюся сплошной корой левую лопатку, на окровавленную голову, куда он попал уже напоследок.

— М-молодца. Т-такого свалить — редкая удача.

Игнат достал из торбы ошейник Галуса.

— Вот она... удача.

Волка взвалили на сани, поверх кинули соломы, поехали.

Начинало смеркаться, пошел снег, и надо было спешить.

Было уже совсем темно, когда приехали в Липницу. Игнат подвел коня с санями к самому крыльцу. Отворили дверь и через сенцы втащили в хату мерзлого, как дуб, волка.

— Ей-божечки, волк? — глазам своим не поверила, вскинула руки Марина.

Волка приставили к столу. Припорошенная снегом спина его горбилась почти вровень со столешницей. Перекошенная судорогой, вздернутая верхняя губа открывала желтые зубы. Казалось, зверь живой, только затаился.

С опаской, но все ближе к нему подступали дети. Соня и Гуня смотрели на зверя с брезгливым любопытством. Леник был смелее всех, дернул его за хвост.

— Укусит! — пристращал отец.

— Не укусит, гляди. — Леник смело дотронулся до жестких черных волосков на волчьей морде.

И тут Игнат услышал то, чего давно ожидал. Марина спросила:

— А где же Галус? Что-то не слышать...

— Вопщетки, Галуса нет, — не сразу виновато ответил Игнат. И кивнул на волка: — Вот он вместо Галуса.

— Разорвали? А боже ж мой!.. — заголосила, точно по человеку, жена.

Игнат прикрикнул на нее:

— Тихо, не вой. Их там целая стая была. Пока я подросел, во что оставили. — Он достал из торбы ошейник, передал Ленику. — На, держи... Будешь растить другого Галуса. — Повернулся к жене. — А нам с человеком устрой перекусить; и наездилсь и намерзлись.

— Где ты хочешь л-лупить его? — поинтересовался Павел.

— А вот тут. — Игнат указал на балку возле печи. В балку был вбит большой железный крюк, на котором когда-то вешали зыбку.

Игнат принес из сенцев веревочные вожжи, расцепил зверю челюсти, захлестнул мертвым узлом морду и клыки. Морда оскалилась будто в последней бессильной злобе. Вожжи накинули на крюк, подтянули волка вверх. Подвешенный, он казался еще больше: нос был у самого потолка, а хвост лежал на полу.

— Ну что ж, брате вовче, начнем последнюю операцию, — с грустной улыбкой проговорил Игнат. — Сегодня нам пофартило. Ты думал, что ваша взяла, а вышла небольшая поправка...



Наутро ждать завтрака Игнат не стал. Кинул в торбу краюху хлеба, сала, взял ружье, патроны.

— Если кто будет спрашивать — потащился куда-то на зайцев, — сказал Марине. И добавил: — Зайду к Змитроку, а от него, наверно, в район.

Марина окинула его взглядом.

— Все знают, что на зайцев ты не так одеваешься.

— Мало кто что знает.

— Попросил бы коня. И скорей, да, может, купил бы что детям.

— Как-нибудь другим разом.

Игнат прошел в конец села, свернул в поле и стал приглядываться к снегу. Ружье лежало на левой руке, правая — на курке. Дошел так до леса, свернул налево. Двигался краем, пока не обогнул село. По стежке через болото выбрался к мельнице. Почему захотелось завернуть сюда, он и сам не знал. Обошел вокруг мельницы.

Стоял еще полумрак, но санный след, что вел не с дороги, а с поля, Игнат прекрасно разглядел. Туда, в поле, выходило зарешеченное и заставленное изнутри дощатым щитом окно. Около него кто-то походил с ломом: и рамы и решетка были выдраны живьем. На то была причина: как раз накануне смололи двадцать пять пудов жита из соседнего колхоза «Искра». За мукой искровцы должны были приехать сегодня. Мешков с мукой не было: кто-то опередил. Не исключено — те самые «кто-то».

Игнат поспешил за председателем.

Змитрок выслушал его молча, молча оделся, молча шел по улице. Оглядев выдранную решетку, прошел по санному следу: метрах в пятидесяти от мельницы он выходил на накатанную заледенелую дорогу.

— Подыми руку и опусти. И скажи: пропало, — произнес он наконец глухим, как будто еще сонным голосом.

— Поднять и опустить руку не штука. А все-таки... — Игнат ждал, что скажет Змитрок.

— А все-таки, — тот поглядел Игнату в глаза, — зараз запрегем коня — и езжай прямо в район. Это уже серьезно. Расскажешь все, а там скажут, что делать дальше. Понял?

— Не дитя, пора кое-что понимать.

Запряженная в легкие санки молодая лошадка ходко бежала трусцой, и двадцать километров до района не казались длинными.

Полозья, повизгивая, скрипели на морозе, санки бросало из стороны в сторону на раскатанной дороге. Такая езда клонит в сон, однако Игнату не дремалось. Было самое время подумать о многом. Но больше всего мысли вертелись вокруг событий последних дней, в которые он оказался вкрученным, как буравчик в бревно: и не вывернуть и не вырвать. Оставалось одно — крутить дальше. Ночные гости, лисий след, Галус, волки, человечьи следы с раскатом, черные картофельные пригарки, выстрел в Штыле. Теперь — мельница... Решиться на такое мог очень рискованный человек. «Может, хлеб есть, хозяюшка?..» Точно так просили хлеба солдаты-окруженцы в начале войны, пробираясь по тылам вслед за линией фронта. Так просили хлеба и они с Тимохой на Витебщине, пока не встретили партизан...

«Может, хлеб есть?..» Какой им хлеб, какое «может»? Какие они имеют право?.. И опять же, почему так получается? Встретились бы они в войну — все понятно: враг есть враг. Откуда же эта мягкость у него сейчас? Надобно было увидеть то, что они натворили у Поли, надобно было услышать свист пули над головой, чтобы вернулась настоящая злость?..

«И ты дал им хлеба?..» Дал, дал! Того хлеба, которого не догадался принести ее детям.

Он чувствовал, он был уверен, что в Штыле за ним следили, он был на мушке. Там можно было его прихлопнуть, можно было. А что

дальше? Человек не вернулся с охоты, пойдут искать, непременно пойдут. И все обнаружится. Нет, лучше тихо. А может, он, Игнат, ничего не заметил? А если заметил, так, коли благоразумен, будет держать язык за зубами. А если не имеет разума, если дурак? Что тогда?.. Тогда будет то, что на самом деле. Мало что вы хотели, мало что вы хотите... На каждое хотение всегда найдется обруч, а обруч нелегко разорвать, даже если большую силу приложить.

Лейтенанту Галабурдову было немногим больше двадцати, но и этих лет достало на войну. Дошел до Германии, привез оттуда несколько осколков в теле и довольно пустое, бессмысленное при словье «хенде хох унд зибен-зибен», которое повторял без всякой надобности. Уйти в запас не захотел — попросился в милицию.

Работа в милиции всегда колготная — то украли, то убили, а ты разбирайся. Но жить можно было, если б не эти «хлопчики». Банду взяли в прошлом году под Галынкой: двое были убиты в перестрелке, пятеро сдались, а двое выскользнули. И выскользнули только потому, что не оказались «дома», когда брали всех. Стась Мостовский из Липницы и его «адъютант», его тень — Любомир. Несколько месяцев после Галынки они молчали и вот подали голос. И на что только надеются? Хотя на что... Ни на что...

Лейтенант ехал вместе с Игнатом. На их санях сидел также молодой молчаливый сержант Силивончик, на соломе лежали автоматы, ружье. Сзади шли другие сани, на них было четверо, тоже все при оружии. Ехали в Штыль, к бывшим партизанским землянкам. Молчали, если не считать скупых слов, которыми перекинулись лейтенант и Игнат.

— Скажите, а почему вы не пришли к нам вчера? Сразу, как по вас выстрелили? — поинтересовался лейтенант.

— Вчера не мог. Волка привез. Да, вопщетки, откуда я мог знать, кто стрелял, — ответил Игнат.

— Волк волком... А тут... они приходят к вам среди ночи, вы выносите им хлеба, луку, вместо того чтобы... У вас же ружье, и вы добрый стрелок. Может, у вас с Мостовским какое сродство? — не отступал лейтенант.

— Далекими соседями были, в одном колхозе были, но до сродства, слава богу, не дошло, а теперь, видно, и подавно не дойдет. А ружье есть, вот оно. — Игнат показал глазами на солому. — Есть ружье и стрелять из него умею... Однако же стрелять из-за угла, не зная в кого... Одно — разговор в открытую, глаза в глаза, а другое — как собаку, из-за угла... Люди ж мы, а не абы кто.

— В открытую... У вас открытая, у них закрытая... Нешто так договоришься? — ухмыльнулся лейтенант.

— Не знаю... Но, по-моему, их надо взять. Взять и судить... Чтоб и они и все знали...

— Возьмем.. Не сегодня, так завтра, а возьмем. — Лейтенант пристукнул кулаком по грядке розвальней.

К бывшим партизанским землянкам успели засветло. Подходили с трех сторон с самой строгой предосторожностью.

Землянки были пусты. В трех никто не жил с тех пор, как их покинули партизаны. Четвертая была превращена в отхожее место. В пятой, самой большой, еще не успел выветриться спертый дух недавнего человеческого пристанища. На нарах — свежая, не перетертая солома, в железной печке — покрытые сизым пеплом уголья, у порога — сухие дрова. Видно было: землянку покинули недавно, день или два назад. О том же говорили и следы, что вели от землянки к кринице.

Игнат с лейтенантом Галабурдовым стояли возле сучкастой, наклоненной в сторону болотца ели. Росла она на небольшом взгор-

ке, у подножья в нише, прикрытой нависшими корнями, белело маленькое песчаное блюдце, до краев полное прозрачной воды. Из блюдца через узенькую промоину вода уходила под снег, пряча от неопытного глаза свою живую беспокойную силу.

— Теперь они снова затаятся месяца на два,— с сожалением произнес Галабурдов.

— Считаю, до весны. Ага, до весны... Я вот шел за волком. Он свернул направо вон там. — Игнат показал на старые ивы. — Оно можно было и мне обойти стороной, но если по-мужски, то уж больно хотелось дознаться: какому доброму человеку не сидится в тепле, кого это занесло сюда? Были подозрения и на Стася Мостовского.

— И вы один?..

— Вопщетки, когда-то, в самом начале войны, командир мой лейтенант Зеленков говорил: на танк идут в одиночку. А у меня к Стасю своя претензия. Да и с ружьем я, два ствола. А из дому выходил еще и с собакой. Это потом все переигралось.

— Могло и хуже переиграться. Хенде хох унд зибен-зибен!

— Могло? Может, и могло. — Игнат почесал в затылке. — Я тебе скажу, это теперь тут стало людно, а когда-то, аж до самой войны, тут даже и медведи водились. Небольшенькие, рыжие, у нас их мурашниками зовут. И один раз было так: пошли заготавливать дрова Сыромолот Ясь и Пац Михайла, оба из Ганаратова, соседи. Что наготовили, а, это, разошлись еще поглядеть сушняка. Сыромолот идет и видит большой муравейник, а из него, изнутри будто кто мусор выкидывает. Подождет да и подбросит вверх, подождет да и подбросит. Будто баба на ветру просо веет. Ясь человек любопытный, да и каждому захотелось бы глянуть, что там такое творится. Приблизился к муравейнику, а там внутри, будто дитя в куче песка, медведик муравьев теребит. Закопался так, что и головы не видно, занятие, вишь, интересное. Ясь сразу смикитил: добрый кожушок женке будет. Решил человек накрыть медведика в яме, которую тот сам себе выкопал. Ясь был мужчина кило на восемьдесят, а сколько там того медведика! Для порядка он тюкнул его обушком по темени, а потом и сам навалился сзади. И что вышло? Видать, слабо тюкнул или обух скользнул по кости, у медведя на лбу она крепкая, как металл. Кто же любит, чтоб его обнимали сзади, а тем более зверь. Медведик не захотел стоять спиной к человеку, повернулся мордой. Так выглядел маленьким, с овечку, а как встал на ноги, то и до подбородка достает. Смуродом дышит. И что погано — лапы норовит пустить в работу. Ясь оттолкнул его несколько раз, да тот крик поднял. Хорошо, что Михайла не очень далеко отошел. Подбегает, а они барахтаются, человек и медведь. Медведь таки добрался лапой до затылка Яся, гребанул и шкуру вместе с волосами, как рукавицу, на нос надел. Михайла человек бывалый, без ножа в лес не ходил. Он и саданул медведю под лопатку. А потом давай уже Яся вызволять. Вывернул назад волосы, разорвал нательную сорочку, перевязал наскоро да в больницу.

— Все это так,— засмеялся лейтенант Галабурдов и серьезно спросил: — А был бы тот Ясь один, а?

— Задрал бы его медведь. Как пить дать задрал бы,— с твердой уверенностью и вроде оживившись проговорил Игнат. — Это ж медведь. Если попустился в самом начале — все, хана. Да и так... Кому это нравится, чтоб с живого шкуру сымали и на кожух пускали? А на танк идут в одиночку, лейтенант.

Лейтенант Галабурдов с интересом и теплотой поглядел на Игната, грустно улыбнулся:

— И все-таки лучше идти с пушкой. — В его веселых навывкате глазах была озабоченность: он не знал, что докладывать капитану, своему начальнику.

## XIII

Игнат сидел за столом, обедал. Редко ему выпадало обедать дома и так спокойно, а то ведь все больше на бегу, всухомятку — либо на мельнице, либо в поле, либо в лесу...

Щи хорошо упрели в горячо натопленной печи, из нее густо пахло жареным мясом, однако мяса Марина сегодня не подала, прибегаает на пасху. Ну да как она решила, пусть так и будет. Бог богом, а люди людьми. Хочется сделать себе праздник — вот и изворачиваются.

Хата была вымыта, выскоблена, свежей побелкой отсвечивали печь и потолок, окна блестели чистыми стеклами. Игнат ел и сквозь эти прозрачные стекла смотрел на улицу. Сад, за садом забор, за забором дорога, Тимохин двор... Оттуда порывами замахивало дымом: Тимоха жег на огороде летошний картофляник. Огонь то разгорался, белые клубы взвивались вверх, то захлебывался от сырой ботвы, и тогда шлейф дыма наползал с огорода на улицу. «Жмот. Жалеет капнуть керосину, сам задыхается и людей душит», — беззлобно подумал Игнат про соседа, когда ветер снова повернул в эту сторону и чернота поползла через улицу в огород. Наползла, заслонила все, даже ближняя к окну яблоня видна была только снизу, у самой земли.

Дым тотчас же растаял, будто осел на землю, и тогда Игнат завидел на улице напротив своего дома двоих: один с автоматом, другой с карабином. Первого, высокого, он узнал сразу: это был Стась Мостовский. Второго не узнавал. Они направлялись к нему во двор и смотрели на его хату.

Игнат съехал с табурета, махнул за дверь. Марина заканчивала мыть полы в сенцах.

— Меня нет дома, — бросил он сдавленным голосом, взлетел по лестнице на чердак, откинул лестницу от стены.

Марина ничего не понимала, почувяла только: случилось что-то неожиданное. На крыльце послышались голоса, и вслед затем в сенцы вошли Стась Мостовский и молодой, с черными усиками хлопец.

— Не ждали? — спросил Стась с нервной ухмылочкой, правый уголок губ дернулся. Губа у него дергалась и до войны, а теперь это стало заметнее.

— Не ждали, — скорее удивленно, чем испуганно ответила Марина и перевела взгляд со Стася на его спутника.

Это был совсем еще мальчишка с нежным лицом и светлыми голубыми глазами. «Сколько ж тебе годков?» Марина узнала его. Это он просил у нее хлеба. Только ночью выглядел гораздо старше.

Она стояла над помойным ведром с грязной тряпкой в руках, с засученными по локоть рукавами, с подоткнутой спереди, чтоб не халюпаться, юбкой. Уловила напряженный, сосредоточенный взгляд Стася на своих оголенных ногах и испуганный, мгновенный, как блеск молнии, взгляд его напарника. Выкрутила тряпку над ведром, вытерла руки о фартук, провела ими от поясницы вниз, и фартук вместе с подолом юбки как бы сам по себе соскользнул, скрыв ноги.

— Не ждали, — повторила, растягивая слова. — Но раз пришли, проходите в хату.

— Где Игнат? — резко, будто на допросе, спросил Стась.

— На работе, где ж ему быть. — Марина открыла дверь в хату, первой ступила через порог.

— А нам передали, что он пошел домой. — Стась шагнул за ней в хату.

Вслед за ним вошел и его напарник.

Стась быстрым взглядом окинул хату, сунул голову за перегородку, заглянул на печь, подошел к столу, круто повернулся.

— Любомир, проверь-ка на чердаке. Он только что был здесь, видишь, не успел и щи доесть.

— Много ты знаешь, кто успел, кто не успел. Если б по-людски, может, и вас покормила бы.— Марина явно нарывалась на ссору.

— Обьедки нам не нужны,— опять так же резко произнес Стась.

— Обьедки?! — Марина, казалось, старалась дойти до смысла этого слова, а тем временем прислушивалась к тому, что делал в сенцах напарник Стася. Тот приставил лестницу к стене, слышно было, как поднялся ступеньки на две, помедлил — то ли не хотел, то ли боялся лезть выше.— Тогда вы не голодные...

— Неужто вы думаете,— Стась сделал нажим на «вы»,— что мы будем ждать, пока нас накормят?

— Вы не ждете, вы просите? — не удержалась от иронии Марина.

Стась сверкнул глазами, губа его дернулась, но он не успел ничего сказать: вернулся напарник. Бросил коротко, точно отрубил:

— Там никого нет.

Стась, стоя спиной к двери, хрипло проговорил:

— Жаль, что разминувшись... Хотя, может, еще свидимся? А? — Говорил будто про себя и смотрел на Марину. Повернулся к напарнику.— Иди к дядьке, пускай приготовит вечерю.

Хлопец стоял, не хотел уходить.

— Любомир, я ж тебе говорил: третья хата с левого крыла, вон липы видны. Скажи, что я зараз приду.

Хлопец некоторое время раздумывал, потом круто повернулся и вышел. Его фигура с тонким, как прутик, стволом карабина мелькнула мимо окна.

— Что ты имеешь к Игнату? — спросила тогда у Стася Марина.

— Я сам хотел спросить у него: что он имеет ко мне? Чего он ходит за мной по пятам? Вынюхивает, выслеживает...

— Может, хотел сказать, чтоб не таскались по лесам, а вышли к людям, если хотите, чтобы...— Марина не договорила. Она успокоилась, почувствовав, что беда миновала.

— Мало что мы хотим...— Нервная ухмылка вновь скривила лицо Стася.— Отхотели...

— Нехай уж ты... А зачем это дитя водишь за собой?

— А ты знаешь, что такое остаться одному? Совсем одному?..

Марина молчала.

— Да и не такое уж он дитя, как тебе сдается... Хотя... Маленькая собачка до старости щенков...— Стась хохотнул.

— Боже мой, какой ты...— Марина не находила слов.

— Я такой... А своему Игнату передай: третий раз не промахнусь.

— Третий?..

— Тогда ж, в самом начале, я его не тронул, хотя мог. И должен был по законам новой власти. Думаешь, я не знал, что он был с Вержбаловичем и Шалаем? Так и пошел бы вместе с ними, если б я не пожалел... Я уж не промахнулся бы. Да и теперь...— Стась говорил спокойно, похоже, слова эти доставляли ему радость.

Лицо Марины сделалось белым, как бумага.

— Так это ты стрелял в него?..

— Я, я стрелял, но Любомир помешал.

Марина долго смотрела на Стася не в силах вымолвить ни слова, ноздри ее нервно вздрагивали.

— Вон! Вон из хаты! Вон!!! — дико закричала, затопала ногами. Она уже не помнила себя.

— Тихо! Не кричи.— Стась сделал шаг вперед, схватил ее за руки, привлек к себе.

Марине ударил в нос запах неухоженного, давно не мытого мужского тела, давно не снимаемой пропотелой одежды — знакомый запах свиного логова.

— Пусти! — крикнула она, вырываясь. Ее всю трясло.

— Не кричи, а то подумают неведомо что... — криво усмехнулся Стась, расцепив руки. — Это я так, пошутил...

— Тебе войны мало было для шуток, так еще и теперь?!

— А это уже не твоей головы дело, — вялым голосом ответил Стась. — И вообще... загулялся я тут с тобой.

Марина пристально глянула в его побуревшее, обросшее лицо, покачала головой.

— А мне еще к дядьке надо зайти, пасхального пирога отведать, — продолжал Стась. — Он хоть и не родной, а все-таки дядька. И пирога я давно уже не ел. — Стась поправил на плече автомат, пошел было к двери, но тут же вернулся. — Добрая ты баба!

— Такая добрая, что ты пришел в хату убить ее мужика?!

— Мужик одно, ты другое... А знаешь что... Возьми у меня гроши. А? Возьми.-- Стась отстегнул ремешок на сумке, достал завернутую в газету толстую пачку красненьких тридцаток. — Возьми, у меня их много. И не бойся, никто об этом знать не будет. Возьми!!!

Он совал деньги в руки Марине, она отбивалась от них:

— Нет, нет, нет!

Наконец вырвала сверток у него из рук и затолкала назад в сумку.

— Ну, не хочешь — как хочешь... — С этими словами Стась вышел во двор.

Марина взбежала по лесенке на чердак. Игната там не оказалось. И две доски во фронтоне были отжаты снизу...

Игнат знал, что в его распоряжении всего несколько минут, и воспользовался ими. Отлично сослужил старый ржавый топор, валившийся на чердаке с довоенной поры. Дальше было просто: Игнат выбрался на козырек, оттуда на землю в огород, вдоль глухой стены — за хлев и по огороду — в сторону леса. Бежал пригнувшись и все время ждал, что сейчас полоснет очередь. Не полоснула. Уже выскочив на опушку леса, увидел возле курганов спутанного коня. Скрываясь за кустами, добежал до него, распутал, взобрался на спину. Подгоняя и направляя прутком, вылетел на дорогу в Клубчу. Никогда так не стлалась дорога под ноги коню, и ни один конь, казалось, никогда не понимал так Игната.

— Давай, Голубок, давай! — приговаривал Игнат, взмахивая в такт галопу руками и забыв о том, что называет коня по имени.

Конь был из пары, которую привел Змитрок из-под Гродно. Кобыла Голубка и конь Голубый, а пара называлась Голубая за стальную, с примесью черной шерсти масть. У артиллеристов они ходили в паре, таскали пароконную фуру, привыкли друг к другу и здесь, выйдя на колхозное житье, любили ходить вместе. Их не разбивали, когда требовалась пара, когда же нужно было сделать что-то на одной лошади — что поделаешь... Так случилось и в этот раз: Голубку запрягли возить картошку от буртов, а Голубый гулял...

— Давай, Голубок, давай! — повторял Игнат, сжав ногами горячие лошадиные бока и припав к холке.

На коне даже в седле ездить можно, только хорошо наловчившись, а без седла, да без привычки, да галопом, да еще столько километров... Кто решился на такое, долго будет вспоминать. Будет вспоминать эту свою скачку и Игнат, но это потом, на второй и третий день, когда станет ходить враскорячку, точно подвесив кувшин между ног. А теперь он знай подгонял коня и шептал ему ласковые слова:

— Вопщетки, надо нам поспеть, Голубок, обязательно надо поспеть. Только бы хлопцы были на месте...

Хлопцы — лейтенант Галабурдов и шестеро солдат — находились как раз на плацу перед сельсоветом. Был тот час, когда лейтенант собирался распустить людей по хатам на ночлег, но перед тем давал инструктаж. Сегодня он выстроил всех, чтобы напомнить, что завтра религиозный праздник, великдень — пасха, однако они, работники

органов, не имеют на него такого полного права, как все остальные, поскольку не могут ликвидировать банду, которая сидит, быть может, где-нибудь в ближнем лесу и не дает возможности честным людям спокойно работать, а когда надо, так и справлять праздник. Банда, возможно, только и ждет этого дня, чтобы попортить нервы всем, и в первую очередь им.

Слово «банда» лейтенант употребил больше для страха и для того, чтобы все по-настоящему поняли важность того факта, зачем они здесь находятся. Сам он был уверен, что банды той — всего два человека, Мостовский и Любомир, его «адъютант». Так в один голос твердили бандиты, взятые в лесу около Галынки, так говорил и третий, Северин, который убежал тогда, а затем пришел сам.

Три дня назад поступили сведения, что видели двух вооруженных мужчин в лесу около Клубчи. Видели их три разных человека. Может, это были они, может, нет. Скорее всего они. Шли открыто, не убегали, но к людям не подходили. Решили сдаться? Чего тогда шастаете по лесу? Осмелели?..

Направляя отряд сюда, капитан сказал: «Все, хватит! Я не знаю, сколько их там, но я знаю, что они есть. А их не должно быть. Мы должны знать, что бандитов нет, и спать спокойно. Можешь — приведи, не сможешь — привези. Пора. Они десять раз могли явиться с повинной или пустить себе пулю в лоб. Убоялись? Не пожелали? Все, пора, хватит!.. Только я все время должен знать, где вы. И наши люди в селах должны знать, где вас искать».

Голубый вынес Игната к сельсовету как раз в то время, когда лейтенант собирался подать команду «разойдись!». Все смотрели на человека, скачущего к ним по улице.

Лейтенант узнал всадника, а разглядев его раскрасневшееся, мокрое от пота лицо, понял, что просто так гнать коня тот не будет.

Потребовалось всего несколько минут, чтобы они выскочили из села: Игнат на коне, а следом за ним, вытянувшись цепочкой, семь человек во главе с лейтенантом. Игнат уже не торопил, но и не сдерживал коня, тот шел ровной рысью, будто понимая, что быстрее нельзя — люди не успеют за ним, тише тоже нельзя — могут опоздать.

Подъем на взгорок, спуск в лощину, кусты, сосняк. Лес пробегали — садилось солнце, а если бы время было и люди хоть на минуту могли остановиться, они увидели бы, как красиво пронзают лес его лучи, обливая золотом гладкие стволы сосен, как дрожат, точно туго натянутые нити, и затем неслышно, обессилев от своей невесомой тяжести, ложатся на землю; услышали бы, как весь лес полнится птичьими голосами.

У людей не было лишней минуты. Они задыхались от быстрого бега, пот слепил глаза, и хорошо, что солнце не жгло и не спешило уходить, оставляя им больше светлого времени.

За гатью около рябины Игната поджидал Леник.

— Они у Миколки! — крикнул он.

— Это третья хата по левую руку, — пояснил лейтенанту Игнат, останавливая коня.

Солдаты устремились вперед, обходя Игната. Он подхватил Леника на коня, усадил его перед собой и погнал дальше.

За гатью, не высываясь из кустов, лейтенант подал знак остановиться. Все тяжело дышали.

— Вы свободны, — сказал он Игнату. — Спасибо вам. Коня.. хотя нет, конь пусть будет где-нибудь поблизости. А мы.. Корбут, Игнатович со мной по улице, надо отсечь от леса. Силивончик, — он взглянул на немолодого сержанта, — Силивончик и остальные огородами, окружать двор. И — тихо, попробуем захватить врасплох. И — беречь головы. Хенде хох унд зибен-зибен. Ну, пошли!

Первый двор был огорожен с улицы плотной изгородью из сухой ели, потом шел старый реденький штакетник, за которым в глубине

огорода стояла приземистая нежилая хата, за ней был Миколков двор, обнесенный сосновым частоколом. Хотя Миколку и звали так по-детски ласково за незавидный рост, но человек он был ухватистый, делал все капитально, навек.

Весь конец улицы лейтенант с солдатами пробежали на одном дыхании и у начала Миколкова частокола столкнулись с самим хозяином. Он уже побывал у Игната, у Тимохи, никого дома не застал и теперь не знал, что делать: в хату возвращаться не желал и далеко отходить от нее тоже. Он ничуть не удивился, увидев вооруженных людей, точно ожидал их.

— Пьют,— сообщил сразу, будто от него ждали ответа.

— Где? — спросил лейтенант, окидывая взглядом двор.

К Миколкову хлеву, пригнувшись, проскочили с солдатами.

— Второе окно с улицы. Стол стоит у самого окна...

— Кроме них, в хате есть кто-нибудь?

— Нет. Женка и дочка сразу убежали, как услышали их. Ну и я во...

— Вас-то я вижу...— Лейтенант сверкнул черными глазами на Миколку.— Дверь одна?

— Две. Вторая во двор — скотине давать и так...

— Окна?

— Четыре на улицу, три в палисадник. С того боку одно на хлев, как и дверь.

— Так...— Лейтенант еще раз взглянул на Миколку.— Вам тут нечего делать. Давайте туда.— Он мотнул головой в другой конец поселка.— Корбут, Силивончик за мной! Закрыть ставни: один с одного боку, второй с другого. Западня так западня. Хенде хох унд зибензибен. Только самим не высовываться.

— Товарищ лейтенант, а может, сразу гранату в окно? — подал идею один из солдат.

— Что вы, хлопцы... Вы ж разнесете весь дом,— забеспокоился Миколка.

— И дом и... Попробуем договориться, может, сами сдадутся, без боя... Ну...

#### XIV

Миколка хозяин справный, все, что полагалось смазать, у него было смазано, что не должно скрипеть — не скрипнуло. Ни Стась, ни Любомир не заметили, что хата окружена, не услышали они и как затворились ставни на окнах в другой половине. Они изрядно выпили и спокойно закусывали.

За окном через улицу, за черноземом огородов, напоминая перевернутую зубьями кверху пилу, стоял лес, и над ним огромным рдяным кругом висело солнце. Багровый отсвет лег на бурое, вспотевшее от горелки лицо Стасы, и оно засветилось, точно обливной горшок.

— Какое большое солнце,— заметил Любомир и нервно усмехнулся.

И тут в комнате потемнело, казалось, с одной стороны на небо надвинулась черная туча. Стась как откусил огурец, так и застыл, будто к его затылку приставили дуло пистолета. Он тут же крутнулся, бросил взгляд на окно за спиной. Там, где было окно, стало темно.

— Обложили! — только и вымолвил, хватаясь за автомат.

Окинул глазами хату. Печь стояла подле глухой стены. Через открытую дверь в другую половину видна была кровать с горой подушек.

— Хватай подушки и сюда, на печь! — глухо вполголоса приказал Любомиру, а сам стал спиной к печи. Окно было перед ним, дверь справа.

— Зачём? — не понимал Любомир.

— Делай, что говорят...

В это время ставни на последнем окне медленно, как бы сами по



себе стали закрываться. В хате еще больше потемнело, и Стась как стоял с автоматом у живота, так и ударил из него чуть выше подоконника. Ставни отскочили назад. Снова стало светлее. Стась метнулся к двери, взял ее на крюк.

Любомир тем временем перенес и кинул на печь четыре или пять подушек...

— Что ты делаешь?! — закричал он на Стася, когда тот дал вторую очередь в окно. — Мы же пришли сдаваться!

— Я им сдамся! Бери карабин и на печь... Это наш последний бастион.

— Ста-ась! — простонал Любомир. Голос его дрожал. — Я думал, ты хоть теперь... Мы ведь с тобой договорились...

— Кому сказал! — прикрикнул Стась, повернувшись к нему.

Дуло автомата было наставлено в живот Любомиру. Тот послушно взял карабин и полез на печь.

Очередь со двора через угловое окно никого не задела. Чуть не вся она вошла в поперечную стену, делившую дом на две половины, но три пули пощепали стену над столом — как раз в том месте, где несколько минут назад сидел Любомир. Одна зацепила графин с самогонкой. Горелка залила пол, растеклась по нему темным пятном. Стась кинулся к печи и резанул в ответ. На эту очередь со двора не отозвались, но в хате стало темно: закрылись ставни того окна, возле которого они сидели. Стась стал на зачинок, заглянул на печь. Любомир сидел в углу, вытянув ноги. Подушки загораживали пространство от двери и от окна, с двух других сторон были стены.

— Молодчина, — сказал Стась. — Можно держать бой.

— Тебе нужен бой?! — с тихой злостью спросил Любомир.

Стась пристально взгляделся в своего молодого напарника.

— О чем ты думаешь?

— Я жить хочу... Я не могу больше, не хочу...

— Думаешь, они, — Стась кивнул за стену, — дадут тебе жить? Тебе, полицаю?.. Полицая и предателю... Война кончилась... И ты должен был поднять свои белые ручки вверх. А ты пошел в банду. И третий год гуляешь с ней... Подумай, хлопчик...

— Я подумал... Я никого не убил, никого не предал... — упрямо твердил свое Любомир.

— Ты даже так заговорил? Хочешь сказать, что ты чистенький? Не-е-е, брат... Ты — предатель! И... как я ненавижу их всех!

— Чужой крови на моей душе нету... А в полицию меня силком заставили пойти...

— Может, я заставил? — скривив губы, прошептал Стась. Он устремился на печи так, чтобы держать под обстрелом дверь и окна на улицу.

— Нет, тогда ты не заставлял... Ты после... после... — Любомир не договорил.

— Что после? — переспросил Стась. Он стоял на коленях, привалившись спиной к стене и касаясь головой потолка, стоило ему повернуться вправо, как черный глазок автомата смотрел на Любомира.

— Ты после... Ты держал меня как заложника... Ты боялся остаться один... Ты и теперь боишься... Стась, давай сдадимся, еще не поздно... — Это была отчаянная мольба, он почти плакал.

— Хлопчик, кто это идет домой сдаваться? — Усмешка, похожая на гримасу, скривила лицо Стася. — Домой идут или как герои, или как... — Он запнулся. — Поздно... Поздно, мой хлопчик. И кончай об этом... Кончай, а не то я...

— Я кончаю... Я кончаю, но ты знай, знай... Я не хлопчик...

Любомир не успел закончить. Брякнула ручка в дверях на улице, кто-то, видимо, попытался открыть дверь. Стась привстал на коленях и из-за трубы ударил из автомата.

В эту ночь Липница не спала. Пальба возле Миколковой хаты снова вернула к военным временам, взбудоражила память.

Игнат прилег было не разуваясь на канаве, лежал, курил. Встал, вышел во двор. До утра еще было далеко. Едко пахло навозом — только вчера выкинул из хлева. Разомлевшая, готовая к севу земля ждала плуга.

Игнат долго всматривался в сторону Миколкова двора. Впереди отчетливо вырисовывались липы Тимохиной обсады, дальше все тонуло в темени. И когда тишину разорвала приглушенная очередь — стреляли из хаты, — он не выдержал, заспешил туда.

— Кто тут шляется? — остановил его на углу Миколкова двора встревоженный голос лейтенанта Галабурдова.

— Вопщетки, это я, — отозвался Игнат.

— Не спится?

— Стрельба не дает. Может, поговорить с ними, чтобы сдавались?

— Я уже говорил. Пустое. Хотя... — Лейтенант махнул рукой. — Говори.

— Стась, это я, вопщетки, и послухай, что я имею тебе сказать, — начал Игнат, укрывшись за углом хаты.

В ответ ему была ночная тишина. И он продолжал говорить дальше. Даже не говорил, а кричал, чтобы услышали в хате:

— Всему есть свой конец, и он всегда приходит, нравится нам это или нет. И если у тебя остался разум, ты перестанешь щепать хату и признаешься: «Хлопцы, я сдаюсь». На том свете навряд ли кто наберется терпения говорить с тобой так честно, как тут. Если взять голову в руки, то кому ты, вопщетки, теперь нужен? Никому и нигде. После того как ты продал немцам Хведора и Александру, я искал тебя, я знал, что встретимся, и, видишь, так оно и вышло.

Игнат перевел дух, и тут послышалась автоматная очередь, из двери полетели щепки.

— Что ты чешешь, как маленький, или так уже одичал, что ничего не жалко? Твоему ж дядьке жить в этой хате. Лейтенант Галабурдов обещал вам жизнь и справедливый суд, и вы знаете, что добровольная сдача дает больше права на помилование, чем пустая стрельба. И думать об этом вам осталось немного: коли хлопцы начали кого выкуривать, то уж выкурят.

Игнат умолк, и тогда послышался хрипловатый голос Стася:

— Ну вот что, агитатор, поговорил и заткнись. Ты знаешь свое, у меня — свое. Вижу, зря я когда-то пожалел тебя.

— Вопщетки, ты и взаправду убил бы меня?

Молчание, потом ответ:

— Надо было.

— Хотел бы я знать: а за что?

— За все...

— Все — это ничто. Всего разом не бывает...

— Слишком большие мудрецы вы были... И очень хотелось вам постричь всех под свой гребень...

— Да-к ты нашел немецкий... И стриг сколько мог, а не думал, что он кругом железный.

— Вы всегда хотели моей смерти...

— А это, вопщетки, неправда. Ты это знаешь... Она и теперь никому не нужна...

— Тогда что вам надо?

— Чтоб ты перестал стрелять. Своими выстрелами ты взорвал все село... Ты не думаешь даже о том, что где-то не спит твоя мати, слушает, как тебе тут весело...

На некоторое время повисла тишина, потом раздался глухой голос Стася:

— Ты мою мати не трожь... Она все знает. А что не знает, я сам

ей расскажу... Сам!..— Стась сорвался на крик, матюгнулся и вновь полоснул из автомата по двери.

У Игната больше не было желания говорить.

Автомат смолк, выплюнув очередную порцию гильз и пороховой гари, и снова стало тихо. Тихо в хате, тихо на дворе. Только ходики на стене продолжали настойчиво повторять один и тот же вопрос: так ли? так ли?

...Три дня назад Стась заходил домой. Пришли ночью с огородов, долго слушали тишину, боясь засады. Любомир остался во дворе, Стась зашел в хату. Дверь оказалась незапертой, мать ожидала его.

— Стась, это ты? — первое, что услышал он, прикрыв за собою дверь.

— Я,— глухо ответил он. Он с зимы не заходил домой. Кружил неподалеку, а домой не заходил.

— Я знала, что ты придешь.— И она без подсказки принялась занавешивать окна, засветила лампу.

Стась положил автомат на лавку, а сам тяжело опустился у стола. Был он заросший, и лицо казалось черным, хотя волосы не были такими.

— Может, я поставлю воды, помоешься? — спросила мать.

— Нет, воды не надо, а если бы сварила бульбы, мы бы поели.

— Ты не один?

Стась непонятно чему усмехнулся:

— На дворе есть еще один... человек. Я его позову немного позже. А пока хочу оставить тебе грошей.

Мать разводила на шестке огонь. Она налила в чугунок воды, поставила на треножку.

— Куда я с ними? Да и... нашто они мне?

— Не бойся, это не чьи-нибудь... Просто мы конфисковали...

— Чего уж мне бояться. Я и так живу и проживу. А что вы? Было два сына, зять, остался один — и тот...

— Я хочу оставить тебе грошей,— с грубоватой настойчивостью повторил Стась.— Хочу, чтоб ты могла купить что-нибудь. Хотя бы из одежды.— Он взглянул на жесткую, как луб, пошитую из плащпалатки юбку, что была на матери.— Необязательно же завтра идти в магазин и необязательно самой.

— Не нужны мне гроши,— ответила мать, продолжая чистить картошку.— Я вся измучилась, думая о тебе.

Стась видел: она устала, очень устала. Видел и то, что в свою хату он не принес радости. Да и мог ли он сегодня принести радость?

— Я хотела знать: что ты думаешь делать дальше? — спросила мать, подняв глаза от чугунка с картошкой.

— Я ж тебе говорю: я принес тебе грошей...

— А сам? — В голосе матери чувствовались слезы.

— Погляжу.— Стась как сел у стола, так и сидел. Ему трудно было не только пошевелить рукой или ногой, но и говорить было тяжело.

— Почему ты не хочешь повиниться, сынок?

— Боюсь.— Он не сказал, а скорее прошептал это.

— Неужели это страшнее смерти?

— Что смерть... Смерти боятся только дети...— Стась покачал головой.

— Сюда ж ты не побоялся прийти?

— И боялся и боюсь... Но куда ж я пойду?.. И я хочу знать, что у тебя будут гроши.

— Повинись, Стась. Кругом же люди... Наши люди.

— Потому и боюсь...

Денег она так и не взяла. И сейчас, конечно, не спит. Ходит по-за хлебами, шуршит своей юбкой. Или стоит, прижавшись к заплоту, вслушивается, что делается в этом конце. А что... в этом... конце? Тут

тихо. Только эти ходики... Хоть ты возьми да из автомата... Или взять гранату — и все разом, одним махом... А?

Стась взглянул на Любомира. Тот спал, зажавшись в угол, чмокал губами.

Рассветало быстро. Вокруг посветлело, засеребрилось небо, зачернели, будто оголились деревья.

Из Игнатово двора хорошо было видно Миколков хлев. Игнат видел: по нему, по самому коньку, шел в полный рост человек. Он шел с того конца, от луга, и в руках нес что-то длинное. Не доходя метров двух до края хлева, исчез на той стороне, потом залег, высушившись по грудь, пристроил перед собой на конек свое нечто. Это был пулемет, Игнат теперь хорошо разглядел его.

— Конец! — вслух произнес он. — Теперь-то будет конец.

Туда, на тот край хлева, где устроился пулеметчик, выходила стена Миколковой хаты, впритык к той стене стояла в ней печь. Человек с пулеметом замер, и нутро Игната сжалось, будто стрелять должны были в него самого.

Тишина оборвалась длинной очередью. Потом последовала еще одна очередь, потом еще и еще. «Бьет по пазам. Грамотно бьет, — подумал Игнат. — Теперь-то достанет».

Любомиру показалось, что он только задремал, хотя уснул крепко. Словно даже и не спал, а провалился в небытие и тотчас вернулся. Вокруг было тихо, и просыпаться не хотелось.

Последнее, что он слышал, были переговоры Стася с тем мужиком, который вышел на их след зимой.

«Вопщетки, ты и взаправду убил бы меня?» — «Надо было». — «Хотел бы я знать: а за что?»

Не время было думать об этом, но Любомиру нравился этот негромкий рассудительный голос. В нем чувствовались одновременно и простоватая наивность и сила. «Хотел бы я знать: а за что?» Не эти ли сила и уверенность выводили Стася из себя?

«...а за что?»

Любомир и зимой пытался добиться от Стася, за что он так невзлюбил этого упрямого, нетрусливого мужика. Грусливый никогда не отважился бы открыто среди бела дня выслеживать их. Один в таком диком месте... Если б Любомир не рванул из рук карабин, Стась застрелил бы его тогда. Потом он ухмыльнулся: «А ведь это его свежиной ты разговелся...»

«Так за что?» — «Ты этого не поймешь». — «Пускай не пойму, и все-таки за что?..» — «Они всегда стояли у меня на пути... Вержбалович, Шалай, он. Вержбаловича и Шалая нету. Допустим, не стало бы и его, этого...» — «Вопщетки...» — «Не стало бы и Вопщетки». — «И что дальше?» — «А дальше не твоя забота...» — «Ты завидовал им. И теперь завидуешь. Ты не можешь простить им своей слабости». — «Слабости... хм... Их нет, а я — вот...» — «Как волк... по темным углам...»

У Стася стала дергаться губа. Она всегда у него дергалась, как только он начинал злиться. Но Любомир слишком долго молчал до сих пор.

«Ты думал, что сила — это все?» — «А ты думал иначе?» — «Когда-то и я так думал. Но это не так. Есть еще кое-что...»

Они остались вдвоем в лесу и старались не заводить речь о том, что волновало обоих больше всего и о чем все время каждый думал втихомолку. Однако всему приходит конец. И терпению тоже.

«Ты, хлопчик, заговорил так, как будто чувствуешь что-то такое, чего не чую я, и как будто ты стоишь на другом берегу реки...» — «Стась, мы банкроты... У нас нет иного выхода кроме как...» — «Попробуй только...» — «Надо сдаваться». — «Я тебе сказал...» — «Это ты можешь». — «Могу...»

Любомир открыл глаза и увидел широкую спину Стася. Тот с

дел, свесив ноги с печи и повернувшись лицом к выступу над камельком. На выступе в стакане с жиром догорала свечка. Слабый свет пламени тускло освещал печь, заполняя пространство над ней огромными тенями. Пахло воском. Подле свечки лежали рассыпанные тридцатирублевки. Стась брал их по одной, подносил к пламени. Деньги вспыхивали не сразу, но горели весело и освещали не только печь, но и всю эту половину хаты. Тень Стася с громадной головой и массивными плечами ложилась на потолок, ломалась на стене. Дождавшись, когда пламя охватит всю купюру, он бросал ее догорать и брал следующую. Уже высоконькая горка пепла возвышалась на выступе камелька.

— Зачем ты все это? — тихо спросил Любомир.

Стась собрал оставшиеся тридцатки, поднес их к огню. Они загорелись, а свечка вспыхнула и потухла. Стась подержал какое-то время деньги, бросил их и лишь тогда повернулся к Любомиру.

— А ты думал, я им оставлю?..

Ничего такого Любомир не думал.

Деньги догорали, в хате стало темно. Но это длилось недолго. Вскоре проступили, точно прорезались, и придвинулись ближе линии трубы и рядом с ней силуэт Стася. Угадывалась поперечная стена хаты, прямоугольник окна. Свет шел сквозь закрытые ставни. Значит, на дворе наступал день.

И тут они услышали голос лейтенанта. В утренней тишине он звучал особенно звонко, будто лейтенант находился не во дворе, а где-то рядом, в хате.

— Эй вы там, на печи!.. Сдавайтесь, а то будет поздно! Даю вам еще три минуты...

Стась вздрогнул, потянул к себе автомат, лежавший с левой руки, Любомир зашевелился в углу, подвинулся на край.

— Ты это куда? — Стась повернулся к нему всем телом.

— Туда... — Любомир кивком указал на дверь.

— А ну назад! — Это была не угроза, это был приказ.

Любомир сверкнул на него глазами и, как послушный школьник, полез обратно. И потянул за собой карабин.

— Так вот, хлопчик, мы не успели договорить с тобой. Столько вместе, а сказать все не успели, — продолжал Стась, старательно выговаривая каждое слово. — А сказать есть что. Ты говоришь, что я держал тебя как заложника. Это верно, мы давно заложники. Ты — мой, я — твой. Мы с тобой — две половинки, две разные половинки одного и того же. Моя жизнь — это кровь, грязь, земля, дерьмо. Такая половина мне досталась. И я не хотел допускать на нее тебя... Ты такой... такой мягкий, такой нежный... Такой грамотный... У тебя такие красивые глаза... Это твоя половина. Я берег ее. Я растил тебя, я охранял тебя... И потому ты не попал ни в одну блокаду, ни на одну ликвидацию, туда, где стреляли и убивали, убивали и вешали. Потому ты и остался чистенький. Чистенький... как дитя, которое обгадилось, но которое подмыли. Только не думай, что я берег тебя просто так, за твои голубые глазки... Или потому, что ты сирота... Я берег тебя для себя... Думал когда-нибудь прийти на твою половинку, может, больше мою, чем твою, прийти погреться, погреться у твоего огня. Дурачина, где искал огонь.

— Перестань! — прошептал Любомир, отодвигаясь в самый угол. Короткий французский карабин лежал у него на ноге дулом в сторону Стася. Любомир с ужасом смотрел на Стася. Тот никогда еще не говорил с ним так.

В это время за стеной ударил пулемет. Он бил откуда-то сверху по пазам и прошивал стены насквозь. Несколько пуль вонзилось в трубу, посыпалась глина. Одна пуля зацепила Стася. Тот дернулся, но остался сидеть на месте. Пуля чиркнула по голове над ухом, он зажал рану рукой, простонал — кровь текла между пальцев.

— Достал-таки... Достал... Так вот... Я думал, что есть половинки... Половинок нет. Все — дерьмо и все смешалось в одну кучу. Несчастный байстрюк какого-то панка и горничной. Нежный, добренький, красивый трус...

— Перестань!..— закричал Любомир, прижимая к себе лужу карабина. Ствол его малость не доставал до груди Стась.

— Ты что это? Ты это что? — прошептал Стась, но страха в его голосе не было. Он попытался даже усмехнуться.— Разве это неправда? Я хотел, чтоб ты знал, чтоб...

Любомир нажал на курок. Стась выпрямился и стал валиться. И валился не в хагу, а на печь, на Любомира.

И снова над селом повисла тишина.

Тихо было и около Миколкова подворья. Все ждали стрельбы в ответ на пулеметные очереди, но ее не было. Донесся лишь глухой, словно в бочке, выстрел.

— Из карабина...— то ли сообщил, то ли спросил у лейтенанта сержант.

— Подождем еще минут десять,— проговорил лейтенант. Бессонная ночь серой паутиной легла на его лицо, глаза покраснели.

Лейтенант бросил взгляд в один конец села, в другой. И в том и в другом конце видны были люди. Солнце уже оторвалось от леса и висело теперь в сером небе, обещающая погожий день.

— Ну что, попробуем? — сказал лейтенант.

Сержант кивнул. Они стояли за углом хаты. Лейтенант махнул рукой солдатам, притаившимся за хлевом. Сержант тем временем осторожно приподнял кольцо и, резко толкнув дверь пристройки, вскочил внутрь. Тихо. Только слышно было, как где-то в хате тикали ходики.

— Эй вы, кто еще живой, сдавайся! — крикнул сержант.

Опять — тишина. Прижимаясь к стене, сержант протянул руку к кольцу, рванул на себя посеченную пулями дверь. Она открылась. Из хаты потянуло смрадным запахом человеческих испражнений и чем-то паленым.

Теперь тиканье часов раздавалось на всю хату, точно она давно была пуста и часы отсчитывали чье-то посмертное время. Казалось, они спешили, все ускоряя ход, и чем дальше шли — тем быстрее...

Лейтенант осторожно взглянул из-за косяка на печь. Скомканые, поставленные на ребро подушки. Лейтенант втянул голову, как бык, и переступил порог. Одновременно с ним, оттирая плечом в сторону, шагнул и сержант.

Тихо.

Обогнули печь.

Поверх окровавленных подушек и простынь, свесив ноги с лжанки, распластался Стась. Правая рука откинута в сторону на подушку. На ней лежал и автомат. Скрюченные смертью короткие пальцы, казалось, и теперь не хотели расставаться с ним. На выступе камелька исчерна-желтый огарок свечки, пепел. Жгли бумагу... Уголки недогоревших красных тридцаток. Жгли деньги.

— Этот готов,— сказал лейтенант.— Хенде хох унд зибен-зибен. А где же второй?

Отошли на середину хаты и увидели Любомира. Он хотел спрятаться в подпечье, плечи протиснул в лаз, а дальше пролезть не смог. Так и застрял: голова в подпечье, зад в хату.

— Так и будешь сидеть, вояка? Вылезай! — скомандовал лейтенант, пнув ногой в слизанную подошву сапога.

— Не могу...— простонал тот из подпечья. Завертел задом, заелозил сапогами по полу; пытаюсь выбраться на волю.— Не могу. У меня рука перебита...

— Помогите ему,— велел лейтенант.

Солдат присел на колено, ухватился за ноги Любомира и потянул его на себя — тот застонал и ни с места. Солдат сжал зубы, еще раз потянув изо всей силы, и тело Любомира медленно подалось в хату. Щурясь от света, тот встал на ноги, правой рукой одернул гимнастерку: она заголилась, пока солдат вытаскивал его из подпечья. Тонкие белые пальцы дрожали. Левая рука висела, как плеть, гимнастерка выше локтя засохла коробом от крови. Любомир дрожащей рукой одергивал гимнастерку, губы его то растягивались в жалкую улыбку, то смыкались, глаза виновато искали встречи с другими глазами.

— Карабин мой там, за печью... В нем три патрона, проверьте,— произнес он, обращаясь к лейтенанту.

— Какая разница, сколько там патронов?

— Три... а десять тут, в кармане... Мне их выдали вместе с карабином в сорок третьем. Пятнадцать. Они были у меня всю войну. И только теперь, в лесу, один раз стреляли из карабина. Стрелял он в этого, как его... Да я помешал... А второй раз, сегодня, стрелял я в него...— Любомир кивнул на печь.

— Хотел откупиться? — спросил лейтенант.

— Хотел жить...

— А чего под печь полез?

— Со страху...

Сержант напряженным взглядом оглядел пленного с его сапог до полотняно-бледного детского лица с тонкими сухими губами и черными усиками и вдруг взорвался:

— Мать твою... Ну пусть этот... Туда ему дорога, а ты?! Чего полез? Пятнадцать патронов, пятнадцать патронов... Отца не было штапы спустить?..

— У меня никого нет, ни отца, ни матери... Всех война накрыла...

— Рука перевязана?

— Не до этого было...

— Пятнадцать патронов... Дайте бинт...

— И воды...— попросил пленный.

Он качнулся и, если б не поддержали, упал бы. Его подвели к лавке, усадили, дали воды. Он жадно, проливая воду на гимнастерку, выпил, откинулся спиной к стене, закрыл глаза. Так и сидел с закрытыми глазами, пока сержант разрезал рукав гимнастерки, забинтовывал.

В хату начали сходиться люди. Вошел Игнат. Посмотрел на мертвого Стася, на недогоревшие деньги, покачал головой:

— Вопцетки, вот и все, и имеешь... «Дай тебе боже разум, а мне гроши...» Однако ж и они не понадобились...

## XV

Работы напоздали одна на другую, и не было мочи успеть за ними, хоть ты день набавь или ночь укороти. И до войны Игнат Степанович мастерил самопрялки, а война еще более порушила ход жизни, заставила людей научиться обшивать и одевать себя, и уж тут без самопрялки совсем стало невозможно. Заказов было много, и Игнат Степанович пилил, строгал и точил до поздней ночи. Вставал чуть свет, трубку в зубы и впрягался в работу, вращал ногами в стружку. Глаза боятся, а руки делают, и скоро его самопрялки крутили суровье в каждой липницкой хате, да не только в липницкой...

Думал Игнат Степанович, что отвоевал свое, что его война отошла вместе с перестрелкой в Миколковой хате, однако же нет. Она напоминала о себе по ночам, являлась в судорожной горячке тревожных снов. То снилось, будто его ведут на расстрел, и пускать в расход должен Стась, и вот он стреляет — сзади, под левую лопатку. Игнат Степанович чует жгучую тяжесть пули, что вошла в тело, и валится наземь. Валится и только тогда начинает создавать, что все

это не вправду, во сне. А то виделась собственная могила — продолговатый затравенелый холмик на тихой поляне, где-то там, в Штыле. И так жаль было самого себя: он лежит в могиле, а вокруг все зеленеет, цветет, идет в рост. Несколько дней не мог избавиться от ощущения, что где-то в лесу и вправду есть его могила, хоть сходи да проверь...

Старый хлеб съели, нового еще надо было дожидаться, а без хлеба — ни с косой, ни с рубанком.

Наскреб Игнат деньги, поехал за хлебом в Бобруйск. Попросилась и Поля вместе с ним.

Выстояли день в очередях, пуда по два купили, рассовали по мешкам и котомкам. В вагон втиснуться не смогли — ехали на крыше, держась за вентиляционные трубы. Хорошо, что труб этих было много. По всему поезду лежали такие же, как они, мужики и бабы — с мешками и котомками. Около Игната с Полей лежала женщина из-под Свислочи. Котомку привязала к трубе, руками вцепилась в углы. Разговаривали, чтоб не задремать и не сорваться вниз, потом притихли. И незаметно послули: близилось утро.

Задремал было и Игнат, но вдруг словно кто толкнул его под бок. Разомкнул глаза: над женщиной стоял, нагнувшись, какой-то мужчина. Он махнул финкой по углам котомки, они и остались в руках у женщины. Она ничего не почувяла, спала. Котомка с хлебом была в руках у мужчины. Он уже и не смотрел на женщину, следил за Игнатом. Их взгляды встретились, и Игнат увидел, что это детина лет восемнадцати с настороженными, холодными в своей решительности глазами. Обе руки у Игната были заняты: одна с мешком, второй он держался за торбу.

— Положь на место! — проговорил Игнат глухо и подтянул ногу для прыжка.

Вскинула голову и Поля. Детина какое-то время раздумывал, потом кинулся прочь. Бежал, а котомку из рук не выпускал. Игнат бросился за ним.

— Стой, мать твою!..

Их вагон находился в голове поезда, они бежали в хвост, перебегающая через людей, мешки и узлы... Люди со страхом смотрели на двух ненормальных, чесавших по вагонам.

Поезд шел среди поля. Промелькнула небольшая речушка, колеса вагонов глухо прогремели по невидимому мосточку, и тут до Игната долетел отчаянный Полин крик. Обернулся: поезд приближался к мосту через реку и на него уже наплывали черные стропила.

— Ложись! — крикнул Игнат детине, падая на крышу вагона.

Но тот продолжал бежать. Его фигура отчетливо была видна в проеме моста, и Игнату подумалось, что, возможно, он так и проскочит.

— Ложись!!! — завопил Игнат.

И в это время черная косая поперечина чиркнула парня по голове. Он подскочил, как будто собираясь нырнуть в реку, распластался в воздухе и свалился на крышу вагона. Рассыпались и, как бобы, покатились вниз буханки хлеба из развязанного узла...

Поезд затем долго стоял на следующей станции. Явились милиция, доктор. Убитого сняли с крыши вагона, отнесли в маленькое станционное здание. Ударом у него была снесена верхняя половина черепа. Смерть, как заключил доктор, наступила мгновенно. Никаких документов при убитом не нашли, лишь пришитый к подкладке фуфайки чехол от финки. Не для забавы пришивал и, видать по всему, не впервые показывал финку.

Милиционер снимал допрос тут же: что, как, почему?..

Плакала женщина из-под Свислочи, повторяла:

— Чем же я деток кормить буду?..



У нее их было трое, и для них собрали буханок пять хлеба. Добавил к ним и Игнат свои две.

Плакала Поля, теребя пальцами уголки платка: такой молоденький хлопец, ему бы жить да жить, но вот сгрузили на какой-то станции — где родня, где дом?..

Чуть позже, когда они шли со своей станции домой, Поля рассказывала Игнату:

— Вцепилась я в мешки, держу и сама держусь за трубу, гляжу, как ты догоняешь его. И что меня толкнуло взглянуть вперед? А на паровоз наезжает черная рама моста. Глянула назад: вы все бежите, ничего не видите... И тогда я закричала...

Этот крик и уберег Игната.

А еще через некоторое время, уже на полпути к Липнице, Игнату вдруг стало плохо. Сперва бросило в холод, потом в жар, не хватало дыхания, чужими, ватными сделались ноги, и весь он стал вялый, словно сам не свой. Игнат знал, что это значит. Это была она, контузия, которая так долго не беспокоила его, как бы щадила... Надо было где-нибудь отлежаться...

Метрах в ста от дороги стояла скирда соломы, к ней и свернули. Поля забрала у него мешок. Игнат едва переставлял ноги. Он ожидал, он знал: вот-вот должен начаться приступ...

Поля быстро надергала соломы, устроила постель, уложила Игната. Расстегнула поддевку, рубаху, послушала сердце: оно билось как ошалелое.

— Вопщетки, ты уже думаешь, может, совсем перестало биться? — сделав усилие, промолвил Игнат. Он лежал, откинув голову. Попросил, с трудом ворочая языком: — Ты не гляди на меня, отвернись.

На губах у него выступила пена, его начало бить. Потом он долго лежал с закрытыми глазами. Поля растирала ему грудь — кругами, захватывая все шире и шире. Рука ее, поначалу холодная, сухая, разогрелась, стала мягче. Игнату приятно было ощущать эту крепкую руку, и он чувствовал, что ему все легче дышать, потом начало клонить в сон. Он не заметил, как провалился в забытие, а когда разлепил глаза, Поля по-прежнему массировала ему грудь. Но делала это медленнее и спокойнее, и глаза ее смотрели куда-то далеко-далеко.

— Со мной что-нибудь было? — спросил, с усилием разжимая зубы. Не ворочался язык.

— Ничего... Сперва метался, потом уснул.

— Значит, пронесло... А у тебя пот на губе...

Поля повернулась к нему всем лицом, улыбнулась.

— Вот тут.— Игнат коснулся пальцами верхней губы, показал их Поле.

— Смелая твоя Марина,— вздохнула.— Не боится отпускать одного...

— Она ничего не знает...

— ...с чужими бабами...

— А тут, вопщетки, наверно, так: бойся не бойся, а от своего не убежишь.

Поля ничего не сказала.

Потом была середина лета, самое пекло. Поля попросила Игната помочь надеть кирпича-сырца. Обожженного не нашли на всю печь, хорошо хоть на трубу привезли, а в хате и сырец будет лежать.

Делали кирпич у заплота, на улице. Глина оказалась отменная, густо-красная и залегала неглубоко — меньше чем на метр. Месили тут же на месте в раскопанной яме. Нелегкая, это работа — глину месить, и они спускались в яму наперемену — то Игнат, то Поля.

Игнат присел перекурить на угол скамейки, на которой лежала

форма для кирпича. Поля, высоко подобрав юбку, чтоб не выпачкать, тяжело переминалась с ноги на ногу, едва вытаскивая их из густого красного месива. Глина уже не приставала к ногам — значит, была вымешана.

— Глянь-ка, Игнат, не готова ли? — спросила Поля, тыльной стороной руки откинув прядь волос со лба, усыпанного потом.

Игнат поднял глаза и... поперхнулся дымом. Он увидел загорелые до бурого цвета, словно точенные из сердцевины старого дуба, крепкие, мускулистые икры и выше — такие же загорелые округлые колени, откуда начиналось беззащитно-белое, волнующее...

— Что ты спрашиваешь у меня? Сама не чувствуешь? — глухо, с трудом отведя от ямы глаза, проговорил Игнат.

— Я-то чую, но ты ж мужчина. Тебе лучше знать, — переведя дыхание, тихо проговорила Поля.

— Мужчина... Нашла батюшку. Ладно, вылазь.

Поля ухватила руками за край ямы, легко выскочила наверх, встала перед Игнатом.

— А ноги, вопщетки, у тебя справные. Их бы в хромовые сапожки или в лодочки...

— Во мои сапожки, Игнат. На все вдовьи годы шиты, — с горечью, от которой недалеко было и до слез, проговорила Поля.

А ноги ее в половину икры и в самом деле были словно обтянуты чем-то темно-шоколадным, вроде замши... Поля смотрела на Игната, и его пронизывала насквозь приглушенная внезапным блеском чернота ее глаз. Он ощутил, как пересохло во рту.

— Вопщетки, тогда я тебе сошью. Увидишь, я это смогу...

— Не надо, Игнат. Не надо... — Поля подошла к корытцам с водой, поочередно поставила в них одну ногу, другую — и вот «сапожек» как не было.

Игнат наблюдал, как она мыла ноги, и слышал острый стук сердца в груди. Отвел глаза в сторону и... увидел кота: он осторожно и ровненько, точно по коньку хаты, шел по только что выложенным на доску кирпичам. Там, где прошел, на кирпичах остались неглубокие аккуратные следы.

— Апсик! — пугнул кота неожиданно для себя Игнат, и кот, будто и сам почувал, что сделал большую порчу, сиганул в сторону, на траву, с травы на заплот и дальше в огород.

Ни Игнат, ни Поля не стали затирать те следы. Кирпичи так и высохли, так и пошли на печь.

И вышло так, что Игнат под вечер возвращался домой с косой — добивал дальнюю полоску, а Поля с Витиком накладывали воз сена на своей делянке. Поля подавала, Витик стоял наверху. Скосили сами — оба умели держать косу, — высушили и сгребли, но воз сложить не могут — сено плывет, как мыло в мокрых руках.

Игнат раскидал воз, начал сначала. Сам подавал и командовал, куда класть. Поля принимала. Перед тем она отправила сына домой:

— Беги, сынок. Начистите бульбы, поставьте варить. Чтоб была готова, пока мы придем.

— Ты ж Раисе приказала, она сварит, — заупрямился Витик.

— Помоги ей.

— Сама справится, не маленькая. — Сын не спешил уходить, хотел дожидаться, пока увяжут воз и можно будет прокатиться наверху.

— Может, и не маленькая, а ты старший. Беги, — настояла на своем Поля.

— Вечно что-нибудь выдумашь... — Сын подтянул штаны и нехотя ушел.

Воз получился широкий, приземистый. Увязывали его, когда уже стемнело и туман пополз по низине. Игнат намотал веревку на рубель, захлестнул петлей.

— Может, вожжи подать? Сверху видней дорога,— сказал Игнат.

— Что ты, еще перевернусь,— засмеялась Поля.

— Тогда давай помогу слезть.

Она спускалась сзади воза, держась за рубель, и Игнат поймал ее, не дав коснуться земли. Поля и сама не вырывалась, с теплой расслабленностью замерла в его крепких, как обручи, руках. Он нашел ее губы, затем поднял на руки и понес к ближней копне.

— Куда ты? Это ж Анаево сено! — прошептала Поля.

— А может, старый не возбранил бы,— ответил Игнат.

— Ой, Игнат... И даюсь и боюсь,— шептала Поля и крепче прижималась к нему...

На следующий день Игнат сказал, что в хате душно и он пойдет спать на сено. Как раз перед тем вскинул две копны на чердак мастерской. Взял с собой постилку, подушку, кожух. Марина кивнула: Игнат любил спать на дворе.

Всякая радость знает свою пору, и если толком поразмыслить, то каждому следовало бы держаться этой поры. Если толком поразмыслить... А вот найдет на человека, накатит, как болезнь, закрутит, точно лист в водовороте, чтоб потом выкинуть его где-либо в спокойном месте, а он уже помятый, изжеванный, измочаленный. Что же это такое? И почему человек не желает прислушиваться к голосу рассудка? Хотя что тут рассудок... Да ведь все вокруг стремится помешать этой встрече, не допустить ее. Тогда как же ей не быть?

Потом, когда минет время, успокоишься сам и перестанут чесать языки люди, а людям что: поживились чем-то веселым либо горьким и рады, и больше ничего не надо,— потом, когда все отойдет, переболит, можно спокойно поразмыслить. Но опять-таки не при народе, не на виду у всех, а забившись, подобно зверю, в глухой угол, чтобы никто не слышал и не видел. Волклизывает свои раны в одиночестве.

Все это будет потом... А пока что Игнат каждый вечер шел спать на сено, а затем, когда затихало село, украдкой пробирался к лесу, чтоб оттуда через огороды вернуться к Полиному хлеву. Трижды стукнуть косточками по бревну, услышать в ответ тоже тройной, только более глухой стук изнутри. Значит, она там, она ждет. И ворота приотворены, предательским скрипом не наведут никого на их тайну.

Игнат не считал себя последним человеком, быть может, он только более спокоен, чем некоторые. Даже не спокоен... Человек должен уметь держать себя в руках. Баба может позволить себе слаbinу, слезу там пустить или крик поднять, а мужчина есть мужчина. Похвали — не запляшет, дай по носу — не заплачет. Отчего воск долго сохраняет форму? Оттого что мягок, чуть пригрело — и пополз. Или взять для примера хотя бы Мельяна Горавского. Рослый, светловолосый, видный мужик, если взглянуть со стороны, — а слабак. Неспроста же прозвали его Мельяном Мягким. Дома жены боялся, весь век через кочергу скакал, на людях людей боялся, голоса не осмеливался подать. Ведь вот еще при панах было... А жил он тогда на взгорке по правую руку, как идти на Селище. И надо было ему что-то вспахать, кажись, раскорчеванный загон под жито. Сила у него была, и что следовало вывернуть — он вывернул; соху имел, а тут требовался плуг, и хороший плуг. Такой плуг был у его брата Хведора. Тот хоть и моложе на три года, а хитрый и скупердяй. К нему и пришел Мельян плуг просить. Долго у порога топтался, пока не решился на лавку присесть. Ждет, какое будет решение брата. А тот и говорит: «Оно-то плуг есть, и брат ты мне, и человек добрый, и дать надо бы — а не дам!» Вот так: «А не дам!» Пожалел, побоялся, чтобы нарог не затупил. С тем и ушел Мельян. Какой же мужчина после этакого стал бы считать того братом? А Мельян ни-

чего. Утерся рукавом и продолжал жить дальше, как будто ничего не произошло.

Это если говорить про мужчин. А если про баб — тем более. Тут без строгости нельзя. Чуть дал слабину — на шею сядут. Пока разберешься что к чему, глядишь — и поздно: не ты возом правишь, а тобой правят. А то и едут на тебе.

С бабами надо строго. Только строгость держит порядок в жизни. Игнат знал это твердо и жил, считай, весь свой век по этому правилу.

Правда, теперь порядок тот порушила Поля. Игнат это чувствовал, хотя и не хотел признаваться себе. Его словно подменили. Будто в его кровь кто-то подмешал чужой крови и новую душу вставил — таким не похожим стал на самого себя.

Никогда Игнат не слышал столько ласковых слов, да и сам не умел сказать их. А тут говорил и верил в то, что говорил и что говорилось ему про него. И лишь одно сжимало сердце, заставляло каменеть всего — это то, что все у них происходит украдкой, точно недоброе что-то, не как у людей. А что тут недоброе и что доброе?.. Об этом надо было думать, об этом нельзя было не думать... Но все сомнения уходили, забывались, когда Поля была рядом, когда он слышал ее дыхание, ощущал острый полынный запах ее волос...

Оба знали, что долго так продолжаться не может, что когда-нибудь придет конец всему, однако при встречах ни Поля, ни Игнат, точно сговорившись, не вспоминали об этом. Игнату нравилась деликатность, с которой Поля обходила то, что тревожило обоих. Он делал вид, что и сам не замечает этого. Всегда трезвый и рассудительный, замкнутый в себе, он вдруг словно утратил и волю свою и разум. И махнул на все рукой: пусть идет так, как идет...

## XVI

Игнат завернул во двор Поли пополудни. Шел с мельницы с охотничьей торбой на плече и завернул. Людей на улице не было, хотя Игнат и не таился, шел, как положено человеку.

Поля была дома одна.

— Дети побежали по орехи, а мое сердце как чуяло, что ты приедешь, — сообщила она, увидев его на пороге. И расцвела всем смуглым лицом.

Игнат полез в торбу, достал черные сапожки на маленьких каблучках, поставил на скамейку. В хате свежо запахло хромом.

— Возьми примерь.

— Что ты, Игнат, и не думай, — испугалась Поля. — Забирай назад.

— Ну во что... Я сказал, что сошью, и сшил. Ты примерь, а дальше как хочешь, — грубоватым голосом сказал Игнат. Он видел, что сапожки Поле понравились.

Она кинула быстрый взгляд на Игната, на его похудевшее лицо и насупленные брови. То ли чувство вины, то ли нежность к нему пробежала по ее лицу. Она заспешила.

— Хорошо, Игнат, я зараз.

Прижав сапожки к груди, она выскочила в сенцы. Плеснула воды в корытце, ополоснула ноги, достала из комода чулки, быстро натянула их, надела один сапог, другой. Они оказались как раз в пору, мягкие, голенища плотно облегали икры. Так и предстала перед Игнатом, молодо крутнулась на месте.

— Не жмут? — поинтересовался он, уловив блеск ее глаз.

— Как по мерке.

— Ну и ладно. Носи здорова... — Он направился было к двери, но Полин голос заставил остановиться.

— Игнат!..

Он повернулся. Поля виновато улыбнулась:

— Прямо так... сразу и пойдешь?

Игнат посмотрел на нее грустными, затуманенными глазами, сделал шаг назад.

— Что ты со мной делаешь?

— Я с тобой?! — воскликнула Поля.— Это ты со мной, Игнатка.

Она стояла рядом, смотрела на него такими близкими черными глазами, и Игнат проговорил, словно простонал:

— Эх вы... бабы... бабы-человеки!..

Тайна двоих никогда не останется тайной двоих. Тем более когда живешь на людях, да к тому же в селе.

И никто еще не разгадал бабу до конца, какова она на самом деле, да и вряд ли разгадает. Как на воде никогда не знаешь, откуда что берется. Только что было тихо, и вдруг она выиграла, заклокотала — жди, когда сама присмирет и успокоится.

И хотя никто ничего определенно не знал, однако снова приутихло в хате Игната. И вновь мало о чем разговаривали за столом, разве что о чем-то таком, без чего можно было и обойтись, о чем можно было и помолчать, что видели все и так: о погоде, о том, что надо принести ведро воды, и о разном другом.

Лето кончилось, наступила осень, ночи пошли холодные, звездные.

Однажды прокрался Игнат к Полиному хлеву, стукнул три раза по бревну — тишина. Повторил сигнал — снова тихо. Ворота тоже были заперты, хотя Поля вчера ничего не говорила...

Не уснул Игнат в ту ночь на своем чердаке: было и жестко и холодно. Всякое лезло в голову...

Пережил день, дождался вечера. И опять на его стук никто не отозвался.

Когда на третий вечер выбрался во двор и закурил, из хаты вышла Марина. Посмотрела на небо, усыпанное звездами, заметила:

— Холодно стало на дворе, я забрала постель и постлала тебе в хате.

Сказала так, как обращаются к ребенку, который не хочет понять, что ему желают добра. Тон голоса был таким спокойным, что только дурак мог что-либо возразить. Игнат смолчал. Было ясно: его выследили и теперь дают право на почетную капитуляцию.

Марина выждала, пока он докурил, выбил трубку, притоптал пепел. Сказала:

— Пошли в хату.— Голос по-прежнему спокойный, может, только помягче. «Ну что ты себе думаешь? Куда ж от нас денешься?»

И правда: куда он от них денется?

— Пошли,— еще тише попросила Марина.

— Иди. Я приду позже,— ответил Игнат. Не мог же он вот так сразу, будто ничего не случилось...

С неделю или больше Игнат почти не бывал дома: до свету уходил на мельницу, по-темному, после полуночи возвращался. Несколько раз так и вовсе оставался вздремнуть часа три-четыре на топчане в закутке кочегарки, под боком у разогретого паровика. Помола набралось много: и из своего колхоза, и от соседей, и людского. Мешками был заставлен весь нижний этаж, надо было разгружаться. Не спалось в эти ночи и Марине. Она выходила во двор, в конец поселка, подолгу стояла, глядя в ту сторону, где темное небо желтым пятном размывало небольшой, как от пламени свечки, огонек и откуда исходил глухой, будто из-под земли, мерный гул. Мельница работала, вертела свои жернова, сыпала в мешки пахучую теплую муку.

Марина не выдерживала, раза два подходила к Полиному двору, затаивалась. Глухая тишина и темень настороженных окон встречали ее, и она поспешно поворачивала и возвращалась домой. А утром

завязывала в платок мисочку с еще горячими блинами и жареным салом, бутылку молока, отдавала детям, чтобы они по дороге в школу отнесли отцу. Детям в радость было это поручение.

По пути с мельницы возле елочек, густой щеткой поднявшихся за канавой, однажды и встретила Игната Поля. Игнат даже не удивился, когда она шагнула из-за елочек на открытое и пошла рядом с ним. Пошутил:

— Не страшно так поздно ходить?

— Мне теперь ничего не страшно,— негромко ответила Поля.

— А я, вопщетки, думал — иначе.

— Что ты думал?

— А то думал, что, бывает, сперва люди смелые и веселые, а потом...

— Что потом? — встрепнулась Поля.

— ...а потом глаза в землю и дверь на защелку... Ты меня не знаешь, и я тебя знать не хочу, так?

Игнат остановился посреди дороги, повернулся к Поле. Они смотрели друг на друга, и даже в темноте Игнат видел, как блестели ее глаза.

— Не так, совсем не так,— прошептала она.— Но...— голос ее окреп, стал решительнее,— но я хотела сказать тебе, чтоб ты больше не приходил ко мне.

Игнат какое-то время помолчал, затем произнес расслабленно, мягко, с печалью в голосе:

— Вопщетки, неужели ты думаешь, что я стану ломиться в запертую дверь?

— Нет, Игнат, нет...— поспешила с ответом Поля.— Дверь моей хаты всегда для тебя открыта... И теперь, боже мой, кабы можно было... Но праздник... он всегда такой короткий и всегда кончается...

— Праздник? Какой праздник? Великдень, троица или, может, Первомай? — усмехнулся Игнат.

— Великадня не вышло и Первомай тоже... На Май все идут с песней, с музыкой, а мы... А троица в самый раз. И у тебя троица, и все мы — ты, я, Марина... кругом троица... И все же я рада, ты даже не знаешь, какая я счастливая, что был этот праздник, что ты устроил его мне.

— Ничего я не устраивал, и никто не устраивал,— рассердился Игнат.— Он был, он есть, и это наше, и никому до этого дела нет... А не приходите... Почему не приходите? Почему? Вопщетки, я буду приходите... Да и ты не бойся сказать или наказать, коли что-нибудь понадобится. И сама заходи. И в глаза глядеть не бойся, вопщетки...

— Игнат!..— только и смогла прошептать Поля и рванулась к нему.

Они долго стояли обнявшись, затем Поля решительно оторвалась от него, круто повернулась и заспешила по дороге. Игнат смотрел ей вслед, пока не затихли ее шаги. Потом полез за трубкой...

Когда это было... Игнату кажется иногда, что на самом деле ничего подобного не было вовсе, что все это он придумал своей больной головой. Ведь если сильно захотеть чего-то хорошего, то всегда можно что-то придумать...

А уехала Поля из Липницы лет десять назад. Перед тем никому ничего не говорила, и вдруг прикатил Витик, она побросала подушки в машину и умчалась. А хата осталась. Даже окна заколачивать не стала, только дверь заперла на замок да ключ передала Марине.

— Зачем ты нам принесла ключ? — спросила Марина.— Оставила бы кому-нибудь по соседству.

В голосе ее не было злости, как не было и особой радости. Она знала Полю. Знала, что та все равно поступит так, как надумала, однако не сказать свое не могла. Давно улеглась буря, пронесшаяся над их дворами, давно вошло в свои берега то, что грозило разру-

шить все. Жили женщины меж собой дружно, помогали одна другой, когда в чем-нибудь была нужда весной, летом или осенью, одоужались друг у дружки, как будто никогда ничего не стояло между ними.

— Кому ж я оставлю? Кто у меня тут есть? — в свою очередь спросила Поля. — Кому?

Обращалась к Марине, а смотрела на Игната.

Тогда ей было всего пятьдесят, а кто не знал этого, дал бы и меньше. Последние годы изменили ее к лучшему. Она стала спокойнее, смуглое лицо сделалось вроде чище, глаза согревались затаенным внутренним теплом. Дочь ее была замужем и неплохо жила, у сына тоже как будто все ладилось, а что еще нужно матери?

Игнат не выдержал Полиного взгляда, полез за трубкой. Вечером перед тем Поля позвала соседей к себе в хату. Выпили, разговорились. Тимоха грустно заметил:

— Во, еще одного двора не станет.

— Почему не станет? Двор ведь остается, — пытался шутить Витик.

— Вопщетки, это, считай, уже не двор, а дворище, — возразил ему Игнат. — Дворище... Село — как зубы во рту. Держатся, пока все крепкие и вместе. А выкрошился один — и пошли другие за ним. Вот тебе и тут, вот тебе и здесь.

Витик приехал за матерью на своей машине. Был при нем и маленький приемник. Принес его в хату, долго настраивал — все в нем завывало, трещало, пока не прорвалась забытая, давнишняя песня, которую все они в свое время знали и пели и которую теперь так хорошо было вспомнить.

Поля послушала ее и завела свою: «Мае вочы чорныя...» Когда дошла до слов: «Мяне, хлопцы, не чапайце...» — Марина не выдержала, засмеялась:

— Ну, теперь-то, наверно, уже не зацепят...

За столом никто не поддержал ее смех, а Игнат встал и вышел во двор.

Стоял во дворе, курил, время от времени поглядывая на освещенные окна, за которыми слышалась песня. Вела ее, как и начала, одна Поля, и лишь при повторе к ней присоединялся своим хрипловатым надтреснутым голосом Тимоха. Певец из него был никудышный, он мало помогал Поле, и все-таки это был не один, а два голоса.

Ой, пайду я паслухаю,  
Хто у лузе мармыча...  
Гэта доля мяне кліча,  
Гэта доля мяне кліча —  
Не пайду.

Это доля меня кличет... Вот так, кличет, волочит на свет, хоть плачь, хоть пой. Приехала на машине, посадила сына за шофера, чтоб легче было... Тут вам не здесь... Не пойду... Идешь, бабка, сама идешь.

Поля допела песню до конца, и все долго сидели притихнув, каждый думал о своем...

Уехала, а ключ оставила, и попробуй не думать о нем. Года три простояла так хата, ровно забыли о ней или чурались ее. Никто не заявлялся.

Однажды Игнат отомкнул замок, вошел. Это было летом, перед жатвой. Страшным, нежилым духом повеяло на него: сухой прелью, затхлою пылью Сквозь щели в полу повылезала малина. пробившись с огорода из-за стены. Истертые ногами приступки на печь... Из ка-мелька вывалилось несколько кирпичей, и весь он едва не завалился. держался лишь на согнутом железном прутике. В сенцах на стене висела покрытая плесенью брезентовая сумка — с нею когда-то бегал

в школу Витик. На окне — старая, изъеденная зелеными точками алюминиевая фляжка. Когда-то носили в ней воду, молоко. Под матицей — старинная, обсыпанная ржавчиной, слизанная до края коса. На гвозде большие ножницы — для стрижки овец. Когда тех овец держали?..

Стоял Игнат посреди сенцев, смотрел, и было такое чувство, будто он попал в некий неведомый ему мир. Вернее, все тут было знакомо, все он знал, и все казалось таким чужим, незнакомым. Будто все это он уже когда-то видел, будто оно приснилось в каком-то тяжелом сне, потом выветрилось из памяти и вновь возникло сейчас, начало оживать. И чем дольше Игнат смотрел на все это, тем больше не хотелось смотреть.

Он полез на чердак. Скрюченные, запыленные, все в паутине ниты, берда, челноки... — все порассовано за стропила. Самопрялка. Его работы. Одна ножка сломана. Почему же Поля не сказала, что ножка сломана? Игнат подумал об этом с обидой, будто самопрялка еще могла пригодиться Поле, а она не хотела, чтобы Игнат подправил ее.

С этим ощущением он слез с чердака, вернулся в хату.

И тут его взгляд зацепился за кирпич, который вывалился из камелька и лежал возле печи. На кирпиче глубоко и четко проступали два кошачьих следа. Словно он был еще сырой и кот только что прошел по нему. Сколько лет минуло с той поры, жильцы уехали, печь развалилась, а следы сохранились. Игнат поднял кирпич, вышел с ним во двор, присел на крыльце. Сидел, курил и размышлял. И трудно было прервать течение этих мыслей.

Сколько раз человек может жить на свете? Только раз? Вчера жил, сегодня живешь, завтра... Все будет хорошо — будет и завтра, а по-своему сложится судьба — что ж, хорошо, что было вчера и есть сегодня... Сколько раз вспоминаешь прожитое — и словно заново живешь, и болит душа еще сильнее. Хотя сильнее ли?.. Тогда была жизнь, а сейчас... душа...

В крапиве, которая густо и высоко выгнала у крыльца, что-то зашуршало. Игнат перевел в ту сторону глаза и увидел ежа. Он стоял, подняв вверх черное, беловатое на кончике рыльце, фыркал, содрогаясь всем телом, и смотрел на Игната. Словно интересовался, зачем этот человек. Зверюшка, видно, давно прижилась здесь и чувствовала себя хозяином.

Игнат взял ежа на руки — тот не убежал и даже не свернулся в клубок, невозмутимо сидел на ладонях, задрав вверх рыльце.

— Ну что, вопщетки, боишься, чтоб я не оставил тебя без житла? — проговорил вслух Игнат, глядя зверюшку по иголкам. — У меня и в мыслях этого нет. Я ведь тоже тут чужой... Считай что за сторожа. Глянул и пошел. Хоть и тяжело глядеть на все это. Но так уж все устроено. Думаешь об одном, делаешь одно, а выходит вон что. Ушли люди — появился ты... Придет еще кто-нибудь, если придет, что будешь делать ты? Не знаешь? И я не знаю. Хоть земля — вон ее сколько. Живи, брат.

Игнат опустил ежа на землю, но тот не спешил уходить, стоял, будто ждал чего-то. Игнат взял свой кирпич, повертел в руке, еще раз подивился, как хорошо сохранились четкие отпечатки кошачьих лап, положил кирпич на крыльцо: куда он его понесет? Поднял глаза на небо. На западе, клубясь, грудились тучи. Не к дождю ли? А когда перевел глаза вниз — ежа не было.

Придя домой, написал письмо Поле, чтоб приехала и продала хату. Зачем она гниет?

Месяца два после того как отослал письмо, было тихо, Игнат уже думал: так никто и не объявится. Ну и нехай себе. Чего ты переживаешь, нервы рвешь?..

Он был на мельнице, когда прикатил на велосипеде Валера и



сообщил, что приехала тетка Поля с Витиком. Игнат оседлал свой мотоцикл и затарахтел домой.

Машина стояла возле его двора. Поля с Мариной сидели на лавочке под липой и мирно беседовали. Как будто только вчера расстались и вот снова встретились. По стежке вдоль забора от своей хаты шел Витик.

Поля вроде и не изменилась, только побелела, посветлела лицом. И каким-то довольным, сытым блеском светились глаза.

— Здравствуй, Игнат Степанович,— пропела протяжно, подавая руку.

— А уже, вопщетки, день добрый,— ответил он, оглядывая Полю.— Не иначе совсем городская стала. Как сорвалась отсюда — ни тебе привета, ни в гости.

— Не знаю, Степанович, какой стала, а отвыкла уже от села.

— К овсу конь быстро привыкает,— усмехнулся Игнат, присаживаясь на лавочку.

— Нет, и правда мне хорошо там,— как бы оправдываясь, сказала Поля и посмотрела на Витика.

Он в это время как раз подошел к ним, подал руку Игнату:

— А чем плохо: город, батареи греют, автобусы бегают, телевизор показывает, магазины работают. Тут вам не здесь.

Игнат стрельнул глазами на Витика. Ничто не меняет человека. Кажется, и немолод уже, и на заводе немалый срок, и работы, по всему, не боится, машину за так не купишь, а ляпнет иной раз — уши не слышали бы. «Тут вам не здесь...» Не удержался:

— Вопщетки, если, к примеру, я не завезу в твой магазин, ну не я, так колхоз наш или какой-нибудь другой, то черта с два ты там что-либо ухватишь.

Витик не обиделся, засмеялся:

— Ага, тут ты, дядька Игнат, верно подметил: не положишь — не возьмешь, а не возьмешь — не укусишь...

Игнат откинулся головой к частоколу, прищурил глаза.

— Вопщетки, у нас тут недавно такой казус вышел. Приехал к Сымонихе зять из городских, пестрый такой, как дятел. Куртка на овчине, ботинки, транзистор — все, можно сказать, как у тебя. Вроде того солдата на передовой, ко всему готов, разве что одной винтовки не хватает, а так — с ходу в бой. Теща вокруг зятя и так, и этак: зятек, сынок... Теще что — лишь бы дочке было хорошо, а дочка не жалится. И кабанчик в хлевушке похрюкивает, того не знает, лопухий, что время его уже отмерено. Зять любит взять. И Сымониха рада. Кабанчика все равно колоть, а тут и вы возьмете и мне останется, много ли со старыми зубами надо. «Заколешь?» — спрашивает. «А почему бы и нет». Хлопец не из трусливых, не стал дожидаться, когда снова попросят. «А сможешь?» — это она у него. «Смогу ли? Деревня город учит. Сколько того кабана». — «А все же, может, кого попросить для подмоги, поддержать, угомонить...» — «Не переживай, мать, справлюсь сам». Ну что ж, человек говорит, человеку верят. А откуда ей знать, что он возле свиней если и ходил, то разве что на базаре. Принесла она швайку, веревку, тазик — кровь спустить: какой это зять колбасу кровяную не любит? Вопщетки, чесал тот кабанчика за ухом, он и лег. Сымониха видит — и правда человек кумекает, с чего начинать, пошла в хату, чтобы крику не слышать. Свинья как подаст голос — нигде не спрячешься. Минут через десять приходит в хату и зять. «Что, уже заколол? Что-то ж больно скоро, и крика не слышать было», — удивляется Сымониха. «Сейчас услышите», — усмехается зять. И тут за окном как бабахнет! Выскочили во двор: хлевушок без крыши, дверь сорвана и дым оттуда валит. Что такое? А зятек-то привык рыбу глушить. Привязал порцию толу кабанчику на шею, присмолил бикфордов шнур, от папиросы, а сам в хату, свежины дожидается. Хорошо, что заряд пошел в сторону,

только полголовы отхватило кабанчику, а могло и по-другому выйти. Вот тебе и «деревня город учит», и «тут вам не здесь»,— расхохотался Игнат.

— Ай, ты всегда скажешь,— махнула рукой Марина.— Думаешь, он такой уж малокровный, зять ее, что не мог до чего-нибудь толкового додуматься, а сразу толлом?

— Вопщетки, сходи сама и погляди. Хлевушок и теперь стоит распятый, а Сымониха отчуралась и от свиней и от коровы. И правильно: заведи поросенка, приедет он другой раз, то и хату пустит летать над селом.

— Ну, надо быть чистым дураком, чтобы с толлом на кабана,— всерьез заметил Витик.

— Ты бы, вопщетки, из двустволки, а?— Игнат все еще не мог сдержаться смех.

— А что? Я каждый год езжу к теще по такому делу. Ствол в ухо— и вся недолга. Ни тебе страха, ни визга. Бери и смоли.

Игнат посмотрел на Витика, вытер глаза, встал.

— Вопщетки, нам смолить вроде еще время не пришло, а вот в хату за стол пора, а, женка?..

Марина постелила на стол белую скатерть, принялась бегать в кладовку и обратно, и всякий раз на столе прибавлялось тарелок. Гости тоже не с пустыми руками прибыли— привезли и водку, и колбасу, и консервы. Все это принес из машины Витик. Он же и Марине помогал у стола: открыл консервы, нарезал колбасы, хлеба. Игнат и Поля сидели на канаве. Игнат курил, слушал ее, время от времени вставляя что-нибудь свое. А тем временем думал о том, как мало надо, чтобы изменить человека. Жила баба в селе, казалось, навечно с землей срослась, с краем этим, а поманили в город, покормили белым хлебом— и уже все. Или, может, не все? Может, это только кажется ему?..

— Ты говоришь, вопщетки, хорошо тебе... И что ты там, в этом своем хорошем, делаешь?— поинтересовался Игнат, взглянув на Полины руки. Ловкие, крепкие руки, только белые очень, будто и не лето на дворе. Когда-то они умели и мешок поднять, и косу держать, и еще много чего умели.

— Мама у нас дома за хозяйку,— ответил за мать Витик.— Работенка— не бей лежачего. Разве что сварить обед или ужин да иной раз за детьми приглядеть— в школу, из школы. Хотя они и сами себе хозяева. А вечером уже собираемся все вместе.

— Вязать научилась,— подхватила Поля,— там шарфик, там свитерок— дни бегут, не успеешь оглянуться. Можно и отдохнуть на старости.

— И сколько ты думаешь отдыхать?— вновь поинтересовался Игнат.

Марина пристально посмотрела на него, уловив в его голосе колючие нотки. Посмотрела и ничего не сказала— продолжала протирать рушником чарки.

— А мне уже некуда спешить,— усмехнулась Поля, словно винаясь в чем-то.

Некуда спешить... Что тогда делать, раз некуда спешить? И как это так некуда спешить? Хотя, наверно, так оно и есть... Раньше бы ты не сидела на канаве, не смотрела бы, как там накрывают на стол, сама бегала бы. А то сын колбасу чистит, а она сидит сложа руки. Гостья? Гостья, конечно. И все-таки... Или забыла, как это делается, или готова забыть. Но нет, не выдержала, отобрала у сына нож. А руки быстрые, знают, что делают.

Игнат встал, прицел из кладовки свою бутылку, поставил на стол.

— А вы, дядька, вроде наново строиться замахнулись?— Витик весело взглянул на Игната Степановича.

Но тот ответил серьезно, словно и не заметил в глазах Витика живых чертиков.

— Вопщетки, думал эту подмолодить. Походил вокруг, посмотрел, пощупал обушком. Старая хата — что старая баба: побежала бы на гулянку, если б кто ноги переставлял. Дерево выбирал сам, за рекой. Поехали с Михайлой, Гаврилы с Закутья хлопцем. Привел он на делянку, а там сосны одна в одну и весь участок отбитый. «Выбирай,— говорит,— дядька, хату себе, ты здесь первый». А сперва было хоть в самый Минск добираться управу искать: не хотел лес отпускать. И Заборский, и этот новый сельсоветский, Жванков: лес дадим, если строиться будешь в центре, в Клубче. Они уже готовы и сотни мне поменять. А зачем мне Клубча, мне и здесь не тесно. Уладилось все без Минска, хотя в район пришлось съездить. Порядки настали: бросай все свое и беги за чьей-то дурной модой. Словом, позалысили мы с лесником сосенки мои, потом с Сониным Аркадем взяли «Дружбу» и попускали их с пня. На будущей неделе Аркадя обещал освободиться, возьмет трактор, да и перетянем сюда. А здесь я уже доберу рады.

— Дастся она тебе в знаки, рада эта,— заметила озабоченно Марина.

— И не боитесь,— будто завидуя, заметил Витик.— Одной работы столько, да какой работы!

— На войне страшней было, а шли. А это, вопщетки, новая хата. Тут так: нет дров — начинай строиться, а начал строиться — жилы не жалеи,— усмехнулся Игнат Степанович.

— Осмотрели мы хату, дядька. Кто ее купит? Разве что на дрова,— произнес Витик, сидя уже за столом.

Игнат промолчал.

— Открыла я дверь — и сердце зашлось. Все такое нежное и такое родное,— подхватила Поля.— Хоть бери ведро, тряпку и наводи порядок. И такая тоска взяла, жалко всего...

— А оно, вопщетки, может, так и надо было бы сделать. И сама приехала бы, да и внуки,— рассудил Игнат.

— И правда: своя одежда всегда теплее,— поддержала его Марина.

— Ай, тетка, какая там одежда? Была одежда, грела когда-то, а теперь...— Витик махнул рукой.

— Нет, не говори, хлопец,— стояла на своем Марина.

— Прикинули мы, разве что на дрова и годится хата,— вслед за сыном заметила Поля.— И вот что надумали: забирай-ка ее, Игнат, и все. Ты помогал ставить, тебе и раскидывать.

— Вопщетки, не самое интересное дело вы мне хотите перепоручить. Но ежели так решили... Не знаю только, как рука поднимется рушить все,— ответил Игнат.

Вышли во двор покурить, затаились по разу, и вдруг Витик хитровато усмехнулся, спросил:

— Который раз приезжаю, дядька, и все подмывает выяснить: верно ли то, над чем когда-то на селе подсмеивались?.. Ну, будто у вас с мамой было что-то такое... любовь, как говорят теперь ученые люди... словом, шуры-муры?.. Конечно, все это старое, и тетке Марине я ничего не скажу... Я у своей спрашивал: не признается...

Игнат окаменел лицом. Кровь ударила в голову, в ушах зашумело, словно кто-то неведомый включил маленькую машинку, моторчик такой, или разом застрекотали тысячи кузнечиков; дышать стало трудно, как на лугу в знойный день перед самой грозой. Но кто-то тут же и пощадил Игната, выключил моторчик, перестали трещать кузнечики. Игнат глубоко вздохнул и отметил про себя, какая необычайная тишина вокруг. И снова до него дошел голос Витика, тот же так же хитрово усмехаясь, продолжал свое:

— Вы не святой, я не судья, а все-таки любопытно...

Игнат помрачневшим взглядом вперился в глаза Витика — они забежали, засуетились; скользнул по нему с головы до самых ботинок, словно желая убедиться, все ли у него на месте, прошелся обратно, приблизился к нему всем телом и сквозь зубы выдохнул в лицо:

— Судья... Сморкач ты! Был им, вопщетки, и остался, и никакие машины тебя уже не исправят... Что верно, то верно: тут вам не здесь... — Он повернулся, собираясь уходить, однако задержался, бросил через плечо: — Радуйся хоть тому, что matka еще жива и что с ней вот приехал... — Бросил и пошел на улицу.

...Уехали гости назавтра утром. Марина с Игнатом проводили машину в конец поселка. Когда она пропала и за нею улеглась пыль, Игнат обернулся к Марине.

— Ты думаешь, ей там действительно хорошо?

Марина подняла колючие глаза.

— Не знаю, хорошо или погано, но лучше, чем нам...

— Лучше? Может, кому и лучше, а ей... Не-а, не лучше.

— Хотел бы облегчить ей житку? — В тоне жены чувствовалось раздражение.

Игнат посмотрел на нее, вскинул голову.

— Они еще попросятсЯ сюда. Помянешь мое слово...

Он не стал уточнять, кого имел в виду, да Марине это, по-видимому, и неинтересно было.

Хата простояла после этого еще с полгода. Затем Игнат позвал Тимоху с Андреем помочь сорвать стропила. Остальное он раскидал уже сам.

Наиболее гнилые бревна перешинковал бензопилой на дрова, а те, что покрепче, — из глухой стены и сеней — сложил в штабель под забором. Не то чтобы имел какой-то строгий план, жалко было вот так сразу пускать всю хату на дрова. Потом Адашь выбрал из тех бревен на истопку, и недурная истопка получилась.

Приехал Игнат с мельницы, привалил мотоцикл к забору, сел на штабель, закурил. Дело шло к вечеру, сухость и умиротворенность стояли в воздухе. Картошку выкопали, а теперь позвали людей на перекопку. И Марина пошла вместе с бабами. Бывает, и осень удружит такая, хоть год сначала заворачивай.

Курил Игнат, и вдруг его внимание привлек трактор. И не трактор, а беспокойный звук мотора. Поначалу Игнат вроде и не слышал его; гудит и пусть себе. По теперешнему времени удивишься не тому, что где-то гудит, а тому, что не гудит. Особенно в Липнице гул этот взял себе волю, как понаехало мелиораторов и взяли они себе для жительства пустой дом Адама Яблонских. И сам Адам и жена его померли лет пять тому назад. Сначала она, потом и он вслед, все об одно лето, а дети не объявились ни на смерть, ни после смерти.

Дом взял под присмотр колхоз, и вот пригодился: поселил сейчас мелиораторов, чтоб и поспать было где, и обед сварить. Оцепили Адамову усадьбу тракторами, бульдозерами, корчевателями, будто танковая часть перед боем. Вначале работы велись на лугу — чистили кустарник, укладывали дренаж, — и в поселке жить стало невмоготу. Машины машинами, но любили некоторые из трактористов, особенно помоложе, дать мотору такой голос, что аж земля стонала.

Особенно старались учащиеся районного училища механизаторов. Что школьники, что они — дети. Было, что и в перегонки играли на улице. Перегонки ничего, только если бы не на тракторах. Машина не конь, сразу так голову не повернешь. Здесь уже не только кур береги. Может и забор зацепить, и в канаву стянуть, и в самую хату въехать: «День добрый! дядька, где тут дорога?» Желторотики, крови много, а ума мало. Один чуть бы в колодец не завалился. Правда, приехал преподаватель училища: рассказали ему, как и что его хлопчики выдывают, как раскатывают на машинах. Он приструнил их и сам

уже старался надолго не уезжать. Тише стало в селе, порядка стало больше.

Надрывистый рев трактора слышался где-то неподалеку, за хатами, хотя ему, казалось, и цели такой важной здесь быть вроде бы и не могло, тем более что мелиораторы перебрались на Стаськову пасеку.

А трактор гудел. И не просто гудел: то хрюкал, как сытый кабан, то злился, словно обиженный или недовольный чем, забирая так высоко, будто хотел залезть на крышу и это ему никак не удавалось.

— Вошкетки, что он там орудует? — не вытерпел слушать этот непонятный звук Игнат Степанович и слез с бревен. Пошел улицей на машинный голос.

Был это не трактор, а бульдозер, и работал он в Полином саду. Работал... Он выкорчевывал сад! Можно сказать, что уже все повыворотил, остались только три яблони и береза возле улицы да антоновка посреди огорода. Это была самая большая яблоня, и крупные яблоки росли на ней. Весь сад — яблони, сливы, кусты смородины — был повыдран из земли и как последний хлам ссунут в угол огорода. Сбитые листья, раздавленные яблоки, поломанные ветки, изрезанная гусеницами земля... Словно не сад был здесь, не огород, а нелюдское, дикое место — распоряжайся как кому вздумается...

Некоторое время Игнат стоял как чужой, как пришибленный увиденным, не имея сил слово вымолвить. Да и кто услышит его слово в этом реве!

Бульдозер тем временем отвалил от сваленных деревьев, сдал назад и повернул к антоновке посреди соток.

— Куда? Куда, мать твою!.. Стой! — закричал Игнат, бросаясь наперерез машине. По дороге схватил какой-то прут, вскинул над головой.

Занятый своей работой, бульдозерист не видел Игната. Не доходя нескольких метров до яблони, бульдозер сбросил нож вниз и, забирая землю, рванулся вперед. Нож сначала шел легко, потом наткнулся на корни, уперся. Яблоня вздрогнула всем телом, но устояла, лишь посыпались редкие яблоки, листья. Машина приостановилась, сдала чуть-чуть назад, потом вдруг взревела и рванулась вперед. Затрещали корни, яблоня стала клониться к земле и, выдранная из гнезда, легко пошла вперед, кроша ветви, загребая перед собой землю, картофляник. Бульдозер толкал искалеченное дерево в общую кучу.

— Ты что это робишь, злодюган? Что это ты робишь?.. — Игнат Степанович схватил ком земли, швырнул в кабину. Земля ударила в стекло, рассыпалась сухими брызгами.

Только теперь бульдозерист увидел Игната Степановича, радостно заулыбался, показав белые зубы, приглушил мотор.

— А ну вылезай! — приказал Игнат.

Бульдозерист послушно открыл дверку, стал на широкую гусеницу, спрыгнул на землю. Это был подросток. Он шел к Игнату и радостно улыбался, ожидая похвалы: смотрите, какая у меня машина и что я здесь наворочал!

— Что ты натворил?! — замахал руками Игнат.

— Разве что-то не так? Может, надо было не туда ссовывать? Так мне ведь сказали — в конец огорода...

— Кто сказал?! — простонал Игнат Степанович.

— И председатель колхоза и начальник участка. А на ямы не смотрите. Я их заровняю, вот только добавлю эту яблоню до кучи.— Светлые и чистые глаза, замурзанное лицо, еще и усы не пробиваются...

— Дитяtko мое, ты ж еще ни одного деревца не посадил, а уже сколько погубил... А ну марш отсюда... Марш, чтобы и духу твоего здесь не было.

— Как марш?.. Мне же еще те надо выдрать.— Паренек показал на яблони вдоль улицы.

— Выдрать?.. Вопщетки, я тебе выдеру..

Игнат пошел на бульдозериста. Тот сделал шаг назад, потом повернулся и побежал, забыв и про машину, и про незасыпанные ямы, из которых белыми жилами торчали, кровоточили соком оборванные корни выдранных деревьев.

Нет, не забыл. Повернул назад, подошел к машине, глянул исподлобья.

— Председатель сказал, чтобы завтра выкорчевали еще два дворища.— Парень кивнул в дальний конец поселка.

— А ты не спеши делать эту никчемную работу, хлопчик. Я тебе кажу: не спеши. Садись на своего коника и поезжай домой. Только попробуй вернуться! А начальнику обо всем скажи, слышишь? Скажи, вопщетки, что тебя турнули отсюда. И не помысли вернуться..

Игнат говорил тихим голосом. Словно уговаривал мальчика, глядя тому в глаза, и тот, кажется, понял его.

— Да я что... Разве я по своей охоте? Мне наряд такой... У нас дома тоже и яблони и груши, мне самому жалко. А тут сказали... Так что мне: ехать отсюда?

— А о чем же мы говорим? Ехать, и как побыстрей.

— Тогда я заровняю ямки, а то скажут: наковырял ям и оставил.

— Ямки, вопщетки, заровняй... И правда, это ж не война, чтобы учинить такой разбой и не надуматься поправить. Ямки заровняй.

— Знаю, дядька...

Игнат обошел яблоню. На ней все еще висело несколько яблок. Сорвал одно, подержал в руке. Яблоко было тяжелое, как налитое. Пошел назад, на улицу, а оттуда к себе домой. Постоял, словно раздумывая, оседлал мотоцикл и, круто развернувшись, затарахтел в Клубчу.

Председателя в конторе не было. Да и что ему было делать там в такое время? Игнат завернул к дому, где тот жил.

Заборский вышел из боковушки, поправляя подтяжки, накинутые поверх белой сорочки, удивленно поднял густые брови: что такое? Видимо, прилег подремать, а тут он, неожиданный гость. Оно можно и Заборского понять: с утра на ногах — то в конторе, то в машине, то колхоз, то район, да и в своем доме, считай. Почему и не прилечь?

— Это ты так надумал, председатель? — спросил глухо Игнат. Ехал сюда — горел весь, готов был хоть с колом подступать, а увидел вялое, помятое после сна лицо председателя, видно и нездоровится, опять же, где та семья, дети, жена, вокруг люди, а все чужие, и эти подтяжки, не хочет ремень носить или как? — увидел все это, и хоть пожалей его.

— Вы о чем? — Заборский стал серьезным. Вернулся назад в боковушку, набросил на сорочку пиджак военного кроя, стал застегивать пуговицы. Глаза стали круглые, как у дикого кабана.

— О Липнице, о садах.

— А-а-а, сады... — Заборский застегнул последнюю пуговицу, шагнул к Игнату Степановичу. — Какие это сады.. Дикое все, бесплодное, лишнее.

— Не говори, председатель. Это еще из довоенных Игнасовых саженцев. А он-то породу дерева знал и где что посадить кумекал. Чтобы и росло и плод опосля давало. Не смотри, что из панов был. Разбирался.

— Заскучали без панов?.. Так, может, парочку выписать вам их, панков этих? А? Может, выписать?..

— Вопщетки, таких, как Игнась, не грех бы и выписать. Или, вопщетки, взять Вержбаловича. Он-то уж землю и что человеческое на ней сделано на позор не выставил бы, не позволил бы над землей глумиться. Он бы сначала хорошо подумал, чем что дурное начинать...

— Дурное? — Заборский дернулся всем телом, точно его ужалили. — Что дурное?..

— А то много ума надо яблоньки да груши под нож пускать? Те

яблоньки и груши, за которые люди столько лет налог сплачивали. Слезы утирали, а каждое деревцо берегли.

— То было когда-то, а теперь это рассадники сорняка всякого. Кому они нужны?

— Кому нужны? Вопщетки, всем нам. Может, чей внук приедет да яблоко сорвет, отцу расскажет, а тот, может, надумается и хату поставить. Что ни говори, обжитая земля, нужным деревом заселена. А без дерева что: пусто, голо, хоть мяч гоняй...

— Если кто надумается строиться, найдем место тут, в центре.— Старая пластинка, и видно было: Заборский не собирался менять ее.— В центре! — повторил как придавил каблуком.— Земля порядок любит.

— Порядок, оно конечно. Без порядка и куры яйца не несут. И сколько ты наберешь земли? Этой, из-под садов?

— Какая разница сколько? Пусть гектар, пусть полгектара. Тут важен принцип: каждый метр земли должен давать пользу. Пользу государству.

— Принцип хороший... Хороший принцип. А теперь, вопщетки, давай поглянем на такой принцип: сколько хорошей земли отошло под неудобницу, сколько позаросло кустами и всяким разным лесным бурьяном? И это при тебе, и это той земли, которую даже после войны не могли допустить, чтобы недосмотреть, не засеять и не собрать то скупое, что выросло. Хоть и силы той было что бабы, да дети, да мужчин тех покалеченных с десятков, а самый найпервый трактор — брат волик, му-два. Тут не включишь вторую или третью, одна скорость на весь век: «Но-о, поехали»; а все-таки находили придумку со всем справляться. Так вот давай поглянем, сколько таких гектаров пустили под зарост?

— Не знаю, про какие гектары вы говорите.

— Не знаешь, тогда подскажу... Возьмем низинку, как спускаться на Стаськову пасеку; когда-то овсы там хорошие были, хо-о-орошие овсы, а сейчас?.. Лоза да осина, в самый раз коз разводить, да и лоси сами всё стеребят... А клин, что врезается в лес возле Курганка?.. Он и вовсе на высоком, и гектаров пять, не меньше... Это что в Липнице, а в Клубче... И еще кое-где... Вы ж раскатываетесь с агрономкой по всем дорогам, уголкам разным, то заодно могли бы и прикинуть, сколько их, гектаров этих, да и вернуть в этот самый принцип...

— Что значит заодно? Заодно с чем? — Заборский подался к Игнату. Ноздри его раздувались, как у загнанного жеребка.

— Вопщетки, заодно со всем остальным... Вы же о чем-то маракуете, ну чтобы и больше было и лучше... Дак гектары эти оттуда... оттуда. Вот что я скажу, председатель: огороды запахивай, а сады не рушь. Не ты их садил, не тебе и корчевать.

— Вы это что, серьезно?

— А как же еще?

— Указывать? Мне указывать?..

— Подсказывать.

— Угрожать?

— Угрожать?..

Теперь уже Игнат сделал шаг к Заборскому, взял за рукав. Они никогда не стояли так близко друг возле друга и никогда не смотрели так друг на друга, и, наверное, никогда бы не смотрели, если бы не сегодняшнее... У Заборского были острые, как буравчики, желудевые глаза, у Игната голубые, до сухого стального блеска, и они смотрели глаз в глаз Заборскому, то ли спрашивали у него, то ли проверяли... И Заборский не выдержал, отступил, заморгал.

— Вопщетки, я никогда никому не угрожал. И сейчас нет у меня на то привычки. А если хочешь... — Губы Игната вдруг разжались, он нервно засмеялся. — Если хочешь, расскажу одно... Есть такая басня. может, придумка, может, правда. Идут, значит, косить отец и два сы-

на. Утро, роса, косы на плечах. И вдруг впереди канава. Отец шел первый, так и прыгнул сразу, без разгона. Перепрыгнул и пошел дальше. Младший сын и говорит старшему: «Гляди ты: наш отец легкий, как собака». Старший посмотрел на него и поправил: «Ты что... Разве ж можно так про отца? Перепрыгнул — ну и бес с ним...»

— Не понимаю что к чему... При чем здесь канава, при чем сыны? — Заборский дернул рукой, вырвал.

— Вопщетки, при том, что шел отец... Отец шел с косой. А за ним шли сыны... Сыны...— Игнат внимательно посмотрел в глаза председателю.— А еще, если по-большевистски: ты приехал и уедешь, и все твое уехало с тобой, а нам здесь жить. Понимаешь, жить.

— Ну, знаешь... Слова словами, а это уже больше.— Заборский перешел на «ты». В его голосе зазвучала угроза.— Это уже больше. Слишком много власти ты взял себе. Если хочешь, то я тебе ее укорочу. Тебе поручили участок работы, у тебя есть участок работы — и веди его, веди, а в мои дела нос не суй. Слышишь? Я сам знаю, что мне делать.

— И делай, хорошо делай. А сады не трожь. Не трожь, а то...— Игнат окинул взглядом Заборского сверху вниз,— а то, чего доброго, и шлейки не удержат.

— Что не удержат?

— Штаны, штаны, вопщетки, не удержат. В руках придется держать. А мою власть ты не отнимешь, силы такой не имеешь. Вот она, моя власть, и она всегда со мной.— Игнат потряс перед Заборским широко разведенными жилистыми руками, повернулся и вышел.

Затарахтел возле забора мотоцикл, рванулся на дорогу — и сразу стало тихо, будто и не было его.

Заборский какое-то время постоял среди хаты, потом бросился во двор к частоколу, будто хотел догнать Игната.

Мотоцикл уже тарахтел под лесом. Вот он выскочил на взгорок и тут же исчез за ним, пропал. Но Заборский знал, что он не пропал, что он везет этого настырного начальника мельницы домой, в Липницу, к его мастерской, к его грушам и яблоням.

Долго так стоял Заборский во дворе, думая и передумывая то, что только что услышал. Заскрипел зубами, вскинул руку, словно хотел рубануть по жердине, перебить, но не рубанул — опустил мягко, как на живое.

Игнат знал, что если уж начало катиться что в одну сторону, то не скоро остановится, и здесь надо дать время перемениться всему, успокоиться. Сила гнет силу — и плохую и хорошую, — и только дети думают, что стоит лишь захотеть сказать слово — и все станет твою. У каждого в жизни есть своя задумка, только не у каждого хватает разума посмотреть, на какую пятку жизни он наступает. В ногу ли идет со всеми или марширует навстречь строю. А если человек сам не видит, в какую сторону идет, если человеку глаза заслепило, тут уже без подсказки нельзя, чтобы не натворил большего. Опять же Заборский. Хочешь наводить порядок, так наводи, и все тебя поймут и хорошее слово скажут. Только нужно делать все по порядку. А зачем рушить сады, зачем уничтожать то, что люди годами оберегали? Сорвать с места, с земли легко, а дальше что? Что дальше?..

С такими беспокойными мыслями лег спать Игнат Степанович и уснул сразу, но поспать ему не дали. Все те же хлопцы из училища механизации. Сначала колобродили по улице с гитарой, затем расположились возле его двора на бревнах. Нашли место посидеть, так сидите, только зачем горланить на все село? Гы-гы-гы да гы-гы-гы, курят, шарят фонариками по саду, по окнам. Будто специально пришли, чтобы перебунтовать сон.

— Выйди да прогони их, а то не уймутся до утра,— попросила Марина.



Хлопцы, по всему было видно, не скоро собирались уходить, но не было у Игната охоты высовываться во двор. Слишком уж длинный день выдался сегодня.

— Сами уйдут. Побренчат и уйдут.

Не ушли, концерт открыли. Сначала подумалось: может, что хорошее споят. Когда-то что ни вечер, то песни, танцы. Какая ни страда, а чтобы без гармошки, без топота, без пыли ушли спать — никогда. Пусть бы и эти пели, голоса молодые, звонкие.

Начали припевку. И припевка — уши б не слышали.

Мы по улице идем,  
А в конце заушаем.  
Если девок не найдем,  
Старикам отбухаем.

— Нравится? Так послушай еще, они тебя порадуют! — Марина повернулась на кровати, натянула на голову одеяло.

Ребята и в самом деле только набирали разгон. Пел кто-то один, не иначе он сам и тренькал на гитаре, остальные помогали:

А мне милый изменил,  
Я сижу и плакаю.  
Лучше б он меня ударил  
О дорогу с...ю!

— Ну, дождался? — не выдержала, высунула голову из-под одеяла Марина.

Дождался.

Игнат торопливо натянул штаны, сунул ноги в сапоги. Уже во дворе его застала новая припевка. Это уже были живые матюки, такие, за которые надо брать язык и нанизывать на шило.

Его увидели, как только он открыл калитку. И голоса умолкли; все как по команде слезли с бревен.

Было их пятеро, у одного, самого высокого, гитара с лентой через плечо. Был здесь и старый знакомый — тот маленький бульдозерист.

— И ты тут? — спросил Игнат.

— А что, разве нельзя?

Игнат ничего не ответил, протянул руку к гитаре. Парень отдал ее, словно ждал такой просьбы. Игнат тронул пальцами струны, они нестройно отозвались. Обвел глазами компанию.

— Так кто тут... плакает?

Хлопцы захихикали, переглянулись, но молчали.

— Вопцетки, я серьезно спрашиваю, кто тут... плакает?

Молчание. Хлопцы старались не смотреть на Игната.

— Еще раз спрашиваю: кто заводила?..

Это был и вопрос, и глухое утверждение чего-то решенного. И вслед за напряженным молчанием резкий, будто для того, чтобы застониться, взмах гитарой, удар о бревно. Жалостливо дзынкнули струны, застучали, падая на землю, осколки корпуса гитары. Стало тихо-тихо. Все пятеро со страхом и недоумением смотрели на руку Игната, в которой на обвислых струнах качался кусок фанеры — все, что осталось от большого и красивого инструмента.

Первым подал голос парень, у которого Игнат забрал гитару:

— Ну что она вам сделала, гитара эта? Лучше бы вы мне в морду дали, чем ломать ее. Как я теперь домой приеду, что я брату скажу? Ему через неделю в экспедицию отправляться.

— Так это, выходит, еще и не твоя гитара? — спросил Игнат.

— Неужели ж моя?.. Я ехал на практику и попросил у брата. Он еще давать не хотел, как знал...

— Вопцетки, теперь и ты будешь знать... И вы все... песенники.

Игнат бросил остатки гитары на бревна. Сразу к ним протянулось несколько рук. Каждому хотелось поддержать, будто из этого можно было еще что-нибудь сделать.

Игнат пошел во двор. Возле бревен переговаривались.

— Ну и что теперь делать?

— Покупать новую.

— Покупать... А где и на что?

— Где — это не беда. Я видел в раймаге, в культтоварах есть такие.

— А на что?.. Когда та стипендия..

— Это правда... не скоро...

Игнат вернулся назад к бревнам.

— Так что, такие гитары продаются?

— Продаются.— Ребята дружно повернулись к нему.

— И сколько она... такая?

— Рублей восемнадцать, двадцать...

Игнат еще раз обвел всех взглядом, махнул рукой.

— Эх вы... плакальщики!

— Ну что, успокоил? — спросила Марина, когда Игнат вернулся в хату.

— Успокоил,— неохотно ответил он, укладываясь на кровать. Укладывался и бубнил сам себе: — Пулемет... нужен... Нужен пулемет... Нужен...

Назавтра, перед тем как ехать на мельницу, Игнат положил две десятирублевки на стол, сказал жене:

— Занесешь, отдашь им.

— За что это?

— За песни...— Игнат кисло улыбнулся.— Я вчера разбил их гитару, пусть новую купят...

## XVII

Не погода, а неразбериха какая-то. То выдастся тихий, солнечный день, будто и не поздняя осень. А то зарядит докучливый, как короста, дождь. Туманится, пологом затягивается округа. Разбушует ветер — порывистый, с сухим шорохом по крыше, с плеском по лужам, словно утки разгулялись на воде. И пузыри приплясывают, кружатся.

Верно сказано: осень на рябом коне едет.

Лес стоял совсем голый — только дуб кое-где держал скрюченную, точно из ржавой жести, листву, чтобы шелестеть ею до новой.

Лес должен раздеться, земля напиться, а там и зима может придти.

Лес разделся, воды налило — ни пройти, ни проехать, пора бы и морозу ударить. Хоть бы воду собрал да грязь подтянул. Но мороза все не было.

Вот так крутил ветер, нахлестывая дождем то с одной, то с другой стороны, пока Игнат не заметил, что на потолке рядом с трубой потемнела побелка, а затем и капать начало. «Дожил, вопщетки, мать твою...» — в сердцах подумал о себе Игнат, хмуро глядя, как медленно наливается, тяжелеет и затем срывается вниз капля, рассыпаясь брызгами по полу. Подставил медный таз, чтобы вода не растеклась по хате, но капли так звонко стучали по нему, что не выдержал, положил на дно тряпку.

Залез на чердак, посмотрел: отошла жесьть возле трубы и дождь стал затекать в щель. Вода по трубе пошла вниз, размывая глину. Заткнул щель снизу, пока дождь немного утихнет, просохнет крыша и можно будет приставить лестницу к крыше, залезть да посмотреть. Удивлялся только, как протекло: ведь и хата не старая, и сам крыл, своими руками...

Было это поутру. А днем ветер повернул с востока, небо очистилось, проглянуло даже солнце, на какое-то время оживило все вокруг. Играла вода на солнце, сверкали, серебрились капли на сучьях яблони... И теперь уже все это не страшило — ни дождь, ни ветер, ни пятно на потолке...

Назавтра встал по обыкновению еще затемно, оделся, не зажигая

света, чтобы не беспокоить жену, заглянул в мастерскую, щелкнул выключателем — лампочка не зажглась. Подумал: перегорела. Запалил керосиновую, она всегда была под рукой, проверил лампочку: нет, все нормально. Значит, что-то не то. Вышел во двор, бросил взгляд вдоль улицы — ни у кого не светятся окна. Редко кто вставал раньше его в Липнице, разве что по болезни или по иной крайней причине, но пора было хоть кому-то засветить свои окна. Должно быть, электрики отключили, а подключить забыли, решил он.

Выбрался за ворота на улицу и сразу запутался в проволоке, как синица в волосянке. Так-сяк выпутался, смотрит: столб лежит на земле и дальше проволока порвана.

— Вот тебе и на! — произнес вслух и пошел дальше по улице.

Еще один столб лежит, а второй завис на Миколковой липе, болтается, точно висельник. Опять запутался в проволоке и только тогда подумал: «А что, если б она под током?» От этой мысли даже мурашки пробежали по телу.

Выпутался и на этот раз, двинулся дальше, теперь уже осторожнее. Дошел до конца поселка. Тут все столбы стояли на месте. Не может быть, чтобы так положил их ветер. Положил и проволоку изорвал. И на липу забросил... Где уж там ветер... Вчера под вечер Хведоров Адашь ехал на тракторе в лес. Сам пыньский и трактор без фар. Еще останавливался около его двора, закурить просил. «Куда ты такой да на эдаком тракторе?» — поинтересовался Игнат. «А во проскочу, дров привезу. Нарубил недавно». «Завалишься куда-нибудь с трактором — ни его, ни тебя не вытянут. Поворачивай назад», — посоветовал Игнат. «Ай, молчите, дядька. Или мне впервой?» — осклабился Адашь. Разве закроешь ему дорогу? Сел и погнал зигзагами. Конечно же, это его работа. Игнат слышал, как уже за полночь гудел трактор. Он еще подумал: «Ага, возвращается». И вот, воротился. По столбам дорогу нащупывал.

Игнат вернулся в хату. Марина уже проснулась, подала сонный голос:

— Что-то радио сегодня молчит.

— Молчит и, видать, долго будет молчать, — ответил Игнат. — Линия порвана. Тут и свет, тут и радио.

— Как же теперь будем?

— Так и будем.

Когда немного рассвело, он снова вышел на улицу. Серое небо висело низко над хатами, но дождя не было. Сивая, точно взболтанная стояла в лужах вода. Ноги чавкали в разбухшей и вязкой грязи.

Коля от колес трактора и прицепа петляла восьмерками и была свежая, словно трактор только что прошел. Он как будто специально норовил идти по столбам. Заденет прицепом, столб хрястнет у земли, переломится, трактор вильнет вправо, на дорогу. И идет некоторое время почти что прямо, пока не приблизится следующий столб. Опять поворот — на столб, затем снова — на дорогу.

Столбы были старые, стояли с тех пор, как проводили электричество, они подгнили, но все же стояли. Долго ли, нет, но еще постояли бы.

«Одним махом и ослепил и оглушил...»

Двор Адася был в самом конце поселка, на взгорке. Стоял он несколько на отшибе и как бы поперек улицы всеми своими постройками — хата, хлев, истопка, все в одну линию, одной стеной к колхозному полю.

На улице и возле двора трактора не было. «Неужто не он?» — подумал Игнат, хотя был уверен, что натворить подобное мог только Адашь. И след вел к нему. И ведь взрослый, кажется, мужчина, и дочка толковая выросла, в институт поступила, сама поступила, без никого, и еще двое меньших дома — словом, все как подобает, а возьмет в рот горелки — и готов колхоз делить.

Трактор с прицепом стоял за хлебом. Прицеп чисто убран, даже подметено в нем. Дрова сложены под стеной хлева, словно там и лежали давно. Левый борт прицепа немного разбит. «Если б не был гружен — весь разбил бы, а так выдержал».

Только он вошел во двор, из хаты с ведром в руке выбежала Зина, Адашева жена. Спешила к колодцу.

— День добрый, дядька Игнат, — поздоровалась торопливо, точно провинившаяся. — Вы к Адасю?

— Ага, к нему.

— Коли ехать куда, так трактор неисправен. — Она взглянула на Игната голубыми, как васильки, глазами и тотчас отвела их в сторону.

«Что ты заливаешь, девочка, кому?» — подумал Игнат.

— Вопщетки, мне-то никуда не надо ехать, а вот ему... Посшибал вчера столбы, всю линию положил. Так что...

— Я же говорила — не едь, да разве вправишь ему мозги? — Зина неожиданно сорвалась на крик и повернула обратно в хату.

Игнат вошел вслед за ней. С порога она устремилась за перегородку, и оттуда раздался ее звонкий голос:

— Вставай, нечего вылеживаться! Просила же как человека — не едь, так нет... А теперь что будет! Вставай, вон люди пришли...

— Пришли, так подождут. — Голос у Адася был, однако, не сонный. И вскоре из двери перегородки показался он сам, запихивая рубаху в штаны. — А-а, это ты, дядька. Что же стоишь, садись уж.

Адась указал глазами на табурет, а сам прошел в сенцы, болтнул чашкой в ведре, выпил воды, возвратился, сел на другой табурет, затуманенными глазами уставился на Игната, как бы спрашивая: «И что тебе надобно? Или не видишь, что мне и так мутрно?»

— Так что же ты думаешь делать? — спросил Игнат, стараясь не смотреть в раскисшее свекольное лицо Адася.

— Как что делать? — пожал тот плечами. — Трактор ремонтировать.

— Вопщетки, еще один такой выезд — и ты его доремонтируешь, хотя я не об этом.

— А о чем?

— О том, что ослепил и оглушил ты поселок. И, думаешь, так и сойдет?

Игнат шагнул к выключателю, щелкнул им, лампочка не зажглась. Он не хотел распалаться, сдерживал себя, но глухое раздражение вскипало в нем. Достал трубку, набил табаком, выкатил из печи уголек, прикурил.

— Кто докажет, что это я? Мало тут разных машин ходит?

— Потребуется — докажут. И доказывать нечего.

— Ну ты же, дядька, не видел, что я ехал вчера? Верно? И никто не видел. Был ветер, буря дайжа была... А столбы гнилые... вот их и положило, а? — Адась говорил спокойно, невинными глазами глядя в глаза Игнату.

«Гляди, откуда и разум берется? — подумал Игнат. — Совсем трезвый, будто и не пил вчера».

— Ведь так оно было, дядька Игнат? — переспросил Адась.

Поначалу Игнату показалось, что тот шутит. Такое бывает после пьянки, когда человек не знает, на каком он свете. Но сейчас видел: Адась говорит вполне серьезно. И готов поверить в то, что говорит.

— А если бы провода были под током? — в свою очередь спросил Игнат.

— Откуда мне знать — под током, не под током? Пускай с небесной канцелярией разбираются, или с электриком хотя бы, или с инженером.

— А ты знаешь, что дядька Игнат уже мог бы и не сидеть сейчас перед тобой и слушать твою дурь?

— Как это так?

— А так, что я вышел до свету на улицу и засилился в провода. Так что ты думаешь делать? — Голос Игната зазвучал с хрипотцой. — Или, может, хочешь, чтобы следователь с тобой поговорил?

— Может, это он и пришел уже, тот следователь, а? Может, и ведет уже следствие? — ухмыльнулся Адасть.

— Ты во что, милый, ты мне свои зубы не показывай. Нагляделся я за свой век всяких. Я пришел к тебе, а мог, вопщетки, и не прийти. — Игнат встал.

— Дядька, ну разве ж так можно? Следователь... Следователю хватает работы и без нас.

— Я тоже так думаю. А чтобы все было по-доброму, так поставь новые столбы. Я посчитал: нужны три штуки. Лес у тебя есть, ошкуренный, сухой...

— Ты что, дядька, сдурел? Это ж на хату... Я новую хату ставить собирался. А, Зина, ты слышишь, что он придумал?

— И правда, дядька, — оторвалась от печи Зина. — Этого леса и на хату мало.

— Вопщетки, столбы, я думаю, и сельсовет отпустит, — смягчился Игнат. — Хотя, по-честному, с тебя и столбы следовало бы взыскать. Чтобы знал. Ну да столбы столбами, а кто ставить будет и когда?

— Вот раскомандовался. Тебе бы, дядька, в войну батальон, да что батальон — целый полк, вот накомандовал бы...

— Ты, вопщетки, поговори, так я тебе дивизию пришлю, — пристрашил Игнат.

— И в самом деле. Не председатель, не бригадир дайжа, а пришел и распоряжается, — всерьез озлился Адасть.

— Председатель с тобой не разговаривал бы столько. Телятник ведь тоже, наверное, остался без тока? Семьдесят голов, им в чугунок пошла не наварись. А пока надо хоть столбы убрать и проволоку смотать, чтобы можно было по улице пройти. Одевайся, так я подсоблю.

— Телятник — ладно. Он от высоковольтной питается, я глядел. А улицу освободить надо...

Тут Адасть долго уговаривать не пришлось. Он быстро натянул кирзовые сапоги, надел ватник, подпоясался.

На улице немного прояснилось. Тучи шли теперь выше, открывая в небе промоины, голубовато-сизые пятна. И весь разбой, который учинил ночью Адасть, уже не казался таким страшным. В трех местах провода были порваны, словно перерезаны, и мужчины скатали их в большой моток. Столбы скинули с дороги под забор. Долго возились с тем, зависшим на Миколкиной липе, спихивали его багром. За этим занятием и застал их председатель.

Председательский «газик» когда останавливался в их поселке, то по большей части останавливался возле Игнатового двора. На сей раз из «газика» выскочил не только председатель, но и инженер, затем электрик Миша Адаменя. Значит, уже знали о случившемся, коли такой бригадой заявились.

Председатель был не из дальних краев — из-за Селища. С той стороны обычно приходили сюда и оседали Гончаренки, Дегтяренки, Коваленки. Председатель был из Гончаренков. Виктор Захарович Гончаренок. Порода приметная: сухощавые, с крючковатыми носами, а голос — что твоя труба. Игнат видел и двух его братьев: все как будто из одного дуба и одним топором вытесаны.

Председателем он у них уже лет пять. Приехал и как-то сразу прижился, по-хозяйски обгородился постройками: поставил дом, хлев, баню. Прибыл с пятилетней дочуркой, а двоих уже здесь нашла. Это при нем, при Гончаренке, велась дорога из Клубчи в Липницу и дальше, на станцию, при нем в Липнице начали строить — и уже заканчивают — новый коровник на триста голов, или, как теперь модно говорить, комплекс. Появился он совсем молодым, лет трид-

цати, тонкий, высокий, а здесь стал солиднее, однако мягкие серые глаза, как и прежде, смотрели на человека вроде бы виновато или просительно. Ему бы доктором быть: и выслушает, и доброе слово скажет, и утешит. Мягко, но своего добьется. Тихо, спокойно, а сделает так, как задумает.

Инженер был здешний, клубчанский, из Цодиков, и, как все Цодики, ростом невысок и мрачен с лица. Человеку за пятьдесят, а Игнат не припомнит, чтобы лицо его просияло от какой-нибудь радости, будь то своя или чужая. «Вот так и проживает свой век, не зная, отчего люди радуются», — подумал Игнат, наблюдая, как Цодик вылезает из машины: носком сапога осторожно нащупал землю, поставил ногу на всю ступню, затем опустил другую.

Электрик тоже был из Клубчи. Молодой хлопец, после армии. Выскочил из машины, кивнул Игнату и Адасю и принялся осматривать линию.

— Вот так. Пока вы спите, люди за вас все сделают, — упрекнул Цодика и Адаменю председатель, подавая руку Игнату, затем Адасю. — Вчерашняя ночь и у вас натворила? В двух бригадах линии положила, — продолжал он, не сводя глаз с Игната.

— Вопщетки, и тут был... ветер. — Игнат бросил взгляд на Адася. У того даже шея вытянулась от напряжения, с каким он смотрел на Игната. «Стой уж, герой, не трясись». — Три столба под корень. Это если считать только те, что лежат. А если взять и те, что завтра лягут, то и всю линию надо ставить на цементные пасынки. И крепче и надолго.

— Кому тут нужно это надолго? Сколько тут хат осталось?.. — уныло отозвался Цодик, скользнув взглядом вдоль поселка.

— Пятнадцать дворов, — заметил Игнат. — Тебе как колхозному начальству следовало бы знать.

— Все мы начальники... дворы считать... Только работать некому.

— А вопщетки, пожалуй, в твоих словах есть и разумный пункт. Сел бы сам на трактор да вот его, — Игнат кивнул на Адася, — по старинке припряг — глядишь, и звено уже... А звено на машинах — большая сила. Одной земли сколько можно перевернуть.

— Ага, ты, дядька, насоветуешь... — Цодик посмотрел на Адася, будто прицениваясь.

Адась шмыгнул носом, отвернулся.

— Лучше бы в центр переезжали, до кучи, виднее было бы, что делать.

— Переедем. Все переедем, вон туда. — Игнат качнул головой на купу черных деревьев за поселком, на кладбище. — А пока ты у Захаровича спроси: нужны тут люди или нет? У него спроси.

— Не люди нужны, а работники... Ра-бот-ни-ки, — вразяжку повторил последнее слово Цодик.

— Вопщетки, а ты видал, чтоб работники были не люди?.. — глухо поинтересовался Игнат. Он уже вскипал: довольно этих глупых шуточек.

— У нас какая-то уж очень мудреная философия получается, — вмешался председатель. — Люди, работники... Будут люди, будут и работники.

— Ты, Цодик, слухай человека. Он хоть и не из Клубчи, как некоторые, а широко мыслит...

— С тобой, дядька, лучше не связываться. Ты все на свою ногу норовишь поставить, — пошел на примирение Цодик.

— Вопщетки, на чужих ногах не ходил и не собираюсь.

— Так что будем делать? — снова вступил в разговор председатель. Вопрос был к Цодику.

— Что делать?.. Нужно временные столбы ставить, а там будет видно. Да и районная бригада ослобонится...

— А тебе, вопщетки, повезло,— улыбнулся Игнат Адасю.— Считай, крепко повезло.

— Мне всегда везет.— Адась впервые за все утро засмеялся.— Мне еще покойный тата повторял: «Не горюй, Адась. Бог возьмет, бог и отдаст».

— Ну, с богом не так все просто. Он что забрал — так забрал. А тут повезло.

— В чем это ему повезло? — заинтересовался председатель.

Цодик тоже повернулся к Игнату.

— Да так,— ответил Игнат.— Мы тут с ним побились об заклад на один параграф закона. Но ему,— Игнат кивнул на Адася,— сегодня не иначе волк дорогу перебежал. Я был уверен, что он проиграет, но нет...

— Ну что ж, Игнат Степанович, раз у вас такая тайна, то и я хочу пошептаться.— Председатель взял Игната под руку, повел к машине.— Есть один серьезный разговор...

— Вопщетки, если серьезный, то и я серьезный,— в тон ему ответил Игнат.

— Как вы смотрите на то, чтобы поменять, говоря по-военному, дислокацию?

Игнат Степанович остановился, высвободил руку.

— Это что, опять насчет переезда? То, о чем Цодик балаболит? Так скажу вам: я ставил тут хату не для того, чтобы через сколько-то лет под чью-нибудь пустую затею перетаскивать ее неведомо куда.

Гончаренок спокойно выслушал его и снова взял под руку.

— Никто вас отсюда не гонит. Живите на здоровье. Тут другое. Я хотел бы, чтоб вы пошли на комплекс.

— На комплекс? Да он же еще не сдан.

— Не сдан, потому и надо как раз вам пойти туда. Проследить, что не доведено, не подогнано, не довинчено... Комплекс не маленький, не простой, узлов много и прочего. Сегодня строители здесь, и мы им диктуем, а завтра они уедут и уже нам будут диктовать. Тут вас грамоте учить не надо.

— Вопщетки, грамота моя простая: замахнулся, так бей, не то самому дадут. А настроился на работу — работай честно, так, чтобы не нашлось охотников переделывать и пальцем в тебя тыкать. А как же будет с мельницей?

— Что мельница? Мельница свое отмолола... Вы сами знаете лучше других, что она доживает свой век.

— Вопщетки, если поменять стойки и пару балок... жернова, пожалуй, долго еще крутились бы... — размышлял Игнат.

— Под новые балки новые стены нужны. А при этих стенах жернова будут крутиться, пока не придавят кого-нибудь.

Председатель хорошенько полазил по мельнице, прежде чем завести этот разговор, ничего не скажешь. Игнату это нравилось. Нравилось и то, что его просят. Не однажды он заходил на комплекс. И когда еще только котлованы рыли, возводили стены, и потом, когда начали оживлять помещение металлом, монтировать транспортеры, автопоилки, «елочку»... На культурную работу задумано, ежели навести все и содержать в строгости. Приглядывался ко всему, приценивался, как на базаре, однако себя видел там, на мельнице.

— И каким же начальником, Захарович, ты хочешь меня сделать? — Игнат редко называл людей по отчеству, но если уж называл, то была тому причина.

— Самым большим. Сторожем.

— Который сторожит несделанное?

— И все остальное, но в первую очередь несделанное. Оно должно быть сделано.

— Нет, Захарович, нет.

— А почему? — Серые мягкие глаза Гончаренка потемнели.

— Вопщетки, я еще не сдал свой объект, чтобы перестраиваться на новый. Да и, скажу тебе, времени мало. Мало времени перестраиваться. Хотя, вопщетки, и любопытно.—Игнат посмотрел на серое небо, на село из конца в конец, на людей, стоявших около «газика», перевел взгляд на председателя. Они задумчиво глядели друг на друга, и в глазах обоих было молчаливое сожаление. Председатель устало улыбнулся, протянул руку:

— Об этом мы еще потолкуем, Игнат Степанович.

Кажется, и отошла жесьть на самую малость, но воду пустила в хату.

Игнат Степанович взял несколько дощатых реек, приладил поверх жести вокруг трубы, скрепил гвоздями. Теперь никакой дождь не достанет. Сделал он все это быстро, спустил молоток и топор по шиферу вниз, а сам задержался наверху. Закурил, огляделся вокруг, бросил взгляд дальше.

Давно не взбирался он так высоко и сейчас смотрел с этой высоты с обостренным любопытством, словно открывал для себя новый мир. Подивился, как это все по-другому видится, если глядеть сверху.

Ходишь по земле, глядишь вокруг, вроде все видишь, и хорошо видишь, глаза, нехай бы и дальше так, еще светят. И не просто светят, а и мушку на ружье видят, и то, что ищет мушка, но вот оседлал конек крыши — и словно Америку открыл. Увидел то, чего прежде не замечал, а если и замечал, то так, походя.

Он привык, что стоит Липница в лесу, и жил постоянно с сознанием того, что лес подступает к ней со всех сторон — местами ближе, местами дальше. А сейчас сделал открытие: кругом голо. Лишь у крайнего от Клубчи поселка гонким частоколом пестрел березняк. Молодой, волнующий своей красотой во всякую пору, казалось, он и отсюда просматривался насквозь. Ничего не скрывал, да в нем ничего и нельзя было скрыть. «Вот он я, какой есть, такой и живу». Наверное, трудно найти на свете дерево более открытое, более чистое, чем береза.

Кажется, совсем недавно было — уток стрелял в конце своего огорода, на болотце за гарью. И где теперь то болотце, где те утки? Ровное, чистое поле раскинуло крылья вдоль села и дальше, к кладбищу и к лесу. Ведь на его глазах корчевалась гарь, осушалось болотце, и было это лет шесть-семь назад, но словно бы только теперь Игнат Степанович разглядел, к чему все пришло. Будто привиделось все это во сне и он твердо знал, что во сне, а сейчас очнулся и увидел, что все это правда. Самая что ни на есть горькая правда.

Земля стала чище и ровнее, будто ее катком укатали, и все на ней заметно, как на лысине. И не надо долго присматриваться, чтобы различить на поле огрех или камень. Залез на хату точно на вышку и командуй. Командуй — это в шутку, а если серьезно, то поля стало много больше и есть где развернуться машинам — что сеять, что жать или, скажем, копать картошку. Кто бы ее нынче столько выкопал вручную, если бы не комбайны да не студенты? Где ты баб наберешься, когда и мужиков мало, и всякий норовит за мотор сесть?

Известно, время не любит стоять на месте, годы людей меняют, не то что лицо земли, и все это происходит у тебя на глазах. Иначе быть не может, если подумать только, а вот взглянул вокруг сверху — и не поверил глазам своим. Прежнего села, которое он знал — поселок подле поселка, хата подле хаты, — считай, не осталось. Оно раскололось на хутора. Несколько хат — затем разрыв, еще несколько — и снова разрыв...

Было странно и грустно видеть все это Игнату Степановичу. Кажется, только вчера собирались они в поселок, гуртовались, стягивались с хуторов. Столько людей было! Строились один перед другим, сады сажали...



Сидеть, оседлав конек, раскорячившись, было жестко, и Игнат Степанович перекинул ногу, сел на одну сторону, поудобнее. Повернул голову влево, перевел взгляд за мелиоративный канал. Дожди поддали воды, она поднялась, как весной, не перескочишь с берега на берег — не то что летом, когда, бывало, только по дну журчала прозрачная струйка. Дальше за каналом — ровный, как стол, луг, он и теперь еще зеленел травой.

В темных кронах деревьев виднелся центральный поселок. Через него шла дорога из Клубчи на станцию, к железной дороге. По ней уходили на войну, и в армию — по ней, и учиться — по ней. Сколько липнинцев прошло, чтобы никогда не вернуться либо вернуться гостями. Как соберутся на радуницу — в одной хате с полсвета.

Взять хотя бы Вержбаловичей. Каждый год приезжают, и всякий раз на двух машинах. Памятник отцу поставили, оградкой обнесли. Приведут в порядок могилку, поговорят, повздыхают. Прошлый год и Люба приехала. Такая шустрая еще, норовистая.

В конце поселка на крутом взлобке живописно выделяются белые продолговатые строения. К ним с гравийки ведет черная лента асфальта. Это и есть комплекс, куда сватает Игната Степановича Гончаренок. Игнат Степанович мельком окинул постройки комплекса и, словно испугавшись чего-то, крутнулся на коньке в другую сторону.

Левее, как идти по дороге на Клубчу, горбились невысокие курганы. Отсюда они почти ничем не отличались от навороченных бульдозерами куч земли, разве только тем, что укрыты кустарниками, точно кочки травой.

Сколько помнят липнинцы, на курганах всегда росли колючие кусты дикой сливы. Вверху они сплетались так густо, что продрасться через них могли только ребятишки, да и то понизу, по земле. Раз в два-три года кусты были облеплены маленькими, зеленовато-холодными, будто стеклянными, плодами. Поспевали они поздней осенью, когда садовые сливы уже отходили, но и спелые они сохраняли свой густой, терпко-соложавый вкус. Детей, впрочем, это не смущало, они обирали их, как и свои возле дома.

На крайнем от луга кургане когда-то стояла высокая старая береза. От старости она была больше черная, нежели белая. Это от ее комля брали разбег и слетали вниз на ледяной простор сани, когда, бывало, в коляды собирались со всех поселков хлопцы и девчата.

А ближе к селу, на пруду забивали в лед железную ось, надевали на нее колесо, прикручивали жердину с санями на конце, на сани усаживались девчата, молодухи, и вот два парня поздоровее, наваливаясь грудью на заложенные между спиц колья, срывали их с места и вели дальше, разгоняя все больше и больше. Сколько тут визгу было, сколько крику, и не дай бог, если сани были слабо прикреплены или вдруг лопнет веревка, которой они привязаны. Иной раз хлопцы нарочно брали для этого гнилую веревку. Раскрученные до бешеной скорости, сани срывались с жердины подобно разъяренному быку. Хорошо, когда впереди был чистый лед. А если встречалась кочка, то часто было не до смеху.

Березу сломала буря. Страшная была буря — с ливнем и молнией. Молния подохла тогда коровник — едва повытаскивали ошалелую скотину. А назавтра, когда все утихло и успокоилось, взглянул Игнат на курганы и глазам не поверил: вместо березы в небо смотрел разодранный пень с двумя острыми, как рога, зацепинами. И не сказать чтоб нездоровая была береза, гнилая там или с дуплом — толстая, с чистой свежей сердцевиной, а ломануло так, что только этот пень остался. Сама береза лежала в топкой трясины метрах в двадцати от кургана. Кто-то из мужиков подступился к ней лишь зимой, когда прочно замерзла черная каша. А пень долго еще торчал над курганами грустным напоминанием о той страшной ночи.

Некогда старики сказывали, будто курганы насыпаны на могилах французов наполеоновской войны. Скорее всего это байки, хотя до Березы тут километров двадцать пять. Нет, французы шли другой стороной, на Борисов.

Имел грех на душе Игнат Степанович, не удержался и однажды под вечер, когда не видно было людей, надумал проверить, чем жили курганы когда-то и зачем насыпаны. Прокопал нору сбоку, будто крот, углубился метра на два. Добрался до обожженного древесного угля. Хоть бери да в горн засыпай. И он еще больше усомнился в байке про французов. На память пришел иной рассказ: якобы на этом месте когда-то была смолокурня и основал ее немец. Поговаривали, сам черный был и фамилия под стать — Шварц. Гнал смолу, заливал в дубовые бочки и доставлял к Березе, там грузил на лодки и отправлял дальше. Сосна и ель здесь смолистые были, еще и теперь найдешь старую корягу, подожжешь — и она чистой смолой изойдет и углей не останется. Да и могучие леса были: еще в двадцатые годы, когда выбирали место под поселок и затем строились, на лугу, в конце огорода попадались пни толщиной в метр, а то и больше, и не дубовые, а сосновые да еловые. Отсюда, должно быть, и уголь в курганах.

Игнат Степанович отвел глаза от курганов, еще раз взглянул на поселок и зацепился глазом за голую березу посреди села — последней, что осталось на Полином дворище. Ветви вскинуты вверх, будто руки у бабы, подбирающей волосы на голове. И захотелось ему пойти в ту сторону. Ничего там не надо было, просто захотелось сходить туда. И он съехал по шиферу вниз, к лестнице.

### XVIII

Сидишь дома — вроде все идет ровно и гладко, прямо скука берет, особенно зимой, а стоит отлучиться куда на денек-другой — и начинается...

Валера ездил к старшей сестре посмотреть, как они там — давненько не писали, — а заодно разузнать насчет института механизации; как бы это, чтобы поступить? Всего-то неделя и минула как из села, успел только пособий разных понакупить для поступления, на предстартовый мандраж настроился и на тебе — уже отъезжая, встретил на вокзале Алешу Миколкова, и тот как о чем-то пустом, случайном ляпнул: «А ты знаешь, твой Вопщетки того, го-о-тов...» Ляпнул и спокойно пошел своей дорогой.

Ошарашили не столько сами слова о смерти Игната Степановича, сколько то, как об этом было сказано. До чего все, оказывается, просто: жил человек, а о нем вот так можно — «готов».

Все лето они работали вместе на мельнице: Игнат Степанович «начальником», «комендантом», Валера учеником.

Валера видел его перед самым отъездом. «Ты, вопщетки, загляни в магазин запчастей, мне Степан Евменов говорил: там противотуманные фары есть, возьми парочку мне для мотоцикла. Я бы и золингенговскую бритву еще одну взял, попадись где, да у тебя, видать, времени в обрез будет. Скажу тебе: эта у меня тридцать три года, а наведешь — идет по щеке, как по отаве».

Все это Игнат Степанович говорил в своей хате, и говорил так, будто собирался прожить еще по крайней мере лет пятьдесят.

Конечно, все люди смертны, тем более в таких поздних летах, но слова Алеши холодом обдали Валеру. Так с закаменелым сердцем и просидел всю дорогу в автобусе, даже ноги размять не вышел.

В поселок с того конца, где стояла хата Игната Степановича, а напротив ихняя, входил медленно, как идут к покойнику. Вывернул из-за частогокола в проулок, а от колодца к своему двору — как ни в чем не бывало чешет сам Игнат Степанович: в руках ведро с водой, в шербатым рту трубка. Увидел Валеру, широко заулыбался:

— Вопщетки, надо было дать сигнал телеграфом или другим спо-

собом уведомить, я бы подскочил на мотоцикле. Он, скажу тебе, и по снегу тянет как зверь.

Валера смотрит на Игната Степановича, пытается разгадать дурацкую задачу, которую подкинул на вокзале Алеша, и радостно, без обиды на того думает: «Ну и оболтус же ты, Алеша, такой оболтус...» Он как будто впервые рассматривает Игната Степановича, словно только сейчас по-настоящему разглядел его.

У Игната Степановича большая голова, длинные редкие волосы. Зубы, когда-то крупные, крепкие, повыкрошились, осталось, наверное, штук семь на весь рот. Иногда кажется, что с этими немногими зубами ему, наверное, даже лучше, чем если бы их был полон рот. Куда бы он тогда со своей трубкой? А так защебил в щербинку — и пусть висит себе: и с человеком можно говорить свободно, и сплунуть, если захочется. Игнат Степанович даже зазор на мундштуке прорезал, чтобы крепче держалась промеж зубов. Так и ходит с трубкой во рту целый день, сосет, как дунду, пока не спохватится, что в ней давно все выгорело. Тогда вынимает изо рта, вооружается шилом, долго ковыряет, вычищая нагар и пепел, заново набивает самосадам — он и теперь, хоть кругом засилье магазинной махорки да папирос, сажает его на огороде за хлевом, — раскуривает, зажимает в щербинку.

Валера опускает на снег чемодан, Игнат Степанович ставит ведра, и серое небо плавно и слюдяно колышется в воде. Некоторое время молча стоят друг против друга, радуясь встрече, как будто потеряли было надежду на нее.

— Я думал, дядька, ты уже съездил в район, зубы вставил, — наконец находит что сказать Валера.

— Оно, вопще-тки, и с этими зубами жить можно, было бы что жевать, — оправдывается Игнат Степанович. — В район ехать — это, считай, целый день стереть. И хорошо, если еще справишься. Сказать по правде, я бы и сам выточил их и вставил — подходящего металла нету.

Игнат Степанович говорит это серьезно, как давно обдуманное, а сам вглядывается за плечо Валеры в конец поселка: там левее курганов широким белым клином лежит заснеженное безмолвное поле. Нечто грустное, как неисполненное давнее желание, серым туманом застилает его глаза. Валера не сомневается, что Игнат Степанович и вправду взялся бы за это мудреное дело — выточить и вставить себе зубы, лишь бы подходящий металл нашелся, а уж какие там были бы зубы и как бы он их вставлял, это другое дело...

— Так что, дядька, может, баньку сварганим?

— А оно и не грех будет. После простуды что-то в груди осело. — Пока ты ездил по столицам, я, считай что, побывал там. — Игнат Степанович кивает вверх, на небо. — Хвороба, брат, входит граммами, а выгонять ее надо килограммами. Ты знаешь, разогрелся, выбегавши за кабаном вхолостую километров двадцать, хватанул воды со льдом. Всего-то какой-то глоток и, кажись, не шибко чтоб холодная была, а нашла своего микроба. Доктор говорит: воспаление легких... А признать, кабанчик был добрый, пудов на шестнадцать, и я, считай что, взял его, да собака, стерва, подвела, домой сбежала. Я тебе скажу, дикий кабан шутки не понимает, на чистом с ним лучше не встречаться, на порох идет, как снаряд, с пятидесяти метров второго выстрела не успеешь сделать. Хорошо, ежели бьешь из засады, а ежели на открытом — берегись! Берегись и бойся... Помнишь Мана из Ядреной Слободки? Брат его с австрияками в ту войну в Галиции воевал, уже тогда телефонистом был при штабе. Умный мужик был, немцы ни за что расстреляли в эту войну. Кто-то сболтнул, что он с партизанами связан, а кто не был связан? Сделали обыск, окромя ружья, еще и пистолет нашли, в хлеву под навозом был спрятан... Ружье — это понятно, что за охотник без ружья, а пистолет... Почему не сдал?.. Они этого не любили, да и кому понравится... Так вот, пошли мы на охо-

ту, я тогда совсем молодой был, выследили кабанчика. Кабанчик не кабанчик, а секач добрый, пуда на двадцать три, клыки что гребешки, по полметра каждый. Надоело ему водить нас по лесу — пошел через поле в молодой сосняк. Ман за ним, мы немного отстали. Сосняк тот небольшой, с мой огород. Обошел Ман кругом: не видать, чтоб кабан где вышел, не иначе залег. Вернулся Ман назад на след, идет, приглядывается, видит: что-то темнеет в кусте. Темнеет и шевелится, чухкает. На кого ты чухкаешь?! Сложился он да как чухкнет! И стрелок был добрый, и бил под левую лопатку, а не успел и глазом моргнуть, как чует, что едет куда-то задом наперед. Кабан двинул ему промеж ног и попер. Метров сорок провез, пока тот не съехал в снег, а кабан как шел, так и дальше пошел... Тут как раз и мы подоспели. Ман еще подхватился с горячки, пошутил: «Во проехал так проехал» — и тут же свалился. Секач как зацепил клыком ногу, так и располосовал от ступни до паха. Подхватили мы его на руки да на сани, в больницу, чуть спасли. Я тебе говорю, кабана просто так не возьмешь. Но я знаю, где этот обитает. Нехай трошки подрастет, да и я поправлюсь — прижучу... Хочешь, вместе пойдем, у меня запасное ружье есть и бой хороший, а? — Игнат Степанович глядит Валере в глаза.

— Не-е, какой из меня охотник. — Валера хитро усмехается. — Хотя мы с вами один раз ходили на охоту. Помните, на лису на Гаврашине. Я в третий или четвертый класс ходил. «Валера, загоняй, четвертную на конфеты!» Я и пошел загонять. А она как мотанет, только хвост и видели. Четвертная на конфеты...

Игнат Степанович слушает Валеру спокойно, сосредоточенно: неужели и вправду было такое?

— Вопшетки, лису гвалтом не возьмешь. Она сама может такой гвалт организовать, особенно ежели к курам или гусям дорогу найдет. Чем больше неразберихи, тем ей способнее. А чтобы взять ее, чего не дал бы: из нее воротники и шапки важнецки выходят. Правда, надо знать, когда бить и как выделать. А то, бывает, возьмет который, а она того, голая. Мы тогда с тобой в самое время вышли, и кабы все шло по плану, шапку ты до-о-обрую заимел бы...

— Я лучше, дядька Игнат, баню организую.

— Вопшетки, ты правду говоришь. Здоровье тоже надо беречь... Растапливай, а там, глядишь, и батька подъедет — повез скотину на комбинат, то нехай бы и он кости погрел.

Баня у Игната Степановича небольшая, новая, стоит в саду, поодаль от хаты и хлева, и спустя какой-нибудь час из высокой асбестовой трубы ее потянулся вверх будто нехотя осторожный дымок. Дрова были сухие, горели гулко, но пока нагреются камни и вода, есть время посидеть в теплой хате, поговорить. И они сидят: Игнат Степанович ближе к печи, ему зябко, Валера чуть подалее, откинувшись на высокую спинку стула и закрыв глаза.

— Вопшетки, если глянуть со стороны, то может показаться, что в человеческой жизни встречаются одни парадоксы, но оно совсем не так. Я тебе скажу: нет ничего страшного на этом свете. Надо только иметь терпение и упрямство не лезть по-дурному на рожон и знать, чего хочешь. Дайжа когда тебе небо покажется с овчинку и нет корки хлеба положить на зуб. У каждого в запасе остается смерть, как у того солдата маршальский жезл. А это уже серьезно: смерть ничего не хочет оставлять человеку. Разве что камень в головах да бугорок земли. Да и то когда-нибудь все это зарастет травой и мохом. Смерть, как женка, не любит ни с кем делиться, хочет командовать единолично, и перехитрить ее трудно. И что интересно: смерть, как и баба, выбирает лучших.

— Ото связал вместе — смерть... женка... командир... Тобой командуешь, — подает голос тетка Марина.

Игнат Степанович удивленно поворачивает голову в ее сторону, словно только теперь заметил, что в хате, кроме него и Валеры, есть еще человек и человек этот — его жена. Реплика тетки Марины, однако, на некоторое время выбивает дядьку из колеи, но не настолько, чтобы окоротить его.

— Вопщетки, ты спроси у меня: что есть на меже жизни и смерти? И я скажу: страх. И чем больше страх, тем человек ближе к смерти. Во какой парадокс.— Игнат Степанович чмокает губами, выпускает дым изо рта, глядя куда-то вверх, в какую-то одному ему ведомую далекую темноту.

— Сам ты парадокс, был им век, им и помрешь. Сходил бы сена коровам кинул, а то сидишь, как сыч,— снова вмешивается тетка Марина, гремя ведрами, будоража элегической настрой Игната Степановича.

Игнат Степанович не меняет позы, как сидел на стуле, так и остается сидеть, даже головы не поворачивает, только весь как-то напрягается, губы сжимаются в застывшей усмешке. Надо знать Игната Степановича, чтобы понять, когда усмешка эта может перейти в холодный смех, а когда взорваться бранью. За долгие годы жизни обок с ним тетка Марина неплохо усвоила это.

— Ну подумай, Валера, нашто нам три коровы? Нашто? Разве мы вдвоем съедим то молоко, что они дают? Да нас бы пораспирало. Сколько нам его надо? Во, видишь, свиньям выливаю.— И она со злостью опрокидывает кринку над ведром.— Говорю, давай двух продадим, оставим одну, помоложе. Нам и ее вот как хватит... Куда там...

По нынешним временам, когда не у всякого есть желание держать и одну корову, упрямое стремление Игната Степановича иметь их полон хлев непросто понять. Пускай бы еще продавал молоко или другим каким образом старался извлечь прибыль от них, так нет же.

— Что съедим, что сдадим, не пропадет. Сена я накосил — до троицы хватит,— объясняет Игнат Степанович, причем таким тоном, чтоб отсечь хвост разговору, свести его на шутку. Ему явно не хочется влезать в него глубже.

— Так если бы только коровы... Есть же еще свинья, хряк, гуси, куры...— почувствовав молчаливую поддержку со стороны Валеры, переходит в наступление тетка Марина.— И все на мои руки. А собаки, собаки еще...

Игнат Степанович задумывается.

— Мой батька считался неплохим хозяином. Девять коров держал. Ни у кого на радиус волости не было столько.

— Только и гонору, что считался. А зимой кружки молока дитяти, бывало, не найдешь, не говорю уж про масло, его и вовсе не видели...

— Вопщетки, тогда другая установка жизни была... Люди на хозяйстве сидели. Хотя и земли было мало, зато радоваться умели. Нет беднее человека, который не умеет радоваться. Помню, были тогда табаки — «Стамболи», «Мисаксуди»... Батька ездил в Бобруйск и брал сразу фунт «Стамболи». А в субботу наденет кастановый костюм — и в церкву. Тогда и я приучался курить. Может, и рановато, да сладко было начинать.

— Говорит — сидели на хозяйстве... А ты не сидишь? Да ты лежишь на нем.— Большое всегда болит, и это хорошо чувствуется в голосе тетки Марины.

— Ты, вопщетки, кормила бы свиней,— говорит Игнат Степанович, по-прежнему не поворачивая головы, однако в голосе его уже заметны грубоватые нотки.— Хорошо, возьмем меня. Я работал на точке, мельница у меня. И ученик у меня, вот он, Валера. К примеру, я захворал, а ученика взяла сено возить. И мельница стала! И опять же: я налил камень, надумал полприцы сменить. И на во — хвороба. Кто за меня все сделает? То-та! И приезжает сам председатель Гончаре-

нок: Игнат Степанович, помоги. Как тут быть? Я беру мотоцикл и еду...

— А ты тут хоть разорвись. Развел гамарню. Одна мычит, другой вищит, третий пищит... Нашлендаешься при них за день — ни рук, ни ног не чувствуешь. А еще ж колхоз: и буряки и к бурякам.

— Как же я могу не поехать? Сам председатель просил! У него целый сельсовет на плечах. И опять же, говорю, точка стоит. А там — свинарники, коровники... Игнат Степанович, помоги!.. Или, скажем, жниво. Тут все горит, хватать надо, пока можно. В колхозе мастерские, там пять человек, а он ко мне приезжает: Игнат Степанович... И следом за ним гонят прицеп, комбайн... Борт поломали, мотовило полетело...

— Он изучил тебя лучше, чем ты сам себя. Знает: попроси тебя — в нитку вытянешься, а сделаешь. Дня мало — так ты ночью, при лампочке. Во двор нельзя выйти — завален железяками. Проволоки всякой, стружек этих под ногами... Садись есть и боишься — язык бы не пропороть которой...

— Ну, язык, может, порой и не мешало бы... — пытается отшутиться Игнат Степанович, но тетка Марина не склонна принимать шутку.

— В хлеву небо сквозь жерди глядится, а он черту лысому точит, пилит, строгают...

— Вопщетки, не черту лысому, и коль председатель дал разрядку и людей ночью посылает, значит, иначе нельзя. А хлев перекрыю, шифер имеется.

— Он уже почернел, шифер твой, за три года.

— Ты, вопщетки, дашь мне с человеком поговорить? — взрывается наконец Игнат Степанович, крутнувшись на стуле с видом, будто намерен вскочить, даже приподымает ноги в валенках, топает ими об пол.

Тетка Марина хватает ведра и, толкнув ногой дверь, скрывается в сенцах. Дверь на какое-то время остается открытой, и холод ленивым белым медведем катится по полу. Валера встает, чтоб закрыть ее, а заодно и посмотреть, что там, в бане.

Дрова в печке успели прогореть, живые язычки пламени снуют над углями, лижут, обнимают их. Как замороженный, забыв, зачем пришел, Валера глядит на это чудо и думает об Игнате Степановиче. Живет он, как дуб в поле, у всех на виду, и все ветры чешут языки свои о его сучья...

В хате уже темно, только одиноким волчьим глазом изредка сверкнет огонек трубки, когда Игнат Степанович затягивается; вспышка на мгновение осветит его лицо, потолок, стены, обитую выделанными телячьими шкурами дверь.

Не впервые сидит Валера с Игнатом Степановичем вот так, во тьме, не зажигая света, но сегодня тревога, появившаяся на вокзале в Минске, не дает ему покоя, не позволяет почувствовать себя легко, как обычно. И хотя причина ее — неправда: вот он, Игнат Степанович, сидит себе, байки бает, — тревога не проходит. Может, причиной тому еще и темнота и этот волчий глаз — трубка.

— А то надумал я сходить на волков. Вернее, поджучил меня Прыжок Антон, — радостно, как если бы ему вдруг повезло выиграть в лотерею легковую машину, говорит Игнат Степанович.

Валеру приятно удивляет не столько сам голос, сколько то, что Игнат Степанович заговорил про волков, как бы подслушав его мысли. Игнат Степанович — заправский охотник, это все знают. И больше всего любит он порассказать о встречах с волками. То ли их, этих встреч, было больше, чем с любым другим зверем, то ли волки слитком часто переходили ему дорогу. Но рассказывает он про них с любовью. Говорит про зверя как про человека. Будто вот они встретились, равные, и пошла игра: кто кого...

— Ага, Прыжок. Нет, не тот, что из Николаевки, а что за мельницей жил, во дворе у него еще валун лежал стесанный, на нем хорошо было бутылку вина разделить. Сам он хоть и не умел держать ружье в руках, да и держать нечем было, на левой руке не хватало пальца, а правую и вовсе оторвало молотилкой. Так и жил четырехпалым — ни дать, ни взять, ни украсть... Приходит это Прыжок вечером, а зима холодная была. «Ты что на печи лежишь, волки скоро углы в хате пообгрызут», — говорит. И правда, в ту зиму они взялись, как на погибель, у Карпа из Осиновки вместе с цепью собаку увели. И собака, скажу тебе, славная была, не под всяким столом пролезала, на воле так и двоим волкам не уступала, а одного спокойно брала. Карп и не слышал ничего, а назавтра цепь с ошейником за три километра нашел, аж около Брониковой горы, во как... А Аркадину овчарку — еще от немцев осталась и прибилась ко двору, ну этого Аркади, из Дулеб, его батька когда-то батрачил у Казановича, — из-под окна уволок. Пока штаны натянул, так и костей не оставили, даже клочья не собрал. Я тебе говорю: волк, ежели разозлится, страшнее любого зверя, медведя страшней. А у Прыжка как раз недели две назад свинья опоросилась, черт знает что с поросятами делать — такой холод. В хате держал, чтобы не померзли. Говорит, возьмем завтра в мешок и пойдем приманим их, шельмецов, может, которого и завалим, глядишь, и триста рублей заработаем. Это еще на те гроши было. За пятьсот, говорит, и парсючка не жалко, чтоб ее черт убрыкнул, свинью эту, выбрала время пороситься... На том и порешили: назавтра берет он поросенка, идет ко мне, а от меня уже вместе туда, за гарь. У меня тогда трехстволка была, шестнадцатый калибр, центральный бой, зайца за сто метров доставала...

Игнат Степанович чмокает губами, прикрывает глаза, затихает. Быть может, заснул — с ним и такое случается. Валера некоторое время выжидает, не заговорит ли снова — нет, непохоже, — и тихо выходит из хаты.

Выгребает угли из пламени, выносит на двор, заливает водой. Долго смотрит в печку, где догорают, роняя искры и переливаясь рдяно-синими огоньками, собранные в кучку оставшиеся угольки, заливает и их, дожидается, пока не остынет, не выйдет влажный дух, окатывает водой полок, скамейки — они дымятся сизым паром, — наливает горячей воды в кадушку запарить веники, выплескивает кружку воды на камни смыть их, обогреть полок. Идет домой, берет белье, мыло. Отца все еще нет. Заходит за Игнатом Степановичем. Тот дремлет, свесив голову на плечо, но как только появляется Валера, сразу подает голос:

— Назавтра я нарубил олова, накатал картечи, шесть патронов с картечью, четыре с пулями, не считая нижнего ствола, у меня и для него три патрона было, это ежели по два патрона на голову — шестерых смело можно уложить. Только стало смеркаться, заявляется Прыжок с мешком за плечами, а в нем шевелится что-то живое. Говорит, самого лучшего поросенка взял. И правда, повизгивает тихонько, а голосок звонкий. Я ему, говорит, пятачок петелькой затянул, чтобы голос был веселее.

Валера садится дослушать, что было дальше.

— Идем мы, снег скрипит под ногами, да поросенок жалостно канючит. Антон взял его на руки, как дитя, он пригрелся и затих. А мороз до-обрый, в носу молодит. Пока дошли до болотца, чуть прояснилось. Есть такая пора зимой, на стыке дня и ночи неожиданно стемнеет, серое на глаза крадется, а потом так же неожиданно прояснится, и опять видно, как днем. У меня на ногах бурки в бахилах — военные езезжали, аж три ската сразу пропороли, нужно было камеры залатать, так они мне бракованную, из красной резины оставили, четыре пары бахил вышло, крепкая резина была, — у Антона лапти. Выбрали мы две елки слева от болотца, у дороги, метрах в

пятнадцати одна от другой, я на одну залез, Антон на другую, поросенка под елкой оставил, только веревку от мешка в руке держит. Скажу, место выбрали мы удачное, все просматривается: и болотце, и гало, и выход с гари. Волк зверь мудрый, никогда не угадаешь, откуда он к тебе зайвится. За километр чует человеческий дух, а порох и того дальше. Но тут все было за нас: вечер тихий, ни ветерка, ни звука, будто все вокруг застыло, в землю вмерзло. Даже собаки в селе перестали отзываться. Примостился я на елке: под ногами два толстых сука, задом опираюсь на третий, чтобы и сектор обстрела был, и прицелиться можно было, бить так бить. Шли — мороз не чувствовался, а притихли на сучьях — он и под кожух полез. Поросянок тоже холод чувствует — «ги» да «ги». Сложил это я руки и осторожно для разведки подал голос по-волчьи: мол, отстал от своих, где вы? Никто не откликнулся. Я этого и ожидал: волк редко откликается на первый зов. Идет на него, а не откликается. Собаки только зашлись в селе, их я сразу купил, считай, за медный грош. Выждал немного, пока все не улеглось, сложил руки трубой, захватил побольше воздуха и повел — сперва тихонько, будто из-под корча, а потом шире, шире, на всю грудь, да жалобно так, с тоской, и все выше, выше, а затем вниз, на спад, и так затаенно, с отчаянием, будто остался один на всем белом свете — ни родни тебе, ни доли. Скажу тебе, волки очень красиво воют, они как бы плачут по себе, и может, оттого волосы встают дыбом на голове у человека, что он понимает их плач. Бывает, еще баба в отчаянье так заголосит, тогда не только волосы встают — сердце переворачивается... Снова подняли гвалт собаки и долго не утихали, а улегся лай, послышался волчий голос. Этот голос я узнаю из сотни голосов. «Ну, — шепчу Антону, — подшевеливай своего поросенка». А сам стал потверже на суках, чтобы не свалиться вниз, когда придет время стрелять. Тут послышался еще один волчий голос, совсем близко и за спиной. Вот тебе и на, ждали гостей с одной стороны, а они с другой пожаловали. И поросенок заволновался в мешке, сколько той животины, а, видать, почуял зверя, кому помирать охота. Я осторожно поворачиваю голову взглянуть, где он, гость долгожданный, и ствол веду за собой. Вижу, тень на снегу. Кажется, близко, а прикинул — метров двести, стрелять не станешь. Глянул левее — еще одна тень, чуть дальше еще... Семь штук насчитал. Расселись полукругом, головы позадирали вверх, вроде на звезды дивятся: и ближе не подходят и не отступают. Потом начали перебегать с места на место, гыркать один на другого без злости, будто переговариваются меж собой. Выходит, не мы их, а они нас с Прыжком взяли в клещи и не собираются выпускать.

А тут, братка, и мороз жмет, чувствую, ноги деревенеют, руки зябнут; металл, он и через рукавицу достает, а правая и вовсе голая, на курке... Антон тоже голосить начинает: «Браточка Игнат, давай выбираться, а то они нас совсем заморозят...» Выбираться-то выбираться, но как: они от села нас отрезали. Думаю, дай-ка пальну разок, убить не убью, так хоть припугну, может, разбегутся, тогда и пойдем. Выстрелил — и как кнутом по воде: забежали они, засуетились, а отступать не собираются и круг не сужают. Скажу тебе, тут и ко мне стал подкрадываться страх. Хорошо рассуждать про волков, сидя на печи, а когда видишь их перед собой таким подразделением... Оно-то, конечно, трехстволка у меня знатная, и бью я без промаха, утку на лету за пятьдесят метров снимаю, а Залесский Казик на спор подкинул было шапку метрах в тридцати — решето из нее сделал, больше он и не надел ее. Но тут другое... Да еще и Прыжок ноет, знал бы — не брал бы с собой: «Браточка Игнат, я уже ноги отморозил, что Тэкле скажу, давай что-то думать. Руки нет — ладно, а как же без ног...» Думай не думай, а надо прорываться. Антон просит: «Ты, Игнат, первым прорывайся, а я за тобой, не то они в одну секунду разберут меня по косточкам». Спустились мы на землю, потоп-



тались немного, чтобы ноги отошли, на руки похукали. Говорю Антону: надо бросать поросенка, пока Волки разберутся с ним, мы и сможем. Что ты! «Меня,— говорит,— Тэкля на порог не пустит. Сам вернусь или нет — ладно, ежели завтра она парсучонка недосчитается — со свету сживет». Страх перед женкой бывает страшнее войны, что ты поделаешь. Говорю: «Ну и пропадай вместе со своим парсучоком, только не отставай, а то они вмиг разделят тебя». Двинулся я вперед, курки на взводе, один ствол с картечью, два с пулями, быть не может, чтобы не прорвались. Идем влобовую прямо на их строй, такая, знаешь, психическая атака. А они сидят как пни, только глаза зелеными искрами поблескивают. Метров пятьдесят идем — волки ни с места, как попримерзли. У меня хоть и ружье в руках, а волосы дыбом вздымаются. Подпустили они нас метров на сто, потом нехотая скок-скок в стороны — и опять сидят, как почетный караул какой, во дела. Словом, прорвались. Подходим к селу. Прыжок просит: погоди. Ну что ж, теперь можно и подождать. Остановились, стал я закуривать, а руки не слушаются: и замерзли и со страху дрожат. Прыжок протягивает мне бутылку: «Возьми-ка глотни. Это ж брал с собой, думал, уьем какого злыдня — так за его грешную душу выпьем, да не довелось...» Беру я бутылку, а там на самом дне и осталось: он, пока сидел на елке, чуть не все выдул. А я-то думаю: чего он там все шевелится, места себе никак не найдет?..

Игнат Степанович смеется тихим детским смехом не иначе как над самим собой и вдруг смолкает. Видимо, он снова уже где-то там, в своей памяти, которая бережно сохранила все, что с ним было, — хорошее и плохое, веселое и тяжкое. Хотя послушаешь его, так тяжкого вроде у него и не было — все просто и ясно, как во сне.

— И думаешь, я с ними так мирно и разминусь? Не-е-ет. Волк не тот зверь, который может простить свой позор и насилие над собой, — все тем же веселым голосом продолжает Игнат Степанович. — У меня тогда сука была, Румзой звали, это уже после Галуса я нашел ее. Зайца за полсотни метров чуяла, а лису и за сто. Добрая была сука, что хитрая, что умница, и двор сторожила. Прошло два дня после нашего похода с Прыжком на волков, морозы тогда крепко держались, хата за ночь выстынет так, что утром не хочется из-под перины нос казать. Как раз была суббота, я истопил баню, попарилась вдоволь, повечеряли с чаркой, бывает, и чарка идет на здоровье иной раз. А после бани жизнь раем кажется. Ага, так слышу где-то под первые петухи, будто сука завизжала. Я послушал еще — тихо. Начал было засыпать, а она опять как зальется. Вижу, дело на зверя похоже. Я на ночь в хлев ее запираю от волков: пока схватишь ружье да выскочишь — поздно будет. А она вылезла, дуреха. Пока валенки вздел, кожух на плечи, ружье со стены — все стихло. Выскочил за хлев, пальнул в белый свет, пробежал недалечко, за огород. След видно волчий, но один. Здо-о-оровый, и наверно, взял за воротник мою сучечку и понес, как злодей куль соломы. Пальнул еще раз так, для постраху и повернул назад. А чуть развиднело, пошел по следу. Километра два прошел вдоль леса, по ручью, вижу, в кустах что-то рыжее. Подхожу ближе: лежит на снегу хвост — ее, сучечки моей... Ну что ж, думаю, доверчивая твоя душа, хорошо ты служила, хоть хвост на память оставлю. Потянул за хвост — не поддается, не иначе примерз. Дернул сильнее — застонала под снегом. А она еще жива была. Он, шельма, передал ей глотку и закопал в снег. Не голодный был, думал вернуться. Взял я ее на руки, принес домой, в хату. Отогрелась, ожила. Дал молока, а оно выливается через рану, он перекусил ей горло. Зашил я рану, стали отпаивать. Все больше Леник, он не отходил от нее. Больно жалостливую душу имел ко всему живому. Но ничто не помогло. Протянула она три дня и сдохла... Во тебе — волки. Встретил я Прыжка и говорю: «Плати, брат, компенсацию. Пожалел поросенка, так они суку погубили, да какую суку!» Но

что ты с него возьмешь, когда он в хату свою готов через окно лазать, чтобы Тэкла не учуяла, чем от него пахнет.

— Пора идти,—негромко, словно чувствуя некую свою вину, напоминает Валера, и Игнат Степанович быстро встает, набрасывает на плечи кожух.

— Вопщетки, жизнь штука мудреная и, видать, никогда не наскучит,— продолжает он уже во дворе.— Допустим, женка говорит: чего ты на этот комплекс бежишь? То с мельницы не вылезал, а теперь на комплексе днюешь и ночуешь. А куда мне бежать? Бабу и то — пока изучишь, а это ж техника. К машине не всякого допустишь. Тут талант нужен. Допустим, Леник мой све-е-етлую голову имел и руки не чужие, после пятого класса запряг трактор, и не абы какой — «ЧТЗ». Не захотел больше ходить в школу — и все тут. Мол, переросток, дети смеются. Вопщетки, война ему два года прибавила, да в рост добро пошел — кавалер, не меньше. Ну что ж, раз такое понятие у человека — иди, учись на тракториста. Это теперь колхоз сто рублей дает, чтобы иной шел получать специальность — шофера, или тракториста, или комбайнера даже,— да и то упираются, не хотят. Вон и стипендию в институт платят, как Ольке, учись и приезжай. Тогда — полпуда бульбы, кило гороху, шкварку. И это на целую неделю. Как он, бедный, и воскресенья дождется... А ничего, свое взял. Вцепится в рычаг как раз за палец, а получалось хорошо. Девки уже вокруг него, и он не противится. Вижу: раз липнут — захороводят, никуда не денешься. Значит, женись. Хоть опять же спрашиваю: «Какой у тебя ресурс есть, чтоб жениться? Гольй, собирайся — гольй готов? Так во тебе истопка, ежели поднять на два венца — небольшая хатка, да своя, можно и дальше расширяться». И вроде бы зацепился было, и садок посадил, а после не удержался, сорвался с места, продал все и уехал черт-те куда на Север. Бабы сгубили жизнь. Угробил здоровье в этих переездах. Что ты хочешь, тысячи километров! А как же жить без привязки к земле? Антенну и ту заземляют, а ты ж человек и детьми думаешь обсемениться, а им куда вращать?

— Ну, дядька, ты и мудрец,— рассмеялся Валера.— Видно, давно не заглядывал в физику. Что такое антенна? Чтоб молния, когда ей вздумается влупить вот в эту вашу десятиметровую антенну (а молния — это не просто молния, электрический снаряд),— так вот чтобы молния не спалила телевизор, а заодно с ним и хату, и нужна антенна.

Игнат Степанович смотрит на Валеру, будто тот заставил его спуститься с небес на землю. Потом отвечает:

— Физика, она, конечно, как и каждый, о себе думает. Но я так скажу: для порядка жизни в семье надо иметь пулемет.

— В каждой семье?

Игнат Степанович на мгновение задумался.

— И каждой не помешало бы. Не для того, чтоб стрелять, а чтоб знали, что пулемет есть...

— А знаешь, дядька, я, наверно, поддержу тебя, хотя это и отдает партизанщиной. Распустились все! — произнес Валера с такой страстью, что ясно было: он тоже немало думал об этом.

— Не знаю, как все, а Ленику как раз этого не хватало,— заключил Игнат Степанович.

## XIX

В первую же встречу после возвращения Леника, когда он пришел навестить родителей, Игнат Степанович внимательно посмотрел на его худшее лицо и сказал:

— Поздно же ты вернулся, сынок...

— Может, еще и не поздно,— жалобно усмехнулся тот и стал торопливо выковыривать из пачки папиросу.

— Вопщетки, поздно,— повторил Игнат Степанович.

В хате они были втроем — сын, отец и мать. Мать не удержалась, накинулась на отца:

— Ты всегда найдешь чем порадовать родное дитя.

Игнат Степанович ничего не сказал ей в ответ, только усмехнулся так, будто готов был заплакать. Всякий, кто увидел бы в тот момент Игната Степановича и Леника, даже не зная, что они отец и сын, лишь по усмешкам их определили бы, что это так.

На дворе была зима, лежал молодой снежок, от него на свете было светло и тихо, и так же непривычно тихо стало в хате...

А летом Леника положили в больницу. Лежал он недолго, может, с месяц.

Приезжала к нему жена и одна и с детьми, приезжала мать, но чтобы навестил отец — никто не видел. Сколько раз Марина пробовала подступиться к нему: съездил бы проведать сына... Однако Игнат Степанович неизменно отвечал:

— Надо было раньше жалеть.

И упрямством своим и этими словами он намекал на то, что если б не сама она, не мать, то, по всему, сын никуда не уехал бы из дома и, возможно, был бы здоров. Первая жена Леника была своя, деревенская, но она не понравилась свекрови, и года два спустя сын бросил и село и семью и сбежал.

— Надо было раньше жалеть?! — не выдержала однажды, сорвалась на крик Марина. — Что ж ты его не пожалел? Ты же батька!

— Поддался бабам — и во, сгубили, — упрямо твердил Игнат Степанович.

— Поддался бабам... Нехай себе. А ты где был, мужчина? — Марина подступалась к нему чуть ли не с кулаками.

— Вопщетки, работу робил... — В словах его уже не было прежней твердости.

— Работу робил, а сына проглядел...

— Не я проглядел. Он сам себя проглядел, — упрямо ответил Игнат Степанович.

Умел он держать свою душу на замке. Никому не говорил о том, что подолгу и с болью думает о сыне и что тайком ездил к нему в больницу.

Приехал на мотоцикле, поставил его во дворе своего знакомого и с охотничьей торбой в руке направился в больницу.

Дело шло к осени, было предвечернее время, и казалось, что природа исполнила свои главные дела и собирается на покой, чтобы завтра начать жить новыми заботами.

Больница располагалась в конце села, в молодом березнячке. Вокруг было тихо, еще тише, чем в поселке, и Игнат Степанович подумал о том, что здесь невыносимо тяжело ничего не делать.

Сына он нашел на одной из деревянных скамеек, которые были расставлены по всему березняку, чтобы больные, выйдя на прогулку, могли присесть.

— Ну как ты тут? — поинтересовался Игнат Степанович, широко растянув в улыбке губы.

— А ничего, — ответил Леник и взглянул на него мельком, будто они незадолго до этого сидели на той же скамейке, отец лишь отлучился куда-то на несколько минут и снова вернулся. — Видишь, как тут тихо, — добавил Леник, и губы его дрогнули: он попытался улыбнуться, хоть сам уже был неведомо где, прислушивался, стараясь уловить далекую музыку.

— Вопщетки, оно так, — согласился Игнат Степанович и недипломатично спросил: — Ты что это, серьезно надумал помирать?

— У меня уже, тата, не осталось времени думать о чем-то другом. — Он давно не произносил слово «тата», но вымолвил его легко, как дитя, и Игнат Степанович вздрогнул.

— Тогда давай выпьем. — Он полез в свою охотничью торбу.

— Мне нельзя, у меня живот. А ты выпей.

— Оно-то и мне нельзя, я на транспорте, да ладно... Я привез тебе печенья, колбасы...

— А ковбуха<sup>5</sup> не привез?

Игнат Степанович заморгал.

— Я не хотел, чтобы мать знала, что поехал к тебе. И ты ей не говори, что был...

— Все воюете? — отрешенно спросил Леник как о чем-то весьма далеком.

Игнат Степанович промолчал, вылил половину четвертушки в стакан и выпил.

— А знаешь, тата, что мне больше всего вспоминалось там, вдали от дома? — В темных глазах сына затеплилось что-то светлое, некий белый туманец. — То, как я тебя нашел после войны и еще как мы с тобой на уток ходили.

Игнат Степанович внимательно посмотрел на сына.

— Вопщетки, я знал, что ты не захочешь забыть об этом.

Он вылил в стакан остатки четвертушки и выпил. Помолчали немного.

— Хочу попросить тебя об одном, тата, — тихо сказал сын, — помоги Лиде поднять детей. Ей одной трудно будет...

— Добре. А матери я скажу, чтоб ковбуха привезла.

На том и расстались.

А неделю спустя Леника не стало.

Игнат Степанович сам сделал гроб и отвез в больницу, сам привез сына в его хату — к жене и детям.

Ни на похоронах, ни на поминках никто не видел слез на глазах Игната Степановича. «Каменный человек с железным сердцем», — втихомолку говорили о нем бабы.

Назавтра после похорон Игнат Степанович взял ружье и с самого утра ушел из дому. Вернулся поздно вечером, ничего не подстрелив. Так было и на другой день. Марина уже начала тревожиться за него, однако на третий день он встал, как обычно, в пять часов и ушел в свою пристройку. Заглянув в окошко, она с облегчением вздохнула: Игнат Степанович сосредоточенно чистил рубанком какую-то доску, словно у него, кроме этого дела, больше ничего не было на свете.

Раздевается Игнат Степанович медленно, будто это раздевание — тоже частичка какого-то весьма важного ритуала. Раздевается и говорит:

— Гляжу я на тебя, Валера, и вижу, хлопец ты цепкий, скоро наловчишься понимать и делать все как следует. Тут, брат, коли что новое встретится, пока не обгрызешь, как собака костку, не выпускай. И правильно сделал, что книжек набрал, — учиться надо. Кончай институт и вертайся. Сам видишь, что выходит у нас: мастерские есть, станки, «летучки», а работать мало кто охоч, вот в чем механика. Люди рвутся в город. Рвутся и не понимают, что воли там меньше и простора нет. Душе воля нужна.

Валера велит ему ложиться на полку.

— Я из вас хворобу буду выгонять. Килограммами буду выгонять.

Игнат Степанович послушно вытягивается на полке, кладет голову на руки. Тело у него сухое, жилистое, одни кости да узлы мускулов, перетянутые рубцами старых ран. Сейчас он кажется намного меньше, чем в одежде.

— У вас, дядька, спина, как у таты: вспахать кто-то вспахал, а забороновать забыл, — смеется Валера.

<sup>5</sup> Рубец.

— Не забыл, а мы сами не дались. Хватило и плуга, а если еще борону пустить, какая душа выдержала бы?

Валера вскидывает полкружки воды на камни, ждет, пока жар, шуганув белым в стенку напротив печки, схватит полок. Затем осторожно проводит распаренным веником по спине, по ногам Игната Степановича, вскидывает еще полкружки. Жар хватается за уши, сушит в носу.

— Вопщетки, можно начинать,— подает голос Игнат Степанович, и Валера взмахивает веником.

Пар и веник делают свое — Игнат Степанович довольно бормочет, охает, вздыхает, ворочается, подставляя то один, то другой бок.

— Поддай еще,— просит он, и Валера бросает на камни новую порцию воды.

Жару много, он перехватывает горло. Валера уже не машет веником, а легонько гладит им, массирует тело Игната Степановича.

— Ото-то здорово, ото добра... А теперь покропи холодной водицей,— просит Игнат Степанович.

И Валера брызгает на него водой, затем опять берется за веник.

— Валерочка, ты ж там гляди не умори моего деда,— раздастся за дверью голос тетки Марины.— Я тут белье принесла и простоквашу. Да на холоде долго не сидите, сразу идите в хату...

— Все будет, как вы говорите,— отвечает Валера, и тетка Марина оставляет их одних.

— Вопщетки, я тебе скажу: женки — нужные люди. Они хоть и бабы и языкастые, а всегда приходят вовремя,— замечает Игнат Степанович, и в его голосе чувствуется нескрываемое удовлетворение.

— Вы думаете, раз так было когда-то, то и теперь все так? Не-е. Теперь совсем другой век. И девчата...— Валера махнул рукой.— Увидит модные усики, прическу «шик восемьдесят три», джинсики — и все, пропала.

— Вопщетки, это только сперва кажется, что пропала. А на поверку все мудренее... Скажи, а там, в Минске, случаем, ты не встречал Ольку?

— Заходил к ним в интернат. Родители ее просили отвезти сидор.

— Ну и как она?

— Такая же, как и была. Она и не ожидала, что я могу объявиться там.— Валера перестает хлестать веником, дает Игнату Степановичу передохнуть.— А с нею живет еще одна, тоже из села. Ох как ей хочется стать городской! Если б знал, привез бы готовую нашивку, как на импортных джинсах: «Городская».

— Ну во, а ты говоришь — другой век. Все они человеки и все разные. Скажу еще: это только из-за гонору мы говорим так — мужской строй. Нет крепче шеренги, чем бабская, и нет вернее мужчины, чем баба. Если уж ты ей пришлось по нраву и она поверила тебе — можешь ничего не бояться...

Потом они голышом сидят в предбаннике, пьют из крынки густую простоквашу, идут мыться. Валера и тут помогает Игнату Степановичу — намыливает, трет веником и мочалкой спину, грудь, руки,— и Игнат Степанович покорно принимает эту его помощь, выказывая своим смирением некую детскую слабость. Затем, одевшись, они снова сидят в предбаннике, и Игнат Степанович достает трубку.

— Вопщетки, скажу тебе: жизнь — это колесо, земля стоит, а оно вертится. Бывает, подымет на самый верх, а потом со всего маху — во тут не дай бог растеряться: раздавит, как жабу. Мокрое место оставит, а само покатится дальше. Ему некогда ждать, пока ты будешь штаны подтягивать... Но если ты правильно выбрал маршрут и у тебя есть план, как добиться своего,— ты кум королю, а то и более. Мало кто найдет смелость сказать льву, что у него изо рта смердит. Это так, как у вас в школе. Задали сочинение на вольную тему. Никто эту тему тебе не навязывает, сам выбираешь, а выбрал — никто за

тебя не напишет. И нечего тут плакаться: без меня меня женили, меня дома не было. А где ж ты был? Скажу больше: если что вьестся в кости, то надолго. Недаром столяр, умирая, говорил: всем и все прощаю — и хорошее и дурное, одному еловому суку и на том свете не прощу. Не мог простить тому норовистого характера: всю жизнь поперек ему стоял. На гордого человека много хлеба надо, да и на хлеб, но каждый хочет, чтобы о нем знали. Что там у кого выходит — это уже другое дело. Тут надо иметь силу смелости не дать дурной охоте и людям затоптать себя. Помнишь Короля — высоченный такой, около двух метров, и сила по росту, а гонору еще больше. Приходит он как-то в кузню, а там полсела собралось, как раз лето было. и дождь сорвал работу. А Максим нагрел брусок металла — топор собирался выковать. Он как будто и не больно яркий брусок, а температура внутри высокая. Кто-то и скажи Королю: «А вот не возьмешь в руки, побоишься». «Давай на спор». «Давай». На литр заложился. Схватил Король раскаленный брусок, перекинул с руки на руку. играет с железом, как с мячиком. Руки у него большущие, в мозолях, известно, человек рабочий, оно и не страшно. И как он зевнул — выронил брусок. Выронить-то выронил, а сам был в сапогах с широкими голенищами. Брусок и скользнул по штанине в голенище. Все смеются: «Во фокусник, брусок спрятал». А ему не до смеха, сапоги были на босу ногу надеты, женка такая, онучи в хате никогда не найдешь. И Король, вместо того чтобы скорее выдернуть ногу из сапога, упал спиной наземь, задрал ноги вверх, трясет, чтоб брусок вытрясти. Вытрясти-то вытряс, да брусок не на землю пошел, а по голой ноге в штаны. Ты знаешь, полноги обгорело, пока выкинул. Хотя литр вопшетки, выпорил...

Игнат Степанович устало откидывает голову к бревенчатой стене, смежает глаза. Валера тоже прислоняется к стене и тотчас проваливается в сон. Что-то дивное накатывает на него, будто он переносится в иное время, когда был совсем маленьким и бабуля говорила ему о людях и о человеческой душе. О том, что человек живет, куда держится в нем душа. А стоит только не поладить с душой как она покидает тело — и человек умирает...

Валера просыпается как от толчка. Игнат Степанович напряженным, пытливым взглядом смотрит на него, будто решает для себя некую очень важную задачу. Потом как бы спохватывается:

— Во, вишь, я тоже сомкнул глаза, и снится: вроде подходит ко мне Игнат Яблонских, мы с ним когда-то в Бобруйске на столяров учились, редкой руки столяр был, да война его крепко покачала что-то вскоре он и помер; подходит и спрашивает: «Это ты, Игнат или другой кто?..» Хотел было я сказануть ему: «Ты что, слепой, своих не узнаешь?» — да передумал. «Нет,— говорю,— не я». Он и ушел, прихрамывая, у него были две сквозные раны в правую ногу. Выходит, дал мне отсрочку, я и проснулся...

Игнат Степанович замолкает, но вскоре снова заводит речь.

— Я так скажу: раз уж надо помирать, то лучше всего делать это осенью. Хорошо, если бы хоронили утром, когда солнце только начинает теплять землю. И чтобы бульба уже была выкопана и жито посеяно, чтоб люди не спешили. И чтобы дождя не было. Негоже хоронить по дождю...— Он отрывает голову от стены, готовый встать, ощупывает Валеру помолодевшими глазами. Трудно даже представить, что какую-нибудь минуточку назад они могли спать.— Ну так идем на кабана?

Валера молчит.

— Вопшетки, чтобы идти на зверя, надо уметь стрелять.

— Стрелять я умею. Даже на соревнования в район от школы ездил. Третье место занял.

— Или, думаешь, получится так, как с лисой? — Игнат Степанович тихонько смеется.

— Что лиса... Погуляла и пошла...  
 — Боишься живому зверю в глаза глянуть?  
 — Мертвому боюсь. Сколько того живого осталось? На одну душу по пять стрелков. Шел сегодня с автобуса, так в Яворском лесу, где развилка дороги на Курганок, все перепахано машинами. Следы диких кабанов, а человечьих больше. Значит, откуда-то приезжали! — Валера возмущается, и губы его под черным пушком дрожат.  
 — Вопщетки, я слышал: в той стороне сегодня стреляли. Так они могут и до моего добраться, — забеспокоился Игнат Степанович. — Надо поспешать, а?

Валера молчит, потом спрашивает о другом:

— Так чего мы сидим, не идем в хату?  
 — Оно и правда. Там, наверно, и вечеря готова, а может, женка еще кое-что найдет...

И они выходят на мороз.

## XX

Игнат Степанович не усидел-таки дома, через день собрался в лес.

— Пойду гляну, что там делается, — сказал жене, затягивая ремень на фуфайке. Под фуфайку надел толстый шерстяной свитер с высоким, под самый подбородок воротом.

Связала ему свитер Соня. «В нем, тата, не страшно и во двор выйти, и работать можно», — заметила она, радуясь, что свитер пришелся как раз впору и по душе отцу. Игнат Степанович примерял его перед зеркалом, долго и внимательно рассматривал себя, словно незнакомого.

Свитер и вправду был теплый. Для мастерской так даже слишком, особенно когда надо с деревом работать. Махнешь несколько раз рубанком — и все, упарился. Известное дело: коваль — людьми, столяр — грудьми... Зато в лес или на охоту под фуфайку, чтоб способно было и повернуться, и затаиться где-нибудь под елкой, в самый раз. Удружила дочка на славу.

Не слишком часто наведывались дочери в Липницу, но и не чурались, как бывает. Гуня приедет из своего города, навезет батонов, баранок, наделает шуму, наговорит всякого, возьмет то, выпросит это — и снова пропала. Будто ветер прокатился, перепутал все, по-срывал со своих мест. «Как там мой Лешечка?.. Догадается ли заглянуть в холодильник?.. А то будет голодный и детей не накормит». А дети уже школу заканчивают, да и Лешечка — плешь, как зеркало, а все в маленьких ходит.

Ненамного чаще появлялась и Соня, хоть и жила ближе, в своем же районе. Игнат Степанович никому не признавался, но ее приезда ждал всегда. В ней были те спокойствие и выдержка, которые не худо бы иметь каждому мужчине. «Вопщетки, нашей породы», — открыл он как-то свою тайну жене. Она ничего не сказала, сама видела, что Игнат Степанович больше тянется к старшей дочери. Впрочем, и к ее мужику — немногословному, работающему. Он трудился на тракторе и на совесть выполнял всякую работу, как и то, что нужно было возле дома. Право думать и решать за всю семью отдал Соне. И было о чем подумать: четверо детей. Однако Соне удалось удержать их оголо себя, не пустить враздробь, хотя старшие уж выросли. А вот и про отца она не забывала...

— Куда ты надумал? Еще то не вычихал, — не слишком строго, но все-таки попыталась отговорить Игната Степановича Марина.

— Вопщетки, должен тебе заметить, баня — святое дело. На что уже Тимоха реставрированный человек: сложили, смазали и сказали «живи», — а и тот после полка чарку попросил, — усмехнулся он.

— Тимоха реставрированный, а ты молодец?

— А что?.. Валера направил меня так, что хоть в сваты иди,— стоял на своем Игнат Степанович.

Валера несколько преувеличивал. Охотники были на одной машине, скорее всего на «газике», но с дороги старались не съезжать: не позволял снег. Их было четверо, с двумя собаками. Машину поставили метрах в двухстах от клубчанской гравийки. Один с собакой пошел в загонщики, остальные заняли места на выходе из леса. Расчет был прост: заслышав собак, кабаны кинутся либо под Курганок, либо в направлении Старины. И в том и в другом случае они обязательно должны были выйти на редколесье. Их оказалось три, и выбрали они Курганок. С той стороны стояли два охотника, и их выстрелы достали одного кабана.

Всю эту нехитрую грамоту Игнат Степанович прочитал, пройдя сначала по машинному следу, а затем по следам животных. Его кабана здесь не было. Здесь была летошняя молодежь. Его кабан находился в Старине, там его и следовало искать.

Игнат Степанович, наверное, и сам не смог бы объяснить до конца, чем дался ему этот кабан. Разве что это была первая лесная душа, чей путь пролегал в стороне от той линии, на которой стоял он со взведенными курками? Живет — ну и пусть бы жил. Жалко, что упустил, да что поделаешь: собака струхнула. Увидел ее уже дома — виноватится, хвостом снег подметает. Ковырнул ногой — глаза бы не видели..

Мысли про кабана у Игната Степановича почему-то связались с его болезнью. Как будто зверь был виноват в том, что он простудился. И не просто простудился, а мог и помереть. Но ведь не помер! «Вопщетки, живой и здоровый. И должен встретиться с кабаном!» Чем дальше он думал об этом, тем больше убеждался: нет, не могут они разминуться. Эта встреча, казалось, была давно уже кем-то предрешена, и ничего изменить нельзя, надо только дождаться наилучшего момента. Как в войну при наступлении.

Из Яворского леса через голый низинный перешеек Игнат Степанович перебрался в березняк, а из него на болотце, по которому шел когда-то, преследуя волка. Самого болотца давно уже не было, через него пролегал магистральный мелиоративный канал, наполовину засыпанный снегом. Но ельник, как и тогда, стоял на возвышении густой и понурый.

В кустах Игнат Степанович разглядел свежие — нынешней ночи — следы кабана. Тот чувствовал себя спокойно, шнырял от куста к кусту, вспарывая снег до прошлогодней листвы. Будто игрался, как это любит делать, мышкуя, лиса.

Игнат Степанович сделал изрядный крюк по ельнику, вышел на просеку. Она тянулась параллельно каналу в километре от него. Сюда кабан не выходил, и это понравилось Игнату Степановичу. Кабан как будто сам себе отвел территорию и не выходил за ее пределы. Снова к каналу Игнат Степанович выбрался километра через полтора. След кабана остался в этом отведенном участке. «Где-то спит под елкой, в теплой хвое, чтобы выйти ночью под дубы или на болото жёлуди либо корни теревить. Ну нехай поспит», — решил, словно дозволил, Игнат Степанович.

Все-таки он уломал Валеру пойти на кабана.

— Вопщетки, не пожалеешь. Мы его обязательно прижучим. Я проверил: некуда ему деться. Собак возьмем обеих — вашу и мою. Ты станешь на просеке, а я от канала. Ручаюсь: он выйдет или на тебя, или на меня, а тут уж не спи. И опять же видишь: снег корой взялся, собаки пойдут поверху, мы на лыжах, а ему.. Что ж, тот раз улизнул, теперь никуда не уйдет!..



— Не будем загадывать,— ответил Валера. Он был в теплой, покрытой плотной черной материей куртке, патроны опустил в карманы, ружье на плече.

За их сборами, кроме Марины, пристально следила еще пара глаз. Принадлежали они Толику — восьмилетнему мальчику Леника. Как раз были зимние каникулы, и Игнат Степанович передал Лиде, чтобы прислала сына: пусть побудет у них. Она и привезла его. И сейчас Толик сидел, свесив ноги с высокого дубового дедова стула точно с трона, и наблюдал за тем, как дед собирается на охоту. Мальчишку недавно остригли нулевкой, и его оттопыренные уши торчали в стороны, будто не свои.

— А мне можно с вами? — попросился он у Игната Степановича. Попросился таким серьезным тоном, ровно его и в самом деле могли взять на эту охоту.

— Тебе еще рано,— ответил дед, бросив взгляд на стену. Там в дубовой рамке висел портрет сына, переснятый с военной фотографии. Они были очень похожи — этот остриженный ушастик и тот, на стене, в парадном мундире и фуражке.— Ага, рано тебе,— повторил дед и добавил: — Разве что прокатиться на кабане, если бы седло нашлось да у кого-нибудь хватило ловкости нацепить ему на спину. А ежели сказать больше, так и не детское это занятие.

— Я к вам в гости приехал, а вы не хотите меня брать с собой,— с обидой проговорил внук.

— Приехал в гости, так будь гостем,— ответил Игнат Степанович.

Кабан был в своем наделе, и собаки подняли его сразу, однако он не пошел на Валеру, а рванул по ельнику в сторону Яворского леса. И проскочил метрах в ста от Игната Степановича — будто молния черкнула по снегу меж стволов.

Голоса собак отдалялись. Игнат Степанович понял, что вся его великая стратегия лопнула, как порхавка под ногой, и через канал выскочил на поле, держа направление на дальний угол Яворского леса. Кабану не закажешь, куда свернуть, но Игнат Степанович был почему-то уверен, что он пойдет либо в глубь Старины, либо сюда. Путь к Старине отрезали своими голосами собаки, а этот угол глухой и тихий...

На взгорке Игнат Степанович остановился, обернулся и увидел Валеру. Тот только что выскочил из лесу и показывал рукой туда же, куда направлялся Игнат Степанович. Он бросил взгляд чуть дальше, на низинную прогалину между березняком и Яворским лесом, и заметил самого кабана. Тот пластался по низине, как будто гнал борозду на ближний угол Яворского леса. Снег был глубокий, и кабан чуть ли не весь зарывался в нем. Вырвались на открытое и собаки. «Ненадолго тебя хватит по такому снегу, голубок. Они догонят. Догонят и оседлают», — подумал Игнат Степанович, ускорив шаг.

Широкие ясеневые лыжи легко скользили по залубенелому снегу, и он достал дальний угол Яворщины раньше, чем кабан. Собаки заливались где-то на клубчанской стороне, и все вроде на одном месте. Не иначе кабан забрался в чащу и не подпускал их к себе. Но нет — голоса собак повеселели, начали приближаться, и не успел Игнат Степанович сообразить, что делать — остаться здесь или краем леса пробежать дальше,— как снова, уже вблизи, увидел кабана. Тот челноком прошел ельник метрах в тридцати от него и вышел на чистый снежный простор. Впереди поперек его пути тянулся мелиоративный канал, дальше лежало поле, а за ним темной стеной вставал Кургановский лес. Кабан держал путь туда. Метрах в тридцати вслед за ним шли собаки. Игнат Степанович вскинул ружье и вел его по ходу кабана.

Это был настоящий секач: высокая могучая грудь, огромная, стесанная на клин голова... Разинутая пасть забита пеной... Собаки настигали его...

В обоих стволах были патроны с пулями, но Игнат Степанович медлил нажимать на курки. «Куда ж ты идешь, дуралей? Перед тобой же канал...» Мысль эта молнией сверкнула в голове, и словно бы в ответ на нее кабан сделал отчаянный прыжок. Прыжок был стремителен и красив, кабан оторвался от земли и на какое-то мгновение как бы повис в воздухе в свободном полете. Он пошел бы дальше, но в событие вмешалось то, чего ни зверь, ни человек не ожидали. На противоположном берегу канала за зиму выросла тянувшаяся вправо и влево широкая, залитая ветрами снежная крыша. Кабан опустил как раз на нее, пробил насквозь и всей своей мощной тушей шастнул вниз, в сыпучий глубокий снег. Тут его и нагнали собаки.

Игнат Степанович выскочил на берег канала. Кабан чуть ли не весь барахтался в сухом, вспаханном копытами снегу. Огромная, в половину туловища, с желтыми загнутыми клыками голова вытягивалась вверх, навстречу собакам, черная щетина на загривке стояла шилем. Разинутая пасть была забита желтой пеной, и она клочьями падала на снег, грудь запаленно вздымалась. Собаки так и заходились от ярости, бросались вниз и как на пружинах отлетали назад. Сзади над кабаном нависала толстая снежная крыша, перед ним были собаки.

Боковым зрением кабан заметил человека, выскочившего на берег канала. И откуда только сила взялась: внезапный, как выстрел, прыжок вверх, на берег канала, прямо на собак — те точно щепки разлетелись в стороны, — еще несколько прыжков, и лес проглотил его, как иголку. Опомнились, заголосили собаки, устремились вслед.

Подбежал Валера: куртка расстегнута, шапка на затылке, лицо покрасневшее, в поту.

— Ну что?

— Вопщетки, ты понимаешь: и по такому снегу он идет наравне с ними. — Игнат Степанович выглядел растерянным. — Ага, выскакиваю сюда, а он в канале, как мышь в муке. И собаки шалеют.

— Ну?

— А потом увидел меня — и на них, на берег... Как они только успели отскочить. А он по своему же ходу назад...

— Постойте, тут же и пятидесяти метров не будет, — пытался понять происшедшее Валера.

— Ага... Ты видишь, какую кротоволку ему подстроили? — Игнат Степанович шел по кабаньему следу. — До крови взрезал ноги и пена клочьями... Он думал, что на той стороне твердое, а там снегу накрутило за зиму. Он как шел, так с ходу и мотанул... Метров пять летел... И если б там была земля, пошел бы дальше. Такая сила, пудов шестнадцать, не меньше...

Валера пытливо посмотрел на Игната Степановича, и только теперь до него начал доходить смысл всего, что произошло здесь...

Игнат Степанович достал из кармана трубку, но набивать не спешил, прислушиваясь к голосам собак. Они доносились откуда-то с другого конца леса.

— Вопщетки, ему ничего не оставалось как пойти в атаку на них, в лоб... — Игнат Степанович опять прислушивался. Голоса собак еле доносились. — А теперь нехай они его в задницу поцелуют, — сказал как бы про себя и засмеялся тихим виноватым смехом.

Он натаптывал трубку и, казалось, всецело был занят этим, но видно было: голова его занята какой-то другой важной мыслью. Игнат Степанович даже усмехался про себя, шевеля губами, и в глазах его стоял светлый, словно это заснеженное поле, туман... Усмехался и прислушивался к чему-то, звучащему в нем самом и что мог уловить только он.

И Валере вдруг опять стало страшно за него, как тогда в Минске, на вокзале. И он затаился в себе, боясь чем-то неосторожным нарушить тихую сосредоточенность, в которой пребывал Игнат Степанович.

Игнат Степанович тем временем прикурил, выпустил вверх дым, поднял взгляд на Валеру, и в глазах его уже не было тумана — они были чисты и ясны, и что-то веселое и родное теплилось в них... Валера тоже улыбнулся, чувствуя, как у него самого глаза застилают туман...

Игнат Степанович продолжал прислушиваться к голосам собак, они раздавались на том же месте.

Да, теперь он стал хитрее, не шел на открытое. Затаился где-то в гущаре и стоит, набираясь сил, выжидая своего неизбежного момента, чтобы перейти в атаку,— и горе тому, кто станет на его пути.

*Перевел с белорусского И. КИРЕНКО.*



---

---

## СИБГАТ ХАКИМ



### ПАМЯТЬ

#### Айгыр уты <sup>1</sup>

Как рыжий жеребец, с подворья  
внезапно вырвется пожар —  
горим! — и желтым бликом горя  
на детский лик ложится жар!

Над пряслами летит ретиво,  
через колодец прыгнет вдруг —  
и пышет золотая грива,  
испепеляя все вокруг!

Искрят копыта золотые,  
поймали б — да уздечки нет...  
Мать, обеспамятев, сплошные  
обноски волочит на свет!

Чуть сушь, от старца до ребенка  
тревожится народ села...  
Глядь — от села одна избенка  
осталась, и кругом зола...

Война, мне мнится в час тревоги,  
под бабий вой и детский крик  
поскачет так же без дороги  
с материка на материк!

Перемахнет мгновенно море,  
испепеляя корабли, —  
напасть держите на запоре,  
родные жители Земли!

#### На стогу

Лежу вот на стогу... Свободен ум.  
Простор прозрачен, солнечен, чудесен.  
Осенний день вокруг —

помимо дум,  
помимо стихотворных строк и песен.

Судьбы сплетенья... Семь десятков лет...  
Белая благодать...

Пути и тропы...  
Войны минувшей исчезает след  
на желтых мирных пажитях Европы.

---

<sup>1</sup> Скачущий огонь, буквально огонь-жеребец.

Судьбы сплетенья...  
 Творчество, стихи...  
 Не сосчитать написанного — томы.  
 Забыв про сожаленья и грехи,  
 лежу,  
 и греет спину стог соломы.

Судьбы сплетенья... Явь и миражи...  
 Перед учениками виноватый,  
 вдыхаю дух стерни и запах ржи —  
 ржаной соломы запах сладковатый...

Лежу вот на стогу, и весь я тут,  
 душой с моей отчизной, как и прежде...  
 Здесь, на стогу,  
 где солнечный уют,  
 еще есть место призрачной надежде...

### Булгарское зеркало

Старинное зеркальце Булгар. Двенадцатый век.  
 Четыре отважных голубки на круглой оправе.  
 Но как пощадил вас жестокого времени бег,  
 наследье крылатое,  
 память о горе и славе?!

Над Волгой-Иделью, над пеплом родимой земли  
 вы восемь столетий на крыльях несли до Казани  
 народную мудрость и свет доброты Кул Гали —  
 «Кыссаи Юсуф», сокровенное наше сказанье.

Оправа зеркальная, словно планета, кругла.  
 Четыре отважных голубки —  
 и гордое чувство  
 за то, что бессильна и тысячелетняя мгла  
 закрыть от потомков  
 высокое предков искусство!

*Перевел с татарского РАВИЛЬ БУХАРАЕВ.*



---

---

ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ

★

## СВЕТ ВЕЧЕРНИЙ

Рассказ

I

**В**рач долго смотрел снимки, потом исследовал его и, хорошо намыливая руки под краном, не оборачиваясь, сказал: «Ничем, к сожалению, обрадовать вас не могу. Потребуется операция». И сел записывать в историю болезни. Показалось Николаю Ивановичу, врач не владел голосом и лицом.

После раздевания и одевания в присутствии медсестры он чувствовал себя раздавленным. Молодыми, бывало, в госпитале, во время войны, они не столько сами стеснялись, сколько шуточками смущали сестер. Пожилому стыдно.

Он присел на стул, ждал, смотрел, как врач со строгим лицом, исключаящим неуместные вопросы, пишет и пишет что-то. Хотелось спросить: доктор, это — рак? Но не скажет, соврет. А уж на это человек должен иметь право: знать, сколько ему осталось, и оставшейся жизнью распорядиться по своему разумению. Диагноз себе он поставил заранее, был, как ему казалось, готов ко всему и спокоен, но когда сестра выписала направление на анализы и подвинула бланки, Николай Иванович зачем-то достал шариковую ручку, надел очки и начал было расписываться вниз, как на денежном документе. Значит, напуган, нервничает. А всегда считал, что самое страшное в его жизни случилось, бояться ему нечего.

Он вышел на улицу. Нет, в мире ничего не переменялось. Это он другими глазами видит сейчас все вокруг, а люди так же спешат. И на него, наверное, кто-то смотрел вот так в свой час, да он тогда не чувствовал, не понимал: самого еще не постигло.

Но жизнь тем временем оставалась жизнью, и в ней были у него обязанности. Как раз сегодня исполнялась годовщина смерти человека, который в молодости считался его товарищем, вдова настойчиво просила: «Вы столько сделали для Васи!» — он обещал быть, но — видит бог! — не хотелось, сегодня особенно не хотелось.

Тысячу лет назад, еще до войны, до школы, прочел он у кого-то из американских писателей историю про то, как два индейца спасались от стаи волков, и вот, поняв, что двоим не уйти, один из них пожертвовал товарищем: на скаку перерубил связки его коню, волки набросились на упавшего, а этот ускакал. История древняя, как мир, ее только примерили на индейцев.

Вот и Вася в сложные послевоенные годы пожертвовал им. Но, решившись, бледный, пришел к нему доказывать: ты не понимаешь, так надо, время требует... Добивался, чтобы он еще и вину взял на себя и тем очистил Васину совесть. Потом времена переменялись, и однажды Васина жена, с которой он знаком не был, прибежала к нему: «Я знаю, между вами что-то произошло, но я слишком хорошо знаю Васю, это такая кристальная натура, ничего недостойного он сделать не мог. Ему сейчас плохо, от вас зависит, но он горд, я умоляю вас...» Когда женщина собою заслоняет мужа и готова на все — у кого хватит духу отказать? Но, сделав раз, он связал себя, отныне он был обязан, а Васе и в дальнейшем почему-то все требовалось помогать, неудачи и беды преследовали его, и вновь: «Вы столько сделали для Васи...» И так благодарила, так благодарила заранее,

что невозможно было отказать и впредь. А Вася все тяжелей ненавидел его. И думалось: да почему же он еще и должен? Но знал: должен. Так жизнь устроена, кто способен нести ношу — несет. Не потому ли и прежде смирялись люди: верую, ибо неразумно. Неразумно — это разум еще не смог постичь. И только глупому все ясно, чем ограниченной человек, тем уверенней замахивается на весь порядок вещей.

Собралось немного народу на эту годовщину, год от году приходило все меньше, говорили одно и то же: как все они в долгу перед покойным, как недодали ему при жизни внимания и тепла. Особенно пространно говорил один благополучный гражданин, и все — о чувстве «сиротства», какое он испытывает теперь без Васи в свои шестьдесят с лишком. Сочно пожевывая замаслившимися от хорошей еды губами, он повторял спокойно это «сиротство», фальшь из него так и сочилась, Николай Иванович только успевал глаза опускать.

Но вдова, настойчивостью и стараниями которой все собрались, впитывала каждое слово, щеки ее под пудрой были свекольного цвета, и давление у нее явно поднялось. А трое взрослых сыновей сидели понурые, с вялыми лицами, не очень, как видно, удачные. И обстановка в квартире ветхая, отжившая, а стольким ради этих вещей поступались, и еще недавно это было. Но стол лоймлся. Зная небогатое ее содержание, Николай Иванович мог себе представить, каких стараний стоило все это достать, купить, приготовить. И не первый раз приходила мысль, что, пожертвовав им в те годы, Вася и сам надломился и вся дальнейшая жизнь так и пошла. Получалось нечто утешительное: дескать, есть в жизни некий скрытый закон справедливости... Если бы так! Тогда, наверное, все злодейства и злодеи давно бы перевелись и люди не страдали бы безвинно.

А в общем, думал он не о Васе. Он сидел как на собственных поминках, и не себя ему было жаль сейчас, а жену свою, Полину: ей предстоит. Только пусть не устраивает всего этого, не нужно. Кто вспомнит, тот вспомнит и так, а по обязанности — зачем?

Они поженились не очень молодыми и без особой любви: сошлись, пожили и стали жить вместе. Но жизнь прожили дружно. Детей он не хотел, и теперь получалось так, что оставляет ее одну.

Все то время, пока ждал места в больнице — три недели с лишним, — он ничего не говорил Полине, и она жила не ведая. Но настал день, когда с вещами (все та же ложка-кружка, только теперь, по мирной жизни, еще и тапочки и пижама) они ехали в такси. Лицо Полины было такое, словно не она, а он везет ее класть в больницу. И там, в приемном покое, она никак не могла справиться со страхом за него, с нервами, куда-то ходила что-то узнавать, а глаза жалкие, затравленные, смотреть на нее невозможно. Он же, как только вошли в эту, словно в морге, цинковым железом обитую снаружи дверь и увидел он покорную очередь мужчин и женщин вдоль стены, а за стеклянной перегородкой — других, очень занятых мужчин и женщин в белых халатах (они выбегали, вбегали, мелькали, засматривающие в глаза пациенты мешали им заниматься делом), понял: тут надо сидеть и ждать терпеливо.

Изредка являлся санитар, придурковатый малый в солдатской шапке на бритой голове; то ли шапка ему была велика, то ли голова мала. Запахнутый в больничную байковую синюю куртку, заплетая длинными ногами в солдатских незашнурованных ботинках, он как свой входил за перегородку, набирал на руку несколько папок и, усмехаясь слюнявым ртом, уводил за собой в даль бетонного коридора нескольких человек, словно не истории болезни, а судьбы их нес. И там, в переменчивом свете, под снижающимся серым потолком, они спешили за ним, удалялись — покорные души грешников. А вся очередь пересаживалась на стульях, подвигалась, и уже

позади Николая Ивановича сидело больше, чем впереди, это почему-то всегда успокаивает.

Вот в этот момент вошел гражданин в шубе, в ондатровой шапке, в больших очках на непроницаемом плоском лице, которое выражало только то, что оно ничего не выражает, будто замок повешен на нем. Не спрашивая, кто последний, прошел он прямо за стеклянную перегородку, взгляд, никого перед собой не различающий. «Товарищ, очередь!»— раздалось вслед, некоторые повскакали с мест, нервы тут у всех напряжены, но его уже вели через другую дверь переодеваться, он и там, перед врачами, не снял шапку. Николай Иванович знал этот взгляд, в поле зрения которого не попадают мелкие предметы: он и сам был из тех, кто не попадал в поле зрения. Но все же странно показалось сейчас: никому здесь не ведомо, кого и куда привезет этот медленно подвигающийся конвейер, а человек мимо всей очереди, не утруждаясь и ответить, спешит первым вступить на него.

Когда переодетого вели Николая Ивановича по переходам, дверь против лифта открылась, пахло холодом снаружи, и такой весенний, сияющий день увидел он отсюда, из бетонного мрака, так вольно там блестело солнце в снеговых лужах... Дверь захлопнулась.

И началась больничная, палатная жизнь. Место его оказалось крайним к окну, туда никто не стремился: зима, дует от стекол. Но отсюда виден был двор, мартовский захламленный снег, березы до полудня в тени. Только после обеда солнце освещало их грязноватые к концу зимы стволы, они розовели, вбирали тепло, и снег вокруг них оседал все глубже. А ночью одна и та же звезда светила сквозь голые ветки, смещалась постепенно за край окна. Николай Иванович садился в кровати, и она возвращалась на место. Долго ему предстояло смотреть на нее.

Когда они с Полиной впервые вошли в эту палату, рядом со свободной койкой лежал покойник: провалившийся рот, из которого вынута вставная челюсть, большая, холодная на вид, желтая ступня просунута сквозь прутья кровати, обтянутый хрящ горбатого носа. И только тяжкое храпение и вздрагивающие глазные яблоки под слипшимися веками подтверждали: жив.

Рядом преданно сидела на стуле седая старушка, ела больничную кашу с тарелки перед собой, как белка из лапок. Сильно пахло мясной подливкой. Увидев испуг Полины, закивала, закивала приветливо:

— Это наркоз. Завтра он будет бегать. Все вот не проснется никак.

И, наклонясь над ним, гладила по лицу, тихонько трепала по щекам:

— Глебушка! Глеб Сергееч!

Он приоткрывал тусклый глаз, силился улыбнуться:

— Туман в голове...

И веко сонно задергивалось.

— Ох, болен он, тяжело болен.— В глазах у нее блеснули слезы, но тут же и улыбнулась сквозь них, чтобы не докучать людям своей бедой.— Вот доедаю вместо него, не пропадать зря. Все бегом, бегом... Ему приготовила, морс сварила, уж не до себя, что ему приносят, поем,— словно бы извинялась она.

Каждое утро она раньше всех проникала в больницу, заглядывала испуганно и, убедясь, что жив, махала на него рукой, чтобы только не ругал ее, и потом в коридоре долго не могла отдышаться. А он методично, с привычкой старого больного застилал кровать, шел умываться.

— Чего, чего прискакала ни свет ни заря? Сон вещей? Когда научу: сообщат! Не звонят тебе, значит — жив.



— Мне, Глебушка, сегодня как раз надо было пораньше к Анне Игнатьевне, пообещала ей, так, думаю, забегу уж по дороге...

— Опять врешь. Зачем? Пила бы сейчас чай не спеша у нас на кухне. Ведь свалишься, ухаживать за тобой некому.

И шел умываться, прищлепывая тапками без задников по зароговелым пяткам.

— Ворчун он у меня стал к старости, такой ворчун,— жаловалась она тихонько.— «Пила бы чай не спеша...» А что мне за чай одной на кухне?

И тут же рассказывала очередную какую-нибудь свою историю, все они были похожие у нее:

— Позавчера получаю заказ, смотрю — что-то очень дорого с меня взяли. Принесла домой — икра в заказе, чужой чай-то по ошибке сунули. Так не хотелось идти, набегалась за день, ног под собой не чую. А в результате меня же и осрамили при всех. Две продавщицы в белых халатах такие грубые! Где, говорят, бутылка оливкового масла? Представляете, масло я утаила... Потом заведующую привели, оказывается, оливковое масло совсем в других заказах. Так хоть бы извинились! Вы уж не говорите ему, опять будет меня ругать.

## II

Стало известно, что в двухместном боксе напротив выписывают больного. И сразу их палата на восемь коек зашевелилась, заволновалась, тайно друг от друга бегали звонить куда-то, шептались с родственниками, возникли взаимные подозрения. Не впервые видел Николай Иванович, как, по сути дела, немного нужно, чтобы разделить людей. Надо только, чтобы чего-то не хватало на всех, и сразу проступает кто — кто. В войну дело шло о жизни, в мирное время — о ерунде сущей в сравнении с жизнью, но сражались за нее, забыв все.

Сам он не суетился зря: свято место пусто не бывает, кому-то оно уже назначено, а его немногих знакомств на это не хватит. Да и противно совести толкаться, заскакивать раньше других, перед тем же Глебом Сергеевичем совестно.

Глеб Сергеевич, считавшийся ветераном отделения (его так и представляли на обходах: «Это наш ветеран»), тоже ни в чем не изменил привычек и порядка своего дня. В обычный час принес из холодильника еду, сидя на заправленной койке, ел из чашки клюквенный кисель, всыпав туда сухарики, ел потому только, что надо: для него прием пищи мало уже чем отличался от приема лекарств, вкус во рту, говорил он, все той же медной ложки. Он не хуже врачей все знал про свою болезнь и, кажется, имел мужество не обманываться.

А с другой койки безответный Солдатов, лежа поверх одеяла в толстых, овечьей шерсти деревенских носках — у него и в тепле зябли ноги,— смотрел на все волнения, беготню и суету будто глазами слушал; большие от худобы глаза на сером лице. Его готовили к операции, но все никак не могли поднять гемоглобин. «Ты встань, встань, пройдишь,— приказывала громогласная его жена, принося передачу.— Лежать будешь — вовсе кровь застынет». Он покорно вставал, шаркал тапочками в ее присутствии, пока она здесь, а уходила, опять ложился, серый, слабый, уже и желтизна в лице проступала.

А пока из всех палат бегали, суетились — такое сразу разносится,— пока шли все эти волнения, сестра провела по коридору больного с вещами в тот самый двухместный бокс. И один за другим начали возвращаться в палату претенденты. Вернулся Касвинов, персональный пенсионер, подрабатывавший к пенсии в каком-то солидном учреждении: сидел там в стеклянной будке, выписывал пропуска. Весь этот день проторчал он на лестничной площадке, от телефона автомата не отходил, а тут вернулся, сел на кровать:

— Безобразие!

И всем стало ясно. И снова установились в палате мир и тишина.

Не раз уже думал Николай Иванович: в жизни на все есть люди, на любые дела, и на хорошие и на плохие, но каждое время выдергивает своих на поверхность. Одно время этих подымет, другое — тех, а они уже готовы, есть. Касвинов и в больнице, где всех беда свела, не равнял себя с другими. Конечно, беда общая, а судьбы разные, каждого ждет свое и свои у каждого надежды, это все так. Но, может быть, эти люди в палате и есть последние люди, с кем суждено жизнь окончить. Ничем они не хуже остальных, больны только. И не лучше ничем: люди.

Осенью сорок первого выходили они из окружения на Смоленщине, двенадцать человек, все из разных частей, до этой поры не знавшие друг друга. И вот эти двенадцать — понял тогда Николай Иванович, почувствовал это — и есть человечество. Не бывает стыдно перед всем человечеством, это пустой звук, а вот перед одним кем-нибудь, двумя... Двенадцать человек, которых вел он из окружения, веривших ему, и были — человечество.

Напряжение дня с беготней и суетой должно было разрядиться. И разрядилось. Солдатов рассказывал, трудно шевеля бескровными губами, как чуть было не засудили его родственника — «брата моей жены» — ни за что, за чужие грехи, и вдруг Касвинов взвился: слез с койки, халат впереди него грозно подперт животом.

— Как смеешь? Ты кто такой рассуждать непочтительно?

Солдатов оробел:

— А что я? Я — как было...

— Как бы-ыло!.. Да кто ты есть перед судом? — Мощный живот вздрагивал. — Понабирались дурацкого духу все разносить, каждый рассуждать берется. А вот если за эти рассуждения да призвать к порядку, а? Суд должен быть окружен ореолом святости!

— Почему — «ты»? Почему вы ему тычете? — Николай Иванович побелел. — Он что, рангом ниже?

И было противно видеть, как Солдатов еще и извинялся испуганно, когда Касвинов вышел охладиться в коридор:

— Что я ему? Ничего вроде такого и не сказал, чтобы... А он уж сразу с сердцем... Или обидел чем?

А у Николая Ивановича еще долго дрожали руки, стыдился стакан с водой взять с тумбочки. И ругал себя в душе: зачем связался? Ни к чему это не ведет, ничего этим не изменишь, понятно ведь, что в ком кричало.

Нового больного из двухместного бокса напротив увидал Николай Иванович после вечернего обхода, когда из всех палат, волоча за собой стулья, потянулись больные к телевизору слушать последние известия, рассаживались в холле. На экране, снятые с большой высоты, маленькие в океанском просторе, где волны казались зыбью, плыли к Фолклендским островам английские военные корабли: узкие длинные эсминцы, авианосец со скошенной палубой и белыми, будто игрушечными самолетами на ней. А где-то под этой блестящей рябью, в темных глубинах скрывалась атомная подводная лодка, уже потопившая аргентинский крейсер. Их тоже показали, моряков с потопленного крейсера, спасенных из ледяной воды. Глаза их нездешние, повывавшие гибель, безумные лица родственников, залитые слезами, — и тех, кто встретил, и тех, кто уже не встретит никогда. И Николай Иванович, переживший за время войны и ранения и госпитали, думал, глядя на экран: кто-то миром не договорился — и вот плывут молодые ребята с оружием в руках, а другие такие же молодые ребята ждут их на берегу, и будут стрелять друг в друга, и будут потом их резать, мучить.

Он раздраженно обернулся на голоса, шарканье и шлепанье тапочек по коридору. Два лысых затылка, две старческие спины в полосатых махровых халатах удалялись в глубь коридора, попадая то в тень, то в свет длинных неоновых светильников под потолком. И что-то знакомое почудилось в доносившемся оттуда голосе, в этом пришепетывании, когда кончик языка длинен.

Тут шумно набежала молодежь к спортивным новостям: в отделении, кроме больных, лежали на обследовании призывники. Времени зря не теряя, они ухаживали за сестрами, поддежуривали по ночам. Николай Иванович выбрался со своим стулом из-под радостного гогота: передавали счет матча ЦСКА — «Спартак», мелькали по льду игроки с клюшками, в блестящих шлемах, как муравьи, вставшие на лапки. Он сел на стороне, ждал.

В полосатом махровом халате — зеленые широкие, белые широкие полосы — не первый день прогуливался по коридору, ни с кем не сближаясь, тот самый гражданин в больших очках, что в приемном покое мимо всей очереди прошел переодеваться. А сейчас такой же махровый халат, но с коричневыми и белыми полосами, тяжело обвисший на худом костяке, двигался с ним рядом. Николай Иванович почувствовал вдруг перебои, страх в груди и пустоту. В мертвом неоновом свете приближался Федоровский. Облезлый, постаревший до неузнаваемости. Но голос сквозь старческое дребезжание был его, голоса не меняются.

—...Вначале назывались три кандидатуры: Ухин, Мухин и Зятьков. — Дряблые старческие губы от физической немощи складывались брезгливо. — Впрочем, и четвертого называли...

— Те, о ком громко говорят заранее...

— Да, да, да!

— Гейвандов вынырнул в последний момент.

Очки значительно блеснули очкам, общее замкнутое выражение легло на лица — и замолкли, переваривая новость в себе.

Николай Иванович сидел, оглушаемый горячими толчками, пульс захлестывал. Из тени в свет, из тени в свет удалялись полосатые халаты. Еще раз они прошли мимо, обвисшие полы хлестали по белым иссохшим ногам Федоровского.

Ночью светила звезда сквозь голые ветки. Вот так и Таня, быть может, смотрела на нее, мысленно говорила с ним, его винила. Нет Тани. И детей нет. А в двухместном боксе напротив спит человек, из-за которого вся его жизнь лишилась смысла.

У Николая Ивановича на другой день был сердечный приступ. Делали уколы, от атропина сильно сохло во рту. Сквозь сон и явь всякий раз видел: преданно сидит Полина в белом халате. Снег падал беззвучно за окном, потом стекла зеркально потемнели, согнутая спина Полины отражалась в стекле. На склоненной ее голове над вязанием блестели в волосах нити седины. Всю жизнь родные покойники стояли между ним и ею, они приходили во сне, он просыпался от боли в сердце. А Полине хотелось ребенка. Так и состарилась.

### III

Ранними утрами, когда разносили градусники, воздух в палате после целой ночи бывал тяжек и густ. Потом начиналось проветривание, беготня по коридорам: последний раз перед сдачей дежурства сестры делали уколы. А от автобуса уже спешили другие врачи и сестры. Николай Иванович видел из окна, как они проходят внизу. Они появлялись свежие с мороза, пахнущие снегом, зимой — с воли из другого мира.

И уже где-нибудь в уголке сидела к этому времени мать с сыном, словно и ночью не уходила отсюда, она что-то внушала, внушала ему тихим голосом, он слушал покорно. Согнутый болезнью, которая и вырасти ему не дала, с палочкой между колен, маленький, усохший

старичок, он казался старше своей матери. «Мне бы здесь лежать,— говорила она,— а ему ко мне приходите».

Разуверившись во врачах и лекарствах, он выпрашивал больных, надеясь от них узнать что-либо полезное, позаимствовать для себя. Однажды Николай Иванович видел, как он увязался за Федоровским. Они прогуливались мерно, два полосатых халата, обменивались новостями не для широкого распространения: кто планируется, куда, на место кого... Отстраненные от участия, они с тем большей страстью обсуждали. А он жался за выступом стены, поджидал их. Должно быть, этому замученному болями и страхом человеку они казались очень значительными. Дождался, поспешая, похромал рядом, просительно заглядывая в лица, что-то спросил. Они не прибавили и не убавили шагу, донеслось:

— А он молодцом, правда?

— Молодцом, молодцом...

— Да просто молодец!

И отогнав от себя похвалами, как собачонку приставшую, пошли дальше, беседуя, с государственным выражением лиц. И он отстал, поковылял в палату, опираясь на палочку.

У Николая Ивановича всякий раз холодело сердце, когда издали видел он Федоровского, и все же самый момент встречи пропустил. Он наливал в термос кипяток из титана, задумался, и вот тут послышалось за спиной прохладно-вежливое:

— Простите, кипяток достаточно горяч? А то вчера здесь...

Термос дрогнул в руке, Николай Иванович обварил пальцы.

— Я вообще-то привык пользоваться своим кипятильником. Проще и гигиеничней. Да вот вчера что-то замкнуло. Вы, случайно, не специалист в этом вопросе?

Федоровский уже поставил термос под струю кипятка, поднял глаза, взгляделся сквозь сильные очки.

— Ты? — изумился радостно. — Ты тоже здесь? А что? — В глазах живой интерес больного к болезни. — Кто лечащий врач?

Был он с утра небрит, блестела сединой обвисшая кожа. Шалевый воротник халата, старческая, в седом волосе, цыплячья грудь. И весь он по-стариковски неопрятен, какой-то сырненький запах исходил от него.

— Ты, конечно, понимаешь, я мог не сюда лечь. — Федоровский провожал его с термосом в руке. Губы дряблые, синюшные; привычно отметилось: цианоз губ. — Не захотел, хотя, конечно, предлагали. Не по мне, не по мне это... Говорят, здесь врачи знающие. Ты как, не слышал? Меня, во всяком случае, заверили. Это твоя палата? А я вон там, напротив. Заходи...

«Что это, старость? — пытался понять Николай Иванович. — Не помнит, забыл? Или настолько мы все для него ничего не значим, что обрадовался, увидев?»

Как-то в сумерках он очнулся от сильных болей. Полина встала, согнувшись. Она тотчас глянула на него, душой она каждый миг была с ним, каждое его движение стерегла, но он закрыл глаза и лежал так. Он и с закрытыми глазами видел ее. Все чаще они теперь соединялись в его сознании, Полина и Таня, жалость к обоим соединяла их. А раньше, в начале семейной жизни, да и потом не раз, в нем подымалась враждебность, словно Полина не за себя жила на свете, не свою жизнь, а другая, недожитая, досталась ей. И она сумела перетерпеть, понять и простить.

На огромном отдалении Таню теперь он видел девочкой с румянцем волнения на щеках, с жалким, испуганным, растерянным взглядом, а на руках — грудной ребенок, и Митя, трехлетний, прижался, обхватил ее ногу. Волнение старших передалось ему, он держался за мать, крепился, чтоб не заплакать. Такими он их оставил и уже ни-

когда не увидел больше. И никто, ни одна живая душа в целом мире не помнит, не знает про них, как будто и не жили на свете.

Маленького, грудного, он еще не успел как следует ощутить, еще не взял в сердце. И легче младенцу: страха не ведал, не знал, что жил, не сознавал, что отнимают. Но три года Митиной жизни, все это, впервые испытанное, когда из маленького кролика, способного только спать и плакать, выросстал осмысленный человек, с которым все уже становилось интересно... И вот нет его, и никому это не больно, нет как не было.

В послевоенной жизни, особенно когда много лет минуло, Николаю Ивановичу не раз говорили: «У тебя была бронея — и ты не воспользовался? Но почему?» И еще так говорили: «Тыл во время войны — это тот же передний край». Но и тогда и теперь он знал: если бы не шли сами, не поднялись так, не было бы победы, ничего не было бы. И многих из тех, кто так разумно спрашивает теперь, тоже не было бы на свете. Но не объяснишь, если уже объяснять надо.

Таня с детьми оставалась в тылу, думать не думалось, что и сюда война докатится. Если и боялась Таня, так только за него. Но он все же забежал к Федоровскому взять с него слово. Тот быстро рос перед войной, особенно поднялся в последние четыре предвоенных года. Уже и машина ждала его у подъезда, а тогда это многое значило. И секретарша не пропустила бы к нему так просто, но, на счастье, они сошлись в коридоре, вместе зашли в кабинет. «Я тебя не понимаю, — с долей официального недовольства в голосе, как полагалась в официальном месте, говорил Федоровский, заведя его к себе, но не садясь, не давая примера садиться. — Ты что, действительно допускаешь возможность, ты мысль такую мог допустить, что враг придет сюда? Ты знаешь, как называются подобные настроения?»

Под рукой на маленьком столике телефонные аппараты, сам Федоровский — в полувоенном, в гимнастерке без знаков различия, в хромовых сапогах, и вот так стоя во весь свой немалый рост, скорбно качал головою, не одобряя, не имея права одобрять подобные настроения, но уже и улыбался сквозь строгость, улыбкой прощал момент малодушия: «Одно тебя извиняет: на фронт идешь».

Не раз потом вспоминалось Николаю Ивановичу все это, и «настроения», и полувоенный его костюм — дань времени, а машина стояла у подъезда наготове, и когда фронт придвинулся, в ней Федоровский и укатил.

Теперь забыты многие слова и то, что они означали для человека, не в каждом словаре найдешь слово «лишенец». Родители Федоровского были лишены. Держали они какую-то небольшую торговлишку в период нэпа и в дальнейшем, причисленные за это к эксплуататорским классам, были лишены избирательных и прочих гражданских прав. Если бы не отец Николая Ивановича, который в своей жизни многим людям помог, что ему и припомнили в дальнейшем, невеселое будущее ожидало Федоровского. Человек старых понятий, участник революции еще девятьсот пятого года, отец говорил: «Способный юноша, зачем его лишать чего-то? Зачем самим лишаться? Страна не должна лишаться толковых людей». И Федоровского принесли на рабфак, и способный юноша, вначале приниженный, за все благодаривший, стал выправляться, расти, как придавленный росток из-под камня.

Прощеный враг никогда не становится другом, но службу доверь ему — будет служить рьяно. Из таких, кто всего был лишен, пережил страх, а потом допущен, приближен, из них во все времена выходили самые непреклонные служаки, которые не помнят ни отца, ни мать, служат ревностно не идее, а силе. Они если и там оказывались, по ту сторону фронта, то и там точно так же служили силе, становились первыми ревнителями порядка.

По всем человеческим понятиям Николай Иванович считал, что

уж с такой просьбой — предупредить Таню, если станет опасно, не в машину взять с собой, предупредить только, чтобы она смогла вовремя эвакуироваться с детьми, — о таком пустяке мог он попросить. Тем более что он уходил на фронт, а Федоровский оставался. «Вот тебе мое слово, — выходя из-за стола с телефонами, одновременно хмурясь, но и прощая, уже наученный этой игре, сладость испытывая от нее, говорил Федоровский. — Не должен бы я поддерживать такие настроения, но ты уходишь, тревогу твою понять можно. Вот тебе мое слово и вот тебе моя рука!»

Глупые, старые представления о долге, о благодарности. От людей, помнящих, кем ты был, знающих твое прошлое, от таких людей избавляются, а не долги им отдают. Но поздно это узнается, самое главное всегда узнается задним числом. Да и семья их жила другими понятиями. Ему бы сказать Тане: «Станет опасно — решай сама, не жди». Но он хотел как лучше, а Таня привыкла его слушать, он старше, умней. И ждала до последнего. Верила.

После войны разыскал он Федоровского уже в Москве, и кабинет был значительней, и телефонов побольше под рукой. «Я не имел права, как вы все простых вещей не понимаете? — с превосходством человека, обрекшего себя в жертву долгу, возвысился над ним Федоровский. — Я — Тане, Таня — подруге, соседке, та — еще соседке. Вот так и возникает элемент паники...» В кабинет уже входили почтительные, прилично одетые люди с папками для доклада, похожие друг на друга. Все они смотрели неодобрительно, тут повышать голос, громко разговаривать не полагалось. «Но тебя машина ждала внизу!» Только это и сказал. И еще обложил напоследок. И потом долго жгло, что ничего не сделал, проклятое это интеллигентское, с детства въевшееся в кровь, не дало переступить. А что можно сделать, разве изменишь?

Слышал Николай Иванович отдаленно, да что ему до этого, что в послевоенные годы пошел Федоровский по службе не вверх, а вниз. Не за грехи — должно быть, пришло время менять коней или кто-то более подходящий, более ловкий пересел его. И вот — не у дел, никому не нужный, дряхлый — докатился до этой больницы: «Ты, конечно, понимаешь, я мог лечь не сюда...»

А как радостно хозяйничала Таня в недолгой их семейной жизни! Отчего-то больней всего было вспоминать мелочи. Однажды принес он с базара парное мясо. Таня послала его за картошкой, а там, на базаре, у самых ворот местные художники выставили свои картины: дама в длинном, до носков туфель лиловом шелковом платье складками, дама в шляпке на коне, и свисают складки шелкового платья, рука привычно выводила их. Продавались эти фанерки, написанные маслом, по пять, десять рублей, в зависимости от размера. А если дама на коне, то и за пятнадцать. И вот один художник продал и тут же купил мяса, и все остальные художники, перемерзшие, шмыгающие мокрыми носами, сошлись и смотрели на это сырое мясо в его руках, трогали, обсуждали что-то. Какими глазами они смотрели!

Николай Иванович, хоть деньги в ту пору у них были считанные, от полочки до полочки еле дотягивали, решил с радостью: «Порадую Таню, чего там!..» Таня одолжила у хозяйки, у тети Паши, мясорубку, нажарила целую чугунную сковороду котлет, на запах всунула к ним в дверь хозяйский внук, и они усадили его с собой, с двух рук кормили и умилялись.

В ту пору они снимали комнату у тети Паши, угол, выгороженный печью и фанерной перегородкой. Покрашена фанера была казенной голубой масляной краской, дверь тоже фанерная, вздрагивающая от толчков воздуха, они закрывали ее на проволочный крючок. Ни одной вещи своей, все хозяйское: стол, стул, диван с двумя валиками и спинкой. Его они перетащили от фанерной стены к печке. Но Таня уже вила гнездо, начинала вить: какую-то скатерочку вышила, по-

крышку сшила парусиновую на диван, засалившийся и протертый; выстирает ее, выгладит, чистая парусина блестит из-под утюга. Зимой после метели подвалит снаружи снегу вполстекла, свет в комнате белый, они проснутся в воскресенье рано утром и шепчутся. Они ждали уже ребенка, Митю.

Таня, милая, отчего во сне приходишь всегда безмолвная, одна, без детей, смотришь с укором?

## IV

Ему сделали операцию, и в один из дней, слабый, сам себе не веря, что опять может ходить, Николай Иванович подошел к окну, трудно одолел эту дорогу. За какие-то полторы недели мир переменялся неузнаваемо. Снега почти уже не было, деревья стояли в пенистой снеговой воде, блестел на дороге наезженный грязный лед весь в лужах, и по этому льду, спрягшись вместе, оскользаясь, четверо молодых врачей волоком бегом тащили чугунную ржавую ванну куда-то в край двора. Следом за ними две медсестры прокатили каталку с узлами грязного белья. Колеса выворачивались на льду, узлы падали сверху, сестры, смеясь, подхватывали их, и Николай Иванович, сам того не замечая, улыбался им вслед бледной улыбкой. Он стоял, держась за подоконник; всего лишь от палаты до окна в коридоре дошел, а губы обморочно немеют. Но странная ясность была перед глазами, словно заново увидал мир. Или такие стекла чисто промытые?

Когда сестры катили обратно пустую каталку, первой шла Надя, рыжеватые волосы ее светились на солнце. Николай Иванович покивал за стеклом — жив, мол, жив! — и она снизу махнула ему, весело вскинула руку, как спортсменка, всходя на помост; должно быть, кто-то смотрел на нее, для кого и шла она такая весенняя в белом своем халатике.

Двор больницы, как бывает ранней весной, казался захлавленным. Все прошлые грехи обнажились, все, что зимой выкидывали, а снег засыпал следом, теперь вытаивало из-под снега: и расколотая фаянсовая раковина, и клоки будто ржавой ваты, напитавшейся водой, и какие-то ящики валялись, ботинки, доски, банки, и совсем целая, вмержшая в лед батарея парового отопления; можно было определить по цвету ее салатному, что она с четвертого этажа: там стены салатные. На суке березы ветер поноскал мокрый бинт. И всюду среди деревьев бродили по двору санитарки, врачи, сестры с граблями, лопатами, сгребали мусор в кучи.

В отделении тоже все чистилось, мылось в этот субботний день. С треском разрывая пожелтелую бумагу, которой с осени были заклеены окна, распаховали рамы, повсюду гуляли сквозняки, только лежачие больные остались в палатах, укрытые чуть ли не с головой, ходячих всех выпроводили в коридор, и они толпились неприкаянно, как беженцы. Подпоясанный бинтом поверх байкового халата, горбатенький, семенил с палочкой Юшков, словно нищий странник: его недавно перевели в их палату. Подошел, стал рядом с Николаем Ивановичем, тоже смотрел, как внизу тащат в металллом чугунную ванну: теперь ее волокли обратно к подъезду. Молодые врачи весело делали бессмысленную работу, а грузовик стоял на дороге ждал, дверца распахнута, разомлевший на раннем весеннем солнце шофер курит. Он только тогда и вышел глянуть, когда ванну грузили в кузов, скрежеща по железу, рук не пачкал, команды подавал.

— Два солдата из стройбата заменяют экскаватор, — желчно сказал Юшков и забегал по коридору.

Опустив очки со лба, Федоровский пристально глянул ему вслед, как сфотографировал мгновенно. До этого он читал внимательно соцобязательства в рамке под стеклом, вывешенные в простенке: «Постоянно повышать... Активно участвовать... Отработать безвозмездно...» Последним пунктом значилось: «Осваивать новые методы лечения и обследования больных — IV квартал». Давно они тут висели, не

было, наверное, ни одного больного, который хоть раз со скуки не прочел бы их. Федоровский, наклонясь из-за высокого роста — полы халата разошлись, — ползал носом по стеклу, придерживая очки над бровями, вникал.

— И заметьте, — побегав по коридору из конца в конец, Юшков вернулся, — заметьте, какое у нас у всех стремление в начальники. Вот он — шофер. Шофер самосвала всего лишь. Но он — министр. Врачи грузят, он стоит. Помочь — ниже его достоинства. Нет, равных отношений мы не понимаем. Ты начальник — я дурак, я начальник — ты дурак.

Федоровский все так же стоял перед сообразительностями, но уши напряглись.

Наконец ванну взгромоздили. Раздав двойными колесами банку из-под краски, грузовик отъехал, и лужа, куда отбросило сплюсненную жесть, начала окрашиваться, будто кровь вытекала в нее. Сейчас же у края лужи присел малыш в синем, ярком на солнце комбинезоне, в меховых сапожках. Он палкой возил по воде, мать, невнимательно держа его одной рукой за шарф, беззвучно говорила с кем-то на верхнем этаже, подняв лицо. А Николай Иванович смотрел на малыша. Он все же ослабел после операции, сильно ослабел: смотрел, как малыш возит палкой в воде, а глазам горячо становилось.

Отвлекся он, когда по коридору провели к выходу приятеля Федоровского, с которым тот обычно прогуливался по вечерам. Укутанного в два халата, на голове ондатровая шапка, вели его спешно, мелькнуло испуганное лицо в больших очках. Федоровский обождал и взглядом значительным пригласил посмотреть вслед, стеклянные двери на двойных петлях еще махали, успокаиваясь.

— Неважные дела его, как выясняется. В третью клинику возят на обследования, а в чем дело, выяснить не могут. Это плохой знак.

Но тут по лестнице тот обычно множество ног: пустили родственников. Николай Иванович вышел на площадку встретить Полину, показать, что вот вышел сам.

С кошелками, свертками родственники подымались снизу, выражения лиц радостные, что пустили, а у многих заранее тревога: что там ждет? И среди них увидел Полину раньше, чем она увидела его. Вся наклоненная вперед, чтобы легче подыматься по ступеням, она спешила, немолодая, никому уже, кроме него, не нужная в жизни. И тут она увидела его. лицо дрогнуло испуганно:

— Ты? Зачем же ты вышел?

— Вот заново учусь ходить.

Мимо них проходили родственники (кто с надеждой, кто с бедой) и к ним в отделение, и выше по лестнице. И они постеснялись поцеловаться. Он вообще последнее время немного стеснялся ее: он уже настроился на худшее, она с ним вместе пережила это, а получилось — вроде как бы смалодушничал он раньше времени.

После всех ранений он был как та изношенная машина, которую лучше не трогать, пока она еще ходит сама. Тронул — и окажется, что ни одна часть в ней уже не годна, каждую пора заменить, но в человеке не все заменяется.

— Пойдем в столовую, у нас в палате окна моют, — сказал он, по привычке пытаясь взять кошелку у нее из рук.

Она не позволила.

За пластиковыми столами, которые вытирают мокрой тряпкой, уже сидели парами, говорили тихо, распаковывали передачи: больничные свидания. Они тоже сели друг против друга.

— Здравствуй, — сказала Полина, освещая его лицо грустным и счастливым взглядом своих глаз. Выцветшие, они снова были сейчас синие. — Дай отдышусь, сердце никуда...

— А зачем сплещишь? Правильно Глеб Сергеевич говорит: сообщат. Не звонят — значит, хорошо все.



— Разве я спешу? Ноги сами спешат. Пока в метро едешь, пока в автобусе... А уж от автобуса... Такой он долгий, путь этот, кажется!.. Ну вот, отдышалась.— И начала выгружать кошелки.— Кто сегодня на кухне дежурит? Пойду разогрею. С цветной капустой сварила, ты любишь. Я сегодня и Глебу Сергеевичу тоже принесла, на вас двоих. Ему как-то сказать надо, чтоб не разволновать: у Фаины Евсеевны давление подскочило, просила меня. Мы с ней телефонами обменялись. Знаешь, когда беда общая...

— Посиди,— сказал он.

Полина взглянула на него несмело. Последнее время он все хмурился, как чужой.

— Я лучше разогрею, а когда ты будешь есть, я и посижу.

— Успеешь. Не спеши.

Рука ее лежала на столе. И подчиняясь внезапному чувству, он положил на нее свою ладонь. У Полины благодарно повлажнели глаза. Так они сидели некоторое время. Гордый сокол воспарял над ними на стене. Его держал на ватном рукаве халата охотник в рыжей лисьей шапке. Давно он так его держал: кто-то из больных в благодарность за исцеление написал маслом на холсте скуластого охотника в полосатом халате и сокола на рукаве, и теперь все это, снабженное жестяным инвентарным номером, числилось как больничное имущество.

— Пойду,— сказала Полина и улыбнулась ему. И понесла на кухню банку с супом и коврик эмалированный, а он смотрел ей вслед.

Когда получен был анализ после операции — посылали куда-то, долго ждали ответа,— Полина пришла в палату, села на краешек кровати, сидела так и гладила его по небритому лицу. «Одну меня хотел оставить? Уйти думал один? — И, наклонясь, крепко поцеловала в губы.— Это чтоб ты мне верил: хороший анализ». А глаза из самой души светились. За эту его болезнь вся ее жизнь сюда перешла: сидит рядом с ним, вяжет допоздна.

Вечером в палате голо блестели вымытые стекла окон, голо стало после уборки: пыльные занавеси сняли, чистые повесить не успели. И вся палата отражалась в этих черных зеркалах: те же два ряда коек, желтый свет электричества с потолка, белые двери — все это там, за окном. То и дело резко раскрывались двери — дежурила Галя, яркая, гвардейского роста сутуловатая девица с широким кольцом на безымянном пальце. Было известно, что она уже приискрала себе место лаборантки где-то в солидном институте, подала заявление об уходе, но полагалось две недели отработать, и вот она швыряла дверьми, вымещала на больных. Касвинов после ее укола лежал с грелкой, ворчал старушечьим голосом:

— А вот на ту бы на работу ее сообщить... Написать... Раньше за такое судили. Как это — захотела и ушла? А если она здесь нужна!.. Так это каждый захочет.

— Совесть судом воспитывать? Интересно!

Глеб Сергеевич лежал во весь свой огромный рост, до губ натягивал одеяло. Обычно он в разговоры не вступал, слушал пренебрежительно: ничего от разговоров никогда не меняется. Скажет только: «А может, так надо?» Или: «А может, человеку так хочется?» Но сегодня он чувствовал себя плохо, после нескольких дней улучшения и засветившей было надежды у него опять по вечерам подымалась температура. И то, что жена сегодня не могла прийти — Полина сказала об этом робко, всячески смягчая,— принял спокойно: «Допрыгалась».

— Нет, совесть судом не воспитаешь,— сказал он.— Надя работает, а эта швыряет. А честь одна. И зарплата одинаковая.

— Как это — захотела и ушла? — не мог успокоиться Касвинов.— Как это? Вот прежде...

— От прежде-то все и пошло. Таких воспитали,— не повышал голоса Глеб Сергеевич, но слушали его.— Нет, лишняя это обуза для человека, совесть, по нынешним временам. Вот я к такому выводу

пришел. Сколько было у меня начальников — один только за все время не требовал себе неположенного. А остальные — как личное оскорбление, знать ничего не желают. Чего стыдились всегда, тем гордятся. И уж дошли до того, что хвалимся: не ворую — значит, честный человек.

Солдатов закивал с сердцем. Но тут с крайней койки, и про грелку забыв, поднялся Касвинов, не попадая, нервно продевал руки в рукава халата. Свой протест он только этим и мог выразить — не присутствовать. И вышел.

— Мне что,— вслед ему сказал Глеб Сергеевич,—я пенсионер. Два месяца в году имею право работать, а больше мне и не надо. Не я набиваюсь, меня зовут.

Как многие фронтовики, Николай Иванович делил людей просто: что ты делал во время войны, где был? А если на фронте, так тоже — где? Жизнь солдата на передовой и где-нибудь при тыловом штабе — это две разные войны. Когда его ранило первый раз и ночью вытащили с поля боя — только ночью и удалось вытащить из-под пулеметного огня, а уже шинель вмерзла в лед, уже обессилел, не надеялся — и потом трясли по лежневке с бревна на бревно, вытрясая сознание, а в медсанбате, в теплой избе (после холода окопного, крошечной тьмы) — свет электрический от аккумуляторной батареи, и за дощатой переборкой лаются писаря, старший писарь грозит: «Все вам рис жрать с мясными консервами да гречку! Вот посажу вас на пшенку, как на передовой, и сам сяду на нее для примера...» — и все это, пока его резали на столе, осколки доставали.

Глеб Сергеевич во время войны был начфином дивизии. Его фронт — деньги выдавать и обратно принимать их в фонд обороны. Рассказывал он вещи диковинные, какие Николай Иванович и представить себе не мог: как с фронта отправил в посылке бутылку водки отцу в Москву (он своих положенных ста грамм не пил) и бутылка эта дошла; как отец, хорошо упаковав, прислал ему на фронт стекло для керосиновой лампы, чтобы светлей было писать ведомости, и стекло дошло целое... Вот такая неслыханная для солдата война. Но сейчас близок ему по душе этот человек и интересен, ближе всех в палате.

В дверь с мокрой тряпкой на щетке влезла Фоминична, санитарка, повозила тряпкой у порога, что-то подтирая. Одна рука ее в резиновой перчатке, сквозь желтую резину виден окровавленный бинт. Сегодня во время этой генеральной уборки Фоминична так глубоко рассадил руку стеклом, что самой страшно было глянуть. Ей обработали рану, засыпали чем-то, завязали, и она осталась дежурить, топчется на кривых старых ногах, обутих в бумазейные тапочки.

— Чего домой не ушла? — громко со своей койки крикнул Глеб Сергеевич.

Глуховатая Фоминична — расслышала, не расслышала — махнула на него мокрой рукой:

— Молчи!

— Вот оно, вымирающее племя,— с дрожью от озноба говорил Глеб Сергеевич: у него температура шла вверх.— Ей уже лет сто небось, она так привыкла, по-другому не может. Эти перемрут — во все работать станет некому. Я двух сынов своих учил жить по совести. Вот и хлебают за это через край.

— А все же учили,— сказал Николай Иванович.

— Учил.

— Почему?

— Дурак потому что.

— И опять бы учили.

Глеб Сергеевич не ответил. Да и не словами на это отвечают, всей жизнью. И всякий раз — заново. Но вот самая поразительная загадка: из века в век, из поколения в поколение находятся люди,

которые обрекают себя на жизнь трудную, не почетную. Если бы себя только, а то и детей своих. Почему? Зачем? «Потому что дурак». Но мир стоит на них, на тех, кто поддерживает в душах этот огонь негасимый, не дает ему угаснуть. В одни времена, когда гибель грозит всем, вспыхивает он ярко, в другие тлеет, едва теплится, но угасни совсем — и окунется жизнь в холод и мрак.

## V

Теперь Федоровский один прохаживался по вечерам в обвисшем полосатом халате, из-под него мелькали белые худые ноги в шлепанцах. Бредет, уныло уставясь в свои очки на кончике носа, увидит Николая Ивановича — набрасывается всякий раз с жадностью. Напарник его совсем не показывался из палаты.

— Плохи его дела, — качал головой Федоровский с невольным превосходством человека, сумевшего выйти из беды. — Молодой мужчина, пятьдесят с небольшим. Мне — восьмой десяток.

В конце коридора горела на посту настольная лампа, медсестра, как в соты, раскладывала лекарства в отделения белого ящичка, приготавливаясь разносить больным. Молодой негр в подпоясанном коротком алом атласном халате, как боксер с ринга, говорил ей что-то, открывая светлый в глубине рот, и улыбался, и она улыбалась, клонила к настольному стеклу светлую челочку и оттуда, от своего отражения, взглядывала на него. Обходя вытянутые из кресла глянцевые черные ноги в спортивных белых туфлях, Федоровский покосился, молчал, пока отошли достаточно.

— Средняя дочь у меня в Чаде. За дипломатом замужем. Не лучшее место на земле. — Он прихмурился официально. — Мы себе лучших мест не выбираем. И детей воспитал так.

За то время, что Николай Иванович лежал в палате после операции, сильно сменился состав больных в отделении, все больше попадались незнакомые лица. Но так же, как и тогда, у дверей на площадку, у стеклянных этих дверей, сквозь которые в часы свиданий радостно устремляются родственники, стояла женщина пожилая с горестным лицом, упрасивала врача, наверное, просила разрешения остаться на ночь. Он непреклонно качал белой шапочкой, загораживал дверь собой, лицо женщины было за стеклом, а на стекле, на лице ее — отражение голубого экрана телевизора, быстро сменяющиеся кадры милицейской погони. Это больные в холле досматривали детектив, кто-то глуховатый, не поспевая мыслью, переспрашивал громко, и врач тоже отвлекался, оборачивался на частые выстрелы.

Тем временем Федоровский, опустив отягченный очками худой нос, бубнил свое:

— Старшая дочь тоже на ответственной работе. В министерстве. Ей доверяют. Самые положительные отзывы. Младшая — аспирантка. Прекрасные отзывы. Могу сказать: жизнь мы прожили недаром. Не зря. Есть что вспомнить. К тебе на днях что, внучонка приводили?

Николаю Ивановичу в виски ударило.

— Симпатун! У меня пятеро. Да вот всё девчонки. Жена девок рожала, и зятя попались бракоделы. Но ничего, есть и в этом своя приятность.

В холле народу было уже много, за спинками стульев — сплошь стриженные затылки призывников. Когда прошли мимо, Федоровский сказал, презрительно поджимая дряблые губы:

— Мы в армию шли добровольно. Родину защищать. А эти... Нет, уходить из жизни — я всегда говорил и сейчас это скажу, — уходить из жизни надо со своим поколением. Дожили до того, что здоровые парни на обследование ложатся, чтобы не исполнить свой гражданский долг. Нет, с такими бы я в разведку не пошел.

— Ты — в разведку? — не сдержался Николай Иванович.

— Фигурально выражаясь...

— Ты в кино видел, как люди в разведку ходят.

И само прорвалось то, что давно копилось:

— Скажи, только не ври, правду скажи: ты тогда забыл предупредить Таню? Ничего уже не изменишь, но скажи: забыл? не мог?

— Опять ты за свое! Ведь объяснено было внятно. Удивительный все-таки у нас народ, когда столкнешься вот так, всякий раз поражаюсь. Война была, каждый что-то терял. Нет такой семьи... Не понимаю, как можно столько времени копить зло? Уже население планеты сменилось, люди мечтают забыть.

Не хотел Николай Иванович этого разговора, но каждый день нос к носу в коридоре, все время чувствовать — этот человек рядом. И проговаривалось проговаривалось в себе самом.

— Из-за тебя они погибли, можешь ты это понять? Из-за тебя.

— Не вешай на меня, пожалуйста. Я не гвоздь, чтоб вешать что попало.

— Таня чувствовала, ее страх гнал: детей спасти. А я еще угваривал: «Ты видела беженцев? Куда ты пойдешь с детьми на руках? Он обещал...» Поверил, дурак, на фронт шел с легкой душой. Тебе стоило всего только пальцем шевельнуть, слово сказать!

Федоровский взялся руками за печень.

— Нет, это становится невозможно. Тут боль такая, хожу, боль выхаживаю, а тут еще приходится выслушивать. Не имел я права разглашать, не имел!

— Но ты мне руку жал: «Иди спокойно, ни о чем не думай...»

— Как вы все не хотите понять: есть долг, который превыше нас. У меня сестра осталась в оккупации. Двоюродная. Украсило это мою автобиографию? При тех анкетах, которые я заполнял... Да, приходилось жертвовать, каждый жертвовал. Судьба страны решалась.

— Но тебя машина ждала внизу! Слушай! — Николай Иванович смотрел на него. Нет, это не старость сделала его ничтожным, ничтожным он всегда был. Но властные манеры, магия должности. — Посмотри на себя, у тебя вон уже губы черные. Скоро нам умирать...

— Почему это мне скоро умирать? Я еще пока ничего такого в себе не чувствую. Или ты что-то слышал от врачей? Тебе известно стало?

— Неужели за всю жизнь совесть не сказала тебе? Или много таких было, как Таня? Ночами не снятся, через кого ты в жизни переступал?

— Эй, старичье! — раздалось от телевизора, и несколько стриженных голов обернулось. — Разбухтелись пенсионеры, как две бабки, не слышно из-за вас ни черта.

— Доктор! — простонал Федоровский, увидев врача и устремляясь за ним. — Доктор, час назад мне должны были сделать укол. Что ж это такое? Почему больной сам напоминает? У меня боли. Я вновь чувствую боль.

## VI

Ночь была беспокойной. Он засыпал, просыпался, слышал беготню, голоса в коридоре. И даже во сне продолжал бесконечный этот разговор. Господи, с кем! Что, он достучаться хотел? Не во что стучать там, отмерло давно если и было. И не с кого спросить. Но зачем. кому нужны были еще и эти жертвы? Что они, приблизили конец войны? В том-то и дело — никому и ни за чем. И ни в какой счет это не заносится.

Если бы мог верить он, что где-то в неведомом мире встречаются вновь, если бы в это верилось, насколько легче с таким сознанием и жить и умирать. Но он прошел фронт. Нет, не встают из той крови, в которую втаптывала война. Не встают и не возрождаются.

— Сестра! Сестра-а! — давно уже неслошь из-за дверей, и стонущий голос этот был голосом Федоровского.

Николай Иванович лег головой на простыню, плоскую перовую подушку положил на ухо, чтобы не слышать. Хотелось заснуть.

В последнее время он стал забывать имена, фамилии: смотрит на человека, знает, кто он, а как зовут, не может вспомнить, выскочило из памяти. Но стихи, давно забытые, сами возникали и говорили за него. «Легкой жизни я просил у бога, легкой смерти надо бы просить...» Знать бы, что смерть их была легкой.

Стоны то стихали, то раздавались громче:

— Сестра! Сестра-а!

Хоть бы в палате услышал кто-нибудь, пошел позвать. Но все спали или притихли, будто спят.

— Сестра-а-а!

Николай Иванович спустил ноги с кровати, долго сидел так. Потом надел халат, вышел в коридор. Дежурный врач спешил мимо в шлепающих на ногах сандалиях.

— Валентин Алексеевич, из того бокса сестру зовут. Давно уже.

Врач блеснул круглыми очками, в них — увеличенные стеклами, будто испуганные глаза. И побежал дальше, в восемьдесят третью.

Сам себе не мог объяснить Николай Иванович, зачем стоит здесь. Он ненавидел этого человека, а знал, что такие люди никогда не меняются, но вот стоит ради него просителем в коридоре.

— Надя, — виновато позвал он медсестру. Он всегда любовался милым, строгим ее лицом. — Надюша, там этот... Федоровский.. Давно уж кричит. Наверное, боли сильные.

Со шприцем в руке Надя глянула на него досадливо.

— Кому плохо, тот не кричит на всю больницу. Это кто сильно жалеть себя привык.

И пробежала в восемьдесят третью палату, откуда уже выглядывал врач в очках.

Утром Глеб Сергеевич, раньше всех ходивший умываться, принес известие: из восемьдесят третьей выставили кровать в коридор.

— Может, новенького поместили? — забеспокоился Касвинов. Этот сразу впадал в панику, если видел из окна, что сестры — одна спереди, другая сзади — провозят каталку через парк всегда одной и той же дорогой, а на каталке, укрытое простыней или серым одеялом, вытянутое тело. — Ночью поступил кто-нибудь по «скорой», спит...

Глеб Сергеевич расправил полотенце на спинке кровати, взбил подушку, лег.

— Когда с головой накрывают, это уже не спит.

И все больные в это утро, проходя, опасливо косились на вынесенную в коридор кровать, стихали разговоры вблизи нее. Там плоско лежало одеяло до середины подушки, словно под ним ничего не было, и только чуть провисала сетка внизу. И из двух резиновых трубок, с ребра кровати спущенных в целлофановый мешок с кровавой жидкостью, уже не капало.

Маленький и легкий, иссушенный болезнью, тихо умер этой ночью тот самый молодой старичок, что ходил здесь с палочкой, заглядывал больным в глаза, однажды осмелился увязаться за Федоровским, но был отогнан.

Николай Иванович видел вернувшихся со двора Надю и другую медсестру, с челочкой, они быстро прокатили пустую каталку. Надя, словно став выше ростом, стягивала, как кожу с рук, прозрачные щелкающие резиновые перчатки, а на кровати в коридоре было уже откинута одеяло. Почему-то так: за живым до последней минуты ухаживала не брезгая, мертвого касалась уже в перчатках.

Перед самым обедом — это все сразу увидели — пришла в отделение мать. Врач, уже другой, не тот, кого она упрашивала вечером из-за стеклянных дверей, но в такой же белой шапочке, что-то гово-

рил ей, руки опустив в карманы халата, совершался горестный обряд. Сестра подала справку, узелок с вещами, палку с резиновым наконечником и стертой его рукою, дочерна отполированной рукояткой, женщина взяла все это, постояла в растерянности, словно еще чего-то ждала, но все было кончено. Она ушла, а сын ее оставался еще здесь, в холоде, в морге.

В пятницу выписывали Федоровского. Для выписки это самый лучший день: впереди два выходных, семья дома; а в больнице суббота и воскресенье — пустые дни. Лежа в палате, Николай Иванович слышал громкие, четкие ответы врачу:

— Не жалуясь... Болей не ощущаю... Сплю хорошо...

Громко раздавался на этаже голос Федоровского. Потом, одетый, зашел в палату проститься. Услышав за дверью его шаги, Николай Иванович закрыл глаза.

— Что, спит?

— Спит, — сказал Глеб Сергеевич. Ему ничего объяснять не требовалось, и сам он никогда не любопытствовал. Но это он сказал про Федоровского: «Вот человек, у кого нет камня на душе. Камни у него из мочевого пузыря выходят».

— Жаль, что спит. Жаль. Ну что ж, передайте — заходил. Непременно передайте: хотел проститься. Ну что же, товарищи, желаю выздоравливать. Надеюсь, так и будет. Мне восьмой десяток, а ухажу, как видите, на своих ногах.

## VII

Странный сон приснился Николаю Ивановичу. Будто они поменяли свою квартирку на три огромных комнаты в общей квартире. И какое-то все здесь нелепое, лифт, который медленно тянул вверх, разломан, вместо стен фанерные листы до половины, они упирались краями в спину под лопатки, а над головой — открытая тьма шахты, в ней теряются подрагивающие от напряжения масляные стальные тросы.

Вдвоем с Полиной они ходят по этим комнатам в гулкой пустоте. Закопченные потолки, паутина, вздутые в углах, отставшие обои. А Полина счастлива. «Зачем ей? — думает он. — Для чего одной эти комнаты?» Он опять чувствует боль, настойчивую, ту самую знакомую боль, которая жила в нем до операции. И с этой болью проснулся. Лежал, прислушивался к себе. Боли не было. Но какой странный сон.

А среди дня, когда забылось, вдруг снова в том же месте почувствовал боль, тревожную, тянущую. И день померк. Вновь это стало содержанием жизни: что бы ни делал, с кем бы ни разговаривал, он прислушивался к себе. Временами боль исчезала, и светлело, появлялась надежда, а потом — вновь, уже больней, резче. И он постоянно ощущал ее во сне. По войне еще, по госпиталям он знал: и болезнь и близкая смерть раньше всего о себе во сне скажут, когда человек ничем не отвлечен.

— Что ты опять такой мрачный? — спрашивала Полина и вглядывалась в него тревожно.

Он решил поговорить с лечащим врачом. Тогда, после операции, сказали, что вторая почка не затронута, многое еще говорилось, а главным было то, чего ему не сказали. Он выбрал день, когда тот дежурил. После вечернего обхода заглянул в ординаторскую (врач пил чай с домашним бутербродом), извинившись, попросил разрешения позвонить и, набирая номер, спросил как бы между прочим:

— Наверное, меня пора уже выписывать? А то лежу здесь, место занимаю. Сам помню, сколько этого места ждал. По правде сказать, когда ложился, не надеялся, а сейчас, — он вздернул плечи, худы они были, он знал, но показывал, что сила прибыла, есть, — вы мне жизнь вернули.

Врач, приподняв стекло на столе, начал переключать бумажки, менять их местами, нашел занятие рукам. И глазам дело нашлось, мог не смотреть.

— Выписывать? Да, мы как раз тоже говорили об этом с вашей женой. Вот сделаем еще несколько анализов...

Бреясь на другой день, Николай Иванович внимательно вглядывался в себя. Ощупал пальцами худые скулы. Впервые увидел ясно: серое, мертвое лицо. И в пальцах, которыми он трогал скулы, не было жизни. Только глаза одни живы на лице.

Он смотрел на себя без жалости. Долгая вторая жизнь была подарена ему после войны, он это всегда сознавал. А столько его сверстников этой жизни не увидели!

Они уходили просто. В Австрии вызвал комбат к себе в землянку троих, а потом они вышли оттуда и каждому, кто стоял в траншее, молча и строго пожали руку. У самого младшего — он последним шел — застыла на губах бледная отрешенная улыбка. Приказано им было уничтожить дот, подползти и забросать гранатами, а перед ним — выметенное пулеметным огнем ровное поле, и из амбразуры, из тьмы глядит оттуда пулемет, и уже лежат на поле те, кто раньше пытался подползти. И вот запомнились не лица даже, а эта отрешенная улыбка и то, как, уходя, они всем подряд пожали руки, знакомым и незнакомым — тем, кто оставался жить. Долго еще его рука чувствовала это.

Он и себя вспоминал молодым, той поры. Вдруг возникало ясно: бетонный взорванный мост над рекой, торчащие из бетона прутья арматуры. И как по этим мокрым прутьям, повиснув на руках и перехватываясь, они с автоматами за спинами перебрались на тот берег в сплошном тумане, бесшумно. И бой на том берегу. Было это гордое чувство, не мог, не должен был он перед ребятами, перед своим взводом оплошать, быть хуже других ни в жизни своей, ни в смерти. И как бы ни складывалось дальше, главное дело свое они сделали. И оставили завет.

Был ранний вечер. По телевизору показывали давнишнюю комедию, но все потянулись смотреть, и в палате один Касвинов ворочался в углу на своей койке, сеткой скрипел. Потом и он встал, надел халат, отворачиваясь, а когда шел к двери, сзади отвисала седая сальная косица. Редкие свои волосы он зачесывал от уха на лысину, и эта слипшаяся косица вечно болталась на шее. Вот и дети у него есть и внуки, а что-то никто его не навещает, жалкая, одинокая старость, если вот так посмотреть. И в палате он не прижился, и жена от силы раз в неделю принесет чего-нибудь магазинного — баночку сока, лимонов пару, — не от души. На нем единственным все больничное, даже тапочки больничные, растоптанные, сплюснутые многими ногами, он их вечно теряет: шагнул, а она летит с ноги вперед, и хромает за ней в одном носке.

Касвинов вышел, они остались с Полиной вдвоем. Тихо разговаривали, подолгу молчали. Он лежал поверх одеяла, она сидела на стуле рядом с его кроватью, когда задумывалась, грустные тени ложились на ее лицо. Все ей известно, все она знает, держит в себе, и ложь ее святая, и поцелуй в губы («Хотел оставить меня одну...») — это чтобы он поверил, дарила ему надежду.

— Прости, — сказал он.

— За что?

Он не ответил. Он думал о том, что предстоит ей вытерпеть около него. Эта беспомощность, которая наступит неизбежно, унижения, когда перестаешь быть самим собой. Унижений он всю жизнь старался избежать, от этого берег себя. Наверное, потому и не достиг чего-то, чего достигают люди, кому стыд не дым, но душа не позволяла себя променять. Да и стоит ли дело того?

— Ты такой сердечный стал последнее время,— Полина смотрела на него сквозь пелену слез,— прямо пугаешь меня.

Нет, она не была с ним счастлива. И главных радостей, которые даруются человеку, он ее лишил. Были бы дети, были бы теперь внуки, новый смысл обрела бы ее жизнь. Но Митя трехлетний все годы стоял перед глазами.

Кто-то рассказал, как совсем маленький мальчик с божеской мудростью пожалел мать, ночи просиживавшую около него: «Мам, ты поспи. Я умирать буду, разбужу тебя...» И словно это про Митю рассказали. Все боялся, другие дети заслонят его, заместят в сердце. Но Полина за что несла этот вечный крест?

— Прости меня, если можешь.

— За что простить? Или ты что-то почувствовал? Скажи мне.

Он разглядел ее не сразу среди множества народу, съехавшегося тогда на стройку Каховской ГЭС. Полина говорила ему после: «Я-то тебя давно увидела, ты меня не замечал». С ее тихой профессией могла бы она сидеть в Москве, держаться за родительскую квартиру. Она поехала на стройку судьбу свою искать. Женихи ее поколения остались в полях от Подмосковья до Вены, до Берлина. А ему на стройках сразу после войны то было нужно, что жизнь здесь временная, вроде бы все еще не кончено. Вернуться в свой город, где погибла у него семья, и там начинать жизнь заново он не мог, на огромной нашей земле не было такого места, куда бы душа потянулась. На стройке же, как на фронте,— все главное впереди. Он и шофером был, и бетонщиком, и прорабом, и начальником участка — кем только не был. Поколесили они с Полиной по стране. На такой вечно авральная работа люди сгорают быстрее, но по нему была эта жизнь.

А заметил он Полину, как ему казалось, случайно. В обеденный перерыв в столовой известный на стройке экскаваторщик, красивый здоровый парень, шел между столиками, победно обняв за плечи какую-то новенькую девчущку, она послушная шла под его рукой. От выхода, от дверей обернулся, подмигнул официантке, та с буфетчицей тут же перемигнулась, обе бывалые, лоснящиеся: мол, повел дурочку. Не первую он уже вот так уводил. И вот тут Николай Иванович встретился глазами с Полиной — она сидела недалеко — и в глазах ее прочел то же, что сам в этот момент думал. А она в его глазах себя увидела. Потом еще вслед ей посмотрел, когда они с подругой встали и пошли. Тогда женщины только на стройках носили брюки, и было это непривычно, придавало особую мужскую вольность всему облику. Она знала, что он смотрит ей вслед, он почувствовал это. Какое чудное было лето, какие дни стояли, какие ночи над Днепром — целую жизнь назад.

— О чем ты думаешь? — спросила Полина.

Он молча погладил ее руку своей исхудавшей рукой. В ней он и ребенка держал когда-то, и людей убивал, и баранку крутил, много за жизнь дел переделал.

Лицо Полины было мокро от слез, она не замечала, не вытирала их. Пусть поплачет, облегчит сердце. Тихо было, хорошо вдвоем. Много ли в своей жизни они вот так сидели?

Предвечернее закатное солнце светило в палату, и такой он шемящий был, этот свет. Целой жизни не хватило на него наглядеться.





---

---

ГЕВОРК ЭМИН

★

## И ТОЛЬКО В ЭТОМ СЧАСТЬЕ...

*С армянского*

### Снег

Белый снег, ты все тот же! Тебе все равно —  
Заровнять ли мой путь, замести ли окно.

Протянулся от детства и горних высот  
До угрюмых седин твой земной перелет.

Милосердное небо дает мне займы  
Вечный снег для моей мимолетней зимы...

Я стоял, как дитя, над бегущей водой,  
Снег казался мне бабочкой, сном и звездой.

Опускаясь, как занавес, с ясных небес,  
Он скрывал за собой столько разных чудес!

Где вы, первой любви молодые снега,  
По которым еще не ступала нога?

Где вы, годы, когда этот снег на земле  
Был заботой о доме и зимнем тепле?

Свою первую ложь не забыть мне вовек,  
Отшумела она, как растаявший снег.

Где начало мое? Что же будет потом?  
Снег казался мне чистым бумажным листом.

Может быть, я из жизни уйду навсегда,  
А за мной этот лист — без следа... без следа...

Сыплет, сыплет, играя... Ему все равно,  
Кто пришел и кому уходить суждено.

*Перевел Ю. КУЗНЕЦОВ.*

### Из «Американских стихов»

\*.\*.\*

Зачем себя терзать привык,  
а заодно — других,  
поэт, наивный мой двойник,  
так верящий в свой стих?

Чего ты требуешь, чего  
от нынешних времен,  
чья связь распалась до того,  
как был Шекспир рожден?

Зачем ты ждешь прямой ответ,  
надеясь на авось,

от шара, у кого от бед  
кривая даже ось?

Чего ты ждешь от тех овец,  
что и мычат как плачут,

чей легендарнейший творец  
 был без зачатья зачат?  
 Зачем не спишь, в конце концов,  
 и требуешь чего  
 ты, самый слабый из творцов,—  
 чего  
 и от кого?

Перевел Е. ВТУШЕНКО.

\* \* \*

Милая, что же ты в дальнюю мчишь Канаду —  
 Или наш Ереван не близок сердцу и взгляду?  
 Жвачка здесь не по вкусу, пепси, что ли, горька,  
 Чтобы вкус позабыть материнского молока?  
 Каким бы сияньем тебя новое ни манило,  
 Как бы будни твои ни выглядели уныло —  
 Развется словно дым чуждое очарованье,  
 И затоскуешь ты о родине, о Ереване.  
 Тогда весь мир для тебя станет тесным и сырым,  
 А горсть родимой земли — чуть ли не целым миром.  
 Лужицей океан покажется, как ни странно,  
 А маленький наш Севан — огромнее океана.  
 И одолеть не в силах горькую эту истому,  
 Ты захочешь найти дорогу к отчому дому —  
 Не найдешь, и жизнь станет сплошь лихолетьем,  
 И будешь метаться ты меж берегом тем и этим.  
 Милая, для чего в дальнюю мчат Канаду?  
 Не покидай Ереван, близкий сердцу и взгляду...

Перевел П. ГРУШКО.

\* \* \*

А детства не существует —	Но существуют дети —
Кто его видел?	Умницы и не очень,
Кто его помнит?	Робкие и удалые...
Его сказочный	И дети эти играют
Пестрый ковер	В классики или в ловитки,
Ткут лишь потом,	Прыгают, и куролесят,
Много позже,	И понемногу растут...
Из нитей давнишних снов,	Но как же все-таки детство?
Голосов отдаленных невнятных,	А его потом придумывают
Из рассказней очевидцев.	Взрослые — бывшие дети...
Так что детства не существует.	

\* \* \*

Я поздно понял (это ли не драма?),  
 Что мне для счастья не хватало грана..  
 Не быть любимым, а любить — и полно!  
 Не суетловить а внимать безмолвно.  
 Не брать от жизни (не хватать тем паче),  
 А раздавать, не мысля об отдаче.  
 Не осуждать других со строгим видом,  
 А отпускать обидчикам обиды.  
 Не уступать словес дешевой тяге —  
 Семь раз подумав предавать бумаге.  
 Не уступать ни целого ни части  
 Любой беде — и только в этом  
 Счастье!

Перевел Л. ГРИГОРЬЯН.

---

---

## ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ



### КНЯЗЬ БАРЯТИНСКИЙ

Поэма

I

«...Государь назначил мне местом жительства Калугу...  
Братья твои, которых я видел в Петербурге, очень были со  
мною ласковы; я был у них в ложе в театре и получил в по-  
дарок бинокль. Я и все мое семейство никогда не забудем  
твоих милостей, не забудь и ты о нас...

Я бедный раб Всевышнего Бога Шамиль.  
11 сентября 1859 года. г. Калуга».

Ответ Барятинского А. И.:

«Продолжайте извещать меня о себе и пишите прямо по-  
арабски. При мне есть довольно людей, знающих основатель-  
но этот язык. Они переладут содержание ваших писем, кото-  
рые таким образом будут для меня ценнее, ибо они останутся  
у меня как память о вас и прямое выражение неискаженных  
ваших чувств ко мне...»

«21 августа 1860 года, г. Калуга.

Когда до нас дошла весть, что Великий Государь Импе-  
ратор велел принять сына нашего Мухаммеда-Шефи в воен-  
ную службу в Собственный Его Величества конвой и даже  
оказал ему милость пожалованием офицерского чина, мы не-  
сказанно обрадовались этому...

Приношу вам за это искреннюю и великую благодарность,  
ибо вы были причиною этого и помогли окончанию этого де-  
ла, и это мы знаем наверное, потому что вы в почете и ува-  
жении у Государя, он принимает слова ваши и утверждает  
действия ваши.

Да возвратит вам Бог здоровье, это всегдашняя молитва  
наша о вас.

Смертный раб Божий Шамиль».

Князь Барятинский ранен смертельно,  
И стоит уже гроб у шатра,  
Только милость небес беспредельна —  
Князь со смертного встанет одра.

Еще будет России угодно  
Огласить высочайший указ,  
Чтоб Барятинский, мысля свободно,  
Замирил непокорный Кавказ.

Повелит не во славу гордыни  
Он примкнуть апшеронцам штыки  
И на штурм шамилевской твердыни  
Именитые бросит полки.

Но на подступах к этому бою,  
Как никто понимая Кавказ,  
Генерал, возносясь над пальбою,  
Говорил офицерам не раз:

«Прозорливые ставя прицелы,  
Если будущность вам дорога,  
Вы должны, господа офицеры,  
Завоевывать сердце врага!»

Тихий ангел ли, добрый ли вестник  
 Держит путь по ночным облакам?  
 И зовет адъютанта наместник:  
 «Объявите приказ по полкам!

Четверть века войны за спиною,  
 И по-царски средь каменных глыб  
 Будет рота одарена мною  
 Та, что первой ворвется в Гуниб.

Награждать и карать мне привычно,  
 И, приняв я нелегкий удел,  
 Расстреляю того самолично,  
 Кто возьмет Шамиля на прицел!»

Помолясь и минуя завалы,  
 Благо в тучах не видно луны,  
 Груды в кровь раздирая о скалы,  
 Прямо в небо ползут пластуны.

И лишь солнце подобием раны  
 Запеклось от вершин невдали,  
 Громко пробили штурм барабаны,  
 И на приступ драгуны пошли.

«Что вы, юнкер, ударились в слезы?»  
 «Гляньте сами, не чудится ль мне —  
 В вышине на Гунибе березы  
 Словно в отчей стоят стороне!»

К полдню кончился бой знаменитый,  
 И вблизи от аульских ворот  
 Князь на камне сидит перед свитой,  
 Шамиля появления ждет.

Тишина в поднебесных пределах,  
 И задумался князь в вышине.  
 На груди — два Георгия белых  
 И клинок золотой на ремне.

Вот ездок — приближенный алаха —  
 Слез с коня еще легок, хоть стар,  
 И приблизился к князю без страха:  
 «Я сдаюсь тебе, честный сардар!»

Чтобы пленник не чувствовал сраму,  
 Повелел, как записано, он:  
 «Моей властью оставить имаму  
 Его знамя, оружие и жен!»

И построен гвардейский пехотный  
 Полк для проводов. Рдеет заря.  
 Отбывает в Россию почетный  
 Пленный гость молодого царя.

От нее до Кавказа не близко,  
 Но проносится над ковылем  
 Не фельдъегерская переписка  
 Меж Барятинским и Шамилем.

Просит князь: «За каприз не сочтите,  
 Но лису-толмача отстраня,  
 По-арабски мне письма пишите,  
 Переводчики есть у меня».

## II

«14 февраля 1865 года, г. Калуга.

Звезда князей, доблестный фельдмаршал князь Александр Иванович Бярятинский! Да возвеличивается ваша слава!.. От души радуюсь великому событию окончательного покорения Кавказа — событию, которое принесет для этого края полное спокойствие и счастье..

Раб Божий бедный старец Шамиль». «14 января 1871. Священный город Медина.

Источнику благодеяний, осуществителю всех благих надежд, великому генерал-фельдмаршалу князю Бярятинскому. Да не уменьшится тень милосердия его между востоком и западом... Аминь!.. Со дня прибытия моего в благословенный город Медину я не встаю более с постели, удрученный бесчисленными недугами, так что моя мысль обращена постоянно к переходу из этого бренного мира в мир вечный...

Полагаю, что это письмо есть прощальное и последнее перед окончательной разлукой с вами искренно преданного вам человека, жаждущего переменить жизнь на смерть по воле Того, кто сотворил и ту и другую.

Больной и слабый Шамиль».

И России, вскормленный свободой,  
Такова неподдельная быль,  
Примет подданство рыжебородый,  
Восемь ран превозмогший Шамиль.

Прощены ему все прегрешенья,  
И пред мужеством совесть чиста.  
Испросил у царя разрешение  
Он уехать в святыя места.

Вот и город гробницы пророка,  
Застит свет аравийская пыль.  
Умирает велением рока,  
Не доехав до Мекки, Шамиль.

И в смертельной тоске безысходной  
Лист бумаги он просит принести  
И серебряный пояс походный,  
В нем перо и чернильница есть.

Три жены подошли со свечами,  
Плачут жены и свечи над ним.  
А Бярятинский перед очами  
Скачет вдаль по вершинам седым.

И паломник арабскою вязью  
Лист венчает. Рука нетверда.  
Долгой жизни желает он князю  
И прощается с ним навсегда...

И опять я живу в Дагестане,  
Облака на дорогах пасу,  
Слышу клекот немолчный в гортани  
У рокочущей Кара-Койсу.

И летит еще через барьеры  
Голос чести, связав берега:  
«Вы должны, господа офицеры,  
Завоевывать сердце врага!»



---

---

ВАЛЕНТИН КУЗНЕЦОВ



ТЫ МЕНЯ ПОЗОВИ

\* \* \*

Север колюч и снежен.  
Ветрен. Неприхотлив.  
И безгранично нежен  
Шелестом хлебных нив.  
Словно бы у порога  
Возле него стою.  
Вижу я издалека  
Прошлую жизнь свою.  
Кедровые вершины,  
Павшие под топор.  
Спиленные сушины,  
Брошенные в костер.  
Штабель и бревнотаска.  
Шорох ворон. Зима.  
И не стеклом. а сказкой  
Высветлены дома.

Он меня не прославил.  
Я и не укорял.  
Что-то я там оставил,  
Что-то он потерял.  
Он для меня не отчим,  
Я для него как сын.  
Помнится крепко очень  
Горечь его осин.  
Время мое метется,  
Давит мне на плечо.  
Может. и не придется  
Свидеться нам еще.  
Север мой. Север жгучий,  
Сила твоя в крови.  
Если нависнут тучи,  
Ты меня позови!

\* \* \*

Совсем я не там похоронен,  
Я не был убит на войне.  
Я в двинские воды уронен,  
Лежу на седой глубине.  
Плоты надо мною проходят  
Туда, в горизонт. на зарю.  
Буксир проползет. теплоходик,  
Я слышу и так говорю:  
«Нет. Я не уронен, а сброшен!  
Ты видел все сам, бригадир.  
Волною накрыло хорошей —  
И весь опрокинулся мир.  
Меня не жалейте чего там...  
Никто не виновен в беде.

Обычная наша работа:  
Стоять на зыбучей воде.  
Когда под ногами танцует  
Глубинное небытие —  
Река ли тебя поцелует,  
Иль ты заарканишь ее?  
Никто не неволил. Мы сами!  
На сплаве — с темна до темна.  
Но нашими. брат голосами  
Набита до края Двина.  
Одна вам осталась отрада:  
Ушедших хранить имена.  
А главное — плакать не надо  
Да чтобы полегче волна...»



---

---

## ВИКТОР МЕНЬШИКОВ



### ИЗ ЦИКЛА «ИСПАНИЯ»

#### На открытой арене

В глаза ударил свет клинком стальным.  
Арена — словно бездна перед ним.  
Из тьмы загона выйдя на простор,  
Бык сразу ощутил борьбы задор.  
И вот уж опрокинуты и смяты  
и лошадь и блестящий пикадор...

Звон сбруи, ржанье, трубный бычий рык  
Слились в созвучье грозное в тот миг!  
В смятении металась куадрилья<sup>1</sup>,  
Мулеты трепетали словно крылья.

Но вот сверкнула молния клинка.  
Он ранен. Он затих. В глазах тоска.  
Он запах странный, терпкий ощутил —  
То запах его крови жаркой был.

И сердце новой яростью сдавило,  
И тело налилось могучей силой,  
В нем словно ожил предков властный зов:  
Он снова биться насмерть был готов!

Опять в глазах от боли потемнело,  
Стальная молния пронзила тело.  
Восторг трибун ударил, как набат.  
Вот-вот конец корриды протрубят!

Ликующий тореро наступал —  
И, обессиленный, бык на колени пал.  
И погребальный уж готов эскорт —  
О бычий реквием, глухой аккорд!..

След этой крови заметут слегка —  
И нового сюда введут быка.  
Вдруг свист потряс трибуны словно шквал:  
С колен поднялся бык. Он вновь стоял!  
И так ужасен был предсмертный взгляд —  
Тореро, вздрогнув, отступил назад.

А бык взглянул вдруг в высь над головой.  
Как бы прощаясь с вечной синевой,

---

<sup>1</sup> Группа помощников матадора.

С янтарным солнцем, с горами вдали,  
С лугами, с беспредельностью земли...

Давно знаком тореро этот взгляд:  
В глазах кровавых жизни злой закат!  
Глаза полны тоскою всеземной,  
Подернутые смертной пеленой.

Звериная предсмертная тоска...  
Тореро рад бы пощадить быка,  
Да плата дорога за доброту:  
Он был бы обречен на нищету.

Кричали б «вон его!» все эти рты:  
Трибуны не прощают доброты!  
И с отвращеньем из последних сил  
Он зверя невинного добил.

А после он пытался заглушить  
В своей душе ту — бычью — жажду жить.  
В цветистом мареве ночного бара  
С бессильной радостью звенит гитара.

### Пилар

В цветах голубокая Севилья.  
Вина, плодов янтарных изобилье.  
Гвадалквивир искрится золотом.  
Фонтаны жемчуг ткнут над городом.  
Повсюду пышной ярмарки приметы,  
И в пестрые цвета дома одеты.  
Смех, солнце, песни, игры, крики, пляски,  
Мантильи и улыбчивые маски...

Но отчего так горько мне в Севилье  
И сердце стынет в горестном бессилье?..  
На улице увидел я Пилар —  
Ее колени вжаты в тротуар,  
А рядом с ней отец, он без ноги,  
И перед ними надпись: «Помоги!»  
Но мало помогает надпись эта:  
Звенит так редко мелкая монета.

Кругом и смех, и песни, маскарад...  
Пилар с отцом недвижимы молчат,  
Лишь взгляды их о помощи кричат.

1985.

---



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

ЗОРИЙ БАЛАЯН



## БЕЗ ПРОМАХА

1

**М**ой дедушка Маркос, рассказывая внукам о ремеслах, в почетный список в первую очередь включал кузнечное дело. Говорил, что к кузнецу на поклон должен идти даже ювелир. Запомнил я это с детства и ничуть не удивился, когда через годы прочитал у великого армянского поэта Севака: «Пускай искусен ювелир, искуснее кузнец».

Вспомнилось об этом и в тот день, когда я впервые услышал о судьбе знаменитого рода приокских кузнецов.

Род этот славился не только своим «железным мастерством», но и редкостным долголетием. Как именитые помещики и князья, семья эта имела даже свой родовой герб. Жили кузнецы в деревне, а мастерская их находилась в семи километрах от нее. Мастера каждый день в любую погоду ходили на работу пешком.

Но вот одному из представителей знаменитого рода вздумалось поставить хату рядом с кузницей. В самом деле, казалось, зачем это топтать по утрам за семь верст, тратить впустую уйму дорогого времени. Дом вышел на славу — с причудливыми узорами на окнах и великолепным железным петушком на железной крыше.

Однако счастье сюда не пришло. Здоровенные обитатели его оставались богатырями до 30 лет, а затем чахли на глазах. И никто толком не мог понять, отчего это происходило. Конечно, вспоминали о всевышнем, который, по-видимому, разгневался на кузнецов за какие-то грехи... Род вскоре прекратил свое существование.

Что же с ним произошло?

Кузнецы стали пить. Раньше, когда жилье у них было в деревне, они после работы, добравшись до дому и наспех перекусив, ложились спать. А тут все было рядом. Можно было пить прямо в кузнице. Исчез род некогда знаменитых людей, редких долгожителей...

Я много раз видел, как погибали люди от водки. Видел с детства у себя на родине; в Рязани, где кончал медицинский; видел на Камчатке, где проработал врачом 10 лет... В психоневрологическом диспансере однажды встретил алкаша, который имя собственное забыл... Видеть это было мучительно больно, но один аспект проблемы вызывал — скажу без преувеличения — особую боль.

Как-то мы с другом Виктором Казьминым провели исследование во вспомогательных школах (проще говоря, в школах для слабоумных детей) Крайнего Севера. Нас интересовала тема «Алкоголь и потомство». Встретились с сотнями обреченных детей. Как правило, это были дети родителей-алкоголиков или те, у кого «радость любви» часто совпадала с состоянием опьянения. Исследование подтвердило, что алкоголь в первую очередь пагубно влияет на половые клетки, которые начинают передавать будущему плоду патологическую информацию, в результате происходит неправильное развитие плода, и процесс этот в дальнейшем не поддается коррекции.

Вот признания некоторых детей записанные в наши блокноты во время того путешествия: «Отец всегда возвращался домой пьяный», «Мать пила каждый день», «Папа пил много».

Тяжело и горько было смотреть на этих несчастных детей. Они никогда не излечатся...

То было мое первое знакомство с проблемой «пьяного зачатия». Изучая ее в последние годы, я посетил разные регионы страны. Побывал во многих вспомогательных школах, встречался с родителями, чьи дети страдают олигофренией, то есть слабоумием. В общей сложности познакомился почти с 200 семьями, в которых поселилась беда. Вот одна из них.

Все звали его мастер Або, он с самого детства отвык от своего настоящего имени — Александр Боков. Никто в округе не мог так искусно подобрать колер, как мастер Або. Любую царапину, любую вмятину на машине он заделывал так, что кузов сверкал как новенький. Мастер был нарасхват, очередь к нему была огромная. Все знали, что Або ежедневно в одно и то же время делает в работе двухчасовой перерыв. В это время он обедает — обычно с очередным клиентом — в ресторане. О нем уже ходила такая, например, легенда: «Может выпить литр водки и подобрать после этого нужный колер». Когда же Або бывал трезв как стеклышко, работа получалась «не то, что надо». Выпьет — и рука тверже, и глаз вернее.

Мастер Або был женат. Когда родился первенец, он, как и обещал друзьям, налил в двадцатилитровую канистру портвейн. Пил сам и угощал друзей — пил с утра до вечера. Он праздновал появление на свет сына и не знал, что в дом его уже пришло горе. Сын родился с зачатой губой. А потом обнаружилось: в физическом и психическом развитии он отстаёт от своих сверстников. Вскоре сын был взят на диспансерный учёт с диагнозом — олигофрения.

Автомобильные клиенты все шли и шли к мастеру Або. Условия оставались прежними: привычная такса плюс двухчасовой обед в ресторане. Но мастер изо дня в день становился все угрюмее. Часто рыдал за столом. Вспоминал своего малыша с обезображенной губой и пустым взглядом.

Через три года у Або родился второй ребенок — девочка. Вроде нормальная, с обычными губами. Отец был счастлив. До года никаких отклонений у ребенка не замечалось. А после выяснилось, что у девочки имеются так называемые патологические рефлексы. Дальше — больше. Первые членораздельные слова девочка стала произносить только к четырем годам.

Отец продолжал страдать. На семейном совете, состоявшемся как-то в утреннюю пору, он сказал, что бросит работу и займется лечением дочери. Но разговор тот остался разговором. Вечером Або, как всегда, вернулся пьяным.

...У этого человека родилось еще двое детей. И они вынуждены были учиться в так называемой вспомогательной школе — для умственно отсталых. Я побывал в той вспомогательной школе. А познакомившись с несчастными существами — детьми Або, — решил встретиться и с их родителями.

Дверь мне открыла седая старуха с выцветшими глазами. Это была мать тех детей. Потом я узнал, что женщина эта вовсе не старуха, просматривая семейные альбомы, увидел, какой редкой красоты была она еще совсем недавно. Я спросил о муже, женщина в ответ разрыдалась — муж повесился.

Хоронили его чуть ли не всем городом. Сотни машин медленно и бесшумно плыли за гробом. На могиле говорили о его золотых руках и золотой душе. И никто не рискнул сказать о том, что творилось в последние годы в этой «золотой душе»...

Еще семья. Шестеро детей. Четыре сестры и два брата. Двое уже окончили вспомогательную школу. Остальные еще учатся в разных классах. С тремя девочками и мальчиком я встретился в школе. Девочки похожи друг на друга: крупные, розовощекие, с копной кудрявых волос. Мальчик тоненький. Короткая стрижка подчеркивает худобу. Неизменная неестественная улыбка не сходит с лиц и тогда, когда они слушают, и тогда, когда говорят сами. Пустой взгляд. Запоздалая реакция. Безнадёжно больные дети...

Побывал я у родителей этих детей. Трехкомнатная квартира с паутиной в углах комнат. Почерневший от дыма потолок. Нехитрая ветхая мебель. Старый, с маленьким экраном телевизор на тумбочке. Беседуем с хозяйкой дома. Она говорит, все время пугливо озираюсь:

— А почему бы и не пить? Не грех... Отец мой был уважаемым человеком на селе, и с детства помню: от него всегда пахло водкой. Я пью лишь по субботам и воскресеньям с мужем...

— А муж?

— Муж, как и отец мой, каждый день. Он работает на заводе. Портрет его висит на доске...

Из разговора выяснилось, что старший сын их, двадцатипятилетний, погиб: напился и уснул в мороз прямо на улице. И старшей дочери нет в живых: выпила утром уксус (перепутала эссенцию с водкой) и умерла в больнице.

Часа через полтора явился глава семьи. Был он лет пятидесяти пяти. Высокого роста, сутуловатый, с нездоровым, серого цвета лицом. Визит мой принял с нескрываемым раздражением и подозрением.

— А почему, собственно, пришли ко мне? Разве одни мои дети находятся в желтой школе?

— Почему желтая?

— Так ее называют в нашем городе.

— Ваши дети не одни, к сожалению. Но у вас шестеро...

— Это все она.— Собеседник показал в сторону кухни, куда скрылась хозяйка.— Весь ее род одни психи.

— Вы сегодня пили?

— Я всегда выпиваю. Заметьте: на свои, не на чужие.

— А знаете ли вы, например, что пьянство влияет на потомство? У пьющих рождаются ненормальные дети.

— Скажете тоже! Если бы было так, людей нормальных не осталось бы на земле...

Шестеро больных детей родились за четверть века от людей, злоупотребляющих спиртным И за все это время никто им ни слова не сказал о «пьяном зачатии».

Еще пример. Четырнадцатилетняя Света Ч. училась в 4-м классе обычной общеобразовательной школы. Ее часто видели на улице пьяной. Однажды она украдала дома 80 рублей, купила водки и напилась вместе со своей младшей сестрой Наташей...

Я беседовал с девочками, и они удивлялись и словам моим и вопросам. Взахлеб рассказывали, как отец напоил водкой маленького брата, семилетнего Вову, и выпустил его на улицу.

У Ч. семеро детей. самого маленького, как сказано в одном из документов комиссии по делам несовершеннолетних, уступили другим. Дважды я заходил домой к Ч. и оба раза не смог поговорить с родителями: хозяйка дома, что называется, лыка не вязала, хозяин лежал трупом поверх одеяла. одетый, в сапогах. Беседа наша состоялась в милиции. Оба родителя то и дело произносили «по какому праву» и набившие оскомину «пьем на свои», «будем жаловаться».

Я спросил:

— Приходилось ли вам читать о том, что алкоголь губит детей, что от алкоголиков рождаются ненормальные дети?

— Я в газету заворачиваю селедку,— сострил муж.

Жена пожалала плечами. Сделала удивленные глаза: мол, в первый раз слышу об этом.

Семьей Ч. занялись соответствующие органы. Отца и мать Светланы лишили родительских прав. Дети теперь находятся на государственном обеспечении — нездоровые, неполноценные дети.

Что собой представляют школы, в которых воспитываются дети Ч. и им подобные? Это 8 классов (иногда есть дополнительный, специальный 9-й класс), 8-й класс соответствует 3—4-му классу массовой школы. Содержание каждого ученика в таких школах обходится в несколько раз дороже, чем в обычных,— дети живут в интернатах, школы оснащены мастерскими, в которых учителя-дефектологи прививают детям с психическими расстройствами различные трудовые навыки.

Я посетил несколько таких школ. Почти везде видел порядок, чистоту, уют, дисциплину. Видел чуткое отношение к своим несчастным питомцам педагогов. Труд воспитателей здесь поистине подвижнический. В мастерских (сапожных, слесарных, швейных и т. д.) дети изготавливают различную продукцию, качеству их работы могут позавидовать иные сапожных или швейных дел мастера... Мне рассказывали педагоги, что дети эти, приобретя трудовые навыки, потом с величайшим усердием выполняют порученную им работу Выпускники одной из московских вспомогательных школ, например, успешно работают в специальном цехе, организованном тут же при школе. нечто подобное организовали у себя дефектологи Орла. А в городе Виноградове Закарпатской области и в Эстонии выпускники домов-интернатов для глубоко умственно отсталых детей работают в колхозах — организованы в специальные бригады.

Но встречаются факты и такого вот порядка Приведу письмо, которое пришло ко мне после одной из моих публикаций из Ростовской области от Николая Григорьевича Н.

«Надеюсь, ваша статья о «пьяном зачатии» многим поможет,— писал Николай Григорьевич.— Если молодежны — хотя бы один процент из них,— прочитав о последствиях «пьяного зачатия», сделают для себя нужные выводы, это значит, что в будущем меньше станет самих последствий, то есть больных детей. Но то будет в грядущем. А мы живем сейчас, последствия «пьяного зачатия» встречаем в образах живых людей

наших современников, обреченных навсегда остаться такими, как родились, ибо мировая практика не знает ни одного случая излечения от слабоумия. Я не знаю, сколько у нас таких неизлечимых, но количество так называемых вспомогательных школ все время растет... Задумался ли кто-нибудь над тем, куда деваются выпускники этих школ? Я задумался. И выяснил, никуда они не деваются. Точнее — куда угодно. Простите, что я так долго подхожу к самому главному, ради чего взялся за письмо. Ваша статья разбредила незажившую мою рану... Погиб мой сын. Мой мальчик. Мой Алешка. Ему было всего двенадцать лет. Он со своими сверстниками играл во дворе в футбол. Стоял на воротах... То, что произошло в тот день, трудно передать обычными словами. К мальчику подошел великовозрастный детина и... убил. Не могу писать о подробностях... Убийцу забрали в милицию. Оттуда напрямик в психиатрическую больницу. Выяснилось, что он в тот же день двумя часами раньше убил еще одного подростка. Детей мы похоронили. Общество лишилось двух будущих граждан, а убийца живет, лечится. Его бесплатно кормят. Говорят, в неделю раз меняют постельное белье. Мы с женой стали не в состоянии каждый день проходить по двору, где голосистые дети продолжают гонять мяч. Не могли выносить взглядов, наполненных состраданием, с которым на нас смотрели соседи и знакомые. Переехали жить в другой район города...

Я настоял, чтобы мне показали убийцу. Тупая улыбка на тупом лице. Пустые глаза — в них нет света. В милиции мне сказали, что он таким родился. Что он ходил не в массовую школу, а во вспомогательную. И что вообще немало таких преступлений совершают именно безнадзорные выпускники этих специальных школ. Педагоги-дефектологи сказали мне, что он во время учебы был тихоней и даже пайнкой.

Получив это письмо, я стал наводить справки о родителях преступника. Выяснилось: отец его умер от белой горячки, полученной в результате многолетнего употребления водки, мать тоже хроническая алкоголичка...

## 2

Дедушка Маркос презирал пьяниц в первую очередь за то, что они гробили своих детей. Он не раз говорил, что в каждой деревне, сколь бы маленькой она ни была, всегда можно найти свего ашуга, своего богатыря, свою красавицу и, как закон, своего дурака, который, как правило, родился в семье, где вино ценят больше, чем честь.

Ученые подтверждают истины, к которым еще в древние времена привел опыт народа.

В книге «Когда человек себе врач» Г. Энтин пишет: «Многочисленными научными исследованиями установлено, что даже однократное употребление спиртных напитков может оказать пагубное действие на половую клетку, готовую к оплодотворению, как мужскую (сперматозоид), так и женскую (яйцеклетку). Зачатие в момент, когда хотя бы один из родителей был пьян, может привести к рождению неполноценных детей с различными физическими дефектами».

Иные удивляются: если во всем виновато пьянство или «пьяное зачатие», то почему у одних и тех же родителей рождаются не только ненормальные, но и вполне нормальные дети? На этот вопрос в свое время аргументированно ответили академик Академии медицинских наук СССР Б. Кловоский и кандидат медицинских наук В. Дульнев. Они провели такой эксперимент. Всех детей из семей алкоголиков разделили на 4 группы. В 1-ю вошли те, кто появился на свет до заболевания отца алкоголизмом. Это были нормальные люди, все они кончили школы, многие — институты, обзавелись семьями. Правда, у некоторых в свое время отмечались различные неврозы, но симптомы их вскоре прошли. Во 2-ю группу вошли дети, родившиеся от тех же родителей в первые годы заболевания отца алкоголизмом — примерно после 3—4 лет пьянства. Это были дети, страдающие дебильностью 1-й степени. Недугом этим страдали все 100 процентов детей! Ни один из них не мог кончить среднюю школу, у наиболее способных образование ограничивалось 6 классами. В 3-ю группу вошли дети, родившиеся в период ярко выраженного алкоголизма у отца — после 8 лет пьянства. Здесь у всех детей была ярко выраженная дебильность 2—3-й степени. Без исключения у всех. Все они могли посещать только специальную школу. В 4-й группе были дети, появившиеся на свет после того, как их отцы излечивались от алкоголизма — примерно после 3—4 лет полного воздержания от водки. Это были нормальные дети. Как отмечали сами авторы эксперимента, «ни в одном случае не отмечено никаких нарушений высших психических функций».

Еще одно научное исследование показало: «От 215 родителей, злоупотребляющих спиртными напитками, родилось 37 недоношенных, 16 мертворожденных, 36 плохо раз-

витых, а потому нетрудоспособных детей, 55 человек заболели туберкулезом, 145 — психическими расстройствами».

Некоторые считают, что в проблеме «пьяного зачатия» в основном виноват мужчина. Однако наука свидетельствует: трагедия случается чаще, когда в момент зачатия бывает выпившей мать. Руководитель детского отделения больницы Джорджтаунского университета (США) Дэвид Эбрамсон в течение 2 лет лечил детей, родившихся от пьяниц. У новорожденных отмечался классический синдром похмелья. Потребовалось немало времени, чтобы отучить малюток от болезненного «пристрастия» к спиртному, которое они получили в организме матери. Ученый Дэвид Смит из Сиэтла, занимающийся исследованием так называемого зародышевого алкогольного синдрома, установил, что последствия злоупотребления алкоголем матерью могут быть самыми разнообразными: такие дети отстают от сверстников в росте, страдают пороками сердца, у них наблюдается низкий уровень умственных способностей. Смит пишет: «У одного новорожденного даже пахло спиртным изо рта. Мы видели младенцев, у которых постоянно дрожали руки, причем тремор продолжался четыре месяца. Тут уже не просто синдром похмелья — это признак глубоких нарушений в нервной системе. Вне всякого сомнения, развитие мозга в данном случае будет затруднено. В этом главный вред...» Дети, родившиеся от пьяниц, в частности от пьющих матерей, имеют в три раза больше шансов вступить на путь алкоголизма. Здесь на них воздействуют сразу три фактора: возможное влияние наследственности, плюс изменения в процессе обмена веществ в детском организме, плюс последствия проживания с матерью-пьяницей. Проблема здесь тройная. Специалист медицинской школы при Бостонском университете Генри Россет после многолетних исследований пришел к выводу: «Пока еще ни у одного из пьяниц не родился нормальный ребенок...»

Недаром в народе говорится: «Муж пьет — полдома горит, жена пьет — весь дом горит». Ненормальный ребенок может родиться даже в том случае, если мать в период беременности регулярно в виде тонизирующих средств употребляет различные коктейли, в которых содержится алкоголь. У одной женщины родился ребенок с тяжелым психическим расстройством. Когда стали выяснять причину, оказалось: на протяжении всей беременности она пила коктейли, в которых содержался спирт. Женщина принимала всего 28—35 граммов алкоголя в сутки, растворенного в так называемом тонизирующем напитке.

Особую опасность алкоголь представляет в первые дни развития плода. Об этом должна знать будущая мать. Дело в том, что в это время плод еще не имеет своего самостоятельного кровообращения и питается непосредственно из кровяного русла матери. Поэтому концентрация алкоголя в крови матери и плода идентична. Заметим, что это в основном относится к тому периоду, когда еще не бывает известно, что женщина забеременела. Не зная этого, она и не остерегается употреблять алкоголь, тем самым нанося непоправимый вред будущему ребенку. Роженице нельзя пить ни грамма до того самого дня, когда ребенок отучится от грудного молока. В противном случае уж лучше — да простит меня читатель, но вынужден сказать это, — уж лучше с самого начала прервать беременность. Ибо, как показывает жизнь, исключений нет, чуда ожидать не приходится.

Нельзя верить тем, кто говорит: они, мол, пили водку и выпили ее немало, и ничего — родился нормальный ребенок. Вот данные специалистов. Если среднюю (условную) величину коэффициента среднего умственного развития ребенка взять за 100, то окажется, что у детей, родившихся в результате «пьяного зачатия», этот коэффициент равняется 80.

Нельзя верить и рассказам о том, что в раннем детстве у некоторых детей, родившихся от алкоголиков, было, что называется, все в порядке. Развитие у таких людей все равно бывает ненормальным. Постепенно происходит деградация личности, которую почему-то редко связывают с проблемой «пьяного зачатия». А дело в том, что нормальный человеческий мозг содержит около семнадцати миллиардов нервных клеток, определенное количество этих клеток регулярно выбывает из строя, но у нормального человека это не приводит к психическим изменениям. А вот у детей, родившихся от алкоголиков, нервные клетки погибают быстрее и в большем количестве. Отсюда и деградация личности.

Иногда к врачам приходят родители, которые жалуются на то, что в младших классах их дети были вполне нормальными малышами, учились хорошо, были прилежными, послушными, а вот с годами, в старших классах словно кто подменил их. Иногда

в таких случаях вину за это они пытаются свалить на школу. Но школа тут ни при чем. Речь, как правило, идет об учениках, чьи родители пьяницы.

Недвусмысленный вывод сделан в одном солидном труде: алкоголь прекращает умственное развитие ребенка в период полового созревания, когда оживляется вся наследственная основа. Эксперименты и наблюдения ученых показали, что у так называемых нормально пьющих в нисходящих поколениях часто встречается эпилепсия, шизофрения, слабоумие, уродство (физическое и моральное).

После одной из моих публикаций на тему «Алкоголь и потомство» я стал получать много писем. «Позвольте не поверить,— пишет один из корреспондентов,— чтобы одна рюмка... Не верю. А как же знаменитая русская свадьба, на которой по-богатырски, по-былинному пьют, льют, гуляют?» Ссылки на свадьбу в той почте встречаются особенно часто. А между тем этот аргумент вовсе не убедителен. У нас в Карабахе, например, до сих пор говорят: «Трезв, как жених на свадьбе». Во многих странах издревле новобрачным запрещалось пить. В иных местах в первую ночь после свадьбы молодые спали раздельно. В Древней Руси, как и в античных государствах, женщина не допускала близости с пьяным мужчиной.

Плутарх вывел свою знаменитую формулу, которая по-латыни звучит так: *Ebrii ebrios gignunt* («Пьяницы рождают пьяниц»). А Платон добился закона, по которому людям до 18 лет пить вино запрещалось: он хорошо знал, что от спиртного страдает не окрепший еще организм и хроническими алкоголиками в первую очередь становятся те, кто пристрастился к вину с раннего возраста. В Древнем Риме казнили пьющих, не достигших тридцати лет. Как видим, человечество еще на заре цивилизации активно боролось за здоровое поколение.

### 3

Думаю, несчастий, о которых рассказывалось выше, могло бы быть меньше, если бы каждый из родителей хорошо знал все эти выводы ученых, четко представлял себе, что ожидает семью, если в день, когда родители мечтают о ребенке, они выпьют хотя бы рюмку спиртного. Вряд ли найдется человек, который, зная о том, что выпитая рюмка непременно приведет к рождению неполноценного ребенка, станет рисковать. Никто не хочет горя себе и своему ребенку.

А как мы порой ведем антиалкогольную пропаганду?

По моим подсчетам за последние десять лет у нас было опубликовано около тридцати книг и брошюр на антиалкогольную тему. Многие не раз переиздавались. Но меня беспокоит вот какая статистика: из 196 родительских пар, с кем мне довелось беседовать, 187 (95 процентов) ни строчки не читали о «пьяном зачатии». В 70 (40 процентов) семьях родители, один или оба, имели высшее или среднее специальное образование. Среди них были инженеры, педагоги, даже врачи.

Об одной встрече расскажу подробнее. Он врач, родился в Ашхабаде, образование получил в Ростовском медицинском институте. В семье трое детей. Старшая дочь окончила школу с серебряной медалью, сейчас учится в политехническом. Учитесь на отлично. Двое других детей, мальчик и девочка, посещают вспомогательную школу — больны олигофренией.

Мне казалось, что их отец не захочет со мной беседовать — тема-то, что и говорить, не из приятных. Но он охотно ответил на вопросы.

— Не припомните ли, что читали о проблеме?

— Статьи в центральных газетах, и то с большим опозданием.

— А в институте?

— А что вы сами знали в институте об этом? — ответил он вопросом на вопрос.

Я пожал плечами. В самом деле, не смог припомнить, чтобы в медицинском институте нам, студентам, говорили хоть что-нибудь о проблеме «пьяного зачатия». Почему-то считалось (да и сейчас считается), что этим должна заниматься служба санитарно-гигиенического просвещения. Теперь мне понятно, насколько это странная позиция.

И в постановлении ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» наряду с констатацией, что наша антиалкогольная пропаганда «нередко обходит острые вопросы, не носит наступательного характера», отмечается: «Значительная часть населения не воспитывается в духе трезвости, недостаточно осведомлена о вреде употребления спиртных напитков для здоровья нынешних и особенно будущих поколений».

«И особенно будущих поколений»...

С тех пор как я занялся изучением проблемы алкоголизма, старался читать все,

что издавалось в нашей стране на эту тему. И что же? Наряду с серьезными исследованиями встречались статьи, брошюры, книги, изобилующие примитивными рассуждениями, банальностями. В одной из брошюр, например, писалось: «До сих пор встречаются у нас люди, не сумевшие отрешиться от устаревших взглядов и форм поведения; от мелкособственнических стремлений и узкого эгоизма, от националистических и религиозных предрассудков, от тяги к винному дурману и т. п. Являясь пережитками тяжелого капиталистического прошлого, подобные взгляды и нравы несовместимы со всем строем нашей жизни, они тормозят, задерживают продвижение вперед, мешают осуществлению наших планов». Такой вот пышный ряд правильных слов вряд ли можно назвать наступательным. Многие авторы, по установившейся традиции, считают своим долгом воспитывать трезвость с помощью всякого рода пословиц и поговорок. Уже всем набили оскомину «пьяному море по колено, а лужа по уши», «много вина пить — беде быть», «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». Встречаются и явные нескладушки, почему-то приписываемые народу. Например: «Кто много вина пьет, тот скоро с ума сойдет». Многие, словно сговорившись, приводят в качестве иллюстрации один и тот же наглядный материал. Чаще всего это змеи, обвивающие ножки стула, или гигантские пауки, ползущие по столу, на котором стоят бутылка и стакан. Ну и, конечно, почти везде присутствует симпатичный чертик, восседающий на горлышке бутылки.

Порой в крохотной работе о пьянстве можно встретить длинные и долгие размышления, скажем, о гиповитаминозе при алкоголизме. Со скрупулезностью диссертанта рассказывается о роли витаминов вообще, о клинических проявлениях того или иного авитаминоза. Алкоголю вообще часто приписывают не свойственные ему качества, подчас ударяясь в крайности. То его считают чуть ли не панацеей от атеросклероза, то всю вину валят лишь на побочные продукты брожения спирта — сивушные масла, альдегиды, которые угнетают нервную систему. И создается впечатление, что, к примеру, хорошо очищенный спирт просто безвреден.

«Всего лишь 20 граммов водки снижают мышечную силу на 10 процентов», — читаешь почти в каждой работе. Начинаешь считать, выходит, 200 граммов достаточно, чтобы быть парализованным начисто. Вызывают недоумение рецепты вроде: «Пить можно не чаще, чем в полгода раз, ибо именно за такое время алкоголь выводится из организма». Советуют пить 100 граммов за весь вечер в течение 5 часов. Из одной брошюры узнаю, что термин «белая горячка» от цвета водки. Из другой — от бледного цвета лица галлюцинирующего алкоголика. То, «по данным мировой статистики», пьющие живут на 7 лет меньше непьющих, то на 20. Подобные «мелочи» подрывают доверие к антиалкогольной пропаганде, к печатному и лекторскому слову.

Строгое постановление партии по пресечению пьянства и алкоголизма требует в антиалкогольной пропаганде большей убедительности и большей наступательности.

## 4

О подвиге хирурга Валерия Цуканова, который в Тихом океане во время шторма спас матроса от верной гибели, в свое время писали многие газеты. Сейчас Цуканов — анестезиолог-реаниматолог в одной из клиник Подмосковья

Однажды, когда я был в командировке в столице, он зашел ко мне в гостиницу. Вид усталый, глаза красные. Всю ночь не спал. Выживал семилетнего мальчишку.

— Что с ним?

— Сильное алкогольное отравление.

— Выходил?

— Пока нет...

Через несколько дней, снова появившись у меня, он едва выдавил: «Ребенок скончался»...

Я решил съездить в село, где живут родители несчастного мальчика. Поехали вместе с другом.

Не буду приводить всех подробностей встречи, вот лишь небольшая часть нашей беседы, которую я записал в блокнот:

«— Владимир Павлович, неужто вы сами дали водку ребенку?

— Дал... Мне и в голову не пришло, что несколько глотков белого могут повредить ему. Семья моя крепкая... Пьем, конечно, как все пьют. Но к алкоголикам нас не причислишь. Да разве я навредил бы собственному мальчишку, коли знал бы...»

Отец не знал, что детям нельзя давать вина ни грамма. Не знала и мать. Им поначалу даже было весело от проказ шатающегося несмышленища. А клинический я лато-

логоанатомический диагнозы были идентичны: острое алкогольное отравление. В 7 лет.

Во время беседы убитый горем Владимир Павлович то и дело недоумевал: мол, как же так, каких-нибудь полстакана — и вдруг смерть мальчика, взрослые пьют и две и три «банки» — и ничего...

Каждый родитель должен знать: подростку нельзя пить ни грамма. Со всей категоричностью мысль эта красной нитью проходит в трудах отечественных и зарубежных ученых.

Исследования специалистов показали, что некоторые люди приобщаются к спиртному еще во время учебы в школе. И тенденция такова, что этот процесс в последнее время стал приобретать все более угрожающие размеры. Ежегодное увеличение количества таких детей составляет в мире в среднем 7—10 процентов. В одной из школ, в которой я изучал это явление, спиртное употребляли 75 процентов учеников 8-го класса, 95 процентов — 10-го.

Печальные факты рассказал мне кандидат медицинских наук А. Е. Огнев, который проводил исследования в школах Перми. Особенно тревожат данные, полученные ученым-медиком в начальных классах. Среди учащихся этих классов спиртные напитки употребляют больше трети — 31,2 процента. Обследование выявило, что почти у всех этих детей родители злоупотребляют алкоголем, пить дети практически во всех случаях научились с помощью собственных родителей или родственников. Отмечены случаи, когда детям давали спиртное даже в ясельном возрасте.

Исследователь выяснил, что у пьющих и непьющих школьников отцы употребляют спиртные напитки примерно в равной степени. А вот матери у пьющих употребляют алкоголь в 1,5—2 раза чаще, чем у непьющих. И еще: информированность школьников об алкоголе вообще и о вреде даже малых доз спиртного почти в 2 раза выше у непьющих.

Здесь есть над чем задуматься. Пьяницы не с луны к нам падают — они вырастают из детей. Длительность перехода от простого пьянства к хроническому алкоголизму у разных лиц разная. Специалисты подсчитали: в среднем этот переход длится до 10, при интенсивной пьянке — до 5 лет. Но если пьет подросток, то здесь, как утверждают ученые, для формирования хронического алкоголика не нужно много времени. Вот выписки из различных научных трудов: «Как правило, алкоголизм у детей и подростков развивается молниеносно, нередко минуя этап регулярного употребления алкоголя», «В детском и подростковом возрасте алкоголизм возникает катастрофически быстро и приводит к последствиям необратимым», «Алкоголизм у подростков приобретает злокачественное бурное течение. Он формируется... в 3—4 раза быстрее, чем у взрослых».

Тут виновата природа нашего организма. Даже капля спиртного опасна в детском возрасте. Головной мозг человека к 7 годам увеличивается в весе почти в 4 раза — мозг первоклассника почти равен весу мозга взрослого человека. Но мозговая ткань ребенка намного беднее белковыми веществами и намного богаче водой. А в воде алкоголь прекрасно растворяется. В довершение ко всему у ребенка значительно большая, чем у взрослого, скорость всасывания спирта. Почками и легкими выводится лишь 7 процентов всосавшегося в кровь алкоголя, остальные 93 процента окисляются в самом организме, действуют, как яд. Вот почему полстакана водки убили малыша, которого спасал мой друг Цуканов. Из печальной статистики практической медицины известно, что доза в 60—70 граммов водки может быть смертельной для ребенка 6—8 лет. Описан даже случай смертельного отравления пятилетнего ребенка, который выпил 10 граммов спирта. Алкоголь — яд, который в детском организме практически не встречает противоядия. В прекрасно написанной книге Е. Борисова и Л. Василевской «Алкоголь и дети» подчеркивается: «Вследствие незрелости нервных клеток и повышенной рефлекторной возбудимости коры больших полушарий, слабости тормозных процессов в ответ даже на небольшие дозы алкоголя у детей часто возникают тяжелые отравления, различные заболевания. Прием алкоголя нарушает умственную деятельность — слабеет память, страдает логическое мышление». Добавим: нарушается процесс становления личности. Дети, употребляющие алкоголь хотя бы изредка, учатся из рук вон плохо. А среди тех, кто употребляет спиртное 3 раза в неделю, пусть даже в крохотных дозах, в графе «успеваемость» всегда стоит ноль.

Московский психиатр, кандидат медицинских наук Борис Щукин в свое время провел интересные наблюдения в различных регионах страны. Он проследил за судьбами тех, кто в детстве был зарегистрирован как употребляющий алкоголь. Всего в поле его зрения оказались 156 человек. 31 из них (19,8 процента) умерли в возрасте от 20



до 30 лет — кто сгорел в вине, кто погиб насильственной смертью. 82 человека (52,5 процента) были привлечены к уголовной ответственности за различные преступления, в том числе убийства, хулиганства, бандитизм. У 43 человек (27,5 процента) отмечались хронический алкоголизм, семейная неустроенность, паразитический образ жизни, дети, страдающие слабоумием.

А вот официальная судебная статистика: 96 процентов хулиганских поступков, почти 70 процентов убийств, 67 процентов изнасилований совершаются людьми в состоянии опьянения. Есть прямая связь между подобными преступлениями и детским алкоголизмом. По свидетельству ученых, у тех, кто начал пить в раннем возрасте, при опьянении на смену ожидаемой эйфории приходит злость, агрессивность.

Медициной установлено: если человек не пил спиртного до зрелого возраста, то защитные реакции здорового организма (рвота, последующее чувство отвращения к спиртному) практически сохраняются на всю жизнь. Что значит до зрелого возраста? Полное созревание у женщин заканчивается к 20 годам, у мужчин — к 25-ти. Об этом хорошо знали люди еще в античные времена. Еще тогда было замечено, что законченными алкоголиками чаще всего становятся люди в возрасте от 18 до 25 лет. И учреждались законы, по которым запрещалось пить именно до достижения этого возраста. С детства я слышал от наших стариков фразу: «Блажен тот отец, чей сын впервые пригубил вино после того, как дом построил» (у армян понятие «построить дом» вбирает в себя очень многое: приобрести ремесло, создать семью да и дом построить в буквальном смысле слова). Словом, во все времена из поколения в поколение люди передавали правило без исключений: ни грамма спиртного малышам, подросткам, юношам.

А между тем... В моем досье много писем, рассказывающих об истинных виновниках детского алкоголизма. Вот одно из них. Пишет Р. Новоскольцева из Иркутска:

«Семилетний Петя совместно с моим сыном Олегом ходили в один класс. Дети дружили, учили вместе уроки, наши семьи живут по соседству. Петькин отец — мастер на все руки, в любой квартире, бывало, и уют починит и кран подкрутит. Денег не брал, но от 100 граммов не отказывался. Жена его часто болела и умерла, когда Петя ходил в 5-й класс.

Как-то я заглянула к соседям и увидела такую картину: отец и сын сидели за столом, в руках у них были стаканы с водкой. Пили они, как объяснили, за упокой души умершей... Петя на глазах меняясь, в нем какая-то злость появилась. Даже сынишка мой, с которым они когда-то были не разлей водой, стал побаиваться его... Петя давно уже бросил школу. Ворует. Пьянствует. А ведь ему еще нет и четырнадцати...»

У здорового ребенка абсолютно исключен даже намек на влечение к спиртному. Какими бы хваленными ни были напитки, вкус и запах алкоголя у малышей вызывают отвращение. Сами дети никогда первыми не проявляют инициативу, в 97 процентах случаев их приучают к выпивке, как уже говорилось, родители, родственники, старшие товарищи. И на них полностью ложится вина, за которую они по закону должны нести ответственность. А закон суров: «Вовлечение несовершеннолетних в пьянство влечет уголовную ответственность и наказывается лишением свободы на срок до пяти лет».

## 5

В почте, пришедшей на мой адрес со дня опубликования моей первой статьи на антиалкогольную тему, есть немало писем, посвященных проблеме производства и продажи спиртных, а также безалкогольных напитков, винограда, различных фруктов и соков. «Вы убедительно рассказываете об опасности, которую таит в себе и водка и вино для будущих поколений,— прочитал я в одном из писем.— Но вот беда: в нашем городе бутылку водки можно купить на каждом шагу и в любое время, а минеральную воду днем с огнем не сыщешь...»

Действительно, долгое время алкогольные напитки у нас производились в слишком больших масштабах, порой в ущерб безалкогольным. В связи с этим проблема алкоголизма и вытекающая из нее проблема «детей карнавала» еще в большей степени обострилась.

Постановление ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» прямо обязывает соответствующие ведомства обеспечить значительное увеличение производства и продажи безалкогольных напитков, соков, кваса, фруктов, винограда, ягод в свежем, сушеном и замороженном виде. Посмотрим на некоторые пока не используемые резервы в этом деле.

В стране в год на душу населения выпускается в продажу менее 10 бутылок ми-

неральной воды. В Венгрии ее производство — 99 бутылок, во Франции — 100, в ГДР — 180 на душу населения. Если бы речь шла о бананах или ананасах, мы бы еще поняли: они в наших широтах не растут. Но вот читаю в «Неделе»: на территории СССР зарегистрировано свыше 3500 минеральных источников. Мы самая богатая «минеральная» держава в мире. Может, бережем запасы для будущих поколений? Вода — не уголь. Бесценные реки текут в тартарары. Диву даешься, просматривая страницы статистических ежегодников. Чистого алкоголя страна до недавнего времени производила в несколько раз больше, чем минеральной воды. Разумно ли это?

Виноград врачи считают целой кладовой полезных веществ, особенно для растущего организма. Сочетание ценных органических кислот с витаминами С, В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub> делает чуть ли не каждую ягоду эликсиром. Потребность в подобного рода эликсирах, в частности у малышей, превеликая.

Но почему так редок на наших столах свежий виноград?

Когда мы читаем в газетах о том, что собрано столько-то миллионов тонн винограда, не надо торопиться делить эти миллионы на душу населения в стране. Миллионы эти идут вовсе не на стол трудящихся, а в гигантские прожорливые воронкообразные ямы винзаводов — почти весь урожай. На стол на каждого достается лишь меньше килограмма в год.

Я лично не могу спокойно смотреть на то, как отборный виноград превращается в алкоголь, минуя детские сады, а еще точнее, детские уста. Ну разве это не кощунство — отрывать от ребенка очень нужный для его здоровья продукт, чтобы напоить зельем его отца? По логике вещей на вино следует переводить только излишки винограда. Прежде всего надо натешиться свежими продуктами, а уже потом, скажем прямо, переводить добро.

Даже в Армении, где выращиваются уникальные сорта винограда, 90 процентов урожая превращается в месиво. Почему бы поездами и самолетами не отправлять в союзный фонд хотя бы 30 процентов так называемого столового (в отличие от технического, используемого как сырье для вина) винограда? Разумеется, для этого надо потрудиться — прежде всего пересадить некоторые виноградники, ибо сегодня по всей стране преобладает в основном технический виноград.

Но если бы парадоксальными были порядки только в виноградарстве. В среднем на душу населения потребление бахчевых на Северном Кавказе составляет 115 килограммов в год, в Нижнем Поволжье — 80 килограммов, а в Ленинграде всего 2 килограмма. Скажут, Ленинград далеко, возить туда трудно, а товар скоропортящийся. Но век-то наш нынешний не тарантасный же!

В Киеве через торговую сеть на одного человека реализуется в год не более 1,7 килограмма косточковых плодов и 385 граммов (!) ягод. И это при физиологической норме соответственно 13,3 и 17,7 килограмма в год. О каком выполнении физиологической нормы может идти речь, если 65 процентов всех продаваемых населению овощей составляют белокочанная капуста, помидоры и огурцы? И еще: человеку нужны витамины на протяжении всего года, однако у нас около 70 процентов всех плодоовощных культур продается населению до нового года. Даже эти 70 процентов доставляются неравномерно: 40 процентов из них «выбрасываются» в торговую сеть в короткую пору уборочной страды.

Особо хотелось бы сказать о яблоках. Всем богата наша страна. Но яблоки ни с чем не идут в сравнение. Подобно картофелю, есть что-то в них, в яблоках, державное. Более 80 процентов из общего количества заготовленных плодов и ягод составляют яблоки. Ассортимент вырабатываемой в промышленности продукции из яблок или с их применением насчитывает 70 видов.

С 1988 года в соответствии с постановлением ЦК КПСС полностью прекратится выпуск плодово-ягодных вин. Это значит, что больше будем употреблять яблок в свежем, сушеном, моченом, маринованном, консервированном виде, особенно в виде всевозможных соков, осветленных с мякотью, с сахаром, купажированных с другими фруктами, а также в виде напитков, коктейлей, желе и т. п. Всего этого будет производиться больше, чем изготовлялось до сих пор.

О яблоках сложены легенды. Написаны монографии и брошюры. Защищены диссертации. Оказывается, без яблок мы просто жить не можем. В том числе и без яблочного сока, вкусного, полезного, в первую очередь необходимого детям, особенно в зимнее время, когда начинается витаминный голод. Стаканчика яблочного сока бывает достаточно, чтобы не беспокоиться о витаминном рационе ребенка.

Пока соков мы производим не так уж много, но даже то, что производим, часто не доходит до нашего стола. Вот уж несколько лет я бьюсь, чтобы вывезли из ереванского и всех других в стране консервных заводов несметные залежи великолепных соков. Однако воз и ныне там. Не берут. Причин много. Одна из них — тара не та. Слишком неудобная, слишком большая, пузатая. Трехлитровая. И даже пятилитровая. Неужели тот, кто выпускает такую тару, не задумывается над тем, сколько в нашей стране семей и каково среднее число людей в каждой из них? Скажем, неужели так трудно понять, что женщина не потащит стеклянную гирию в переполненном автобусе? А если и ухитрится это сделать, то дома не захочет тотчас же открывать банку. Пятнадцать стаканов в каждой. Открыл — значит, надо осилить. Но как? А если в семье только двое?

Что делать с миллионами условных банок, лежащих на складах? Создавать новое министерство по... залежам? А может, лучше ликвидировать межведомственную разобщенность? Нельзя же, в конце концов, спокойно смотреть на то, как гниет ценнейший продукт, как исчезли из школьных и институтских буфетов живительные фруктовые соки.

Совет Министров СССР в постановлении «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения» обязал Советы Министров союзных республик и Центросоюз «увеличить закупку в колхозах, совхозах и у населения излишков фруктов, винограда, ягод, имея в виду расширить их продажу в свежем, сушеном и замороженном виде, осуществлять переработку этой продукции на варенье, компоты, джемы и соки, а также выпуск их преимущественно в мелкой расфасовке». Постановлением запрещается изготовлять крепкие спиртные напитки домашней выработки. Как же в этих условиях должна будет возрасти ответственность заинтересованных министерств и ведомств за сохранность урожая! Однако уже сейчас можно слышать разговоры о пресловутых всеоправдывающих объективных причинах, по которым не все параграфы постановления можно будет выполнить, говорят, в частности, что если не перегнать свежие фрукты в спирт, то потери будут еще большими. Спаси положение могут холодильники, но где взять средства на их строительство?

Привожу официальную справку: на средства, которые государство ежегодно теряет в результате порчи при хранении всего лишь 1 процента выращенного картофеля, плодов, овощей и винограда, можно было бы построить 1740 крупных картофелехранилищ с активной вентиляцией емкостью 2300 тонн каждое или 560 консервных заводов мощностью 1 миллион банок. А ведь теряем не 1 процент. И даже не 10...

...Село привольно расположилось на берегах небольшой реки, известной в тех местах своими частыми кривунами. Обычно к концу лета обнажались пороги, и усеянное галькой дно местами напоминало дорогу, которую готовили под асфальт. Вода тихо журчала лишь на самых выступах кривунов и у крутых берегов. Бывали дни, когда без всякого труда даже ветхие старцы, не замочив ног, проходили с одного берега на другой. Зато по весне река так широко разливалась, что нельзя было обходиться без плавсредств. Так называемая большая вода быстро спадала, и через неделю-другую на заливных полях и лугах начинались сельхозработы. Время от времени половодье в село приносило настоящую беду. Правда, случалось это не так уж часто. Но случалось.

О селе этом мне рассказывал знакомый социолог, который вместе со своими коллегами проводил там необычный эксперимент. В сухую жаркую августовскую пору ученые справлялись у колхозников: мол, не пора ли построить дамбу и отвести в будущем беду от села. Реакция людей была пассивной. Они мялись, чесали затылки — других дел по горло. И потом, ведь чтобы строить дамбу, нужны немалые средства. Им приводили расчеты: строительство дамбы обойдется намного дешевле, чем ущерб, который несет колхоз после каждого наводнения. Жители села с доводами ученых соглашались. Создавали, что дамба, конечно, нужна. Однако считали, что они за все возьмутся потом, в будущем. Жили же деды без дамбы, и ничего.

В следующий раз ученые посетили село, когда не только поля и луга стали дном гигантского водоема, но деревья и даже дома, что называется, стояли по пояс в воде. На сей раз односельчане вели себя иначе. Они уже не мялись и не чесали затылки. Словно сговорившись, захлеб поносили на чем свет стоит и себя самих и даже предков.

...Надо ли обязательно пережить половодье, чтобы научиться мудрости? Не лучше ли своевременно осознать истину?

---

---

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Н. ЭЙДЕЛЬМАН

★

## СЕКРЕТНАЯ АУДИЕНЦИЯ

Часть I

Сентябрь 1826-го

Когда б я был царь...  
А. Пушкин.

1

**Д**вадцать восьмого августа 1826 года в Москве царь Николай I велит «Пушкина призвать сюда».

В ночь на 4 сентября в Михайловское прибывает посланец псковского губернатора фон Адеркаса с двумя документами. Первым документом была записка самого Адеркаса: «Милостивый государь мой, Александр Сергеевич!.. прошу вас поспешить приехать сюда и прибыть ко мне». Второй документ с отметкой «секретно» был подписан начальником Главного штаба Дибичем:

«Господину Псковскому гражданскому губернатору.

По высочайшему государя императора повелению, последовавшему по всеподданнейшей просьбе, прошу покорнейше ваше превосходительство: находящемуся во вверенной вам губернии чиновнику 10-го класса Александру Пушкину позволить отправиться сюда при посылаемом вместе с сим нарочным фельдъегерем, Г. Пушкин может ехать в своем экипаже свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря; по прибытии же в Москву имеет явиться прямо к дежурному генералу Главного штаба его величества» (XIII, 293').

Хотя из двух записок как будто и следовало, что Пушкина не арестовывают, но само внезапное ночное появление представителя власти, весьма двусмысленная формула Дибича о праве ехать «свободно... но в сопровождении только фельдъегеря», наконец, атмосфера 1826 года, недавние аресты сотен людей — все это поначалу настроило Пушкина на невеселый лад. Впрочем, он готов, опасные бумаги сожжены или припрятаны. «...все у нас перепугались. Да как же? Приехал вдруг ночью жандармский офицер из города, велел сейчас в дорогу собираться, а зачем — неизвестно. Арина Родионовна растужилась, навзрыд плачет. Александр-то Сергеич ее утешать: «Не плачь, мама, говорит, сыты будем; царь хоть куда ни пошлет, а все хлеба даст»<sup>2</sup>. (Из рассказа Петра, михайловского кучера.)

Мы точно знаем, что Пушкин берет с собою рукопись «Бориса Годунова» — это документ, свидетельствующий о характере его занятий и образе мыслей; настаивает, чтоб послали в Тригорское за пистолетами: оружие «удостоверяет дворянство», напоминает, что едет свободный человек, а не арестант...

На другой день из Пскова Пушкин пишет П. А. Осиповой несколько раздраженно-иронических французских строк, которые были (судя по пометке Осиповой в своем календаре) доставлены в Тригорское только через неделю:

«Полагаю, сударыня, что мой внезапный отъезд с фельдъегерем удивил вас столько же, сколько и меня. Дело в том, что без фельдъегеря у нас грешных ничего не де-

---

<sup>1</sup> Здесь и далее в тексте даются ссылки на полное собрание сочинений А. С. Пушкина (римская цифра — том, арабская — страница).

<sup>2</sup> «Русская старина» (далее «РС»), 1899, № 5, стр. 273—274.

ается; мне также дали его, для большей безопасности. Впрочем, судя по весьма любезному письму барона Дибича, мне остается только гордиться этим» (XIII, 558).

Однако прежде чем хозяйка Григорского получила эти успокаивающие строчки, она уже успела отправить в Петербург Дельвигу «отчаянное письмо», которое, правда, не сохранилось, но легко восстанавливается по отклику влюбленной в Пушкина Анны Николаевны Вульф (Дельвиг поделился с девушкой новостью, и она тут же написала Пушкину «неведомо куда»): «Я словно переродилась, получив известие о доносе на вас. Творец небесный, что же с вами будет?.. сейчас я не в силах думать ни о чем, кроме опасности, которой вы подвергаетесь... Боже, как я была бы счастлива узнать, что вас простили.— пусть даже ценою того, что никогда больше не увижу вас, хотя это условие меня страшит, как смерть <...>. Как это поистине страшно оказаться каторжником!»

Слова «донос», «опасность», «каторжник» навеяны впечатлениями П. А. Осиповой (как знать, может быть, и Пушкин обронил их на прощание). И тем сильнее была радость друзей, когда позже из Москвы они получили успокоительные новости: «Плетнев, Козлов, Гнедич, Слѣнин, Керн, Анна Николаевна все прыгают и поздравляют тебя».

Таковы были сентябрьские перепады — от каторги до радостных прыжков.

Четверо суток начиная с 4 сентября 1826 года Пушкина везут во вторую столицу, и он волен припомнить одно свое сочинение двухлетней давности: «Когда б я был царь, то позвал бы Александра Пушкина и сказал бы ему: «Александр Сергеевич, вы прекрасно сочиняете стихи»...» Везут в Москву, где уже второй месяц продолжаются коронационные торжества.

Царь прибыл туда 25 июля 1826 года (выехав из Петербурга сразу после казни декабристов).

1 августа состоялась торжественная церемония водоосвящения, о которой газета Булгарина «Северная пчела» сообщала в следующих выражениях: «Необыкновенное стечение народа всех состояний покрывало преддверия соборов, кремлевские площади, стены и даже противоположный берег реки. При погружении креста началась пушечная пальба из орудий, на Кремлевской горе поставленных. По окончании церемонии Его Императорское Величество изволил проехать мимо войск верхом <...>. Во все время громкое «ура!» раздавалось в народе, который, желая долее наслаждаться лицезрением Монарха, толпился пред Его лошадей».

Именно эту церемонию хорошо запомнил и описал потом Герцен: «Победу Николая над пятью торжествовали в Москве молебствием. Середь Кремля митрополит Филарет благодарил бога за убийства. Вся царская фамилия молилась, около нее сенат, министры, а кругом на огромном пространстве, стояли густые массы гвардии коленопреклоненные, без кивера, и тоже молились; пушки гремели с высот Кремля.. Мальчиком четырнадцати лет, потерянным в толпе, я был на этом молебствии, и тут перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой, я клялся отомстить казненных и обречь себя на борьбу с этим тронем, с этим алтарем, с этими пушками. Я не отомстил; гвардия и трон алтарь и пушки — все осталось; но через тридцать лет я стою под тем же знаменем, которого не покидал ни разу».

Коронация состоялась 22 августа; газеты именовали поэтов, прославивших со бытие, особенно выделяя «На день священного коронования и миропомазания Его Величества Императора Николая Павловича. Стихотворение графа Д. И. Хвостова».

В субботу 28 августа Николай I начал день в восемь часов с доклада начальника Главного штаба Дибича, которого принимал ежедневно, но нарушил порядок из-за празднеств (предыдущий доклад был 17 августа)<sup>3</sup>. Именно в это утро царь приказал доставить Пушкина, и Дибич тут же составил бумагу.

1 сентября царская фамилия переезжает с дачи графини Орловой-Чесменской в Архиерейский дом Чудова монастыря. В этот день газеты извещают «о предании крестьян, упорствующих в неповиновении помещикам, военному суду». Торжества приближаются к концу...

Первые осенние дни после «беспощадного лета» 1826 года, лета давно не виданного зноя, горящих лесов и болот; лета, когда по России читают царский манифест от 12 мая 1826 года, призывающий к беспрекословному «по всей точности» повиновению крестьян помещикам и власти, крестьяне же (прежде обрадовавшись смутным вестям,

<sup>3</sup> Камер-фурьерский журнал за 1826 год.— Центральный государственный исторический архив (ЦГИА), ф. 516, оп. 28/1618, № 133, л. 446.

что в декабре в столице царь «побил дворян»), наоборот, выводят из этого факта близкую волю, а не получив ее, задумываются: не самозванный ли царь коронуется,— и уж скоро явятся несколько лже-Константинов; лета 1826 года, когда агенту Бошняку было выдано открытое предписание № 1273, то есть ордер на арест Пушкина (в конце концов все же не предъявленный); лета, когда окончился процесс над декабристами. В эти сентябрьские дни несколько сотен человек уже отправлены или ждут отправления в Сибирь, на Кавказ, по крепостям, под надзор.

Пятеро казнены. Пушкин вскоре нарисует виселицу («...и я бы мог...»), а один из современников запишет: «Никто не верил... что смертная казнь будет приведена в исполнение, и будь жив Карамзин, ее бы и не было — в этом убеждены были все...» Воскликание горестное, наивное: некому заступиться! Карамзин не смог бы отменить ту казнь, что состоялась 13 июля, но он, кажется, успел сказать Николаю I важнейшие слова, которые запомнились современникам: «Ваше величество! Заблуждения и преступления этих молодых людей суть заблуждения и преступления нашего века!»<sup>4</sup>

Последние недели своей жизни историограф пробовал вступить за просвещение, которое теперь, после 14 декабря, было под большим подозрением. Именно к Карамзину одному из первых Пушкин в двадцатых числах января 1826 года обращался за поддержкой через посредничество Жуковского: «Прежде чем сожжешь это письмо, покажи его Карамзину и посоветуйся с ним. Кажется, можно сказать царю: «Ваше величество, если Пушкин не замешан, то нельзя ли наконец позволить ему возвратиться?» (XIII, 258)

И Карамзин с Жуковским сказали царю нечто в этом роде. Осведомленный иностранный дипломат позже сообщал своему двору: «По настоятельным просьбам историографа Карамзина, преданного друга Пушкина и настоящего ценителя его таланта, император Николай, взойдя на трон, призвал поэта».

Карамзин, к рекомендациям которого Николай I относился с подчеркнутым вниманием, назвал арзамасцев Блудова и Дашкова как возможных правительственных деятелей. Тогда же, настаивая, что нужно привлекать к трону просвещенных людей, даже людей оппозиции, историк, по всей видимости, дал совет вернуть, приласкать, «приручить» Пушкина.

Николай I искал действенных идеологических мер для расширения своей популярности — на фоне арестов, расправ, а также страха и настороженности — даже у известной части консервативного дворянства. Царские милости Карамзину были попыткой воздействовать на просвещенные круги.

Жуковскому предложили изготовить рескрипт, подписанный царем 13 мая 1826 года (за девять дней до кончины историографа), где, как известно, назначалась пенсия Карамзину и его семье. Сумма оказалась столь значительной (50 тысяч рублей в год независимо от числа здравствующих членов семьи), что умиравший Карамзин хорошо понял, куда метила подобная милость, и был рассержен использованием ситуации в узкополитических целях. Тем не менее царь был удовлетворен эффектом карамзинского рескрипта: влиятельные круги образованного дворянства, для кого имя историографа являлось символом просвещенного союза с монархией, обрадовались, их тревога (как информировала Николая I тайная полиция) несколько уменьшилась. Действуя таким образом, новое правительство расширяло свой политический опыт, успешно дополняя репрессивные, запугивающие меры более гибкими, умеренными. Именно в этом смысле чествование Карамзина ускорило возвращение Пушкина.

Тайная миссия Бошняка не открыла каких-либо новых, особо опасных «декабристских поступков» поэта, однако в материалах Следственной комиссии находилось по меньшей мере двадцать прямых свидетельств о влиянии пушкинской поэзии на формирование декабристских идей. К тому же ходатайства друзей и самого Пушкина об освобождении из ссылки двигались по инстанциям параллельно с новым, очень опасным для поэта делом о стихотворении «Андрей Шенье»...

Пушкин приехал в родной город, откуда летним днем 1811-го его увезли в лицей. С тех пор минуло пятнадцать лет, больше половины прожитой жизни, пятнадцать лет «блуждающей судьбы», «горестной разлуки» с Москвою.

В камер-фурьерском журнале, в котором зафиксирован весь распорядок дня императорской фамилии в дни московской коронации, никакой встречи Николая I с Пушкиным 8 сентября 1826 года не отмечено.

<sup>4</sup> А. Е. Розен. Записки декабриста. Иркутск. 1984, стр. 183.

Так когда же приняли Пушкина? Дибич, узнав о прибытии поэта, написал дежурному генералу Потапову: «Высочайше повелено, чтобы вы привезли его в Чудов монастырь, в мою комнатку, к 4 часам пополудни».

В историю той встречи косвенно попал и «наивеликолепнейший бал» французского маршала Мармона, где царь кое-кому расскажет о своей встрече с Пушкиным. Очевидно, между окончанием царского обеда (в полпятого или в пять) и сборами на бал — вот где уместается час или (по другим данным) два часа секретной аудиенции.

К воссозданию и разбору встречи в Кремле 8 сентября 1826 года мы и приступаем: многое, очень многое в ней сошлось и выявилось.

## 2

Среди современников, отмечал известный литературовед и библиограф П. А. Ефремов, ходило множество рассказов, не особенно разноречивых, но довольно сомнительной правдивости. Действительно, сохранилось немало описаний, точность которых вроде бы подтверждается совпадением текстов. Однако отсутствие больших различий легко объясняется существованием немногих версий. Но сами-то версии откуда? Не забудем, что содержание беседы, кроме некоторых эпизодов, не подлежало оглашению, фактически приравниваясь к государственной тайне.

Кремлевская аудиенция 8 сентября 1826 года не раз была объектом научного исследования. Наиболее полно и глубоко она разобрана в докладах замечательных пушкинистов М. А. Цявловского (1947) и С. М. Бонди (1961). К сожалению, эти важнейшие труды так и не были опубликованы. О докладе Цявловского коротко сообщила периодическая печать<sup>5</sup>. Большой доклад Бонди на XIII Всесоюзной Пушкинской конференции представлен лишь кратким резюме<sup>6</sup>.

Позже важные соображения о беседе Пушкина с Николаем I высказали Д. Д. Благой, В. В. Пугачев, В. С. Непомнящий. В то время как Бонди (вслед за Цявловским) полагал, что «дошедшие до нас свидетельства... слишком отрывочны и не дают верного представления о сущности этой важной беседы», Благой находил, что по сохранившимся источникам «можно составить о ней довольно ясное представление». В. В. Пугачев и Д. Д. Благой, расходясь в некоторых общих и частных оценках, не раз подчеркивали необходимость осторожного, исторического подхода к ретранскации знаменитой аудиенции.

Этой мыслью и рядом конкретных наблюдений и соображений лучших знатоков проблемы автор данной работы и старался руководствоваться, снова обращаясь к существующему эпизоду пушкинской биографии.

Царь и поэт беседовали с глаз на глаз, поэтому прямо или косвенно все рассказы и пересказы в конце концов сводятся к тому, что шло от Пушкина, и к царской версии.

Пушкинский рассказ. Следы его заметны в ряде стихотворений, заметках и корреспонденции поэта, дневниках и мемуарах современников.

Версия Николая I представлена в нескольких источниках, так или иначе исходящих от царя.

Всего мы насчитываем двадцать девять документов, в основном эпистолярных, мемуарных, которые имеют более или менее существенное значение для нашей темы: шесть свидетельств 1826—1827 годов, шесть — связанных со смертью Пушкина, семнадцать документов 1850—1880 годов. Социально-политический диапазон материалов довольно широк: от близких друзей Пушкина (Вяземский, Дельвиг, Соболевский) до придворных и жандармских интерпретаторов (Корф Попов).

Современный исследователь находит, что «по самому существу своему содержание этой беседы... не могло получить полного отражения в мемуарах: все сведения о ней идут из вторых рук и все варьируются, однако не противоречат друг другу»<sup>7</sup>. Присоединившись к мнению В. Э. Вацура о сведениях, которые «варьируются, однако не противоречат друг другу», не согласимся, что совсем нет информации из первых рук: даже беглый обзор источников открывает особое место Вяземского, знав-

<sup>5</sup> «Вечерняя Москва», 13 февраля 1947 года.

<sup>6</sup> Сборник: «Пушкин. Исследования и материалы». М.—Л. 1962, т. IV, стр. 420.

<sup>7</sup> В. Э. Вацура, «Пушкин в сознании современников» (вступительная статья к двухтомнику «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников», М. 1974, т. I, стр. 15).

шего о событии подробно, именно из первых рук и причастного еще к некоторым рассказам. Напомним, что Пушкин встретился с Вяземским через несколько дней после свидания с царем и о событиях рассказывал в бане, где друзей никто не мог подслушать.

Заметим, наконец, что из этих двадцати девяти источников двадцать два прямо или косвенно восходят к рассказам Пушкина и лишь пять авторов пишут со слов Николая, кроме того, две записи могли сложиться и на пересечении пушкинской и царской версий.

## 3

Разбор встречи в Кремле удобнее всего произвести по какому-либо одному источнику, сопоставляя по мере возможности каждую подробность события с другими рассказами. Какой текст взять за основу?

Несколько достоверных записей очень коротки; важная заметка Корфа предельно пристрастна; самая длинная, подробная запись о встрече в воспоминаниях польского литератора Юлиуша Струтыньского, опубликованных в Кракове в 1873 году. Вопрос о достоверности этого текста еще недостаточно изучен. Д. Д. Благой сомневался в значении этого источника, находя, что он создан «на основе устных рассказов, которые ходили в ту пору... среди русских и польских знакомых поэта». Между тем запись Струтыньского наряду с подробностями, совпадающими с другими воспоминаниями, содержит и ряд деталей, свойственных только ей. Вслед за М. Топоровским, В. В. Пугачевым и другими исследователями автор данной работы считает возможным осторожное использование этого документа<sup>8</sup>.

Текстом, по которому можно и должно следовать за событиями, мы выбираем записки Анны Григорьевны Хомутовой<sup>9</sup>. 2 февраля 1867 года П. А. Вяземский сообщал издателю «Русского архива» П. И. Бартеневу: «У меня есть в виду 50-летний журнал покойной приятельницы моей, москвички Хомутовой. Тут должны быть сокровища, хотя и мелкою монетой»<sup>10</sup>. 23 марта того же года Бартенев уже благодарил Вяземского «за новую тетрадку из записок Хомутовой».

Вяземскому вручила тетрадки близкая к А. Г. Хомутовой Екатерина Ивановна Розе, воспитывавшаяся вместе с ее племянниками<sup>11</sup>.

Вяземский называл материалы Хомутовой журналом, то есть дневником, Бартенев же видит в них записки, мемуары. По всей видимости, это были действительно записки, но основанные на дневниковых записях. Позже академик Л. Н. Майков, изучая другие фрагменты того же сочинения, оценивал рассказ А. Г. Хомутовой как «переработку ее поденных записок» («Москва в 1812 году»).

В сопроводительной записке к публикации 1867 года, составленной Е. И. Розе, но, вероятно, не без участия Вяземского, дается следующая характеристика Анны Григорьевны (родившейся в 1784-м и умершей в 1856 году):

«Имея светлый ум, прекрасную память и удивительную, щеголеватую легкость выражать свои мысли, она... записывала все, что видела и слышала, и излагала в виде повестей происшествия, случившиеся в большом свете... Анна Григорьевна была в коротких сношениях с Раевскими, Ермоловым, Нелединским-Мелецким, князем Вяземским, Жуковским и Пушкиным. Все знали ее, а за необыкновенный ум, приятность характера, доброту, кротость, услужливость и любезность все любили...

<sup>8</sup> В 1966 году В. В. Пугачев опубликовал русский текст воспоминаний Ю. Струтыньского и свои соображения об этом сочинении (статья «К эволюции политический взглядов А. С. Пушкина после восстания декабристов» — «Ученые записки Горьковского государственного университета имени Н. И. Лобачевского». Серия историко-филологическая. Вып. 78, т. 2). Исследователей смущало, в частности, то, что автор воспоминаний, который, по его словам, двадцатилетним юношей служил в Митавском полку и как раз тогда беседовал с Пушкиным о недавнем прошлом, в списке офицеров этого полка не фигурирует. Это сомнение снимается новым найденным архивным документом (ЦГВИА, ф. 36, оп. 2, № 12): в январе 1831 года Венкендорф переписывался с дежурным генералом Главного штаба А. Н. Потаповым о «юнкере гусарского Митавского полка графе Струтыньском», юнкера же в офицерских списках не значился Ю Струтыньский мог беседовать с Пушкиным в 1829—1830 годах, когда оба они были в Москве: Митавский гусарский полк входил в состав 4-го корпуса, квартировавшего в городе и окрестностях.

<sup>9</sup> «Русский архив», 1867, стлб. 1065—1068.

<sup>10</sup> ЦГАЛИ, ф. 46, оп. 1, № 153.

<sup>11</sup> ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1467.



Память Анны Григорьевны была удивительная: она помнила решительно все, что читала, могла сказать наизусть целые поэмы и запоминала целиком разговоры.

К сожалению, ныне неизвестно местонахождение автографа записок или журнала А. Г. Хомутовой — тетрадок, что заполнялись полвека. Как видно из опубликованного текста, Хомутова встретилась с Пушкиным всего через полтора месяца после аудиенции в Чудовом монастыре — 26 октября 1826 года.

«По утрам получаю записку от Корсаковой: «Приезжайте непременно, нынче вечером у меня будет Пушкин». Пушкин, возвращенный из ссылки императором Николаем, Пушкин, коего дозволенные стихи приводили нас в восторг, а недозволенные имели в себе такую всеобщую завлекательность. В 8 часов я в гостиной у Корсаковой; там собралось уже множество гостей. Дамы разоделись и рассчитывали привлечь внимание Пушкина <...>. Не будучи ни молода, ни красива собою и по обыкновению одержимая несчастною застенчивостью, я не совалась вперед и неприметно для других, издали наблюдала это африканское лицо <...>, по которому так и сверкает ум. <...> За ужином кто-то назвал меня, и Пушкин вдруг встрепенулся, точно в него ударила электрическая искра. Он встал и, поспешно подойдя ко мне, сказал: «Вы сестра Михаила Григорьевича; я уважаю, люблю его и прошу вашей благосклонности». <...> С этого времени мы весьма сблизились; я после встречалась часто с Пушкиным, и он всегда мне оказывал много дружбы. Летом 1836 года, перед его смертью, я беспрестанно видела его, и мы провели много дней вместе у Раевских».

Точное указание дня, даже часа встречи с поэтом, яркие дневниковые подробности — все это, однако, уже овеяно, пронизано воспоминанием, сложившимся на известном историческом расстоянии от события, вскоре после гибели Пушкина.

Возможно, Хомутова услышала описание кремлевской аудиенции вскоре после первой встречи с поэтом или несколько позже: рассказ Пушкина в ее передаче несет следы недавнего, свежего впечатления.

Особая память мемуаристки, тот культурный круг, к которому она принадлежала, неоднократные встречи с поэтом — очень благоприятные условия для повторения и закрепления в ее памяти всех подробностей максимально точной, пушкинской версии об очень важном для поэта событии. Убедительность, достоверность записи А. Г. Хомутовой подтверждается даже тем, что объем интересующего нас текста невелик, отрывок сжатый, емкий, лишенный следов особой литературной обработки. Заметим также, что рассказ Пушкина о встрече с царем передается от имени поэта, в первом лице — как бы в стенографической записи.

Р а с с к а з а н о П у ш к и н ы м. «Фельдъегерь внезапно извлек меня из моего произвольного уединения, привезя по почте в Москву, прямо в Кремль, и всего в пыли ввел меня в кабинет императора, который сказал мне: «А здравствуй, Пушкин, доволен ли ты, что возвращен?» Я отвечал, как следовало в подобном случае. Император долго беседовал со мною и спросил меня: «Пушкин, если бы ты был в Петербурге, принял ли бы ты участие в 14-м декабря?» — «Неизбежно, государь; все мои друзья были в лагере, и я был бы в невозможности отстать от них. Одно отсутствие спасло меня, и я благодарю за то Небо». — «Ты довольно шалил, — возразил император, — надеюсь, что теперь ты образумишься и что размолвки у нас вперед не будет. Присылай все, что напишешь, ко мне; отныне я буду твоим цензором».

## 4

Теперь прибегнем к медленному чтению, комментированию рассказа А. Г. Хомутовой, расположив рядом другие воспоминания о том же событии.

«Фельдъегерь внезапно извлек меня из моего произвольного уединения, привезя по почте в Москву, прямо в Кремль, и всего в пыли ввел меня в кабинет императора...»

Другим мемуаристам тоже запала в память странная, парадоксальная ситуация: кабинет царя, да еще во время коронации, — место, куда являются при всем параде; апартаменты, откуда царь с семейством вскоре отправится на «наивеликолепнейший бал», а тут доставляют поэта, которому не дают и часу, чтобы «в баньку сходить».

«Небритый, в пуху, измятый, был он представлен к дежурному генералу Потапову и с ним вместе поехал тотчас же во дворец и введен в кабинет государя» (Н. И. Лорер со слов брата поэта Льва Пушкина).

Сам Николай I в 1848 году скажет Корфу брезгливо: «Я впервые увидел Пушкина после моей коронации, когда его привезли из заключения ко мне в Москву совсем больного и покрытого ранами — от известной болезни».

Пренебрежительный, презрительный тон Николая, клевета об «известной болезни», чему царь в 1848 году явно желает верить,— все это прокомментируем позже. Пока же отметим, что царь хорошо запомнил первое появление поэта совсем не в светском, придворном облике. По существу, здесь повторялась ситуация с декабристами: арестованных доставляли прямо во дворец и, не давая передышки, приводили к царю.

В отношении Пушкина тут был определенный замысел в духе двусмысленной формулы «свободно, но с фельдъегерем...». Поэт рассматривается как привезенный из заключения, и пока не состоялась беседа с царем, пока нет высочайшего прощения — никакие послабления не должны вызывать у Пушкина чувства свободы: он еще в ссылке, без права въезда в столицу (историк А. И. Михайловский-Данилевский был, конечно, не одинок, когда писал о возвращении Пушкина — «корифея мятежников»).

Подозрительность властей, неразделимость освобождения и заключения (Пушкин не зря иронизировал, когда писал П. А. Осиповой, что и подобную ситуацию он должен считать для себя высокой честью) — все это символ того, что происходило, происходит и будет теперь с ним происходить. С одной стороны, за Пушкиным числятся «разные вины» перед властями: перехваченное атеистическое письмо 1824 года, связи «со всеми заговорщиками», двадцать декабристских показаний о значении Пушкина в формировании вольных идей (в том числе свидетельства Южан и соединенных славян о том, что стихотворение «Кинжал» читалось для поощрения к цареубийству). С другой стороны, Пушкин в период следствия над декабристами был ведь уже сослан, его и забирать не надо в 1825—1826-м, ибо приговорен «авансом», еще в 1824-м...

Впрочем, если за старые грехи поэт уже подвергался репрессиям, власть тем более присматривается к новым. Сначала, как известно, возникли подозрения и началась переписка на самом высоком уровне по поводу перехваченного письма Пушкина к Плетневу от 7 марта 1826 года. Плетнев, однако, не дал властям нового материала, и тогда был «взят след» близкого к декабристам генерала Павла Сергеевича Пущина; правительство надеялось найти «возмутительные сочинения», только что пушенные в народ; агент Бошняк крутился возле поэта, но сочинения не найдены, и ордер № 1273 не предъявлен.

Наконец, опережая друг друга, сталкиваются просьбы, объяснения Карамзина, Жуковского — и угрожающее Пушкину дело о стихотворении «Андрей Шенье»...

Как видим, власти, Николай I имели несколько серьезных, по их понятиям, аргументов против поэта и ряд более или менее убедительных доводов за: не участие в восстании, недоказанные или еще не выявленные «крамольные поступки» последнего времени.

Двойной счет, трудность и того — все это вело, повторим, и к «своему экипажу в сопровождении только фельдъегеря», и к тому, что «всего в пыли... в кабинет царя». Не так входили к монархам Державин, министр, кабинет-секретарь Екатерины II; Карамзин, личный друг Александра I. Их немисливо представить под охрану фельдъегеря, «небритых, в пуху, измятых»...

Пушкин, до последней минуты не знавший, с кем придется беседовать в Москве, но обладавший гениальной интуицией и притом имевший время обдумать свое положение по дороге, отлично чувствовал отмеченную только что двойственность ситуации. Еще в январском письме Жук-овскому и Карамзину он просил их за него «не ручаться»:

«Теперь положим, что правительство и захочет прекратить мою опалу, с ним я готов условливаться (буде условия необходимы), но вам решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня. Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною правительства etc» (XIII, 257).

Мы все время говорим о «раздвоении судьбы», которое не в сентябрьские дни 1826 года началось, оно точно охарактеризовано В. Э. Вацуру: «Исторический шквал, потрясший русское общество 14 декабря, в личной судьбе Пушкина обернулся сцеплением случайностей. Шесть лет никакие хлопоты друзей не могли освободить его, со сланного без прямого политического преступления и при отсутствии твердых улик. Сейчас, когда появилась несомненная улика — показания арестованных заговорщиков о революционизирующем значении его стихов, когда ближайшие его друзья идут на

каторгу, а знакомые — погибают на эшафоте, его освобождают и обещают покровительство. Все происходит в единый момент, неожиданно и чудовищно парадоксально».

8 сентября Пушкин вдруг слышит, что его прощают, но еще за минуту до того он мог ожидать совершенно противоположного, и тут было настроение, которое живо описал Ю. Струтынский:

«Помню, что когда мне объявили приказание государя явиться к нему, душа моя вдруг омрачилась — не тревогою, нет! — но чем-то похожим на ненависть, злобу, отвращение. Мозг оцетинился эпиграммой, на губах играла насмешка, сердце вздрогнуло от чего-то похожего на голос свыше, который, казалось, призывал меня к роли стоического республиканца, Катона, а то и Брута»<sup>12</sup>.

Находился ли на самом деле текст «Восстань, восстань, пророк России...» в кармане поэта или только в его памяти — не станем сейчас разбирать. Многочисленные совпадающие рассказы друзей об этих таинственных стихах безусловно доказывают одно: у Пушкина было желание в случае нового унижения, осуждения ответить самоубийственной дерзостью.

Так «двойные чувства» власти были угаданы и внутренне разыграны двойной реакцией поэта: «Вот моя рука...» или «Восстань, восстань, пророк России...».

«Фельдъегерь... ввел меня в кабинет императора, который сказал мне: «А здравствуй, Пушкин, доволен ли ты, что возвращен?» Я отвечал, как следовало в подобном случае».

Николай I, вероятно, впервые видит Пушкина (до того разве что в толпе лицейцев); поэт же еще до ссылки набросал портрет будущего монарха меж черновиками «Руслана и Людмилы».

Поль Лакруа, составляя в 1860-х годах свою апологетическую историю царствования Николая I, воспроизвел явно по рассказу кого-то из сановников любопытный разговор будущего царя со старшим братом: оказывается, юный Николай не доверял поэтам, склонным «к утопиям и опасным мыслям». Однако Александр I уверял, что, например, «Руслан и Людмила» очень интересная поэма, автор же — «повеса с большим талантом». «„Запомни.— сказал однажды государь великому князю,— поэзия для народа играет приблизительно ту же роль, что музыка для полка: она усиливает благородные идеи, разгорячает сердца, она говорит с душой посреди печальных необходимости материальной жизни”. Это рассуждение, столь справедливое и сильное, запечатлелось в памяти великого князя, который вспоминал его позже при каждом случае и сблизился с поэзией, читая прекрасные стихи Пушкина».

Мы легко поверим, что практический разговор братьев о значении поэзии действительно происходил и имел результатом не столько «чтение прекрасных стихов», сколько взгляд на политическое значение поэзии.

Но вернемся к 8 сентября 1826 года, к тому моменту, когда царь задает «наивный вопрос» — «доволен ли Пушкин своим возвращением?». Декабрист Лорер так представляет этот поворот беседы: «К удивлению Александра Сергеевича, царь встретил поэта словами: «Брат мой, покойный император. сослал вас на жительство в деревню, я же освобождаю вас от этого наказания с условием ничего не писать против правительства».

Разумеется, вопрос Николая, даже если он был задан точно так, как сообщает Хомутова, отнюдь не прост: он требует благодарности и одновременно дает простор для изъяснения разных чувств (признание прошлых ошибок или, наоборот, обличение властей за напрасную ссылку).

Пушкин отвечал, «как следовало», то есть благодарил.

Кроме «формы», здесь была и подлинность. Ближайший друг поэта П. В. Нащокин, хоть не был политиком, но знал и понимал Пушкина очень хорошо, поэтому следует отнести с доверием (пусть и не чрезмерным) к его свидетельству, высказанному в откровенном разговоре с Бартеневым, что Пушкин вышел из кабинета царя «со слезами на глазах и был до конца признателен к государю».

А вот запись другого пушкинского собеседника Адама Мицкевича, который крайне критически относился к Николаю I: «Пушкин был тронут и ушел глубоко взволнованный. Он рассказывал своим друзьям-иностранцам, что, слушая императора, не мог не подчиниться ему. «Как я хотел бы его ненавидеть! — говорил он.— Но что мне делать? За что мне ненавидеть его?»

<sup>12</sup> В. В. Пугачев, «К эволюции политических взглядов А. С. Пушкина после восстания декабристов», стр. 681—682.

Пушкин всю жизнь считал благодарность, «сердечное благодарение» одной из главнейших черт цивилизованного человека. Понимая, что царь имеет свои виды, поэт в иные минуты забывал или заставлял себя об этом забывать, считал долгом чести помнить то простое обстоятельство, что прежний царь его сослал, а новый — ворстил.

Только такая линия поведения делала Пушкина максимально свободным в разговоре с царем.

Отвечая «как следовало», он имел моральное право затем говорить «как хотелось».

«Император долго беседовал со мною и спросил меня: «Пушкин, если бы ты был в Петербурге, принял ли бы ты участие в 14-м декабря?»

Этот царский вопрос, как и последующий пушкинский ответ, общеизвестны, так же как и царские слова «я буду твоим цензором».

Меж тем разговор не ограничивался двумя фразами, а длился более часа (Дельвиг) или даже более двух часов (Локателли); по-видимому, следует доверять минимальной оценке: представления современников о необыкновенности встречи и большой ее насыщенности невольно удлинляли разговор.

О чем же беседовали — долго?

М. А. Цявловский, С. М. Бонди и другие исследователи сетовали, что известные реплики из этого разговора укладываются в куда более короткий промежуток времени; по разным записям современников рассыпаны отдельные крохи, по которым трудно представить последовательность событий: скорее улавливаются впечатления Пушкина, обычно прослеженные эмоциями разных рассказчиков. Если же как-то суммировать тексты почти тридцати мемуаристов, то легко заметить, что разговор явно касался следующих главных тем: 1) прошлое самого Пушкина — его прежние стихи и поведение, 2) прошлое России — оценка 14 декабря и предшествующих событий, 3) настоящее и будущее страны, то есть программа обоих собеседников.

По логике рассказа А. Г. Хомутовой беседа касалась все больше первых двух пунктов — о том, что было. Поэтому прежде всего сопоставим разные свидетельства именно об историческом элементе встречи.

Аркадий Россет: «Император Николай на аудиенции, данной Пушкину в Москве, спросил его между прочим: «Что же ты теперь пишешь?» — «Почти ничего, ваше величество: цензура очень строга». — «Зачем же ты пишешь такое, чего не пропускает цензура?» — «Цензора не пропускают и самых невинных вещей: они действуют крайне нерассудительно».

Адам Мицкевич: «Царь почти извиняется перед Пушкиным в том, что завладел тронном; он полагает, что Россия ненавидит его за то, что он отнял корону у великого князя Константина; он оправдывался, поощрял поэта писать, сетовал на его молчание».

Из этих воспоминаний вырисовывается вероятная логика определенной части разговора: Пушкину говорят о его прошлом, о ранних вольных стихах или о невольном молчании. Поэту легко оправдаться: он сам далеко ушел от крайнего радикализма юношеских стихов и эпиграмм. Очевидно, он защищается так же, как прежде в нескольких письмах к друзьям: «...со мной он <Александр Г> поступил не только строго, но и несправедливо. Не надеясь на его снисхождение — надеюсь на справедливость его».

О несправедливости Пушкин толкует и в одном из писем Жуковскому (уже после восстановления, поэтому выражения выбираются достаточно осторожно): «Его величество, исключив меня из службы, приказал сослать в деревню за письмо, писанное год три тому назад, в котором находилось суждение об афеизме, суждение легкомысленное, достойное конечно всякого порицания».

Мы можем уверенно утверждать, что новому царю Пушкин, пусть в самой корректной форме, сумел пожаловаться на несправедливость старого, на несоответствие постигшей его кары «легкомысленному поступку».

П. Лакруа (со слов М. А. Корфа и других) сообщает, что «Пушкин без труда оправдался в тех подозрениях которые тяготели над ним и которые были последствием его неосторожных отзывов о разных злоупотреблениях; благородно и открыто изложил он пред монархом свои политические мнения...».

Еще в апреле 1825 года, отвечая друзьям на их призывы к благоразумию, отказу от радикальных идей, Пушкин писал: «Теперь же все это мне надоело; и если меня оставят в покое, то, верно, я буду думать об одних пятистопных без рифм».

Откровенные признания, естественные в письмах к Жуковскому, не подходили для объяснения с правительством.

Слишком резкий отказ от прежних идей невозможен, безнравствен и, главное, не соответствует тому, что Пушкин думает на самом деле.

Поэт вырабатывает другую, достойную формулу, которую сначала апробирует в письме Жуковскому от 7 марта 1826 года (явно для передачи «наверх»), а затем включает ее в послание на имя Николая I от 11 мая 1826 года: «...с надеждой на великодушные Вашего императорского величества, с истинным раскаянием» (за «легкомысленное суждение касательно афеизма»); «с твердым намерением не противуречить моими мнениями общепринятому порядку» (XIII, 283).

В этих строках — основа не только письменной, но и устной самозащиты Пушкина; любопытно, что, подчеркивая уже полученное наказание за «прошлые грехи», поэт прибегает к способу, который позже повторит в деле о «Гавриилиаде»: защищаясь, он нарочно отнесет дату создания поэмы к 1818 году вместо реального 1821-го (ведь в 1820-м он наказан, сослан и, значит, подвергся репрессии уже и за этот проступок!).

Царя же больше интересуют свежие, последние «выходки». Дело о распространении не пропущенного цензурой отрывка из стихотворения «Андрей Шеньев» разразилось буквально в те же дни, когда решалась судьба Пушкина.

Согласно воспоминаниям Ф. Вигеля Пушкин оправдался перед царем, утверждая, что «Андрей Шеньев» написан против французских революционеров, казненных в 1794 году замечательного поэта. Меж тем запрещенный цензурой отрывок хотя и обладал якобинцев, звучал в то же время как обвинение всякому деспотизму и тирании, как светлый гимн свободе. Недаром двухлетнее разбирательство по делу о стихах все же завершилось признанием пушкинского сочинения «соблазнительным и служившим к распространению в неблагонадежных людях... пагубного духа». В конце концов поэт, как известно, был признан виновным, но по амнистии прощен, впрочем, с установлением секретного надзора.

Это явилось как бы повторением того «прощения», которое было дано Пушкину за его стихи во время аудиенции 8 сентября.

Тот факт, что царское «прощение» смягчило, но не остановило двухлетнего разбирательства (закончившегося обвинением, амнистией и надзором), очень хорошо отражает всю двойственность отношения властей к Пушкину: поэта проверяли и после «примирения» с царем, конечно, с ведома и санкции самого царя.

8 сентября в «быстрой беседе» Пушкин все объяснил — и царь удовлетворен; но позже, когда дело дойдет до подробностей, до письменных объяснений, откроется, что «согласие разговора» было во многом внешним, иллюзорным. Это хорошо видно и при сравнении других элементов беседы с их последующим письменным эквивалентом, о чем речь впереди.

Впрочем, даже благоприятный разговор о прошлом был острым и опасным. От явных угроз Пушкин сумел защититься, хотя и не до конца, вероятно, нарочито сгущал краски, что ничего не пишет, ибо «цензура очень строга», действительно, после выхода сборника стихотворений 1826 года (поразительно совпавшего с первыми днями вслед за восстанием) поэт почти не печатался: издателю Плетневу было фактически запрещено с ним переписываться...

От частных вопросов насчет давних или позднейших вольных стихов разговор с царем естественно переходит к проблемам общим, ибо поэт подозревают именно в декабристских стихах, декабристских сочувствиях. Повод для перехода от частного к общему — это прежде всего дружеские связи Пушкина с заговорщиками.

«Император долго беседовал со мною и спросил меня: «Пушкин, если бы ты был в Петербурге, принял ли бы ты участие в 14-м декабря?» — «Неизбежно, государь; все мои друзья были в заговоре, и я был бы в невозможности отстать от них. Одно отсутствие спасло меня, и я благодарю за то Небо».

Наиболее острое место беседы. Нам известны еще только два текста, где приводится царский вопрос о 14 декабря и соответствующий пушкинский ответ.

Понятно, царь был совсем не заинтересован в популяризации пушкинской смелости; в 1826 году он желал представить обществу свою милость и раскаявшегося грешника. Естественно, и Пушкин не очень распространял свой ответ насчет 14 декабря —

во избежание дурных толкований как со стороны власти, так и со стороны декабристов.

Уже по одному этому мы имеем право предположить, что вообще самые щекотливые элементы беседы, в особенности то, что касалось декабристов, так и осталось самой сокрытой от современников частью всего эпизода.

Дискуссия поэта и царя о декабризме требует самого тщательного и осторожного разбора. Во многих исследованиях повторяются мысли о тактике, хитрости Пушкина, сумевшего сохранить достоинство и в то же время найти формулу, относительно приемлемую для самодержца. Действительно, поэт апеллирует к тому образу, что Николай стремится играть: образу первого дворянина, царя-рыцаря, который не может не понять правил чести; царь, надо думать, усомнился бы, если б его собеседник начал уверять, что ни при каких обстоятельствах не мог оказаться 14 декабря на Сенатской площади.

Ю. М. Лотман полагает, что в той беседе «Пушкин не отрекся от дружеских связей с декабристами, напротив, он, видимо, умолчал относительно своих глубоких сомнений в декабристской тактике и решительно подчеркнул единомыслие, сказав, что если бы он случился в Петербурге, то 14 декабря был бы на Сенатской площади»<sup>13</sup>.

С этим определением хотелось бы поспорить: во-первых, повторим, что пушкинское «я был бы в невозможности отстать от них» означает не столько единомыслие, сколько соблюдение правил чести; во-вторых, по тем же правилам чести поэт, конечно, не отрицал прямо декабристской тактики. Но параллельно высказывал свой общий взгляд на вещи и этим одним уже формулировал «глубокое сомнение» в декабристских средствах.

Пушкин, явившийся в кабинет царя, был поэтом, прошедшим период дерзкого, революционного отрицания, но приблизительно с 1823 года существенно переменявший свои взгляды на ход и перспективы российской истории. Это был человек, еще накануне в Михайловском дерзкие эпиграммы, но уже успевший на юге написать:

Паситесь, мирные народы!  
Вас не разбудит чести клич.  
К чему стадам дары свободы?  
Их должно резать или стричь.

Это был Пушкин, недавно дружески, душевно общавшийся с друзьями-декабристами, но при том остро, принципиально споривший с Пушциным, Рылеевым, Бестужевым (а прежде вызывавший даже известную враждебность у некоторых особенно непримиримых заговорщиков-южан); Пушкин, который в 1825 году художественно исследует роль народа в «Борисе Годунове», существенно опережая в этом отношении декабристскую мысль; Пушкин, который сожалел, скорбел о гибели и ссылке друзей, братьев, но при этом призывал смотреть на события «взглядом Шекспира», то есть исходить из естественного хода истории, неумолимой «силы вещей»...

При этом великий поэт — свободный человек, сторонник высокого просвещения, сторонник больших преобразований в стране, но не революции в прямом, декабристском смысле слова.

Подобная позиция, сложившаяся еще до 14 декабря независимо от царских репрессий и помолваний, раскрепощала в разговоре с царем.

Ю. М. Лотман справедливо пишет: «Можно предполагать, что какие-то туманные заверения о прощении «братьев, друзей, товарищей» Пушкин получил. Именно с времени этой первой встречи с царем начинается для Пушкина та роль заступника за декабристов, которую он подчеркнул как важнейшее из дел жизни: «...И милость к падшим призывал».

Так высвечивается в кремлевской беседе сложная, деликатная, крайне опасная для Пушкина тема 14 декабря.

«Комплименты царю» и защита опальных декабристов любопытно соединены в книге П. Лакруа «История жизни и царствования Николая I»: «Пушкин честно и искренне воздал его величеству хвалу за мужество и величие души, проявленные так торжественно 14 декабря, и только выразил сожаление о судьбе многих руководителей пагубного дела, обманутых своим патриотизмом, тогда как при лучшем направлении они могли бы принести действительную пользу обществу»<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Ю. М. Лотман. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. Л. 1983, стр. 139.

<sup>14</sup> P. Lacroix. Histoire de la vie et du règne de Nicolas I, v. 2. P. 1864.

Совпадение мотивов у Корфа и французского историка легко объяснимо — Корф был «наставником», одним из главных информаторов Лакруа. И тем знаменательнее, что западный авторитет, специально нанятый для прославления Николая I, сообщает о пушкинском сожалении, об уважении поэта к декабристам.

Почти у всех мемуаристов подобные мотивы отсутствуют. Разве что Хомутова их подразумевает, записывая слова Пушкина: «Государь долго говорил со мною». У подавляющего большинства рассказчиков после разговора о прошлом сразу следует финал.

Х о м у т о в а: «Ты довольно шалил,— возразил император,— надеюсь, что теперь ты образумишься и что размолевки у нас вперед не будет. Присылай все, что напишешь, ко мне; отныне я буду твоим цензором».

Судя по записи Хомутовой и другим воспоминаниям, слова царя «я буду твоим цензором» были наиболее теплым моментом беседы. Кажется, Николай I не поскучился и на другие милостивые выражения.

Первая строка пушкинских «Стансов» «В надежде славы и добра...» — это, конечно, перевод на язык поэзии того, что говорилось политической прозой тремя месяцами раньше во время кремлевской беседы. Слава касалась и прошлого (Борис Годунов, Петр I) и настоящего (война с Персией уже началась, война с Турцией была близка). Эти мотивы, прозвучавшие в беседе, слышны и в первом письме Бенкендорфа Пушкину от 30 сентября 1826 года: «Его величество совершенно остается уверенным, что вы употребите отличные способности ваши на передавание потомству славы нашего Отечества, передав вместе бессмертию имя ваше».

Царские слова, переданные Пушкину через Бенкендорфа, очевидно, автоцитата, повторение (пусть не буквальное) высоких слов, сказанных 8 сентября.

Уже говорилось, сколь редко в записях современников встречается царский вопрос и пушкинский ответ о том, где был бы поэт 14 декабря. Для многих вообще вся аудиенция состоит едва ли не из одной реплики Николая I — «буду твоим цензором». Хомутова, правда, не пропустила пушкинского «император долго беседовал со мною», но, как видно, Пушкин при ней не стал подробно разъяснять...

Долгая беседа. Говорили, по всей видимости, о том, что не могло быть обнаружено и почти не осталось в письмах, дневниках и воспоминаниях современников: о будущем России, о реформах...

Многознающий П. И. Бартенев сообщал: «Пушкин приехал в Москву в коляске с фельдъегерем и прямо во дворец. В этот же день на балу у <маршала Мармона> государь позвал к себе Блудова и сказал ему: «Знаешь, что я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России?» На вопросительное недоумение Блудова Николай Павлович назвал Пушкина».

Но что же имел в виду Николай, когда говорил об «умнейшем человеке России»? Воспоминания современников о встрече не дают ответа. Смелые слова о Сенатской площади не объясняют подобного царского суждения.

Фраза об «умнейшем человеке», обращенная к Блудову, косвенно могла свидетельствовать, что с Пушкиным было говорено о планах будущих преобразований.

Самая интересная часть кремлевской беседы наиболее загадочна. Разговор о добре, славе, просвещении.

## Часть II В НАДЕЖДЕ

...славы и добра...  
А. Пушкин.

### 1

Во вступительной статье к двухтомному изданию «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников» В. Э. Вацуро замечает, что мемуарные сообщения об аудиенции в Москве «концентрируются вокруг нескольких смысловых центров. Первый из них: вопрос царя: что бы вы делали в Петербурге 14 декабря, и ответ Пушкина, что он примкнул бы к своим друзьям на Сенатской площади. Второй — условия некоего договора. По-видимому, это был договор не выступать против правительства, за что Пушкину предоставляется свобода и право печататься под личной цензурой Николая I. Есть основания думать, что Николай I говорил при этом Пушкину о какой-то программе социальных реформ. Но этого уже мемуаристы не сообщают».

Действительно, в основном, хорошо известном корпусе мемуарных свидетельств о

8 сентября практически нет подробностей о самом длительном разделе беседы. Рискованно оперировать косвенными или недостаточно надежными данными о важнейшей части аудиенции. Однако с должной осторожностью это сделать необходимо.

Кроме упомянутой многозначительной реплики царя Д. Н. Блудову о содержании потаенной части разговора в послесловии П. И. Бартенева к публикации пушкинской записки «О народном воспитании» говорится: «Без искательства со своей стороны, можно сказать, без своего ведома, Пушкин, опасавшийся преследований за политические свои связи <...>, был необыкновенно милостиво принят императором Николаем Павловичем в Москве, в Кремлевском дворце, 8 сентября 1826 года. Сколько известно, государь продолжительно беседовал с ним, между прочим о возмущении 14 декабря и о намерениях своих дать прочное основание и направление воспитанию юношества и вообще народному образованию. В течение разговора приказал он Пушкину, чтоб он письменно изложил свои мысли по этим предметам <...>. Мысли нового государя о коренных внутренних преобразованиях, об освобождении крестьян, о народном просвещении, о самостоятельности в делах внешней политики тогда же начали приводиться в исполнение <...>, о чем конечно знал Пушкин»<sup>15</sup>.

Высказываясь подобным образом, Бартенев, очевидно, опирался на воспоминания П. А. Вяземского: записка «О народном воспитании», впервые обнародованная в том же бартеневском издании «Девятнадцатый век», была получена именно от Вяземского; значительную же часть сборника заняла «Старая записная книжка», тоже принадлежавшая Вяземскому (но ее престарелый автор пожелал сохранить инкогнито). Чрезвычайно осведомленный насчет «секретных обстоятельств» пушкинской биографии, Вяземский знал многое и о кремлевской аудиенции 8 сентября 1826 года; постоянно сообщая разные свои воспоминания П. И. Бартеневу, он вряд ли обошел столь важный и таинственный эпизод пушкинской биографии. И некоторые из этих важных сведений (без ссылки на источник) попали в только что цитированную заметку (где Бартенев, не называя автора рассказа, пишет: «Сколько известно...»).

Бедность данных и важность темы заставляют о должной осторожностью обратиться и к двум уже цитированным источникам не очень ясного происхождения и достоверности. Тем не менее только в них — книге П. Лакруа и записках Ю. Струтыньского — можно найти кое-какие детали, дополняющие то немногое, что вычисляется по косвенным соображениям (в связи с Блудовым, Вяземским, Бартеневым).

П. Л а к р у а: «Пушкин <...> благородно и открыто изложил пред монархом свои политические мысли, объяснив, что, будучи ревностным поборником движения вперед, никогда не был сторонником смут и анархии».

Особенно подробно, с беллетристическим многословием описывает эту часть беседы Ю. Струтыньский. Согласно его рассказу, Пушкин признался, что «никогда не был врагом своего государя, но был врагом абсолютной монархии». Царь в ответ говорит о «республиканских химерах»: «Сила страны — в сосредоточении власти; ибо где все правят — никто не правит; где всякий — законодатель, там нет ни твердого закона, ни единства политических целей, ни внутреннего лада. Каково следствие всего этого? Анархия!»

Пушкин возражает, что «кроме республиканской формы правления, которой препятствует огромность России и разнородность населения, существует еще одна политическая форма — конституционная монархия».

Царь уверен, что для России ввиду ее отсталости и огромных размеров эта форма еще не годится; другой аргумент самодержца в пользу самодержавия таков: «Неужели ты думаешь, что, будучи конституционным монархом, я мог бы сокрушить главу революционной гидры, которую вы сами, сыны России, вскормили на гибель ей? Неужели ты думаешь, что обаяние самодержавной власти, врученной мне богом, мало содействовало удержанию в повиновении остатков гвардии и обузданию уличной черни, всегда готовой к бесчинству грабежу и насилию?»

Пушкин будто бы соглашается, но указывает на «другую гидру» — самоуправство административных властей, разращенность чиновничества и подкупность судов России. Россия стонет в тисках этой гидры поборов, насилия и грабежа которая до сих пор издается даже над высшей властью. На всем пространстве государства нет такого места, куда бы это чудовище не досягнуло!.. Что ж удивительного, Ваше Величество, если нашлись люди, решившиеся свергнуть такое положение вещей. Что ж

<sup>15</sup> «Девятнадцатый век. Исторический сборник». М. 1872, кн. вторая, стр. 217—218.



удивительного, если они, возмущенные зрелищем униженного и страдающего отечества, подняли знамя сопротивления, разожгли огонь мятежа, чтобы уничтожить то, что есть, и построить то, что должно быть: вместо притеснения — свободу, вместо насилия — безопасность, вместо продажности — нравственность, вместо произвола — покровительство закона, стоящего надо всеми и равного для всех! Вы, Ваше Величество, можете осудить развитие этой мысли, незаконность средств к ее осуществлению, излишнюю дерзость предпринятого, но не можете не признать в ней порыва благородного!»

Царь находит эту речь поэта слишком смелой и оправдывающей мятеж, но Пушкин повторяет: «Я оправдываю только цель замысла, а не средства». Николай, признав благородные убеждения собеседника, советует быть рассудительнее, опытнее, основательнее и затем толкует о возможных преобразованиях: «Для глубокой реформы, которой Россия требует, мало одной воли монарха, как бы он ни был тверд и силен. Ему нужно содействие людей и времени... Пусть все благонамеренные и способные люди объединятся вокруг меня. Пусть в меня уверуют. Пусть самоотверженно и мирно идут туда, куда я поведу их,— и гидра будет побеждена! Гангрена, разъедающая Россию, исчезнет, ибо только в общих усилиях — победа, в согласии благородных сердец — спасение! Что же до тебя, Пушкин... ты свободен. Я забываю прошлое — даже уже забыл. Не вижу перед собой государственного преступника — вижу лишь человека с сердцем и талантом, вижу певца народной славы, на котором лежит высокое призвание — воспламенять души вечными добродетелями и ради великих подвигов. Теперь можешь идти!.. Пиши для современников и для потомства. Пishi со всей полнотой вдохновения и с совершенной свободой, ибо цензором твоим буду я!»<sup>16</sup>

Снова и снова повторим, что не верим в буквальную точность воспоминаний польского беллетриста; более того — некоторые фразы из речей поэта и царя выглядят неестественно, литературно. Однако если перед нами все же «беллетристические мемуары», ценность их несомненна; они дают первую и, в сущности, единственную версию связного диалога...

Приведем некоторые доводы в пользу серьезного отношения к этому тексту.

1) Особая нелюбовь к Николаю I в Польше, известное предубеждение против Пушкина за его стихи «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» — все это как будто не должно было поощрять польского писателя (да еще публикующегося вне пределов Российской империи, в Кракове) к выдумке, сочинительству, где и царь и Пушкин изображены с явным авторским сочувствием. Кстати, книга Струтынского по этой и другим причинам не имела никакого успеха, осталась совершенно не замеченной в России и была забыта в Польше, пока в 1937 году ее не возродил из небытия известный литературовед Мариан Топоровский;

2) Струтынский, несомненно, тенденциозен; он упрощает, сглаживает реальные отношения поэта и монарха, но при этом подробно развернутый диалог не противоречит тем сведениям, которые можно извлечь из рассказов Корфа, Бладова, из текстов Лакруа, Бартенева, из пушкинской записки «О народном воспитании». Разумеется, можно предположить, что польский писатель компилировал сведения, почерпнутые им из российской периодики. Однако некоторые мотивы, которые есть у Струтынского, отсутствуют или едва намечены в уже опубликованных к тому времени текстах. Таковы рассуждения Пушкина об абсолютной и конституционной монархии, обличения административной и судебной системы. Очень правдоподобны и возражения царя Пушкину не только о необходимости, но и опасности «преждевременных» преобразований, любопытно совпадение взглядов у собеседников на «гангрену, разъедающую Россию». Уместно вспомнить эффектные и демагогические заверения царя (не раз звучавшие в 1825—1826 годах), что, в сущности, он желает того же, что и декабристы: «Зачем вам революция; я сам сделаю все, что вы стремились достигнуть революцией»;

3) продолжая разбирать вопрос о достоверности записок Струтынского, отметим очень правдоподобную и характерную для мышления Николая I логику — насчет «обаяния самодержавной власти» как единственного средства удержать массы в повиновении;

4) Струтынский, вообще идеализирующий Николая, все же представляет его не слишком умным — ведь в словах царя очевиден порочный круг: без самодержавия не подавить «революционной гидры», но не будь самодержавия — не нужна и революция;

<sup>16</sup> В. В. Пугачев, «К эволюции политических взглядов А. С. Пушкина после восстания декабристов», стр. 683—685.

5) в книге Струтынского отсутствует уже опубликованный к тому времени в записках Хомутовой ответ Пушкина на вопрос, что делал бы он 14 декабря в Петербурге. Компилятор вряд ли прошел бы мимо столь эффектного эпизода;

6) фраза царя «цензором твоим буду я» в записках Струтынского логически завершает определенный важный разговор, в то время как в других воспоминаниях она как бы повисает в воздухе: царь «милостив», но почему же обязательно он должен быть цензором Пушкина? Если же речь идет о союзе монархии с «благонамеренными и способными людьми», если царь приглашает поэта делать «общее дело», тогда формула «цензором твоим буду я» как бы скрепляет соглашение: предлагается своего рода союз во имя просвещения; именно царь, уверенный, что дальше других видит задачи широкого, благого просвещения, именно он «лучше других» может понять широкие замыслы поэта...

О том, что примерно такое соглашение было достигнуто, свидетельствуют и очень осведомленные друзья Пушкина: «Государь говорил с ним умно и ласково и поздравил его с волею» (Вяземский).

Беседа заканчивается как будто очень хорошо. Поэт получает свободу жить и творить.

Рассказы Хомутовой, Корфа, Роскета, Вигеля и ряд других завершаются царским прощением и формулой «цензором твоим буду я»; несколько же современников сверх того сообщают эпизод беседы: «Выходя из кабинета вместе с Пушкиным, государь сказал, ласково указывая на него своим приближенным: «Теперь он мой!» (рассказ А. В. Веневитинова в записи А. П. Пятковского). Вера Федоровна Вяземская из рассказа Пушкина о свидании с царем запомнила именно заключительные слова: «Ну теперь ты не прежний Пушкин, а мой Пушкин».

Как видим, финальная «историческая фраза» поощрялась, распространялась столь же широко, как и «цензором твоим буду я». Это был тот внешний, поверхностный итог встречи, который отныне считался общепринятым.

Оптимистические надежды 1826 года, связанные с такой беседой таких людей, зафиксировала, между прочим, и сделанная много лет спустя мемуарная запись Адама Мицкевича — художника, предельно чуждого всяких иллюзий в отношении царя: «Между тем Николай, преемник Александра, как будто готов был смягчить и изменить режим, по крайней мере по отношению к Пушкину. Он вызвал его к себе и дал ему специальную аудиенцию, имел с ним продолжительную беседу. Это было неслыханное событие! Ибо никогда еще не видано было, чтобы царь разговаривал с человеком, которого во Франции назвали бы пролетарием и который в России имел гораздо меньшее значение, чем пролетарий у нас, ибо Пушкин, хотя и был дворянского происхождения, не имел никакого чина в административной иерархии, а человек без ранга не имеет в России никакого общественного значения, его называют «homme honoraire» — существом сверхштатным»<sup>17</sup>.

Аудиенция окончена. Но каков итог, что же случилось?

## 2

Несколько лет спустя, особенно после гибели Пушкина, довольно ясно обозначились два ответа, две версии, две модели того, что произошло 8 сентября 1826 года: 1) царь — благодетель поэта, 2) царь — обманщик, обольститель.

Первый вариант, понятно, был представлен в консервативной, официальной печати. Для его сторонников характерно едва ли не все конфликты поэта с верховной властью списывать на Бенкендорфа, выгораживая царя; идеализация же особого друга е л ю б и я Николая I к Пушкину подкреплялась односторонним истолкованием сохранившихся документов в частности — фальсифицированной версии записок А. О. Смирновой, опубликованных в 1895 году<sup>18</sup>.

Противоположная мысль — про обман, обольщение поэта — высказывалась Мицкевичем, Герценом, автором «Письма из провинции» (вероятно, Добролюбовым или Чернышевским), опубликованного в «Колоколе».

Герцен писал о Пушкине: «Николай I <...> своею милостью... хотел погубить его в общественном мнении, а знаками своего расположения — покорить его».

<sup>17</sup> А. Мицкевич Собрание сочинений в 5-ти томах. М. 1954, т. 4, стр. 93.

<sup>18</sup> Характерный пример такого истолкования — брошюра Е. В. Петухова «Об отношениях императора Николая I и А. С. Пушкина» (Юрьев. 1897).

Н. П. Огарев еще раньше в стихах на смерть Пушкина так писал о царе:

Он зло, и низостно, и больно  
Поэту душу уязвил,  
Когда коварными устами  
Ему он милость подарил  
И замешал между рабами  
Поэта с вольными мечтами.

И сам Пушкин (не о себе ли?) в вариантах поэмы «Езерский»: «...прощен и милостью окован...»

Из девятнадцатого столетия переходим в двадцатое. Подробное научное исследование 1826 года принадлежало П. Е. Щеголеву, который развил версию о Пушкине обманутом, обращавшемся не к Николаю, а к некоему «поэтическому образу царя». Ученый полагал, что «„настоящих“ взглядов царя Пушкин не знал» и что мнения Николая I о Пушкине «оставались такими же при кончине поэта, как они сложились к моменту первого свидания».

Пройдет еще несколько десятилетий, и В. Э. Вацуро заметит: «Условия «договора» Пушкина с правительством не были ни простыми, ни легкими. Николай I не «обманул» его, «умнейшего человека России», вероятно, и не пытался обмануть».

Мы привели лишь малую часть суждений, высказанных учеными пяти-шести поколений. Интереснейший спор, где много еще неясного, противоречивого. Попробуем разобраться не торопясь...

Доводы насчет царя-лицедея, обманщика кажутся как будто неоспоримыми, если углубиться в события, последовавшие сразу после аудиенции.

Вот краткая хроника.

30 сентября 1826 года царское семейство и двор покидают Москву. Один из прощальных фейерверков был посвящен царю и поэзии: «Пегас на вершине Парнаса выбивает копытами Иппокрену и рассыпает лавровые венки для увенчания всех царевых преднамерений»<sup>19</sup>.

В этот момент А. Х. Бенкендорф пишет послание Пушкину, открывающее длинный ряд его наставлений, выговоров, нравоучений, соизволений. Уже начальные строки письма содержат мягкий по форме упрек: «Я ожидал прихода вашего, чтоб объявить высочайшую волю по просьбе вашей, но, отправляясь теперь в С.-Петербург и не надеясь видеть здесь, честь имею уведомить, что государь император не только не запрещает приезда вам в столицу, но предоставляет совершенно на вашу волю с тем только, чтобы предварительно испрашивали разрешения чрез письмо» (XIII, 298).

Иначе говоря, Пушкину следовало бы через несколько дней после царского приема самому прийти, представиться, установить отношения с тем человеком, которого Николай I, видимо, назвал поэту во время беседы (Бенкендорф на ней не присутствовал, но значение его легком и осенью 1826 года непрерывно возрастает).

Снова та же постоянная двойственность, которая видна и до, и во время, и после разговора 8 сентября. Пушкин может приехать в Петербург, когда захочет, но не может приехать без спросу.

Бенкендорф и царь «переговорили» о Пушкине и его занятиях, что ясно видно из продолжения письма (эти строки частично уже цитировались): «Его величество совершенно остается уверенным, что вы употребите отличные способности ваши на передавание потомству славы нашего Отечества, передав вместе бессмертию имя ваше. В сей уверенности его императорскому величеству благоугодно, чтобы вы занялись предметом о воспитании юношества. Вы можете употребить весь досуг, вам предоставляется совершенная и полная свобода, когда и как представить ваши мысли и соображения; и предмет сей должен представить вам тем обширнейший круг, что на опыте видели совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания».

Высокие слова и тут же — угроза с некоторой примесью иронии: Пушкину напоминают его собственный «пагубный» опыт и предлагают на своем примере и нескольких подобных представить этот опыт и, понятно, покаяться.

Поэт получает сложное испытательное задание по самому острому предмету, который был в центре его беседы с царем. В устной форме многое ускользнуло, осталось неясным, слишком эмоционально окрашенным; теперь Пушкина просят выска-

<sup>19</sup> «Московские ведомости», 29 сентября 1826 года.

заться письменно и закрепить на бумаге то, в чем мнения собеседников как будто совпадали.

Письмо Бенкендорфа от 30 сентября 1826 года оканчивалось формально милостивым напоминанием о разговорах 8 сентября: «Сочинений ваших никто рассматривать не будет; на них нет никакой цензуры: государь император сам будет и первым ценителем произведений ваших и цензором. Объявляя вам сию монаршую волю, честь имею присовокупить, что как сочинения ваши, так и письма можете для представления его величеству доставлять ко мне; но впрочем от вас зависит и прямо адресовать на высочайшее имя».

Пушкин не заметил, точнее, не захотел заметить, что и в этих строках любезность сочетается с недоверием. Поэт, судя по октябрьским и ноябрьским письмам 1826 года, оживлен, полон планов, вдохновлен успехом своего «Бориса Годунова», прочитанного в нескольких московских кружках; в начале ноября отправляется в Михайловское, чтобы забрать вещи, в первую очередь рукописи (о чем и думать не мог двумя месяцами раньше). И с той же вольной беззаботностью, с какой не догадался нанести визит Бенкендорфу в сентябре, не догадывается ответить, «как положено», в октябре.

22 ноября 1826 года Бенкендорф написал еще раз — из Петербурга, он ядовито напомнил, что не имеет извещения о получении Пушкиным его первого письма, но заключал, что оно дошло до адресата, «ибо, вы сообщали о содержании оного некоторым особам».

Пушкину напоминают, что за ним зорко следят.

30 сентября поэту мягко объяснили, что он «может» представлять свои сочинения Бенкендорфу или непосредственно царю; теперь же вместо расплывчатого глагола мочь появляются новые, более жесткие интонации: «Ныне доходят до меня сведения, что вы изволяли читать в некоторых обществах сочиненную вами вновь трагедию. Сие меня побуждает вас покорнейше просить об уведомлении меня, справедливо ли таковое известие или нет».

Записка «О народном воспитании» задумывалась и составлялась Пушкиным как раз между двумя посланиями шефа жандармов, между первым, сентябрьским, в котором поэт нашел больше милости, чем там было, и вторым, ноябрьским, где (по словам самого провинившегося) «уже (очень мило, очень учтиво) вымыли голову» (XII, 312). В этот период слежка властей за прощенным весьма интенсивна.

Замечание, выговор из Петербурга, собственно говоря, относились не только к Пушкину, но и к его аудитории, являлись предостережением против свободного чтения еще не разрешенных сочинений, против того энтузиазма, с которым Москва встречала Пушкина осенью 1826 года...

15 ноября 1826 года — эту дату Пушкин поставил в конце белой рукописи своей записки, сочиненной и перебеленной в Михайловском всего за несколько дней.

В тот день он не знал, не предполагал головомойки 22 ноября. Впрочем, именно в это время поэт особенно живо, остро переживает события последних месяцев; рисует виселицу, пишет: «И я бы мог...»

Рукопись «О народном воспитании», посланная царю, сохранилась: текст Пушкина и пометы Николая; опять беседа — пусть и заочная.

«...воспитание, или, лучше сказать, отсутствие воспитания есть корень всякого зла. Не просвещению, сказано в высочайшем манифесте от 13-го июля 1826 года, но праздности ума, более вредной, чем праздность телесных сил, недостатку твердых познаний должно приписать сие своевольство мыслей источник буйных страстей, сию пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча нравов, а конец — погибель. Скажем более: одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия» (XI 43—44). Пушкин, как видим, пробует взять себе в союзники самого царя, вернее, подписанный им манифест...

И тем не менее царь чтением этих строк недоволен: он выставляет вопросительный знак против слов «отсутствие воспитания есть корень всякого зла» и еще один — против фразы о просвещении, которое в состоянии «удержать новые безумства, новые общественные бедствия».

Пушкин сформулировал главную мысль: ведь 8 сентября собеседники как будто

договорились, что просвещение важно, необходимо; более того, Николаю нравилось, что Пушкин верит в просвещение, а не в восстание; монарх как будто предлагал союз, совместные действия на ниве просвещения: «пиши, я буду твоим цензором». Само поручение составить записку о воспитании не есть ли признак того, что поэт сочтен знатоком этой проблемы, с ним советуются?

Но царь хорошо знает, что ему нужно. В манифесте от 13 июля, написанном рукою Сперанского, не совсем та, а точнее говоря, совсем не та мысль, которую старается извлечь оттуда Пушкин: в официальном тексте, правда, оговорено, что на просвещение вина не возлагается, но и не утверждается, будто «одно просвещение» панацея от всех бед. Царский манифест требовал более всего и прежде всего верноподданнических чувств, смирения, благонамеренности: «Да обратят родители все их внимание на нравственное воспитание детей <...>. Не от дерзостных мечтаний, всегда разрушительных, но свыше усвершаются постепенно отечественные установления, дополняются недостатки, исправляются злоупотребления».

Николаю уже и теперь (а в дальнейшем все больше!) нравятся пусть мало просвещенные, мало воспитанные, но безоговорочно преданные престолу люди, как из высшего сословия, так и из простого народа. Поэтому не «отсутствие воспитания», а недостаток воспитания в официальном духе, недостаток благонамеренного усердия — вот где для царя и Бенкендорфа «корень всякого зла». Вопрос же о том, может ли просвещение «удержать новые безумства», для власти более чем спорен и сомнителен.

Герцен позже не раз замечал, что пушки, расстрелявшие декабристов, одновременно били и в Петра Великого, вокруг памятника которому выстроились восставшие.

В самом деле, никто не думал объяснять события 14 декабря дикостью, невежеством — тем, чем веком раньше объясняли сопротивление стрельцов, сторонников царевича Алексея и других противников власти. Нет, восстали просвещенные и даже просвещеннейшие люди, и не случайно Карамзин перед смертью опасался, что теперь на волне подавления усилится «аракчеевское невежество».

Правительство хорошо понимало, что без просвещения ему никак нельзя — иначе не будет пушек, кораблей, дорог и других вещественных признаков силы; даже самые реакционные деятели режима формально были людьми просвещенными, во всяком случае, получившими «приличествующее воспитание».

Итак, без просвещения нельзя, но и с просвещением нельзя; каким образом сохранить все положительные, необходимые стороны просвещения, но избежать его постоянных спутников: вольности, либерализма, революции — вот коллизия, о которой постоянно размышляли Николай I и его люди. «Свод показаний членов тайных обществ о внутреннем состоянии государства», переданный для секретного рассмотрения высшим должностным лицам империи, не случайно начинался с раздела «Воспитание». До и после пушкинской записки царь постоянно поощрял к высказываниям на ту же тему многих лиц, и в конце концов располагал целым сводом разных мнений. Большинство авторов кроме суждений по частным вопросам высказывало и общие соображения, обычно хорошо представляя, чего от них ждут. Писали, что сначала — послушание, потом — образованность..

Неужели Пушкин не понимает? Но ведь поэт 8 сентября как будто находил общий язык с монархом насчет просвещения...

Без сомнения, мотив благонамеренности и тогда звучал в речах Николая, однако Пушкин как бы не все расслышал — не хотел расслышать! Он в тот момент более был увлечен положительной стороной разговора, нежели предостережением, угрозой. Теперь же два вопросительных знака Николая I (а за ними целый град других) как бы объясняют Пушкину то самое, в чем он признался в одном из писем Бенкендорфу: «...худо понял высочайшую волю государя».

Впрочем, приятелю Алексею Вульффу поэт чуть позже скажет по поводу записки «О народном воспитании»: «Я был в затруднении, когда Николай спросил мое мнение о сем предмете. Мне бы легко было написать то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтоб сделать добро».

Выходит, Пушкин знал, что рискует, но все же не мог вообразить, что царь уж так обидится, что, «договорившись» насчет просвещения 8 сентября, они не сговорятся два-три месяца спустя!

Еще раз повторим, что правительственная точка зрения включала и мысль о необходимости известного просвещения — иначе бы диалог и не начался. Но Пушкин пред-

лагает больше доверять науке, учению. Более того, говорит царю комплименты и еще скажет, несколько раз сравнив его с Петром I, который «сеял просвещение»...

Между тем, прочитав первые страницы записки, царь уже выработал на нее общий взгляд, который сохранит до конца: пока поэт констатирует недостатки воспитания, незрелость молодежи, другие отрицательные стороны российской жизни, Николай с этим соглашается. Так же как при встрече с глазу на глаз, когда они вместе, дополняя друг друга, перечисляли разные российские неурядицы. Однако как только дело доходит до способов улучшить, исправить положение, царь возмущен в корне неверной, по его мнению, позицией Пушкина.

Пушкин оканчивает записку. Неоднократно апеллирует к двухмесячной давности аудиенции, повторяет на бумаге многое из того, что было сказано устно. Понимая, что власть была бы довольна куда большим изъявлением верноподданности и смирения, не предвидит, однако, на полях своей рукописи тридцати пяти царских вопросительных знаков (при одном восклицательном!), помет, отрицавших почти все, что он предлагал. И, разумеется, дело не в том, что сам поэт вряд ли когда-либо узнал о царском карандаше на листах его записки, дело в объективной сути вещей... К тому же вежливое сообщение Бенкендорфа от 23 декабря 1826 года довольно точно передавало общее царское мнение о мыслях Пушкина, высказанных в записке: «Государь император с удовольствием изволил читать рассуждения Ваши о народном воспитании и поручил мне изъяснить Вам высочайшую свою признательность. Его величество при сем заметить изволил, что принятое Вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее Вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание. Впрочем, рассуждения Ваши заключают в себе много полезных истин» (XIII, 314—315).

Итак, десятки вопросительных знаков слились в несколько строк «резюмирующей»: не просвещение и гений основа российского прогресса, а «прилежное служение», верноподданические идеи.

Пушкин считает, что просвещение укрепляет эту систему, но царь и Бенкендорф отводят учености второстепенную и третьестепенную роль: сначала верноподданность, а уж потом — просвещение и гений...

Выходило, что Николай уже знал ответ задачи, которую ставил Пушкину, и смысл записки — в проверке самого Пушкина.

Выходило, что Пушкин неверно понял разговор о просвещении, на котором будто бы сошелся с царем 8 сентября.

Создавалось впечатление, что достигнутое прежде — теперь оспорено, берется обратно.

Снова и снова у исследователей возникает соблазн представить все в виде простой логичной схемы: в сентябре Пушкина обманули — теперь обман открылся... В самом деле, написанные, кажется, еще в Пскове, но завершённые в Москве пушкинские «Стансы» («В надежде славы и добра...»), очень комплиментарные по адресу царя и оспаривающие подозрения Бенкендорфа, будто поэт неблагодарен, — эти стихи Пушкин перебелил накануне нового, 1827 года, но не торопился отдавать их в печать.

Во-первых, неясно было, понравятся ли Николаю строки, где ему посредством похвалы Петру Великому рекомендуется любовь к просвещению («Стансы» в этом смысле — явная параллель записке «О народном воспитании»), не поставит ли царь вопросительного знака против строк. «Но правдой он привлек сердца, но нравы укротил наукой».

Можно также предположить, что Пушкин не печатал уже готовые «Стансы» из чувства обиды «Борис Годунов» фактически запрещен — поэт извещал 3 января 1827 года Бенкендорфа и царя, что «не в силах уже переделать мною однажды написанное». Записка «О народном воспитании» встречена неблагоприятно. В конце декабря Пушкин провожает в сибирский путь Марию Волконскую, передает высокие сочувственные слова декабристам, а вскоре с другой декабристкой, Александрой Муравьевой, посылает в Читу послание «Во глубине сибирских руд...».

Д. Д. Благой справедливо отметил, что «даже ссылка Пушкина формально, юридически не была прекращена — он как бы числился во временной отлучке; на просьбу

матери поэта 30 января 1827 года об официальном даровании ее сыну прощения «высочайшего соизволения не последовало». Царь отказывал тем самым Пушкину и в посещении Петербурга.

Между тем все тянется и тянется дело об «Андрее Шенье».

4 марта Пушкину сделан еще один, правда легкий, выговор за то, что он осмелился передать Бенкендорфу свои стихи через Дельвига.

Схема, казалось бы, опять оправдывается: поэт и царь, мнимо сблизившись, удаляются... Однако живая жизнь сложнее, многообразнее любой схемы. 3 мая 1827 года царь через Бенкендорфа все же передает Пушкину разрешение приехать в Петербург, впрочем, напоминая о честном слове поэта «вести себя благородно и пристойно». Здесь, в столице, Пушкин, уже искусившийся в тонкостях этикета, просит аудиенции у Бенкендорфа. Шеф жандармов, очевидно, переговорил по этому поводу с царем, потому что на прощении сохранилась царская карандашная резолюция, покрытая лаком: «Пригласить его в среду в 2 часа в Петербурге».

6 июля 1827 года Пушкин впервые посетил Бенкендорфа и, кажется, впервые познакомился с ним не только по письмам. Эта аудиенция была как бы уменьшенным повторением кремлевской встречи 8 сентября 1826 года.

О второй встрече сведений немного, кроме общего замечания Бенкендорфа: «Он все-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет выгодно». Во всяком случае, в ближайшие месяцы Пушкин новых выговоров не получает; и очень знаменательно, что через несколько дней после аудиенции, 20 июля, поэт пересылает шефу жандармов несколько своих последних сочинений, в их числе и «Стансы», написанные восемь месяцев назад.

22 августа Бенкендорф отвечает довольно милостиво и сообщает, между прочим, о разрешении «Стансов». Стихотворение «В надежде славы и добра...» появляется в январе 1828 года.

Итак, летом 1827 года Пушкина опять (как и годом раньше) «простили».

Публикация «Стансов» имела немалые последствия для формирования общественного взгляда на Пушкина и его творчество. По существу, это была первая печатная декларация поэта о его «примирении» с властями и новым порядком вещей.

Декабристы и связанные с ними круги, как известно, восприняли «Стансы», в общем, враждебно или настороженно, власти же продолжали двойную игру. Чуть позже поэт вспомнит, что его отношения с правительством — поминутно «то дождь, то солнце».

Однако настало время снова вернуться к вопросу, заданному несколько ранее, о результатах встречи 8 сентября 1826 года.

Первая беседа Пушкина с царем фактически продолжается в тексте и на полях записки «О народном воспитании», в серии явных и тайных событий, разыгравшихся вокруг поэта сразу же после его возвращения из ссылки, в чередовании выговоров и прощений, слезки и опеки. Эти переходы властей от милости к головомойке и обратно означают ли только тактику, лицемерие или нечто более сложное? Без сомнения, правительство «воспитывало» Пушкина, сознательно переходило от поощрения к наказанию, но исчерпана ли только этим трудная проблема взаимоотношений?

Вопрос столь же любопытный, сколько сложный: там, наверху, только ли обманывали или сами колебались, а порою в известном смысле были «обманываться рады»?

Тем же, кто скажет: какое в конце концов значение имели тайные помыслы, пусть даже «иллюзии» Николая, наше ли дело во всем этом разбираться? — тем ответим: иначе многого не понять в помыслах, надеждах, иллюзиях, творческих планах Пушкина в один из интереснейших, важнейших моментов его биографии.

В самой идее сопоставления пушкинской биографии с одновременными явлениями внутренней и внешней политики автор данной работы пытался следовать методу С. М. Бонди, который реконструировал беседу Пушкина с царем, сопоставляя, с одной стороны, задачи, стоявшие перед Николаем I в первые месяцы его царствования, и с другой стороны, основные моменты мировоззрения Пушкина в эту эпоху и политический опыт, накопленный им к этому времени...»<sup>20</sup>.

<sup>20</sup> Сборник «Пушкин. Исследования и материалы». Т. IV, стр. 420.

Итак, чего в самом деле хотели верхи?

Общ и й политический курс: арестовано и сослано множество людей — террор, страх... Но в то же время отставлены Магницкий, Рунич, Аракчеев и некоторые другие одиозные фигуры прошлого царствования; свод декабристских показаний передан для серьезного секретного рассмотрения. С начала 1826 года обозначился довольно популярный курс во внешней политике, восточном вопросе, тогда как прежде общественное мнение было раздражено безразличием Александра I к судьбе восставших греков, и т. п.

Крестьянский вопрос: царские рескрипты министру внутренних дел от 19 июля и 6 сентября 1826 года предписывали дворянам «христианское и сообразное с законами обращение с крестьянами». Крестьянский вопрос — один из главных в открывшемся 6 декабря 1826 года секретном комитете (В. П. Кочубей, П. А. Толстой, И. В. Васильчиков, А. Н. Голицын, И. И. Дибич, М. М. Сперанский, Д. Н. Блудов, Д. В. Дашков, позже М. А. Корф). Царь приказал членам комитета выяснить, «что ныне хорошо, чего оставить нельзя и чем заменить... Как материалы к сему употребить... Еженедельно уведомлять меня при наших свиданиях об успехах дела, которое я почитаю из важнейших моих занятий и обязанностей. Успех, который опытом докажется, будет лучшая награда трудящимся (членам комитета.— Н. Э.), а мне душевное утешение»<sup>21</sup>.

25 апреля 1827 года царь передал в комитет одобренную им записку М. М. Сперанского. Смысл идеи Сперанского заключался в некоторых частных узаконениях, прежде всего — в запрещении продавать крепостных без земли. Эта мера, по мнению автора записки, «прекратит личную продажу их в виде собственности или движимого имущества; уничтожит то унизительное понятие, какое внутри и вне России имеют о рабстве крестьян». Сперанский заканчивал записку надеждою, что «прекращение всех сих и сим подобных стеснений послужило бы наилучшею мерою постепенного перехода из крепостного в свободное состояние».

Как видим, слова произнесены весьма важные: крепостных крестьян хотят уравнять с казенными (государственными), толкуют о переходе «в свободное состояние», и все это не «болтовня для газет и иностранцев», но секретнейший деловой разговор меж главными лицами империи!

Именно в те дни и недели, когда Пушкин в Петербурге был «прощен» вторично — 31 августа 1827 года, на сорок шестом заседании «Комитета 6 декабря» началось обсуждение плана Сперанского — Николая I. Мы чуть позже вернемся к результату этого обсуждения, пока же констатируем: Николай I в 1827 году, выступая как глава правящего класса, предлагал дворянству в его же интересах поступиться частью своих прав ради сохранения остального. Разумеется, все делается за плотно закрытыми дверями; но разве госпожа де Сталь не заметила, побывав в России, что здесь все тайна — и ничего не секрет?

Кроме крестьянского дела в этот же период обсуждались и многие другие важнейшие элементы общественной и политической жизни.

С а м о д е р ж а в и е. Николай I — апологет неограниченной власти, уверенный, что это единственно возможная для России форма правления. Ни о каких демократических, конституционных преобразованиях речь идти не может, и в этом одном уже существенное отличие от регулярных возвращений Александра I к идеям известного ограничения самодержавия. Однако после 1826 года делаются попытки укрепления законности; в течение нескольких лет группа дельных чиновников проводит работу по кодификации, завершленную в начале 1832 года изданием «Полного собрания законов» и «Свода законов Российской империи».

Одновременно власть стремится укрепить и расширить социальную опору режима: «Комитет 6 декабря» предлагает способы для учреждения среднего состояния, иначе говоря — определенного поощрения буржуазных элементов. Для этого разрабатывается проект, реализованный в начале 1830-х годов, о почетном гражданстве; параллельно осуществляются и другие меры, поощрявшие промышленное развитие и буржуазию: учреждение Мануфактурного совета, открытие Технологического и Лесного институтов, преобразование горного законодательства, поощрительная таможенная система.

<sup>21</sup> Сборник Императорского русского исторического общества (далее РИО). СПб. 1891, т. 74, стр. XVI.



Все это, разумеется, было направлено не к ослаблению, а к укреплению господствующей системы; однако подобные меры даже объективно, независимо от воли их создателей способствовали развитию капитализма, постепенному подтачиванию «незыблемых устоев»; а кроме того, в 1826—1830 годах одни проекты подобных реформ даже у скептиков и «людей оппозиции», естественно, вызвали надежды на «славу и добро»: ведь еще неизвестно было, как пойдет дело дальше — в то время как революционных возможностей, революционных сил в стране уже не было. И еще не было...

Учебные заведения. Одним из первых николаевских секретных комитетов был учрежденный 14 мая 1826 года Комитет устройства учебных заведений. Царь требовал, чтобы «дело шло поспешнее», и в 1828 году новый устав был утвержден. В нем уже заметны охранительные тенденции, что особенно расцвели в 1830—1850-е годы: усиление надзора за учебными заведениями, новые препятствия «неблагородным соловьям» в их тяге к образованию и т. д. Но в 1826—1830-х годах отмена некоторых александровских запретов и гонений создала известное оживление и в области просвещения: сильно ослаб натиск мистического фанатизма, столь явный в 1821—1825 годах, и т. п.

Цензура. О ней уже говорилось. Напомним хронологическую канву главных событий в этой области<sup>22</sup>.

1826 год, начало января. Николай I отдает повеление министру народного просвещения А. С. Шишкову «о скорейшем приведении к окончанию дела об устройстве цензуры».

10 июня 1826 года. Шишковский («чугунный») цензурный устав утвержден царем — поспешная реакция испуганной власти на 14 декабря. Смысл устава — в сильнейшем контроле над словесностью: не только «пресечение» вольных сочинений, но и проникновение в намерения авторов, прямое вторжение правительства в литературу.

Лето 1826 года. Появление ряда записок влиятельных верноподанных лиц, где выражается сомнение в эффективности подобного устава. Один из создателей Третьего отделения фон Фок советует Бенкендорфу овладеть общественным мнением, которое «не засадишь в тюрьму, а прижимая его, только доведешь до ожесточения».

Главный же аргумент Шишкова, который он приводит, отвечая своим критикам: устав уже подписан царем 10 июня 1826 года, и, стало быть, не о чем толковать.

Такова была цензурная ситуация перед отъездом царя в Москву на коронацию. Затем вдруг происходят перемены.

15 ноября (в тот день, когда Пушкин оканчивает записку «О народном воспитании») — смелая докладная записка влиятельного прогрессивного сановника Д. В. Дашкова «О цензурном уставе».

21 ноября. Царь фактически соглашается на пересмотр «чугунного» устава: «В стране, где все было регламентировано до последней запятой, произошло неслыханное событие: явочным порядком комитет приступил к пересмотру цензурного устава!»<sup>23</sup>

1827—1828. Тайная выработка нового цензурного устава (его возможные авторы-редакторы Д. В. Дашков, Н. И. Греч, В. Ф. Одоевский).

22 апреля 1828 года. Царь утверждает новый цензурный устав, значительно более либеральный, чем прежний. На другой день Шишков уходит в отставку.

Столь редкостное явление, как замена одного коренного установления другим в течение столь краткого времени, оказало сильное влияние на тогдашнее состояние умов. М. И. Гиллельсон безусловно прав, отмечая, что «на первых порах отмена цензурного устава 1826 г. возбудила надежды на торжество более либеральной литературной политики. Надо думать, что и Пушкин не избежал подобных иллюзий <...>. Борьба вокруг цензурного устава в какой-то мере отразилась на творческих замыслах Пушкина».

Таковы были в самом общем виде противоречивые политические обстоятельства конца 1820-х годов. Кроме ряда демагогических деклараций высшей власти, направленных к усилению авторитета, популярности и страха в народе, — кроме обмана, нужно отметить довольно значительные колебания правительства в выборе курса. История

<sup>22</sup> Она восстанавливается главным образом по содержательной работе М. И. Гиллельсона «Литературная политика царизма после 14 декабря 1825 г.» — «Пушкин. Исследования и материалы». Л. 1978, т. VIII, стр. 195—218.

<sup>23</sup> Там же, стр. 208.

цензурного устава — пример особенно наглядный, но подобные же качания наблюдались и в крестьянском вопросе.

Казалось бы, царское одобрение записки Сперанского — решающий аргумент для «Комитета 6 декабря». Однако высшие сановники, связанные сотнями нитей с правящим дворянским сословием, находят способы замедления и противодействия даже частным, отнюдь не коренным мерам ограничения крепостничества. Они мастерски топят проект, которому сочувствует сам царь.

На сорок шестом заседании Комитета (31 августа 1827 года) по поводу записки Сперанского было занесено в журнал: «Комитет, отдавая полную справедливость достоинству сего труда, но находя, что в деле столь важном надлежит действовать с величайшею осторожностью и предусмотрительностью, положил, что записка тайного советника Сперанского долженствует еще быть внимательно и подробно рассмотрена каждым из членов в особенности, а потом снова внесена в комитет для общего рассуждения»<sup>24</sup>.

Между тем «Комитет 6 декабря» придумал очень хитрый план, который и был через Кочубея доложен Николаю. Это ярчайший пример сопротивления, казалось бы, ничем не ограниченному самодержцу со стороны могучего бюрократического аппарата. Все соображения Николая как будто приняты (иначе и нельзя — царю не возражают!). В записке Кочубея ясно говорится об «унизительном, противоестественном торге людьми», с сожалением и даже презрением упоминаются «необразованные, закоснелые в грубых привычках» крепостники. Однако от согласия с монархом комитет переходит к запугиванию: напоминает, что «класс помещиков... закоснелых», «к сожалению, еще многочисленный, любую меру в пользу крестьян они могут счесть стеснением», и хотя это не должно остановить «мудрое и твердое правительство», с другой стороны, возможны «всякий ропот, всякое волнение умов». Речь идет, понятно, о сопротивлении правительству справа.

Царя пугают и тут же предлагают меру, которая могла бы резко ослабить впечатление от нового закона: нужно растворить его в обширном комплексе других законопроектов, в основном благоприятных для дворянства; получив ряд новых прав и льгот — дворянские пансионы, пенсии, существенные препятствия разночинцам в получении дворянства, — получив все это, «благородное сословие», по мысли Комитета, легче проглотит и закон о непродаже крестьян без земли...

И Николай I отступил. Согласился на подготовку большого многосложного «закона о состояниях»; немедленные меры в пользу крепостных были таким образом отложены на длительный срок.

Итак, осенью 1827 года аппарат, реакционное дворянство добились отсрочки, проволочки, взяли верх над скромными реформаторскими планами высшей власти. Кочубей демагогически допускал, что новый закон будет готов к 6 декабря 1827 года — «дню тезоименитства его императорского величества», на самом же деле целых три года, с 1827-го по 1830-й, «Комитет 6 декабря» подготавливал «закон о состояниях», пока наконец текст его не был одобрен Государственным советом.

Трехлетняя задержка! Но вот закон готов, не хватает только царской подписи.

Однако Николай почему-то медлит, не подписывает. А затем, не решившись сразу утвердить столь важный акт, посылает его на «апробацию» старшему брату Константину в Варшаву. Надо думать, и здесь уже сработали тайные силы, могучие механизмы давления.

Константин отозвался довольно быстро и определенно. 15(27) июня 1830 года в особой записке он решительно не советовал утверждать новый закон. Он полагал, «что касательно существенных перемен, содержащихся в тех проектах, лучше было бы отдать их еще на суд времени». В условиях 1830 года Константин, явно выступая в унисон с многочисленным дворянством, уверенно советует не делать ничего.

Так могучий бюрократический механизм, то предлагая издать общий закон (в 1827-м), то оспаривая его в пользу частного улучшения (в 1830-м), а затем и это опровергая, ловко замедлил, отложил в долгий ящик, утопил весьма серьезный проект Сперанского, имевший, впрочем, дальний прицел на общую «эмансипацию» крепостных. Не возражая прямо, вернопокладно кланяясь, бюрократия добилась своего.

Царь испугался, отступил, а тут в 1830—1831 годах — новый тур европейских революций, польское восстание, все это подарок крепостнической оппозиции, усиливающий эффект запугивания...

<sup>24</sup> Сборник РИО, стр. 153.

Мы должны ясно представлять, что Николай I, беседующий с поэтом 8 сентября 1826 года и выставляющий вопросительные знаки на записке «О народном воспитании», — это царь, только что подписавший «чугунный» цензурный устав, но уже готовый уступить, это правитель, еще надеющийся улучшить чиновничество и суды, готовящий проект сначала некоторого обуздания, а в дальнейшем ограничения крепостного права.

Разумеется, даже в самые «либеральные» свои минуты Николай во взглядах сильно не совпадает с Пушкиным. Поэт верит в преобразующую роль просвещения — царь тоже хотел бы кое-что преобразовать, но просвещения побаивается, так как даже само это слово несколько отдает декабризмом. Пушкин призывает царя «держаться» — царь находит в этом дерзость. Пушкин «глядит вперед без боязни» — царь — «с боязнью».

Однако при всем несопадении, недоверии, страхе Николай I в 1826 году еще не представляет и малой доли тех трудностей, тех «уважительных причин», которые остановят, сведут на нет даже самые умеренные планы его реформ.

Понадобятся потрясения Крымской войны, угроза новой пугачевщины, чтобы уже в следующем царствовании власть все же пошла на освобождение крестьян.

В 1820—1840-х годах дворянство, высшая бюрократия были уверены, что все еще «не так страшно», что нет необходимости идти на большие уступки, успеется...

Исследователи не раз отмечали, как опасно судить о начале николаевского режима по всему царствованию, в частности по его последним годам. В. В. Пугачев в названной выше работе справедливо отмечал, что «многие русские прогрессивные деятели поверили в серьезность реформаторских намерений нового царя. В это поверили даже некоторые декабристы, заключенные в Петропавловскую крепость... Следует отметить, что в николаевской политике было два аспекта: реальная политика и проекты. Эти линии отнюдь не совпадали. И если для потомков очевиднее были реальные результаты, то для современников гораздо важнее казались проекты. Именно они и порождали иллюзии о реформаторстве Николая I, создавали представление о нем как о новом Петре Великом. Именно они оказывали наибольшее влияние на общественную мысль 1830-х годов — в том числе и на Пушкина».

Стремись резче, определеннее разоблачить этого монарха, историки и литературоведы, сами того не замечая, подчас наделяют его чертами столь яркой личности, какими он не обладал. Не станем отрицать известных актерских данных Николая, умения при случае надевать разные маски, в зависимости от характера собеседника — угрожать, подкупать, льстить... Некоторые пушкинские иллюзии в отношении царя действительно объясняются доверчивостью — особенностями благородной души поэта, который ведь сам написал (через год после возвращения из ссылки): «...тонкость редк соединяется с гением, обыкновенно простодушным, и с великим характером, всегда откровенным» (XI, 55—56).

Почти век спустя видный пушкинист Н. О. Лернер напишет, что во время беседы в Кремле «„умный покорил мудрого“. Младенчески-божественная мудрость гениального певца, человека вдохновения, уступила осторожной тонкости»<sup>25</sup>. Подобные объяснения легки, соблазнительны, к тому же и не совсем лишены смысла. Все это надо учитывать. Но всего этого недостаточно, чтобы объяснить всю психологическую противоречивость аудиенции 8 сентября, царского «прощения», последующих отношений.

Ю. Струтыньский при его многословии все же как-то пытался воссоздать сложнейшее состояние поэта 8 сентября; и если мы даже не совсем поверим мемуаристу, будто он «сам слышал» все это от Пушкина, то по крайней мере по достоинству оценим его собственную гипотезу: Пушкин (согласно свидетельству польского писателя) говорил о царе: «Не купил он меня ни золотом, ни лестными обещаниями, потому что знал, что я непродан и придворных милостей не ищу; не ослепил он меня и блеском царского ореола, потому что в высоких сферах вдохновения, куда достигает мой дух, я привык созерцать сияния гораздо более яркие, не мог он и угрозами заставить меня отречься от моих убеждений, ибо кроме совести и бога я не боюсь никого, не задрожу ни перед кем. Я таков, каким был, каким в глубине естества моего оста-

<sup>25</sup> А. С. Пушкин. Собрание сочинений (под редакцией С. А. Венгерова). СПб 1909, т. III, стр. 337

нусь до конца дней; я люблю свою землю, люблю свободу и славу отечества, чту правду и стремлюсь к ней в меру душевных и сердечных сил»<sup>26</sup>.

Действительно, Пушкина, великого сердцеведа, можно было обмануть, пожалуй, только самообманом, реальными идеями, которые он легко отличал от позы. Царь, говоря о будущем России, о реформах, которые он намерен осуществить, предлагая поэту участвовать в общем деле (а для того — «я буду твоим цензором»), — говоря все это, Николай (мы можем уверенно утверждать) был в немалой степени «сам обманываться рад».

Знаменитый прогрессивный историк народнического направления В. И. Семевский, которого невозможно заподозрить в симпатиях к Николаю I, находил, что «царь искренне желал подготовить падение крепостного права в России, но, во-первых, встретил сильное противодействие со стороны своих ближайших сотрудников, а во-вторых, и сам был готов довольствоваться весьма мало важными мерами, из которых многие оставались без всякого результата»<sup>27</sup>.

Опасно преувеличить этот мотив — тогда царь может вдруг явиться слишком уж «либеральным», но, отвергая факт собственных иллюзий Николая I, можно нарушить принцип историзма, судить о 1820-х годах сквозь призму 1840-х, 1850-х и более поздних лет, переоценить талант царя-лицедея и не понять Пушкина-сердцеведа.

Переходы же от милостивого 8 сентября к раздраженному чтению записки «О народном воспитании», а затем снова «к милости» («то дождь, то солнце») — все это вряд ли следует объяснять одним двуличием верховной власти (хотя, повторяем, элементы лжи, лицемерия при сем, конечно, присутствуют). Царский обман все бы объяснял, если курс, политика в 1826 году были бы совершенно ясными, определенными; на самом же деле мы видим, как в 1826—1830 годах очень многое еще оставалось неясным. Невозможно говорить о единой четкой политической линии Николая I в первые годы его правления. Множество существенных фактов говорит о колебаниях нового правительства между репрессиями, жестким курсом и сравнительно гибким реформаторским направлением.

Двойственность, качание политического курса Николая I были главной исходной причиной двойственного отношения к Пушкину (и, разумеется, не только к нему). Царь не раз сознательно применяет то меры поощрения, то головомойку, но надо постоянно иметь в виду неуверенность в выборе окончательного курса, без этого многого не понять во взаимоотношениях поэта с «высокими опекунами».

Позже, когда правительственный курс станет более определенным (хотя известная двойственность полностью никогда не исчезнет), некоторые суждения и оценки 1826—1827 годов покажутся «далекой стариной», требующей нового осмысления и пересмотра. Любопытно, что Е. П. Ковалевский, биограф Д. Н. Блудова, много лет спустя, сопоставляя начало и конец николаевского правления, стремился оправдать своего героя и некоторых других сравнительно либеральных министров Николая I ссылкой на Пушкина (впрочем, в окончательный текст книги Ковалевского приводимые далее строки не вошли): «Всякий, кто хотя немного был знаком с Пушкиным, знает, что, когда он хвалил царя, то уж точно «хвалу свободную слагал»; всякий, кто вспомнит двадцатые годы столетия, скажет, что точно бодро и честно и деятельно Николай Павлович начал свое правление. Все это умолчено или забыто, благодаря тем мерам строгости и особенно произвола, до которых довели, с одной стороны, беспрестанные мятежи и революции в Европе, с другой — благонамеренные и злонамеренные трусы и посредственные умы, окружавшие его и удалившие многих, в которых он сначала имел наиболее сочувствия. Один из них (сохранивший, впрочем, прежние отношения к государю), выходя из сената после прений о цензуре в 1849 году, сказал графу Блудову: «Посмотрите на этих людей, как они используют революции! Говорят, будто их делают для них и их выгоды»...»

Затем следует отрывок, зачеркнутый его автором или редактором: «Графа Блудова Николай Павлович всегда искренне уважал и употреблял с охотой и доверием,

<sup>26</sup> В. В. Пугачев, «К эволюции политических взглядов А. С. Пушкина после восстания декабристов», стр. 681.

<sup>27</sup> В. И. Семевский. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века. СПб. 1888, т. II. (О реформаторских проектах в период царствования Николая I писали также А. Е. Пресняков, Н. М. Дружинин, В. В. Пугачев и другие историки.)

но в личном к нему чувстве он охладевал по мере того, как уклонялся от прежнего направления, и только в последний год или два опять воротился к прежним отношениям и откровенно с сочувствием стал к нему обращаться вне формальных отношений по его службе. Но уже было поздно, вся приверженность, вся любовь к царю лично и к нему как к представителю России людей таких, как был граф Блудов, не могли изменить в несколько месяцев работу многих лет, тех мер, в которых так грустно являлась темная картина, описанная поэтом, когда он говорит:

...льстец лукав:  
Он горе на царя накличет...  
Он скажет: просвещенья плод—  
Разврат и некий дух мятежный!

Но этой печальной стороны ничто не предвещало в первые светлые годы царствования, и историческая истина требует, чтобы не смешивали вместе двух периодов, столь различных»<sup>28</sup>.

Разумеется, мы вовсе не собираемся принять концепцию двух периодов в той форме, как ее представил Ковалевский. Так же как его упрощенную схему внутренней политики конца 1820-х годов и отношений Пушкина с Николаем I. Однако записи Ковалевского об усилении произвола, трусости, о боязни революций, записи, сделанные явно со слов важного государственного человека, министра Блудова, представляют определенную ценность. Если уж столь верный слуга престола чувствовал охлаждение к себе царя, то что говорить о людях, далеко не столь близких, не столь понятных Николаю I.

Это неплохо видно и по тому, как задним числом менялись царские впечатления и рассказы о первой встрече с поэтом.

## 5

Теперь, когда мы проанализировали основные воспоминания и рассказы о первой аудиенции, когда сопоставили с устной беседой письменный диалог (записка «О народном воспитании»),— теперь настало время обратиться к двум другим мемуарным свидетельствам, которые пока в нашем рассказе упоминались лишь мельком.

Речь идет о двух позднейших записях, восходящих к царю и его кругу.

Напомним, что царь сначала поощрял довольно идиллическую версию встречи: все повторяли при дворе и в обществе, что поэт прощен; пересказывалось царское «я буду твоим цензором» и «это мой Пушкин»; Блудову вечером 8 сентября 1826 года царь говорил о беседе с «умнейшим человеком»... Никаких холодных, отрицательных нюансов современники, кажется, не слышат, не знают. Чуть позже, когда Пушкин передает друзьям, что ему «вымыли голову», образ первой беседы все равно остается неизменным: постоянно даже возникает контраст между «теплой» кремлевской аудиенции и последующим неудовольствием, холодом.

Однако пройдут годы, и осведомленный чиновник Третьего отделения М. М. Попов сообщит, что, оказывается, во время аудиенции Пушкин «приперся к столу... почти сел на этот стол. Государь быстро отвернулся от Пушкина и потом говорил: «С поэтом нельзя быть милостивым»<sup>29</sup>.

В 1826 году М. М. Попов был слишком незначительным лицом и слишком молод, чтобы получить сведения из первых и даже вторых рук: апогей его карьеры относится к 1840-1850-м годам. Именно в эту пору он был уже лицом, приближенным к Бенкендорфу и другим столпам высшей политики (впрочем, поддерживал и старое знакомство с Белинскими). От кого бы непосредственно ни слышал Попов то, что записал, его версия, конечно, исходит не от Пушкина, а от Николая I и движется «по служебной линии» через Третье отделение.

В рассказе Попова обратим внимание на любопытные слова о государе, который «потом говорил», что «с поэтом нельзя быть милостивым». Потом — это позднейший взгляд царя, уже укрепившегося, куда более уверенного в жестком курсе и, кажется, забывшего свои же эффектные, «добродушные» формулы, произнесенные в беседе с Пушкиным в сентябре 1826 года.

<sup>28</sup> См.: Е. П. Ковалевский. Граф Блудов и его время. СПб. 1866; ЦГАДА (Центральный государственный архив древних актов), ф. 1274, оп. 1, № 730, лл. 8—26.

<sup>29</sup> «РС», 1874, № 8, стр. 691.

Ясно, что поначалу царь как будто не помнит нарушения Пушкиным этикета, однако позже, потом почему-то к этому возвращается и задним числом все больше раздражается...

Подобную же эволюцию царских воспоминаний мы находим в известных строках Корфа, фиксирующих разговор 1848 года. Текст мемуаров крупного чиновника, лицейского одноклассника Пушкина, очевидно, основан на дневниковых записях. Ведь Корф довольно точно запомнил обстоятельства, при которых царь заговорил о поэте: «В апреле 1848 года я имел раз счастье обедать у государя императора. За столом, где из посторонних, кроме меня, были только графы Орлов и Вронченко, речь зашла о лицее и оттуда — о Пушкине»<sup>30</sup>. Воспроизведем рассказ Корфа полностью (по тексту, опубликованному в 1900 году):

«Я,— говорил государь,— впервые увидел Пушкина после моей коронации, когда его привезли из заключения ко мне в Москву совсем больного и покрытого ранами от известной болезни.— Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге? — спросил я его между прочим.— Стал бы в ряды мятежников,— отвечал он<sup>31</sup>. На вопрос мой, переменялся ли его образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пушу его на волю, он наговорил мне пропасть комплиментов насчет 14 декабря<sup>32</sup>, но очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания протянул руку, с обещанием — сделаться другим. И что же? Вслед затем он, без моего позволения и ведома, ускакал на Кавказ! К счастью, там было кому за ним присмотреть. Паскевич не охотник шутить. Под конец жизни Пушкина, встречаясь часто в свете с его женою, которую я искренно любил и теперь люблю как очень добрую женщину<sup>33</sup>, я советовал ей быть сколько можно осторожнее и беречь свою репутацию и для самой себя, и для счастья мужа, при известной его ревности. Она, верно, рассказала это мужу, потому что, увидясь где-то со мною, он стал меня благодарить за добрые советы его жене.— Разве ты и мог ожидать от меня другого? — спросил я.— Не только мог,— отвечал он,— но, признаюсь откровенно, я и вас самих подозревал в ухаживании за моею женою.— Это было за три дня до последней его дуэли».

Запись М. А. Корфа часто цитируется в отрывках, отчего теряется ее цельность, исчезает контекст царского обращения к встрече 1826 года.

Поражает неприязнь, злость и, пожалуй, даже отвращение, с которым царь говорит о Пушкине с его старинным знакомым (впрочем, Корф, как это видно по его другим воспоминаниям, смотрел на Пушкина примерно так же, как и царь, и при передаче разговора 1848 года, возможно, даже сгустил какие-нибудь детали не в пользу Пушкина).

Создается впечатление, что с годами Николай I все больше и больше недоволен Пушкиным и посылает ему, так сказать, посмертный выговор.

Царь предвзят; он вдруг толкует в самом дурном смысле, не имея на то никаких оснований (кроме гнусных слухов), даже внешний облик доставленного к нему поэта; можно почти ругаться, что, как и в рассказе М. М. Попова, все это было «замечено» и вдруг поставлено Пушкину в укор не сразу, а много лет спустя; можно уловить вероятную связь между первыми строками царского рассказа Корфу и темой Натальи Николаевны: смысл царского рассуждения, по-видимому, в том, что вот Пушкин, столь «нечистый», еще смел потом быть ревнивцем и подозревать самого Николая I!

Как видим, на Пушкина, впервые входящего в царский кабинет, здесь уже смотря сквозь призму последующих событий, сквозь дуэльную историю 1836—1837 годов.

Если отвлечься от частностей, то общая тональность записи Корфа: Пушкину нельзя было верить — он царя обманул. Даже прямодушное признание, что 14 декабря он был бы на площади, здесь ставится поэту в вину (в тексте 1899 года упрек, что поэт отвечал, видите ли, «не запинаясь»), к тому же сразу за этой сценой следует

<sup>30</sup> «РС», 1899, № 8, стр. 310. (Полгода спустя в том же журнале (1900, № 3, стр. 574) была опубликована другая, несколько отличающаяся от предыдущей, редакция того же рассказа. Трудно определить, имеем мы дело действительно с двумя варианциями текста Корфа или с поправками и сокращениями публикаторов.)

<sup>31</sup> В тексте, напечатанном в 1899 году,— «отвечал он, не запинаясь».

<sup>32</sup> Выделенные слова в тексте 1899 года отсутствуют.

<sup>33</sup> В тексте 1899 года далее следует: «Я раз как-то разговорился с нею о коммерциях, которым ее красота подвергает ее в обществе».

царское «и что же?», а затем явно раздутый, неблагоприятно искаженный эпизод с поездкой поэта на Кавказ. Ответ насчет 14 декабря задним числом кажется особенно дерзким и потому, что в этом рассказе он сближен с непочтительной, дерзкой отповедью императору незадолго до «последней его дуэли»: «...признаюсь откровенно, я и вас самих подозревал...»

Между непосредственной реакцией современников на «прощение» Пушкина (1826) и записью М. А. Корфа прошла целая эпоха. В 1848 году Пушкина уже нет, Николаю I еще семь лет царствовать. Царь ожесточен начинающимся новым туром европейских революций, исполнен губительной самоуверенности как во внутренней, так и во внешней политике, отказывается от последней попытки (1846—1847) продвинуть вперед крестьянское дело. Более того, практика царствования показала, что, воздержавшись от преобразований, Николай I может расширять свою самодержавную власть, не опасаясь того дворянского сопротивления, которое ясно ощущается, как только речь заходит о реформах.

Подводя самый отрицательный итог своим отношениям с Пушкиным, Николай, сам того не замечая, в известной степени отрицает и собственное прошлое, некоторые идеи первых лет своего царствования.

Несколько поколений прогрессивных российских мыслителей находили, что поэт был царем обманут. Сам же Николай считал, что, наоборот, Пушкин его обманул!

И царь, конечно, в парадоксальном смысле был прав. 8 сентября он толковал с поэтом о просвещении, намекал на реформы, предлагал действовать сообща. Ну что ж, Пушкин и действовал: за десять последних лет жизни в Москве, Арзруме, Оренбурге, Болдине, Петербурге он завершил «Евгения Онегина», написал «Полтаву», «Домик в Коломне», «Анджело», «Медного всадника», «Историю Пугачева», «Капитанскую дочку», «Маленькие трагедии», «Повести Белкина», сказки, около двухсот стихотворений и каких!.. Если бы он бросил писать или сочинял, «как прикажут», тогда действительно выходило бы, что обманул, оболгил царь.

Но Пушкин, отдавая порою известную дань иллюзиям, идеализируя коронованного собеседника, так много совершил — гениального, благородного, просвещающего, — что смешно и странно говорить, будто его о б м а н у л и. Он сделал то, что желал, — его взяла!

Царь же со своим делом не справился — не оправдал надежды на «славу и добро» и оттого в 1848 году гневается, хулит.

В самом деле, раздраженные, злые слова относительно величайшего поэта, именно в николаевское время создавшего лучшие произведения, гения, уже погибшего, — вся эта желчная тирада в беседе с Корфом прозвучала в устах Николая I как приговор самому себе, своей системе...



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. КАЦЕВ,  
Б. ХЕССИН,  
заслуженный деятель искусств РСФСР



## В ЛИТЕРАТУРЕ И НА ЭКРАНЕ

### О телевизионном кино

**Е**сли всмотреться внимательно в поток кинопроизведений на телеэкране, поглощающем их с обескураживающей быстротой, можно выделить два важных момента.

Первый — это своеобразная экспансия многосерийного фильма, довольно быстро захватившего ключевое место в телепрограммах. Второй — изобилие экранизаций известных литературных произведений. И следует сказать: как ни много убедительных побед у кинематографа в этой области, лишь здесь, на телеэкране, удачная экранизация воздействует на десятки миллионов людей! На этих двух часто перекрещивающихся направлениях творческих усилий и поисков и возникают наиболее актуальные проблемы нашего телевизионного кинематографа.

Почему наряду с ободряющим числом художественно ярких произведений мы видим на телевизионном экране и откровенно маловыразительные картины? И откуда это удручающе слабое владение профессиональным мастерством, узкий диапазон мышления, невысокий вкус у ряда наших сценаристов, режиссеров, операторов? Как и почему возникла проблема так называемого трудного фильма? Попробуем поразмышлять об этом.

Какую сторону сложного и противоречивого процесса взаимоотношений между экраном и зрителем ни затронуть, мы прежде всего столкнемся с проблемой идейно-эстетических критериев. Они обуславливают многое, начиная с возникновения и художественного воплощения авторского замысла в ходе производства телефильмов и кончая оценкой, характером

их приема разными слоями зрителей и критикой. Начнем с писем, с этого самого главного и пока что наиболее ощутимого и действенного канала обратной связи.

Множество самых разных зрительских писем приходит ежедневно в редакции газет, журналов, на киностудии, телевидение, выплескивая чувства радости, негодования, удивления, сомнения, просьбы, пожелания по поводу виденных фильмов. В основном телевизионных. О них пишут чаще. Наверное, потому, что чаще видят.

Количество откликов на ту или иную картину бывает большим, что объяснимо, или непонятно малым. В первом случае иногда их число доходит до многих десятков тысяч, как, например, на телефильмы «Семнадцать мгновений весны», «Приключения Электроника», «Как закалялась сталь», «Гостя из будущего». На фильмы, которые по тем или иным причинам не понравились, откликов обличительных обычно не так уж много — десяток-другой. Причина, видимо, в том, что радостью человек делится охотнее, чем огорчением.

Практика показывает, что результаты направленных социологических исследований аудитории, данные о характере приема, оказанного фильму основной массой зрителей, совпадают, как правило, с мнением даже десятков (не говоря уж о сотнях) зрителей, единодушно выраженным в письмах. Так что письма следует читать и изучать не только из одного лишь интереса и уважения к ним — это довольно-таки чуткий барометр...

Лет двадцать назад рассуждения о телефильмах не обходились без хотя бы краткого напоминания об особой его специфич-



ке: соединении выразительных средств кинематографа, театра и так называемой прямой телепередачи (видеозаписи в те годы еще не существовало, отсюда и ряд особенностей зрительского восприятия, связанных с непосредственным выходом программы в эфир). Непременными элементами игрового телефильма объявлялись крупный план, небольшое число действующих лиц, примат слова над изображением, наконец как весьма желательный прием, «документальный» человек в кадре.

Шло время. По разным причинам наспех сформулированная эстетика не прижилась в телевизионном кино. Многие картины, не смотря на то, что были лишены набора как бы непрременных для телефильма приемов и средств художественного выражения, имели вместе с тем очевидный успех у телезрителей. И даже несомненная удача таких картин, как «Семнадцать мгновений весны», «Леонардо да Винчи», «Театр», «Подпольный обком действует», словно специально созданных в доказательство специфики телефильма, принципиально ничего в общей практике не изменила.

Практика же эта характеризуется тем, что есть создатели телефильмов, которые делают ставку на камерность действия и почти интимность контактов между экраном и зрителем; есть художники, которые пришли из телевидение из большого кино и, соответственно, принесли его опыт. Кстати, и те, кто работает на кинопрокат, ныне нередко заимствуют у телекино выразительные средства, приемы конструирования сюжета, ибо что-то новое, счастливо найденное на съемочных площадках телевидения, явно на руку и им.

Так, после крестоматийных образцов кинофильмов, оказавшихся особенно сродни телеэкрану, — «Двенадцати рассерженных мужчин» и «Мари-Октябрь», помянутых во множестве статей и книг о телефильме, — мы увидели немало их формальных аналогов вплоть до «Репетиции оркестра» Ф. Феллини и «Послесловия» М. Хуциева, словно специально рассчитанных на малый экран и его особый контакт со зрителем. И в то же время телевидение создало для себя на киностудиях такие фильмы, как «Хождение по мукам», «Берега», «Вечный зов», которые ничуть не проиграли бы, будь они показаны на большом экране (а может быть, в чем-то и выиграли).

Как известно, на свет редко появляется и почти никогда не привлекается то, в чем нет общественно обусловленной необходимости. И в то же время не всякое откры-

тие умирает, не найдя в данный момент полезного применения. Афоризм «новое — это хорошо забытое старое» не только остроумен, но нередко и справедлив.

В свое время на телевидении бытовал перешедший из радиовещания «Литературный театр». Он умер, не успев по разным причинам наилучшим образом проявить заложенные в нем достоинства. Но вот спустя десятилетия телезрители увидели поставленный Б. Галантером необычный телефильм о Бетховене, затем о Пушкине, где явно проступили контуры забытого «Литературного театра».

Вероятно, пройдет какое-то время, и мы увидим на телевизионном экране кое-что из еще не использованного арсенала прошлых лет, помогающее сделать телефильм органичным для восприятия на малом экране.

В размышлениях критиков о специфике телевидения наряду с заблуждениями, неоправданными требованиями и не оправдавшимися прогнозами были и весьма точные наблюдения. Поэтому очевидно, что забвение специфики телефильма, отсутствие острого интереса к этой проблеме у работников телекино — дело все же временное. Просто одну проблему вытеснили другие.

Поясним свою мысль. Телевизионное кино должно удовлетворять все возрастающий спрос на фильмы, отражающие весь спектр тем и жанров прокатного кино. А если быть точнее — еще более широкий спектр. Кинозрители, превратившись в огромную армию телезрителей, котя у себя дома увидеть все то, что они ранее находили в обширном кинорепертуаре. Естественно, что в этих условиях забота о появлении интересных телефильмов, прежде всего игровых, о расширении их тематики, жанров стала первоочередной, отодвинув в дальний угол такие проблемы, как поиск специфики формы телефильма.

Начав со странных гибридов театрального спектакля и кинофильма (как, например, фильм «Наташа» М. Орлова, в котором многие видели новое и перспективное слово в телевизионном кинематографе), телевидение со временем все более сближало свои фильмы с произведениями обычного кино, не забывая об апробированных средствах, приемах и особенно уповая на притягательность, силу эмоционального воздействия многосерийных лент, которые стали счастливым открытием не только для телевизионного кинематографа, но и для телевидения в целом.

Вслед за первыми многосерийными работами режиссера С. Колосова «Вызываем огонь на себя» и «Операция «Трест», освоившими военно-приключенческую тематику, появляются сериалы на темы революции, гражданской войны, а затем и на современные темы. А вслед за ними комедийные, музыкальные, детские...

Все чаще в телевизионное кино приходят крупные мастера, все чаще названия телефильмов появляются в списках работ, удостоенных Ленинской и Государственной премий. «Адъютант его превосходительства», «Как закалялась сталь», «Жарк Маркс. Молодые годы», «Семнадцать мгновений весны», «Берега», «Старший сын», «Место встречи изменить нельзя», «Мы — нижеподписавшиеся», «Странные взрослые», «Уроки французского», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Авария»; и особой строкой — экранизации классики: «Анюта», «Станционный смотритель» и «Маленькие трагедии», «Подросток» и «Мертвые души», «Гамлет Щигровского уезда», «Казаки», «Каштанка», «Три года», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Эти картины были созданы для телевидения и вызвали интерес большой зрительской аудитории.

Сериал, как известно, придумали не на телевидении. С незапамятных времен он существовал в литературе. Ожидание английским читателем на пороге своего дома почтальона, который должен доставить очередную главу диккенсовского романа, вообще уже похоже на ожидание на экране очередной серии, скажем, «Вечного зова» или «Эвина Друда»...

На Западе бытует мнение, что кино- и телесериалы никогда не отличаются художественными открытиями и не претендуют на это. Возможно, иногда так оно и бывает. Мы бы позволили себе дать этому объяснение.

Многосерийная картина (больше, чем одно- или двухсерийная) является картиной массового спроса. Содержанием, характером трактовки жизненного материала, стилистикой она должна отвечать интересам и вкусам возможно большего числа зрителей и быть воспринята ими без затруднений. Здесь, как правило, с осторожностью относятся к новизне структуры произведения, непривычным элементам языка или формы изложения.

Однако подобное «правило», если оно и существует, вовсе не толкает художника к какому-либо единообразию решений, не

исключает серьезных художественных достоинств многосерийных картин. В качестве примеров достаточно назвать такие высокопрофессиональные, художественно выразительные многосерийные экранизации, как «Хождение по мукам», «Мертвые души», «Отцы и дети», «Приключения Тома Сойера», «Берега», «Моя жизнь» и ряд других.

Многосерийная картина, как известно, прельщает ее авторов и зрителей возможностью подробно рассматривать душевное состояние персонажей, наблюдать проявление своеобразных характеров, сложное, нередко противоречивое поведение действующих лиц; в случае экранизации литературных произведений — видеть их почти полностью, без досадно больших купюр. При этом хотя и видят и динамично развивающееся действие, относительную завершенность сюжета каждой серии с загадкой в финале, обещающей интересное продолжение. Не случайно сериалы детективно-приключенческого характера пользуются у большинства телезрителей особым успехом.

И здесь мы подходим к весьма острому моменту, который можно обозначить так: киносериал и современность.

Нет смысла объяснять, почему современная тема особенно близка зрителю, а между тем большие удачи здесь не так часты... Приключенческой ленте, детективу прощается многое, даже явные просчеты, за остроту переживаний, за саму интригу. В фильме о современности обидно видеть непохожую жизнь, проблемки вместо проблем, недоразумения вместо тех реальных конфликтов, с которыми зрители сталкиваются в жизни. А коль скоро такие конфликты в фильмах редки, зритель привыкает к безликому жизненному пейзажу. И вот парадокс — при появлении в той или иной картине о сегодняшнем нашем дне по-настоящему острой, конфликтной ситуации иной зритель начинает... протестовать, ибо острота «не по правилам».

Когда, например, появился фильм «Мы — нижеподписавшиеся», поставленный по пьесе А. Гельмана талантливым режиссером Т. Лиозновой, в основе которого подлинная и остросовременная проблема, среди многих зрительских откликов, приветствующих правдивость картины («Заставляет думать над смыслом человеческих взаимоотношений» — Бутыркина, *Альма-лык*; «Надо сделать все, чтобы интересы народа всегда были сверху, гниль уничтожалась беспощадно, где бы она ни обосновалась» — В. Корнилова, Москва), были в

письмах и такие фразы: «Но стоит ли так обнажать жизнь?» Большинство все же ответило на это сомнение твердо и четко: да, стоит! Когда читаешь письма взволнованных картиной зрителей, лучше понимаешь значение открытой критики, гласности, осуществлению которой способствует художник.

Лет пятнадцать назад Центральное телевидение показало английский телефильм «Сага о Форсайтах» — двадцатипятисерийную экранизацию одноименного романа Дж. Голсуорси, которая уже тогда заставила задуматься о некоторых особенностях восприятия сериала. Помните одного из главных героев романа — Сомса? Холодный, замкнутый, нечуткий, он заставлял читателя глубоко сочувствовать его жене Ирэн...

Экранизация вновь приковала внимание к знакомым персонажам романа. И что же? Мы с удивлением ощущали — с каждой серией сильнее, — что наше прочно сложившееся впечатление о Сомсе как бы меняется. Почему? Авторы фильма отошли от романа? Ничуть! Перед нами пример крайне пietetного переложения романа на язык телекино. Дело в том, что многосерийный фильм дал нам возможность привыкнуть к постоянному присутствию Сомса и как бы рассмотреть его, высветил разные стороны всегда бесконечно сложного душевного мира человека. В отношениях с Ирэн раскрылся не только собственник, но и страдающий человек; нам дали возможность разглядеть в этом человеке, подчас малопривлекательном, его всепоглощающую, а в конце жизни жертвенную любовь к дочери. И многое другое.

Зачеркнул ли фильм определение «собственник»? Нет. Но он расширил наше представление об этом человеке и тем, быть может, побудил в какой-то мере задуматься о неоднозначности не только героя фильма, но человека вообще.

Конечно, литература богата приемами и возможностями, ни с чем не сравнимыми. Пока, судя по всему, она богаче кинематографа. Не случайно самые тонкие по мысли и краскам страницы романа, отведенные интерлюдиям о старике Джолионе и Ирэн, не вошли в такой многообъемный фильм. Авторы его, видимо, не надеялись создать достойный этих страниц кинематографический аналог. Однако о внутреннем мире Сомса его зримый образ поведает, кажется, больше, чем словесная ткань талантливого романа.

Киностудия «Ленфильм» делает для телевидения многосерийный фильм «Жизнь Клима Самгина» по роману М. Горького. Сложный, противоречивый образ главного героя, склонного то к порядочности, то к беспринципности и моральной неразборчивости, в ходе длительного пребывания на экране может пробудить к себе у зрителей чувства, которые не предполагал вызвать у читателей романа его автор. Тут и возникает необычная, в чем-то парадоксальная художническая задача: дать такое освещение центральной фигуры, при котором у зрителя не появилось бы сочувствие герою, идущее от длительного контакта с ним и способное увести от писательского замысла, — иными словами, дать зрителю возможность все понять, но не все простить.

Разговор о многосерийном телевизионном фильме редко обходится без полемики вокруг фигуры автора картины, выступающего от собственного лица или как бы перепоручающего эту роль другому, призванному комментировать действие. Приходят на память фильмы «Операция «Трест», «Леонардо да Винчи», «Мертвые души», «Театр», «Грядущему веку», где роль автора была различна и «местоположение» разное — то в кадре, то за кадром. Прямой авторский монолог в игровом телевизионном фильме возник не случайно. Художественный телефильм в свое время испытывал серьезное воздействие документальной части телевизионной программы, в которую включался и прямой комментарий — элемент почти обязательный. Кроме того, впервые объединенная телевидением огромная аудитория заставила задуматься о том, как соотносить разные уровни зрительских восприятий, представляемых с более или менее общим пониманием авторского замысла. В какой-то мере этому-то и содействовало появление в игровом сюжете «документального» автора. Однако вопрос о нем не мог быть решен однозначно, ибо практика оказалась противоречивой.

Во-первых, появление автора в кадре неизбежно разрушало иллюзию подлинности происходящего, гасило эмоциональный отклик зрителя на экранное действие, апеллируя к рассудку. Во-вторых, не всякое действие, как выяснилось, нуждается в авторском комментарии — нередко можно было видеть искусственность, нарочитость совершенно лишнего в данном случае приема. В-третьих, ошибочным представлялся то выбор на роль комментатора специалиста в той или иной области, то

актера на роль специалиста. Ни тот, ни другой выбор обычно не устраивал. Стоит упомянуть также и о том, что подлинно телевизионные фильмы (подобные, скажем, ленте о Леонардо да Винчи) кинорежиссеры большого кино, для которых работа для телевидения не была единственным и главным занятием, делать не собирались и никто их к этому, включая и самих зрителей, слишком сильно не побуждал. Все это привело к тому, что разговоры о важности фигуры автора, комментатора продолжались, а места ему, по существу, не находилось. Чаще автору поручалась комментирующая роль за кадром, да и то обычно тогда, когда фильм явно не удавался и все надежды приходилось возлагать лишь на комментарий, чтобы склеить рвущиеся нити вялого сюжета, прикрыть неотвированность поступков персонажей.

И все-таки отказываться от фигуры автора, непосредственно обращающегося к зрителю, как не оправдавшей себя в практике создания телевизионного художественного фильма, вряд ли следует. Комментатор мог бы, например, помочь зрителям легче войти в телевизионную версию романа «Хождение по мукам», которая вызвала поначалу разноречивые отклики. В этой связи нелишне заметить, что при повторном просмотре телеварианта «Хождения по мукам» многие зрители, не сумевшие принять новый фильм в момент премьеры, смягчили свой приговор («Во второй раз я воспринял фильм менее болезненно. Это, пожалуй, наилучшее режиссерское решение, сейчас кинокеров я встретил как наиболее адекватных типажам литературного оригинала Толстого», — пишет зритель Осозна из Саратова).

Выступление автора, комментатора перед показом фильма органично телевидению. Однако его присутствие особо необходимо, когда зрителям предлагается посмотреть непростое для восприятия произведение, как, например, экранизацию романа «Полросток» Ф. М. Достоевского. Менее других читаемое, трудное произведение великого писателя, в котором такой, к примеру, образ, как Версилов, даже специалистами считается неуловимым для сколько-нибудь определенной оценки, конечно же, нуждается в пояснениях, наведении зрителей на особенности языка Достоевского и данного произведения, в частности (фильм ужесточает и упрощает почти любое литературное произведение уже одним тем, что заменяет образ, рождаемый сотворчеством писателя и читателя, зримым, конкретным образом, создаваемым актером, и точ-

ное попадание уже по одной этой причине чрезвычайно трудно; зрителю надо еще привыкнуть к новому, по существу, образу, чтобы принять его).

Однако существует мнение и иного рода. Говорят, что если фильму понадобился толкователь, значит, создатели его оказались несостоятельными в решении стоявшей перед ними художественной задачи. Они уверяют, что недосказанное в образной системе картины не может быть продуктивно дополнено иным способом.

Есть в этих суждениях своя логика, но полностью их принять нельзя. Дело не столько в том, чтобы что-то досказать (в конце концов, важно, чтобы произведение было не только понято, но и прочувствовано), сколько в том, чтобы направить восприятие в нужное русло. Не досказать, но подсказать!

Важно, чтобы появление фигуры автора, комментатора вписывалось в стилистику картины. Как, скажем, это умело сделано в многосерийной ленте «Семнадцать мгновений весны» — здесь голос Е. Копеляна стал важной, неотъемлемой и в высшей степени органичной частью картины.

Размышляя об особенностях развития многосерийного фильма, мы невольно наталкиваемся на ряд противоречивых моментов. Вспоминается поговорка, гласящая, что часто недостатки есть продолжение достоинств.

Многосерийность воспринимается как великое благо, ибо дает возможность при экранизации больших и значительных памятников литературы не упрощать их до фабульной схемы. Но порой случается и иное, когда каждый словесный штрих, мимолетную авторскую обмолвку, замечание, воспоминание и бог знает что еще экранизаторы стремятся превратить в зримую кинематографическую деталь, метафору, образ, а порой и развернуть в целый эпизод. В результате подобная «близость» к первоисточнику уводит зрителя от него весьма далеко, разрушая стилистику произведения, искажая авторский замысел. Примеров этому немало и в кино и на телевидении.

Мы не разделяем мнение Д. Урнова, высказанное им на страницах «Литературной газеты», о том, что последняя экранизация «Бесприданницы» делалась не по мотивам произведения А. Н. Островского, а, как он выразился, «по другим мотивам». Но то, что «другие мотивы» в практике экранизации классики еще встречаются, есть факт несомненный.

Телевидение часто обращается к экранизации прозы и театральной драматургии по многим причинам: тут и нехватка добротных оригинальных сценариев, и большая гарантия конечного успеха. Попутно скажем, что экранизация достойного литературного произведения обогащает не только репертуар, но и саму режиссуру, актеров духовным потенциалом, благотворно сказывается на их творчестве.

В течение многих лет в устных и печатных дебатах об экранизациях повестей и романов, особенно после иной картины, явно не удавшейся авторам, возникает вопрос: полезна ли в принципе экранизация? Говорится о том, что экранизация отвращает зрителей, особенно молодых, от чтения литературных первоисточников, заставляет их ограничиться обедненными мыслями и образами (а при экранизации потери, купюры всегда неизбежны). Говорится и о том, что читательскую активность экранизация заменяет пассивной созерцательностью кино- и телезрителя, получающего готовый, зримый образ, в создании которого не участвовала его фантазия, не трудилась душа. Вспоминают не только высказывание Феллини о том, что экранизация даже в лучшем случае может дать лишь иллюстрацию литературной первоосновы, но и Ф. М. Достоевского, говорившего: «Есть какая-то тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдет себе соотвествия в драматической».

Начнем свои возражения этому направлению в критике с первого тезиса — что экранизация отвращает людей от чтения. Наоборот, есть убедительные факты, свидетельствующие, что после каждого успеха в этой области очередь за экранизированной книгой в библиотеках растет. Далее. Никто не может опровергнуть той истины, что иные значительные произведения литературы, не прочитанные в детстве и юности, для немалого числа людей так и остаются «закрытой книгой». Не говоря уж о том, что чтение в детские годы оставляет больше белых пятен, чем даже не совсем удавшаяся экранизация. И даже иллюстрация этих произведений, экранизация с определенными потерями есть результат со знаком плюс.

Что же касается высказывания Ф. М. Достоевского, к авторитету которого так часто обращаются в спорах, то следует иметь в виду, что приводимую выше цитату предваряют другие слова писателя. В письме В. Д. Оболенской Достоевский благодарит за стремление перенести на сцену его роман «Преступление и наказа-

ние», хотя и высказывает сомнение в конечном успехе предприятия. «...конечно, я вполне согласен,— пишет он,— да и за право взял никогда таким попыткам не мешать; но не могу не заметить Вам, что почти всегда подобные попытки не удавались, по крайней мере, вполне». Здесь нет категорического отрицания пользы инсценировки.

Насчет же разноречивых мнений о том, следует ли автору экранизации держаться сюжетных линий книги или достаточно сохранить авторскую идею и стержневую мысль, то стоит примириться с тем, что однозначного ответа здесь нет и быть не может.

Близость букве литературного первоисточника не помешала добиться успеха ни Р. Виктюку, поставившему гоголевских «Игроков», ни С. Соловьеву — постановщику «Станционного смотрителя» по А. С. Пушкину. Однако она не способствовала, как нам кажется, более полному выражению гоголевской идеи в ряде эпизодов фильма М. Швейцера «Мертвые души». Вольное отношение к литературной основе не поставишь в упрек ни Н. Михалкову, сделавшему фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино», ни Б. Галантеру, режиссеру фильма «Кое-что из губернской жизни». И в том и в другом случае Чехов, как говорится, не пострадал. Однако подобная вольность не принесла успеха фильмам «Остров сокровищ» по Стивенсону или «Трест, который лопнул» по О'Генри. А многие экранизации даже не вызвали разговоров на эту всегда горячую тему, так как было очевидно, что успех их никак не зависел от того, отступали их создатели или не отступали от текста экранизируемого произведения.

В конечном счете причина успеха или поражения, видимо, лежит в иной плоскости. И определяется значимостью поставленной режиссером художественной задачи, умением ее решить. Тем не менее мы всецело солидарны с осуждением той практики, когда без явной необходимости постановщик перекраивает известное литературное произведение в угоду собственной концепции. Такое случается, и об этом нельзя, видимо, забывать, когда разговор идет о проблемах экранизации классики в кино и на телевидении.

И в этой связи замечено, что у фильмов-экранизаций, по-своему любопытных, но далеких от литературной первоосновы, есть немалое число благодарных зрителей. Не чувствуя обязанности радеть за верность классике (порой малознакомой или

забытой) и оценивая картину вне каких-либо сравнений, эти зрители принимают представленный вариант, ибо он почти всегда — при всех потерях по сравнению с оригиналом — выделяется среди массы вялых, малокровных произведений, появляющихся на большом и малом экранах. Для другой части зрителей совершённое насилие над замыслом писателя представляется недопустимым, даже безнравственным. В защиту неловко потревоженной классики выступают обычно литературоведы, литературные критики, писатели.

Вот письмо, вызывающее на размышления. Зритель З. М. утверждает: «Сегодня трогает лишь то, что создает мир ассоциаций. Фильм не литературный музей. Экранизация классического произведения должна соответствовать не архаическому следованию каждой запятой, а духу и требованиям времени. Фильм в принципе соответствует сюжету, события не перетасованы в художественном беспорядке, нет надоевшего ведущего с вкрадчивым голосом. Чего же еще желать? И потом, куда уйти от зрительского интереса к картине? Игнорировать его, прислушиваясь лишь к голосам критиков и литературоведов? Но разве лишь для них делаются картины?»

Что на это ответить? Каждый большой художник, сочиняя повесть, роман или пьесу, осуществляет свой замысел, свою «любимую мысль», которую он выражает в написанном вплоть до запятой — именно так! И если запятая, условно говоря, изымается или заменяется точкой, этому должно найтись оправдание.

Если ориентироваться лишь на большой или меньший успех фильма, не смущаясь тем, что после сценарно-режиссерских трансформаций осталось в картине от авторской идеи и поэтики, если ориентироваться на успех, определяемый лишь простой арифметикой, мы можем лишиться многих ценностей и создать весьма неприятное впечатление о том, что должно быть дорого каждому из нас.

Очень точно заметил в своем выступлении на страницах «Литературного обозрения» режиссер С. Соловьев: «Конечно, успех — вещь вполне реальная. Вроде бы не убеждать она не может. Но и убеждать тоже не должна».

Говорят, что классику сегодня нужно ставить «с учетом интересов и восприятия ее широкой аудиторией». Это лукавое шаманство. Адаптация классики «с учетом» — удел холодных ремесленников. Ни один классик (если он классик доподлинный, а

не введенный в этот почетный ранг тоже «с учетом») в этом не нуждается, а адаптация способна лишь исказить его творение. Подобные прецеденты имели место, прецеденты с положительным результатом припомнить не удастся.

Практика показала, что можно сделать грузинский «Кувшин» по рассказу итальянца Пиранделло, перенести «Идиота» на японскую почву, «Терезу Ракен» — в современность, и это окажется оправданнее, чем такое изложение прозаического шедевра, когда теряется его неповторимая поэзия и в конечном итоге — сама суть. Но нельзя, нам кажется, заимствуя фабулу, систему отношений между персонажами, приспосабливать это к более легкому восприятию, узко понимаемой современности или к собственной идее.

Наконец, оплонируя автору приведенного выше письма, мы хотим сказать о мире ассоциаций. Тут нет привилегии нашего дня. И вчера было так, и завтра будет то же. Конечно, нам важно открыть в классике наиболее созвучное нынешним интересам, переживаниям и надеждам. Но не обедняя автора!

Мы вовсе не ждем, что каждая экранизация литературного памятника станет кинематографическим шедевром. И считаем, что доброкачественная иллюстрация произведения имеет полное право на существование, если экранизатор не погрешил против духа первоисточника. Это не будет означать недопустимого снижения критериев и противопоставленной искусству терпимости. К сожалению, лишь в отдельных случаях художнику удастся подняться над иллюстрацией, и мы ему за это особенно благодарны.

Наиболее темпераментная полемика среди зрителей вспыхивает при повторной экранизации литературных произведений. В то же время вряд ли какая-то группа зрителей будет возмущена тем, что на сцене театра после известной постановки, к примеру, чеховской «Чайки» возобновлен показ спектакля в новой режиссерской трактовке Никого, видимо, не озадачит, что в трех разных московских театрах одновременно идут три сценических версии «Трех сестер»...

Многосерийный телефильм «Хождение по мукам» появился на телеэкране в тот момент, когда трилогия Г. Рошаля еще прочно жила в памяти миллионов зрителей, ибо не раз показывалась по телевидению, шла на киноэкранах и отвечала в принципе интересу самой широкой аудитории. Телевизионная версия не могла, ес-

тественно, стереть в памяти киноверсию и, несмотря на ряд несомненных ее достоинств и явных преимуществ, не сумела сразу явить их зрителям.

Нам представляется (вот в этом случае обстоятельное выступление перед сериалом авторитетного и популярного у зрителей комментатора, как бы представляющего от лица авторов картины, могло помочь зрителям внимательней присмотреться к особенностям новой картины), что успех повторных экранизаций популярных книг, особенно романа «Как закалялась сталь», перенесенного на телевизионный экран режиссером Н. Мащенко, был для работников телевизионного кино по-своему вдохновляющим. Вслед появилось много интересных работ — от «Кавказского пленника» по повести Л. Н. Толстого до многосерийной экранизации популярных произведений М. Твена о Томе Сойере и Гекльберри Финне, предпринятой режиссером С. Говорухиным. Одна из таких работ — тургеневские «Отцы и дети». Однако были и повторные версии, которые справедливо признаны необязательными. Порой сам замысел новой постановки не предполагал новизны решения. Бывод, нам кажется, может быть один: не следует в таком вопросе устанавливать правила на все случаи жизни, каждое литературное произведение заслуживает отдельного рассмотрения. Прежде всего следует подумать о том, насколько отвечает современным требованиям прежняя версия и насколько очевидны преимущества, заложенные в новом замысле.

Попутно хотим заметить, что не всякое хорошее литературное произведение следует экранизировать, в том числе и классическое, особенно если заранее ясно, что потери окажутся большими, чем приобретения.

Стоит, нам кажется, сказать специально несколько слов об экранизации комедиюного наследства. Было бы полезно проанализировать восприятие современным зрителем некоторых достаточно известных и популярных в прошлом юмористов. Явный неуспех или в лучшем случае полусуспех целого ряда инсценированных и экранизированных юмористических произведений невольно наводит на мысль, что характер восприятия юмора изменился с годами, точнее с десятилетиями, отделяющими нас от успеха этих произведений у современников.

Телевидение делало настойчивые попытки возродить на экране работы таких известных в прошлом юмористов, как Авер-

ченко и Тэффи. Однако большей частью эти попытки не увенчались успехом. Не принесли экранизаторам лавров и попытки перенести на телеэкран юмор М. Твена, Дж. Джерома. Характерно, что при экранизации для телевидения оперетт нередко приходилось специально приглашать авторов для переделки больших кусков «классического» юмористического текста, выглядящего сегодня пошлым и безвкусным.

Заслуживает внимания тот факт, что многие попытки сценаристов и режиссеров, в том числе и именитых, экранизировать юмористические произведения таких писателей, как М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, оказываются неудачными. Причина, видимо, вот в чем: некоторые создатели фильмов не принимают в расчет, что главное достоинство таких произведений в писательском слове, в интонации рассказа, в ремарке автора, где заложен подчас главный юмористический заряд.

Некоторые зрители убеждены, что телевидению, адресующему свою программу огромной зрительской аудитории, не следует экранизировать такие сложные литературные произведения, как «Подросток» Достоевского. С этим невозможно согласиться.

Сам факт появления кинематографической версии «Подростка» на телеэкране — при том, что никто не предполагает создания фильма на уровне романа, — есть факт большого культурного значения. Важно не только, что эта версия способна побудить зрителей к серьезным размышлениям, — важно и то, что телевидение, экранизируя один из самых сложных романов великого писателя, поднимает и собственный авторитет.

Как видим, вопрос выбора произведения для телевизионной инсценировки, для экранизации стоит весьма остро, ибо неудачи и полуудачи, которых в избытке и на телевидении и в кино, не могут не беспокоить и не настораживать.

Одна из очевидных и существенных причин появления невысоких образцов экранного искусства — нехватка хороших сценариев. Сценариев высокого качества недостает и в кино и на телевидении. Даже в те времена, когда в стране делалось всего 8 кинокартин в год и телевидения, по существу, еще не было, хороших сценариев все равно не хватало. Не так давно режиссер А. Сиренко, выступая в газете «Советская культура», жаловался, что сегодня сценарий наиболее общая и серьезная проблема киноискусства: ведь начинают режиссеры с него. И это справедливо, если

все же не забывать, что сценарием все начинается, но далеко не все заканчивается.

Одну лишь оговорку хочется сделать. Признавая недостатки в сценарном деле, не следует излишне сгущать краски, а также видеть в решении сценарного вопроса панацею от всех кинематографических бед. Можно ведь и по-иному сказать: в успехах и поражениях сегодняшнего кинематографа, телевизионного в том числе, главная роль принадлежит режиссуре!

Быть режиссером по должности, как показывает опыт, может почти каждый грамотный человек, режиссером по призванию, по таланту — очень немногие. С. М. Эйзенштейн шутил, что режиссером может быть каждый, кто не доказал обратного. Время уточнило: нередко режиссером является и тот, кто убедительно и неоднократно доказывал обратное. В последнее время увеличился приток режиссеров из операторов, актеров. Приобретения здесь, несомненно, есть (правда, как показывает статистика среди выходцев из медиков удачливые режиссеры встречаются куда как чаще). Потеря же много больше. Особенно печально, когда в режиссуру приходят, но не становятся режиссерами такие великие мастера своего дела, каким был в операторском искусстве Сергей Урусевский. Не прибавили побед нашему кинематографу и появившиеся в последнее время режиссерские династии. Редко, очень редко это находит оправдание на экране. Здесь тот случай, когда исключение подтверждает правило, ибо талант не наследство, его по завещанию, увы, не передать.

Сколько бы десятилетий ни произносились убедительные речи, в которых утверждается самостоятельное значение, ценность и даже суверенность сценария и сценариста они, эти речи, носят характер скорее ритуальный, нежели практический. Режиссер вошел и утвердился в нашем и мировом кинематографе как главная фигура в творческом процессе создания ленты. Он перерабатывает в своем сознании литературный сценарий и с помощью коллег по съемочной группе создает произведение иного, зрелищного искусства.

Конечно, сценарий — нечто большее, чем, например, проволочный каркас в скульптуре. Однако М. Ромм был прав, когда видел немалую долю истины в этом сравнении. Сценарий может меняться трансформироваться в процессе режиссерского осмысления будущего фильма. Вопрос лишь в том, как и с каким результатом он будет меняться.

Стала широко распространенной совместная работа сценариста и режиссера на этапе написания литературного сценария. Это содружество принимает форму либо равноправного соавторства, когда налицо эстетическая совместимость соавторов, а следовательно, и этическая, либо в каждом отдельном случае имеет свою маленькую тайну, скрываемую под загадочной формулой «при участии».

Когда участие режиссера в создании литературной основы будущего фильма является действительно равноправным, оно, несомненно, приносит пользу общему делу и такое содружество можно только приветствовать. Следует в этой связи подчеркнуть, что в ряде случаев, как показывает практика, долговременный творческий союз режиссера и сценариста особенно плодотворен. Достаточно сослаться в качестве примера на содружество Е. Габриловича и Ю. Райзмана, Э. Брагинского и Э. Рязанова, А. Миндадзе и В. Абдрашитова.

Если же режиссер, участвуя, не участвует в литературном труде, то есть ограничивается тем, что рукою мастера проходится по отпечатанному через два интервала тексту литературного сценария, написанного кинодраматургом в одиночестве, проблема носит, так сказать, интимно-этический характер. Хуже, когда без какой-либо надобности и без необходимых творческих предпосылок, с одной лишь целью снять вызванную договорным обязательством этическую неловкость режиссер активно вмешивается в литературный процесс и нередко, но закономерно сводит на нет какие-то достоинства попавшего ему в руки литературного сценария.

За почти уже вековое существование кинематографа в спорах, дискуссиях, в сценарной практике мы наконец признали, что киносценарий — произведение, по существу, писательское, требующее непременно литературного и драматургического дарования. А последнее во все времена почиталось как редкое и было особо ценимым.

Процесс издания романа или пьесы не знает распространенной в кинематографе практики, где литературное произведение может подвергаться порой очень активному неавторскому воздействию. Писатель к этому не приучен, и когда он сталкивается с этим в кино, нередко стремится (если это еще возможно) взять назад свое творение и забыть случившееся, как горький сон.

Содружество кинематографа с писателями, подобными, например, Ю. Нагибину, который является «по совместительству» опытным сценаристом, часто приносит ра-



дующие плоды, а вот попытки кинематографа и телевидения сблизиться с такими писателями, как В. Астафьев, В. Белов, к сожалению, подобные результаты дают редко. Характерен пример с попыткой экранизации пьесы В. Белова «По 206-й».

Пьеса хорошо известна и шла в театрах: резкая бытовая характерность здесь несколько смягчена притчевой окраской происходящего. Эту пьесу смогут превратить в фильм лишь сценарист и режиссер, чувствующие стилевые особенности драматического произведения.

На одной из киностудий, где по заказу Гостелерадио делалась эта вещь, пошли обычным путем, ужесточая стилистику пьесы, добиваясь максимальной достоверности каждой сюжетной линии, каждого человеческого характера. И... не почувствовали бесперспективности этого обычного пути. В результате возник сценарий, в котором действовали малоприятные люди в малоприятных ситуациях. Художественные достоинства первоисточника явно поубазились. Стремление достичь наибольшей достоверности в вещи, построенной в притчевом ключе, оборачивалось явной неправдой и ситуаций и человеческих отношений.

Есть иные случаи — например, попытка перенести на телеэкран повествование в рассказах В. Астафьева «Царь-рыба». В том виде, в каком мы его с интересом и удовольствием читали, оно не может существовать на экране. Не поддается оно и обычной экранизации, то есть добросовестной иллюстрации без заметных потерь смысла, а создание кинематографического (или кинотелевизионного) аналога в высоком смысле этого понятия удастся очень и очень редко, ибо кинематографистов, могущих создать подобный аналог, не больше, чем писателей, способных написать «Царь-рыбу».

На киностудии «Молдова-фильм» в свое время был поставлен телевизионный фильм «Здравствуйте, я приехал». В его основе незатейливая история о том, как хорошего, честного парня, прибывшего к месту службы в качестве начинающего инженера, поставили на должность снабженца и стали обучать «правилам поведения» в этой нелегкой должности. Сценарий привлекал комизмом ситуаций и обладал несомненным обличительным пафосом. Режиссер, взявшись за него, прежде всего переписал сценарий. Не получилось. Принялся заново за эту работу — в фильме вместо юмора появилось что-то натушно-недовольное, нарочитое и потому неприятное.

Актеры мучались, пытались добиться естественности поведения, но ничто им не помогло. В результате комическое в фильме часто оборачивалось пошлостью поведения, мыслей, слов...

«Я думаю,— писал С. М. Эйзенштейн,— свой лик наша эпоха сохранит через искусство, столь же далекое от фрески, как далек небоскреб от базилики, столь же далекое от витража, как ракетный самолет — от самых дерзких замыслов Леонардо, столь же не сравнимое с резцом Бенвенуто Челлини, как несоизмеримы яды Борджиа с разрушительной силой атомной бомбы или интуиция Брунеллески с точностью расчета по формулам ученых современности...» Это будет, продолжал он, «чудесная новая разновидность искусства, сплавляющая в одно целое, в единый синтез и живопись с драмой, и музыку со скульптурой, и архитектуру с пляском, и пейзаж с человеком, и зрительный образ с произносимым словом».

Быть может, со временем сбудется это волнующее пророчество великого режиссера. Многие свидетельствуют, что к тому идет дело. Однако пока еще литература раскрывает лик нашей эпохи не менее интересно и, несомненно, в лучших своих образцах более глубоко, чем это делает сегодня кинематограф.

За «круглым столом» редколлегии журнала «Искусство кино» писатель А. Адамович высказал всем известную истину о том, что фильмы, даже лучшие, стареют очень быстро, как говорится, на глазах. С шедеврами иных искусств это случается значительно реже.

Режиссер Э. Климов, участвовавший в разговоре, объяснил старение картин тем, что техника кинематографа все еще совершенствуется.

Техника кино, конечно, развивается — и экран стал больше, и изображение лучше, — а то, что эксперимент со стереоскопией как-то увял и обещанных запахов лента пока не имеет, нам кажется, беда небольшая. Техника кино, конечно, влияет на старение фильмов, однако, на наш взгляд, не только в ней дело. Обычно, когда смотришь картину пятнадцатилетней давности, которая в свое время принималась с интересом, ощущаешь неудовлетворенность не тем, как она снята, не качеством изображения — нам как бы недостает в увиденном на экране художественной значительности и глубины мысли, нам будто показали что-то из далекого

детства, соответствующее наивным представлениям и опыту ушедшего времени.

До конца объяснить этот парадокс трудно. Однако он существует.

Но вот все чаще стали появляться кинофильмы, сила которых не только в пафосной окрыленности их революционного содержания, своеобразии киноязыка, но и в попытке поставить важные проблемы жизни с той глубиной и многозначностью, которые присущи лучшим произведениям литературы. Каковым будет срок жизни наиболее ярких из этих лент, скажет лишь само время, однако появление их на экранах кинотеатров и — изредка — телевидения обнаружило еще одну важную грань проблемы взаимоотношений художника и зрителя.

Искусство кинематографа продолжает развиваться не только благодаря техническим новшествам — в своих характерных образцах оно становится все более сложным для восприятия, требует постоянного духовного развития самих зрителей. Оно дифференцируется на наших глазах и в этом смысле сближается с литературой.

Негативная реакция зрителей, читателей на художественно слабое произведение естественна. Но порой схожую реакцию вызывают усложненные картины, в которых использованные сценаристом и режиссером приемы и средства выразительности не соответствуют распространенным и утвердившимся стереотипам. Или сама мысль фильма непривычна, непонятна и в результате оказывается для многих неприемлемой. Часто для того, чтобы перешагнуть через сложившийся стереотип восприятия, нужен определенный уровень эстетической подготовленности, немалый зрительский опыт. Нередко выработке верных критериев мешает поток критических похвал по адресу заурядных произведений.

И тут наша речь о кинокритике, ее роли в воспитании зрителя.

Нередко читателю статей трудно понять, что, собственно, рецензируется — художественный или учебный фильм, талантливый рассказ или обычный, рядовой очерк: и то и другое оценивается по одной лишь шкале тематических достоинств. В результате и некоторые зрители, воспринимая подобный ход рассуждений, оценивают фильм тем же способом, будто это вовсе и не художественное произведение, где как имеет не меньше значения, чем что.

Показателен в этом отношении отклик одного из зрителей на телевизионный фильм «Поцелуй», поставленный режиссе-

ром Р. Балаяном по одноименному рассказу Чехова. По поводу этого фильма высказывались разные мнения. Полезно в данном случае обратить внимание на то, какова мерка, которой иногда пользуются, оценивая достоинства и недостатки произведений искусства.

«Худшей экранизации рассказа А. Чехова,— пишет зритель,— и представить себе трудно. Хорошие, талантливые актеры по замыслу режиссера тянут время. Сплошные длинноты удручающе действуют на зрителя. Телезрители уже по Куприну («Поездик») достаточно хорошо знают о скучной жизни офицеров, служащих в полках, расквартированных в провинции. Ничего нового на эту тему в фильме нет! Непонятно, что хотел режиссер сказать зрителю и для чего это вынесли на экран».

Письмо подписано кандидатом технических наук Н. из Днепропетровска и содержит, на наш взгляд, нечто весьма характерное: достоинства картины оцениваются с точки зрения объема и новизны конкретной информации, которую она содержит в себе, будто речь идет не о художественной картине, а об учебной... Заимствованный шаблон опаснее неискушенности. Откуда же он заимствуется?

Как известно, искусство есть модель мира, принципиально отличающаяся от объективной реальности тем, что художник рисует картину мира со своей философско-психологической, субъективной точки зрения. Во многих критических заметках, рецензиях эта истина опускается. Ее никто, естественно, не опровергает, но часто и не считаются с ней, сопоставляя впрямую явления в жизни и в искусстве, как бы механически отождествляя их. Подобную критику можно было бы назвать любительской и оставить в покое, но беда в том, что она не так уж редко выдает себя (или ее выдают) за профессиональную, и именно как таковую ее воспринимают читатели газет и журналов. Это вносит немалую путаницу в оценки.

Хорошо, когда критика, поразмыслив, выдержав паузу, отдала должное фильму «Москва слезам не верит», которому подарили свои симпатии миллионы зрителей. Хорошо и то, что, не смущаясь этим горячим приемом, рекордным количеством проданных билетов, ни даже присуждением фильму «Оскара», критики не поспешили зачислить его в число шедевров киноискусства. Но плохо, когда в то же время, к примеру, фильм «Остановился поезд» некоторыми рецензентами рассматривается как сугубо производственный.

Обращает на себя внимание также стремление зрителей, особенно в многосерийной ленте, получить нравственную опору в откровенно положительной личности главного героя. Это естественно и важно. Критика обязана всячески поддерживать это стремление, но в то же время и предостерегать зрителя от упрощенного толкования художественного образа.

Когда мальчишки в десятый раз смотрят «Чапаева», надеясь, что любимый герой выплывет и продолжит борьбу с врагами, эта их надежда всегда трогательна. Когда подобным образом картину воспринимает взрослый зритель, это тоже, конечно, трогательно, ибо говорит о глубине переживания. И в то же время становится немножко грустно. Ибо восприятие искусства как чего-то совершенно тождественного жизни является неизбежным барьером на пути постижения того, что лежит под верхним пластом произведения.

Видимо, не помогла критика массовому зрителю разобраться в поэтике такого непростого, неоднозначного телевизионного художественного фильма, как «Транзит», поставленного талантливым театральным режиссером Валерием Фокиным по пьесе Л. Зорина. Стоит обратить внимание на тот факт, что спектакли по этой пьесе долго шли в разных театрах, в том числе таких, как Театр Советской Армии, ленинградский Театр имени Ленинского комсомола, киевский Театр имени Леси Украинки. И шли с успехом.

Постановщик фильма не просто перенес пьесу на телеэкран — он придал ей редкую для театрального режиссера кинематографическую выразительность. Сугубо экранными средствами, в том числе и такими, как свет, цвет, движение камеры, монтаж, он дал многогранную характеристику среды обитания героини и ее близких, позволил многое постичь во внутренней жизни героев, которая встает за их немногословными разговорами. За мимолетной встречей двух очень одиноких людей ощущаешь напряженный ритм внутренней жизни, чистые помыслы и поступки, лишенные даже намека на пошлость. А искренность, полнота чувств героини в прекрасном исполнении М. Нееловой, бескорыстие ее поведения как бы освещают финал картины светом надежды, дорогим для каждого зрителя.

И что же? Перед нами пачка писем зрителей, которые судят фильм лишь на уровне самой фабулы: немолодой, если не сказать пожилой, человек случайно встречает молодую женщину, и между ними

возникает короткая любовная связь. Пишут: это ведь обыкновенный командировочный роман — как же в таком случае авторы могут себе позволить с явной симпатией относиться к своим героям, к таким их поступкам? «Несколько дней ходила в удрученном состоянии, — ищет по поводу этого фильма зрительница Л. В. из Новгорода. — Как можно такое показывать многомиллионной аудитории? Такого хватает в жизни, так зачем это пропагандировать?»

Может быть, стоило как следует проанализировать, что упустил режиссер в социальном плане и все ли сделал, чтобы быть понятым. Но критика и здесь, к сожалению, промолчала... Невольно вспоминаются строки из письма телезрительницы Кирилловой, обращенные к ведущему «Кинопанорамы»: «Почему не разговаривают с нами критики? Почему Вы сами редко о чем-то отзываетесь критически?.. Вы учите нас созерцать, а не вглядываться».

Недавно в газете «Правда» критик Вл. Воронов довольно точно подметил: «Отношения литературы с читателем сегодня несколько осложнились, что замечено многими. Талантливые писатели предлагают художественные решения, которые нередко выглядят непривычными: то в каких-то странных сочетаниях фантастики и реальных сцен, то в не прямо, опосредованно выраженной авторской позиции, то в показе таких явлений и характеров, которые трудно однозначно оценить...»

Это мнение полезно было бы сопоставить с высказыванием другого критика, прозвучавшим со страниц «Советской культуры». Вот оно: «...подобно тому как в школе хорошим учителем считается тот, кто умеет о сложнейших вопросах говорить ясно, внятно, увлекательно, так и в кино — лишь тот фильм по-настоящему захватывает зрителя и дает ему пищу для серьезных раздумий, в котором острые и сложные социальные, исторические, нравственные проблемы гармонично сочетаются с высокой простотой самого киноповествования».

Поначалу кажется, что вроде все тут правильно. Но если вдуматься, то можно увидеть опасный стереотип мышления, прикрываемый благородным понятием «высокая простота». Опасно, нам кажется, ставить во всех случаях знак равенства между общедоступностью, которая кроется здесь за словами «высокая простота», и глубиной произведения искусства. Законы арифметики в искусстве неприменимы. Сто миллионов проданных билетов на один

фильм не всегда делают его более значительным, нежели тот, на который удалось продать всего десять миллионов или того меньше.

Гоголь, Толстой, Достоевский, Гёте, Гофман, Томас Манн оставили нам богатейшее наследие, их произведения обладают несомненной высокой простотой, но одновременно они очень сложны. О трудности верного прочтения хрестоматийных, изучаемых в школе произведений Гоголя — «Ревизора» и «Мертвых душ» — свидетельствует уже то, что о трактовке их, о трактовке образов этих произведений до сих пор спорят специалисты, а экранистам никак не удается вполне успешно воплотить их на сцене и экране.

Словом, мысль о сложности, трудности некоторых произведений литературы не должна нас пугать.

И разве не то же положение в любом ином искусстве: в музыке, живописи? Разве можно утверждать, что так уж общедоступны Скрябин, Рахманинов, Вагнер, Берлиоз, Шостакович, Брейгель, Босх, Врубель, Пикассо, Модильяни? Но от этого они не менее прекрасны. По поводу «Мертвых душ» А. И. Герцен писал: «Велико достоинство художественного произведения, когда оно может ускользнуть от всякого одностороннего взгляда. Видеть апофеозу смешно, видеть одну анафему несправедливо».

Конечно, идет время, и сегодня, несомненно, больше людей, способных разбираться в сложных произведениях искусства, в том числе и кино, чем их было вчера. Но ни общеобразовательный ценз, ни жизненный опыт сами по себе не могут заменить развитого эстетического вкуса. Известный физик А. Мигдал однажды заметил, что без специального образования, руководствуясь одним лишь здравым смыслом, нельзя анализировать произведение искусства. Даже для того, чтобы сказать, хорошо это или плохо, нужно понимать задачу, которую ставит автор, и средства, которыми он пользуется.

И тем радостнее, когда и непростой фильм сразу и точно оценивается зрителями. Характерно в этом отношении письмо Е. С. Конкиной из Краснослободска по поводу телефильма «Не бойся, я с тобой», пронзительно отметившей многие особенности фильма:

«Кажется, что фильм построен на одних штампах, удобных для критики: погоня и тайники с золотом, благородный герой и неблагородный разбойник, всемогущая любовь и жестокие препоны и т. д. и т. п.

Но в фильме есть умело спрятанное за штампы пронзительное и властное ощущение красоты человека и его чувств, поступков, сурового и нежного края и горланых ласковых его песен, вечной любви и ничем не оскверненной дружбы. После этого фильма, шумного и яркого, откровенно зрелищного и очень наивного (и не пытавшегося казаться иным), остается в душе удивительная удовлетворенность и ощущение чистоты. Отдавая дань на редкость затасканным жанрам (мелодраме, детективу), авторы удачно выбрали общую стилистическую интонацию; буйство темпераментов, расхожая примитивность сюжетов и схематизм смысловых акцентов — все прозрачно затушено мягкой, тонкой и умной иронией. Так банальнейшая история дорастает до притчи».

Перечитываешь письмо и ловишь себя на мысли, что хочется привести его полностью как пример удивительного проникновения зрителя в мир произведения, способности эмоционально пережить его коллизии. Здесь как бы слились непосредственность восприятия и умение всесторонне осмыслить увиденное.

Верно и другое: мы должны научиться ясно отличать сложный, не всегда всем сразу и полностью понятный фильм, имеющий законное право на существование, от ремесленных поделок, сложных по виду, но пустых внутри, авторы которых «словечка в простоте не скажут», эпатируя зрителя заумными режиссерскими, операторскими фокусами и шарадами. Слово же в защиту умного, глубокого, хоть и трудного фильма очень важно сегодня!

Социологи и психологи, занимающиеся проблемой восприятия искусства, считают, что массовая аудитория не способна с легкостью менять сложившиеся стереотипы и представления. Сформировавшаяся человеческая личность, как правило, выбирает из художественного произведения то, что соответствует ее возможностям и выработанным принципам. Но не будем забывать, что зрительская аудитория подобна реке, в которую, как говорится, дважды не войдешь. Она меняется, непрерывно обновляется новыми контингентами зрителей, новыми поколениями с иными возможностями, требованиями и вкусами.

На конференции Комиссии комплексного изучения художественного творчества Научного совета по истории мировой культуры Академии наук СССР (май, 1982) шла речь и о средствах массовой коммуникации, их воздействии на форми-

рование читательских запросов и интересов. Один из выводов, к которым пришли ученые и вузовские преподаватели, таков: «„Союз муз“, литературы и других искусств на современном уровне, опираясь на могучий арсенал технических средств призван служить воспитанию в подрастающих поколениях внутренней потребности в классическом романе и классической музыке, способствовать преодолению невосприимчивости к трудным фильмам интересу к новаторским явлениям в современной прозе и поэзии, на сцене и эстраде Или придется мириться с тем, что наши дети отдадут предпочтение в литературе легковесным детективам, в музыке — шлягерам, на сцене — разухабистым шоу.» Тревожные слова, заставляющие нас всех глубоко задуматься.

Мы попытались обозначить некоторые проблемы современного развития телевизионного кино и указать на ряд моментов, которые могли бы способствовать их решению — прежде всего уменьшению числа слабых фильмов. И хотя соприкосновение с ними не окрыляет, однако оснований для пессимизма нет.

Только за два-три последних года были сделаны такие картины, как «Успех», «Чучело», «Голубые горы», «Пацаны», «Парад планет», «И жизнь, и слезы, и любовь» «Мой друг Иван Лапшин», «Гори, гори ясно», «Формула любви», «Кое-что из губернской жизни» «Анюта», «Отцы и дети» и ряд других кино- и телефильмов. А чуть раньше «Поелты во сне и наяву», «Остановился поезд», «Карл Маркс. Молодые годы»... Художественная полноценность этих работ, свежесть и оригинальность языка, приемов, средств выражения при глубине и неоднозначности мысли очевидны. В то же время обзор мировой кинопродукции последних лет, предназначенной для большого и малого экранов, свидетельствует, что ни одна крупная кинематографическая держава не имеет такого количества неординарных, «некоммерческих» фильмов, созданных за столь небольшой срок.

Во время XIV Международного кинофестиваля в Москве в Центральном Доме кино было показано 12 картин, представляющих киноискусство стран с развитой кинематографией. Многие из них свидетельствовали о серьезности замыслов их авторов, о мастерском владении профессией.

ей. «Начать все сначала» Хосе Луиса Гарсия (Испания), «Коттон клуб» Ф. Копполы (США), «Костюмер» Питера Йейтса (США) оставили неплохое впечатление. Фильмы «Голубой гром» Джона Бэдхема (США), «Седьмая мишень» Клода Пиното (Франция), «В крайнем случае я ничего не скажу» Франко Россетти (Италия) никак не встанут в тот высокий ряд, в который они поставлены. Остальные разместились где-то посередине. Конечно, сказанное не означает отсутствия значительных фильмов среди продукции той или иной страны, но свидетельствует об их малочисленности.

Основная причина, в общем, очевидна. О ней говорят сами режиссеры. Ставить фильм, заботясь прежде всего о доходах, которые он принесет, значит невольно поступаться заботой об истинной художественности. Может быть, поэтому в картинах, увиденных нами в эти фестивальные дни, так много было внешней завлекательности секса, насилия, плосковатого юмора.

В этой связи вспоминается, что Лариса Шепитько будучи в США со своим фильмом «Восхождение» встретила с режиссером Ф. Копполой и показала ему картину. После просмотра всемирно известный режиссер расстроился, сказав, что он никогда видимо не сможет сделать что-либо подобное. Не будем спорить по данному конкретному поводу — ему виднее, — но субъективную и объективную причины его расстройства понять нетрудно.

В условиях растущей интенсивности труда и самого образа жизни, изменяющих привычные психологические установки людей, искусство телевидения и кино призвано сыграть важную воспитательную роль. Разрешение проблем, поднятых в настоящей статье, способно, нам кажется, содействовать выполнению этой задачи.

Дальнейшие изменения и преобразования в нашем обществе, научно-техническое обновление экономики, намеченные партией глубокие перемены в сфере труда, материальной и духовной жизни общества, которым сообщат новую энергию, новый размах подготовка к XXVII съезду КПСС, его решения, придадут новый воодушевляющий импульс художникам телевидения и кино. Что несомненно найдет отклик в их творчестве, в новых ярких произведениях, утверждающих высокую правду социалистической жизни.

---

Е. СТАРИКОВА



## ИЩУЩАЯ ДУША

*Заметки при чтении повести В. Распутина «Пожар»*

**И**жилой леспромхозовский шофер Иван Петрович Егоров оказался свидетелем того, как сгорели за одну ночь магазинные склады в сибирском поселке Сосновка, где герой повести Распутина «Пожар» живет уже двадцать лет, с тех самых пор, как при строительстве гидроэлектростанции была затоплена родная его деревня Егоровка. «Неуютный и неопрятный, и не городского и не деревенского, а бивачного типа был этот поселок, словно кочевали с места на место, остановились переждать непогоду и отдохнуть, да так и застряли... широкие не по-деревенски улицы разбиты были тяжелой техникой до какого-то неземного пейзажа... И голо, вызывающе открыто, слепо и стыло стоял поселок». Легко заметить уже и по этому зачину, что «Пожар» — прямое продолжение известной распутинской повести 1977 года «Прошание с Матёрой». Несмотря на иных героев, иные имена собственные и другие конкретные обстоятельства.

В картине борьбы с разрушительным огнем, в том, как ведут себя люди в кризисной ситуации при общей опасности, Иван Петрович видит словно в увеличительном зеркале типичные грехи своих земляков и открыто выступает в роли их нравственно-го судьи. Однако и себя от них не отделяет. Ивану Петровичу представляется, что люди, его в поселке окружающие, да и сам он, казалось бы всю жизнь «державшийся правды, как закона», утратили былое единство, не подлежавшие раньше сомнению нравственные устои, определенное и стройное направление своего существования. «...было не положено, не принято, стало положено и принято, было нельзя — стало можно, считалось за позор, за смертный грех — почитается за ловкость и доблесть», — недоумевает Иван Петрович и мысленно гневно вопрошает и себя и своих

земляков: «И до каких же пор мы будем сдавать то, на чем вечно держались?»

Признаюсь, что первым результатом беглого и жадного (наконец-то опять Распутин!) моего чтения повести было некоторое разочарование. При всей ничем не отменяемой любви к писателю, при полном признании справедливости его негодования на нас и его боли за нас (вот ведь до чего дожили: нужны специальные постановления против алкоголизма, узды внутри самих себя нет!) мне поначалу показался слишком прямолинейным для художника путь его добродетельного героя от картин беды и падения к высоким, но очень уж известным истинам. И на всю повесть — всего один полновесный характер. Характер народный и дорогой сердцу, но и довольно знакомый по литературе. Да и в вопрошающей интонации и в стилизованном языке деревенского мыслителя, ищущего общую правду, звучит что-то уже слышанное. Ну, скажем, в той же «Комиссии» С. Зальгина. Впрочем, эту-то зависимость можно даже принять за сознательную преемственность, она оправдана кризисными проблемами и общей типологией самого характера главного героя — русского крестьянского правдолюбца. И публицистическое начало в новой повести Распутина столь сильно и откровенно, что критику художественной литературы вроде бы здесь и делать нечего. Угадывать затаенный смысл интонации, улавливать оттенки слова, разъяснять взаимодействие различных характеров, что должен делать критик при встрече и со сложным переплетением реалистических образов эпоса, и с прихотливым метафорическим строем лирики, тут как будто не приходится. Сам писатель что хотел, то нам прямо и сказал: оглянитесь на себя! вы нравитесь себе? А главное...

Стоя на пепелище, разглядывая безобра-

зие недавнего пожара, герой Распутина задает другу-односельчанину один из вечных «русских вопросов»:

«— Что будем делать, Афанасий? Ты знаешь, что теперь делать, нет?

— Жить будем... Тяжелое это дело, Иван Петрович,— жить на свете, а все равно... все равно надо жить...

— А ты что решил делать?

— Будем жить...»

Вопрос задан, но ответ столь общий, что еще как бы и не ответ. Как жить? Так же, как жили? Тогда зачем и вопрос задавать?

Вот и получается, думалось мне, с произведениями, где так сильно начало публицистическое: критику остается только пересказывать и цитировать писателя. А спорить? О чем? Что воровать нехорошо, а убивать и того хуже? Не проще ли порекомендовать читателю самому прочитать повесть? Да и рекомендовать не надо: можно быть уверенным, что читатель имени Распутина не пропустит и поймет его. Чего же тут не понять?

Можно бы, конечно, поспорить с Распутиным об удаче или неудаче того или иного его словечка, постараться убедить его, что иные сибирские изыски в столь общенародной истории вроде бы и ни к чему, избыточны. Конечно, с читателя не убудет, а только прибудет, если он лишний раз заглянет в Даля, чтобы, например, удостовериться, что употребленного Распутиным слова «узик» в смысле ущелье, теснина и там нет, хотя все-таки есть близкое по звучанию древнее «узины». Но мне, исконному жителю Восточно-Европейской равнины, кажутся излишними, да и не очень эстетичными некоторые выбранные Распутиным формы общепонятных слов, таких как «резвезня» вместо «беспорядок», «сплотка» вместо «сплоченность», «проть» вместо «против». Обидно иной раз делается, словно тысячелетний общенародный отбор русского слова как бы и ни к чему был, как бы и не для нас делался. Если вид иного неустроенного поселка-временки оскорбителен для нашего эстетически-нравственно-го чувства, то ведь и восприятие языка — из той же области человеческих чувств. И все-таки сегодня не о том речь. Глупо из пушек по воробьям, но не умнее и из мухи делать слона. Да и волен ли выбирать художник строй повествования, или он в первую очередь слышит его своим внутренним слухом? Во всяком случае, не о языке сейчас речь, не о вкусах, а о самом нашем существовании. «Жить будем» О чем помнить станем? И что постараемся забыть?

Размышляя таким образом над «Пожаром», я прежде всего решила выписать для себя, для внутреннего, так сказать, пользования, последний абзац повести (журнал-то чужой): мне надо было для полной, казалось, ясности только разгадать смысл последних фраз Распутина. И я выписала этот загадочный для меня абзац (о нем речь будет ниже), потом еще абзац, еще фразу, еще рассуждение на полстранички, еще — и так с конца к началу, до самых первых слов повести выписала я для себя на память, в поучение и для дальнейших размышлений более десяти машинописных страниц распутинского текста. Из маленькой повести — десять страниц необходимых рассуждений-вопросов, воспринятых как свои собственные! Причем описаний самого пожара — обстоятельных, словно в фактографическом очерке, и пластичных, словно на живописном полотне, — я не выписывала, рассказ о поведении во время пожара разных сосновцев пропускала, их диалогов почти не касалась. Только одинокие размышления Ивана Петровича. И когда перечитала я свои выписки, так отчетливо услышался мне через них напряженно вопрошающий и взыскующий истины чистый голос самого автора — его боль, его поиски духовного пути для себя и для нас.

«Одно дело — беспорядок вокруг и совсем другое — беспорядок внутри тебя. Когда вокруг — при желании сколько угодно там можно отыскать виноватых... Во всем, что касается только тебя, ты, разумеется, сам себе господин. В находящемся в тебе хозяйстве взыскать больше не с кого. И даже если тебе кажется, что оно зависит от многих внешних причин и начал, эти причины и начала... не минуют твоей верховной власти. Стало быть, и в этом случае спрашивать приходится только с себя». Нет, то не притча перед нами, а исповедь, исповедь-покаяние, исповедь-инвектива, исповедь-плач. Как выйти человеку из нравственного глухого тупика? «Иван Петрович, не однажды дававший зарок молчать, доказавший себе, что молчание — это тоже метод действия и убеждения, Иван Петрович опять поднимался и... начинал говорить». Только ли о сибирском шофере-правдолюбце эти слова?

«Что будем делать?.. — Будем жить... Но для того, для кого писание и писательство — главное дело жизни, а слово — единственное орудие, чтобы жить, что и остается, как не снова и снова писать? Пусть об одном и том же, об одном и том же: не расточайте попусту данных вам богатств — подумайте о внуках; не коверкайте родную землю»

только потому, что ее много, — вспомните слова одного из пророков этой земли: «Некрасивость убьет!»; не теряйте человеческий облик — он единожды дается; позаботьтесь не только о себе, но и друг о друге. Иначе — беда. Пожар Пожарище.

А что касается общих нравственных истин, то об этом уже сто лет назад, и, кажется, неплохо, сказал Л. Н. Толстой в публицистической книге с трудной судьбой под названием «Так что же нам делать?». Вот как он об этих общих истинах писал:

«...сообщите человеку самую высокую, самым ясным, сжатым образом... выраженную нравственную истину, — всякий обыкновенный человек... непременно скажет: «Да кто ж этого не знает? Это давно и известно и сказано» Ему действительно кажется, что это давно и именно так сказано. Только те, для которых важны и дороги нравственные истины, знают, как важно, драгоценно и каким длинным трудом достигается уяснение, упрощение нравственной истины — переход ее из туманного, неопределенного сознаваемого предположения, желания, из неопределенных, несвязных выражений в твердое и определенное выражение, неизбежно требующее соответствующих ему поступков.

Мы все привыкли думать, что нравственное учение есть самая пошлая и скучная вещь, в которой не может быть ничего нового и интересного; а между тем вся жизнь человеческая, со всеми столь сложными и разнообразными, кажущимися независимыми от нравственности деятельностями, — и государственная, и научная, и художественная, и торговая — не имеет другой цели, как большее и большее уяснение, утверждение, упрощение и общедоступность нравственной истины».

Казалось бы, в наше время, в конце XX века, сегодня неразделимость проблем нравственных и всех прочих — политических, военных, торговых, художественных — куда как очевидна, гораздо яснее, чем сто лет назад. Однако признаюсь, что на простые нравственные истины, высказанные В. Распутиным в «Пожаре», я сначала откликнулась душой именно так, как тот «всякий обыкновенный человек», о котором сто лет назад писал Толстой «Да кто же этого не знает?» Знаем, но не до того «твердого и определенного выражения, неизбежно требующего соответствующих ему поступков». Повесть же В. Распутина «Пожар» — поступок, гражданский и нравственный поступок.

Да и так ли просты простые нравствен-

ные истины? Так ли прост тот путь, которым идет к ним и писатель В. Распутин?

Выписав из повести «Пожар» то, что меня больше всего заинтересовало, тронуло, встревожило, и снова дойдя с ее конца до первой фразы, я только тут поняла парадоксальность построения этого произведения Нет, перед нами не притча с ее простейшим строем: частный случай и следом общая мораль как прямой вывод из конкретного события Нет, распутинского Ивана Петровича читатель встречает в тот миг, когда он уже находится в состоянии морального кризиса, в канун его мучительно выношенного решения уйти с проторенной жизненной колеи, порвать с Сосновкой, то есть с той жизнью, которая десятилетиями объединяла его с земляками. И вот этот безобразный пожар, после которого остается не только пепелище, представлявшее собой «что-то до жути окончательное и безнадежное», но и два груза слившихся в смертельном объятии: сторож-калека, ценою жизни защищавший общее добро, и «блатарь-архаровец», готовый ценою жизни расхищать его, две стороны силы, должной противостоять стихии пожара. Этот «двойной портрет» — находка истинно художественная. И, казалось бы, с высшей точки трагедии и духовного кризиса героя должен для него открыться нравственный пик Но вот они, последние слова повести В. Распутина, заставившие меня задуматься над простыми нравственными истинами, в ней высказанными:

«Иван Петрович все шел и шел, уходя из поселка и, как казалось ему, из себя, все дальше и дальше вдавливаясь-вступая в обретенное одиночество. И не потому только это ощущалось одиночеством, что не было рядом с ним никого из людей, но и потому еще, что и в себе он чувствовал пустоту и однозвучность. Согласие это было или усталость, недолгая замороженность или начавшееся затвердение — как знать! — но легко, освобожденно и ровно шагало ему, будто случайно отыскал он и шаг свой и вздох, будто вынесло его наконец на верную дорогу. Пахло смолюю, но не человек в нем чуял этот запах, а что-то иное, что-то слившееся воедино со смоляным духом; стучал дятел по сухой лесине, но не дятел это стучал, а благодарно и торопливо отзывалось чему-то сердце. Издали-далеко видел он себя; идет по весенней земле маленький заблудившийся человек, отчаявшийся найти свой дом, и вот зайдет он сейчас за перелесок и скроется навсегда.



Молчит, не то встречая, не то провожая его, земля».

Два ряда чувств текут в этом отрывке, то переливаясь друг в друга, то противостоя друг другу в явном противоречии: «обремененное одиночество», «пустота», «усталость», «заблудившийся человек», человек, «отчаявшийся найти свой дом», молчаливая земля... И тут же рядом и одновременно другие чувства и другие понятия и образы: «согласие», «затвердение», «верная дорога», благодарно отзывающееся на что-то сердце, весенняя земля... Как перевести на логический язык суждений поэтические ряды чувств? Я думаю, так и только так: отчаявшийся человек, давно отчаявшийся, оказывается вдруг волею случая или закономерным ходом вещей причастным к исключительному нравственному падению, испепеляющему остатки его души, и вот тогда-то, достигнув страшной кризисной точки, он выходит на некий новый путь, дающий ему надежду прийти к духовному возрождению. Притчи ли этот сюжет? Или чего-то посложнее? Не напоминает ли такой сюжет что-то очень знакомое и большое? Слово «возрождение» легко заменимо словом «воскресение», и вот уже близка подсказка. По такой нравственно-философской модели построено «Воскресение» Толстого, по ней же «Преступление и наказание» Достоевского, две вершины русского реализма, русской духовной жизни. Обнаженные до предела глубины падения человеческой души — и ее возрождение на некой новой, едва брезжащей вдали основе.

На что же надеется распутинский Иван Петрович? Последний абзац повести «Пожар» для меня пока так и остается загадкой, на которую встревоженная писателем совесть отвечает лишь легким вздохом надежды. И не я потороплюсь требовать от серьезного, ищущего художника как можно скорее ясности, и не я осужу его за загадочность. Для того писателя, для которого писательство — миссия и форма духовного существования, только-только возникающий вопрос, не имеющий пока ответа, неясно и далеко брезжащий впереди свет, едва прозреваемая, но настойчиво ищущая выражения мысль — закономерные и необходимые вехи его пути.

Опыт изучения истории классической русской литературы, да, вероятно, не только русской, предостерегает от поспешности слишком уж категоричных суждений о произведениях-вопросах, от предъявления к художнику требований немедленных на них ответов. А может, он и задавал их с на-

деждой, что мы все вместе поищем ответы на эти вопросы?

Кто не помнит предсмертного письма Тургенева Толстому, его «последнюю, искреннюю просьбу»? «Друг мой, вернитесь к литературной деятельности.. Друг мой, великий писатель Русской земли — внемлите моей просьбе!» Эти до слез трогательные слова писателя к писателю обычно мы воспринимаем с точки зрения Тургенева. Мы как бы с ним вместе сожалеем о пренебрежении великого писателя русской земли к своему божественному дару художника. Нам бы на сон грядущий еще одно описание еще одного бала Наташи Ростовой! Но письмо Тургенева было написано уже по прочтении «Исповеди» Толстого, в период его мучительной работы над публицистикой 80-х годов, без которой не было бы через полтора десятилетия и «Воскресения» и «Хаджи-Мурата». И не еще один бал Наташи Ростовой был потом Толстым написан, а «После бала». Там рядом с воссозданием девичьей прелести, чувства влюбленности, чувственным описанием мягкости и белизны лайковых перчаток была еще и картина наказания солдата шпицрутенами. Мы этот рассказ проходили когда-то в школе, кажется, даже раньше «Войны и мира». Тогда считалось, что и этот поздний рассказ Толстого должен войти в духовный багаж советского школьника. И вошел. А мысль, выраженная в рассказе, да и некоторые пластичные картины социальных контрастов можно обнаружить уже и в той исповеди Толстого, которая звучит откровенным вопросом «так что же нам делать?». Русский народ ответил на вопрос Толстого не так, как он надеялся, но цель той книги 80-х годов была в громком вопросе.

Сто лет судили Достоевского за эпилог к «Преступлению и наказанию», полстолетия — Толстого за конец «Воскресения». И, кажется, только к концу XX века мы начинаем потихонечку извлекать из истории литературы уроки.

Первый урок я бы назвала уроком скромности: мы постепенно понимаем, что большой художник потому и большой и потому и художник, что он видит намного дальше и пронизательней нас, его читателей, если мы даже обладаем и добрыми намерениями и трезвым разумом. Прозрения и трезвый ум не одно и то же, это разные категории.

Второй урок я бы назвала уроком терпения. Не торопитесь судить, помогите трудной работе ищущей мысли художника доброжелательным размышлением над его страницами. Если бы мы не знали, что по-

сле «Записок из подполья» Достоевский напишет «Братьев Карамазовых», мы бы, наверное, сказали если не о падении таланта, то о неясности, сумбурности вопросов, поставленных перед собой и нами его парадоксами. Так и было, так и было в свое время. А его «Двойник»? Таинственный «Двойник»? Хрестоматийный пример!

В недавнем телевизионном диалоге С. П. Залыгина и В. Г. Распутина оба писателя признались в том, что хотели бы видеть нашу прозу более публицистической, а нашу публицистику более художественной. Как не понять, не разделить их желание! Таков, собственно говоря, общий путь большой прозы XX века. В ней малейшая изобразительная клеточка стремится проникнуться мыслью, а мысль — облечься в художественно выразительное слово, в живую метафору, в органический для данного писателя образ.

Однако, понимая и принимая устремления Распутина к публицистической прозе, все-таки повесть «Пожар» вряд ли можно безоговорочно причислить к художественным вершинам самого Распутина. Одно то, что оказалось сравнительно легко отделить интересные рассуждения от изобразительной пластики и живописи, одно это свидетельствует о неполной органичности сплава мысли и образа. Нет, в «Пожаре» не увидишь художественной законченности «Денег для Марии» или реалистической многомерности «Последнего срока». Но накала душевного страдания такой степени, как в «Пожаре», Распутин тоже, кажется, еще

не достигал. Даже в «Прощании с Матёрой». Думаю, что «Пожар» и надо рассматривать как одну из тех точек творчества писателя, с которой начинается какой-то новый его путь: «...будто вынесло его наконец на верную дорогу.. Молчит, не то встречая, не то провожая его, земля». Куда приведет Распутин верная дорога? Это мы узнаем в будущем. Пока же, извлекая уроки из исторических аналогий, доброжелательно и терпеливо всмотримся в движение мысли художника, вслушаемся в его вопросы, обращенные иррационально к нам.

И еще одно. Когда при чтении В. Распутина сами собой приходят аналогии с Толстым и Достоевским, не надо думать, что речь идет о масштабах художественного дара или исторического значения. Современники об этом обычно не могут вообще судить, здесь все расставляет по местам только время. Пока речь идет лишь о направлении творчества писателя, о степени его нравственной требовательности к себе и соотечественникам. Высотой этой требовательности, неотделимой от правдивости, в первую очередь этой высотой русская литература прославилась в мире и заняла в нем общепризнанное учительское место. И когда появляется писатель, держащийся в своем творчестве прежде всего закона правды и совести, мы не можем не видеть в нем достойного наследника великого наследства. А значит, нам остается со вниманием вслушиваться в его голос и пытаться вместе с ним искать ответы на вопросы, которыми встречает его и нас наша земля.

## РОДНИКИ БЬЮТ ИЗ ГЛУБИН

Актуальный  
вопрос

**Л**итературное объединение московских строителей «Высота», которым я руковожу, это прежде всего приобщение к творчеству большой массы рабочих, это выступления в коллективах и молодежных общежитиях, вечера в домах культуры и парках, чтение стихов по радио и телевидению... Мы постоянно ощущаем, как то, что мы пишем, отзывается в рабочей аудитории. На одной из встреч знатный московский строитель Анатолий Михеевич Суворцев сказал памятные слова: «Творчество — дело не только личное. Оно для работы...»

Членов нашего литобъединения иногда называют «высотниками». Для них занятия, беседы о литературе — всегда сотворчество. Создается мир общения, развивается чувство товарищества, способность понимать трудности ближнего.

Отсюда ощущение активной нравственной ответственности. Тут сошлись гармонично производство, учеба и отдых. Я не могу не думать и о том, что среди нас есть люди, которых литобъединение увело от неверия в себя, от бутылки, грубой отупляющей бытовщины. (Объединение зарекомендовало себя надежным помощником в организации трезвого образа жизни!) Когда человек прикасается к поэзии, становятся явственней, динамичней интересы каждого. Хорошо развитое воображение пробуждает к жизни огромные запасы духовной энергии, делает человека общительней, работоспособней!

И такое следует заметить: еще никем не сосчитано, как бы увеличился объем работы в наших почтенных журналах и издательствах, если бы литобъединения не принимали на себя значительную часть просеивающей, черновой работы с начинающими литераторами...

В прошлом я был строителем-копровщиком на возведении спортивного комплекса в Лужниках (о чем потом рассказал в повести «Москвичи с соседних улиц»). Стремясь не отрываться от московских строителей, с которыми сроднился, вот уже двадцать лет руковожу их литературным детищем. Возникла «Высота» так. Летом 1949 года над Москвой пронесся ураган. На Ленинских горах в ту пору строили здание

МГУ. Котлован глубиной шестнадцать метров залило водой. Создалась угроза срыва бетонирования его подошвы. Комитет комсомола МГУ срочно выделил 2200 студентов на ликвидацию аварии. Ребята крепко помогли. А потом возникли стихи. В редакцию газеты «Строитель университета» пришли будущие журналисты и предложили организовать литературное объединение строителей, взяли шефство над ним. В тесном редакционном бараке по вечерам шли жаркие споры о поэзии и прозе. Рабочие и студенты читали свои произведения. У колебле- ли литобъединения были писатели Сергей Антонов и Борис Бедный.

Заинтересованно приглядывался к нам Ярослав Смеляков. Он не только беседовал с молодыми, но и помогал им. Не жалел времени на общение с объединением «Высота» Василий Казин. Прежде чем встретиться с автором, он дома прочитывал его произведение с карандашом в руке. Сколько ценных наблюдений, советов, замечаний высказывалось потом в беседе с автором и со всеми членами объединения! Это были поучительные уроки, в которых речь шла и о мастерстве, и о значении точно выверенного слова, и о том, как важна для нашего творчества близость к настоящему рабочему делу. Похвалы его, как правило, были осторожными, зато ни одна удача не проходила незамеченной. К полюбившимся стихам он неоднократно возвращался и был при этом особенно требовательным. Следил, чтобы автор обязательно «дотягивал» стихи, устранял недочеты. Так, помню, по рукописи инженера Альберта Федулова он выступал дважды, а его миниатюру «Росинка» цитировал наизусть:

Где, колыхаясь, в синем звоне  
Метелки начали цвести.  
Несу росинку на ладони  
И расплескать боюсь в пути.  
Притих огонь голубоватый  
В ее прозрачной глубине,  
Как будто в чистом виде атом  
Природа подарила мне.

Так в росинке Казин сумел увидеть одаренность начинающего автора. Критическая «проработка» поэта оказала сильное воздей-

стве на А. Федулова. В итоге в издательстве «Молодая гвария» вышла в свет его книга «Зори родного дома».

Со временем «Высота» получила постоянную прописку при газете «Знамя строителя». Можно сказать, что наше литобъединение имеет отношение к любой стройке в Москве. Казалось, ушли в прошлое торжества Олимпиады-80, а для нас это событие остается живым и по сей день. Оно сохранилось в творчестве, в воспоминаниях, в людях — участниках строительства олимпийских объектов. Наш герой — человек, которому до всего есть дело. Всегда и во всем истинно рабочий человек. Экскаваторщик Виктор Смирнов-Фролов так говорит об этом в стихах «Спецовка»:

Космонавты уходят,  
Как в цех,— в синеву,  
Там рабочие руки  
Нужны будут завтра.  
По плечу мне придется  
Скафандр космонавта...  
Я спецовой рабочей  
Его назову.

Многоликость профессий наших товарищей привела к тому, что у нас появился своеобразный жанр творческих бесед — литературный портрет. Как правило, товарищу, произведения которого обсуждаются, мы посвящаем целиком все заседание. Он рассказывает о себе, своей профессии, о проблемах, связанных с нею, о муках творчества.

Вот некоторые из таких портретов.

Инженер треста Мосзеленстрой Нина Таирова. В молодости увлеклась альпинизмом. До сих пор остается страстной горнолыжницей. Ее эссе о товарищах-альпинистах полны задушевного мягкого лиризма. Озеленитель — это художник, одевающий строительные объекты в зеленый наряд, без которого невозможно представить жилой массив. Таирова помогала выстраивать череду голубых елей у Кремлевской стены, принимала участие в озеленении Олимпийской деревни.

Машинист башенного крана Владимир Мартынюк родом с Украины. Писал стихи с грамматическими ошибками. Было ясно, что ему следовало основательно заняться учебой, и он закончил среднюю школу, а потом — народный университет. Сейчас коммунист, активный общественник. Так наш коллектив заставляет человека задумываться не только над собственным творчеством, но и над тем, как ему жить дальше, помогает формировать сами жизненные принципы. Выявляются резервы общения, в котором все мы остро нуждаемся в наш

век научно-технического прогресса. Возможности ума и сердца, творческая воля — эти качества молодых литераторов проходят непрестанную огранку. Приобщаясь к большой литературе, «высотники» всерьез размышляют о своих способностях, о своем истинном призвании. Крепнет желание к самоусовершенствованию. И в этом смысле объединение помогает встать на ноги всякому, кто к тому стремится.

О Николае Новикове в литературном объединении говорят, что он взял в жизни три высоты — в Великую Отечественную он был бронебойщиком, прошел ее от начала до конца; потом поднялся на высоту строителя, сейчас покоряет высоту поэтическую. Недавно, к сорокалетию Победы, в сборнике «Поэзия моя, ты — из окопа» («Молодая гвардия») была опубликована веселая подборка его стихов. Почти все они прошли через горнило обсуждений «Высоты». В основе стихов — жизненный опыт настоящего солдата и настоящего труженика.

Обыкновенный клок земли,  
Здесь в нас стреляло пол-Европы.  
Тут даже годы не смогли  
Сровнять солдатские окопы.

Я свой окоп узнал с трудом  
В полузасыпанной траншее.  
А был тут мой вседневный дом  
И сердце — яблочком мишени.

Рабочие, инженеры, учителя, научные работники, строители. Члены «Высоты» всегда рады видеть в своем кругу представителей других профессий, подобно тому как, построив дом, они приглашают жить в нем новоселов. Да и невозможно представить труд строителя без множества смежных профессий. Вот почему плодотворно трудятся в объединении и конструктор Олег Родионов, стихи которого уже выходят на всесоюзный простор; и крановщик Георгий Петропавловский, чьи сатирические миниатюры не раз появлялись на страницах печати и были отмечены премиями; и инженер-строитель Елена Колесникова, поэтический голос которой все крепнет; и математик Евгений Иноземцев, пишущий неторопливо, но основательно; и научный работник, океанограф Генрих Лятев, постигающий премудрости юмора и сатиры, произведения которого печатают соответствующие отделы журналов; и переводчица материалов по технике, бывшая детдомовка Вера Антонова-Овсеенко, чьи стихи прошли первоначальную критическую обкатку в «Высоте» и опубликованы большим циклом в журнале «Знамя». Сыновья слитность с судьбой Родины, с испытаниями, выпадающими в

тяжкие години, желание не шадить сил во имя ее счастья — все это прочитывается в стихах Геннадия Крылатого, сантехника, бывшего моряка. прораба Николая Рыжова, написавшего сердечные стихи «Бородино»...

Литературные объединения, подобные «Высоте», в первую очередь интересны связью творчества и производства. И это определяет их место в жизни нашего общества, их непреходящие устои. Но не могу сказать, что «Высота» избалована вниманием московской писательской организации, что ей известны наши стихи. И еще: книги членов литобъединения редко замечаются прессой. К сожалению, не нашли своей оценки ни книга Альберта Федулова «Зори родного дома», ни «Шествие весеннее дождей» И. Путяевой, ни «Радуга над КамАЗом» Ю. Кленова, ни «Созвездия строк» Н. Пономарева... В прессе нечасто встретишь статьи о жизни литературных объединений, а ведь здесь так много материала для хороших публицистических раздумий — о связи творчества и производства, о месте творческой самодеятельности в жизни общества.

Думается, давно назрела необходимость созвать совещание руководителей литературных объединений. Во всесоюзном масштабе. Такое важное мероприятие могли бы провести совместно ВЦСПС, ВЛКСМ и, разумеется, Союз писателей СССР.

Хорошо, если бы вопрос о литобъединениях прозвучал на предстоящем VII Всесоюзном съезде писателей. Широко заинтересованный разговор об их судьбе позволил бы основательно продумать «гражданские права» объединений, учесть их потребности. Например, о праве рекомендовать своих питомцев на совещания молодых литераторов, зональные и всесоюзные семинары. Надо подумать и о том, как добиться внимания критики. Такие издательства, как «Московский рабочий», Профиздат, и журналы «Рабоче-крестьянский корреспондент», «Смена» и особенно «Литературная учеба» призваны по боевому развить горьковские заветы, делом помогать литературным объединениям. Не спорядически, от случая к случаю, а что называется, каждый день! Возможно, правомерен вопрос об организации альманаха, посвященного литобъединениям (его мог бы выпустить, скажем, Профиздат). Необходимо периодически устраивать своего рода смот-

ры творческих дарований. Именно смотри! С беседами, обсуждениями рукописей в кругу профессионалов-писателей, с выступлениями перед читателями. Надо способствовать творческому общению разных литобъединений...

В нашем обществе на всех горизонтах деятельности происходят ныне серьезные изменения — решительные, подлинно партийные, созвучные с чаяниями миллионов людей. В партийном внимании нуждаются и литературные объединения. Надо обязать профсоюзные органы бережнее относиться к их деятельности, создавать им для работы необходимые условия. По крайней мере такие, какие создаются для коллективов художественной самодеятельности!

...Спешу на очередное занятие. Устал на работе. А тут еще проливной дождь. Может, не пойти? Позвонить, чтобы перенесли на другой день? Придут ли ребята в такую погоду? Наверное, промокли у себя на стройке. Но подхожу к заветному дому № 2 в Давом переулке и вижу: ребята спешат на занятия. Именно такие — промокли, уставшие. Бегут! Осенью, зимой и весной. Причем Николай Новиков приезжает из Люберец, а Олег Родионов из Зеленограда. Невольно думаю: ради чего? И тут же успокаиваюсь: да ведь просто интересно у нас. Когда, например, я поручаю компрессорщику Валентину Чалых, такому требовательному к поэтической работе, своей и товарищей, сделать доклад на заинтересовавшую объединение тему, его выступление оказывается обязательно наказанным, содержательным, полным редких сообщений. Поверьте, так же захватывающе интересно слушать об архивных розысках Эдуарда Зиновенко, поэта, сотрудника архивного управления Мосгорисполкома. Кстати сказать, Э Зиновенко выступает в газетах и по радио с рассказами о ранее неизвестных документах, написанных рукою В. И. Ленина. Печатаются в газетах Леонид Тризна, Игорь Зуев, Нина Таирова, В. Дмитриева, В. Георгиевский. Это и есть живая рабкоровская работа. На каждое занятие «высотники» приносят новые стихи и заметки. Рабкоровские голоса крепнут. Во всем, что они готовят для печати, ощущается современность, личная заинтересованность в делах страны.

**Михаил БЕЛЯЕВ.**

# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Олег Смирнов.** «Писать историю — дело нелегкое...».— **Аркадий Гаврилов.** Три портрета времени.— **М. Туровская.** Трудные пьесы.— **В. Кантор.** Люди, книги и лабиринты Хорхе Луиса Борхеса.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**В. Острогорский.** Репортажи с переосмыслением.— **Наум Мар.** Флотоводец, ученый, писатель.

## *Литература и искусство*

### «ПИСАТЬ ИСТОРИЮ — ДЕЛО НЕЛЕГКОЕ...»

**Александр Кривицкий.** Собрание сочинений в трех томах.  
М. «Художественная литература», 1984.

**В** годы Великой Отечественной войны для меня, солдата, сержанта, лейтенанта пехоты, писатели и журналисты, чьи имена я видел в «Красной звезде», были небожителями. Еще бы! Пока я со своими бойцами по ноздри в грязи шлепаю по траншеям, поднимаю цепь на безымянную высоту, журналисты из самой Москвы-столицы ездят по всему фронту и пишут из наиболее горячих его точек, становящихся известными всей стране, всему миру.

Бывало, что и я участвовал в громких операциях — в освобождении Минска, например, в штурме Кенигсберга, — но и тут оказывалось: газетные боги «Красной звезды» вошли в тот же Минск или Кенигсберг едва ли не одновременно со мной.

Александра Кривицкого той поры я воспринимал как одно из золотых перьев «Красной звезды». Он писал интересно, обстоятельно, превосходно владел предметом, очевидно было в воинских делах разбирается. Но из всех военных публикаций Александра Кривицкого наибольшее впечатление на меня (как, думаю, и на тысячи, миллионы читателей газеты) произвел его очерк о подвиге 28 панфиловцев у разьезда Дубосеково. Впрочем, я еще коснусь этого...

Значительно позже, после войны, я узнал, что иные блистательные авторы «Красной звезды» не так уж были тогда обременены годами, хотя там служили и почтенные Илья Эренбург, Николай Тихонов, Андрей Платонов, Евгений Габрилович.

В последний примерно десяток лет читатели не могли не заметить творческой активности Александра Кривицкого. Мы помним его регулярные газетные публикации — очерки и зарубежные путевые заметки, умные, острые, наступательные. И вдруг среди этой публицистической мозаики стали появляться крупные вещи писателя. Впрочем, почему же вдруг? Книжки, которые я имею в виду, произрастали, если так можно выразиться, из текущей литературной работы, обогащенные проблемами и материалами, всегда занимавшими Кривицкого-прозаика.

Трехтомник открывается повестью «Тень друга, или Ночные чтения сорок первого года». Хотя повесть — определение здесь вряд ли правомерное: произведение не укладывается в канонические рамки жанровых определений. «Тень друга...» — вольная, раскованная форма повествования, в которой совмещены признаки собственно прозы, хроники, исторического исследования, воспоминаний, документализма, лите-

ратурного портрета. Все это можно отнести в полной мере и к другим произведениям, включенным в трехтомник Таков, очевидно, стиль писателя. Не верю, что серьезный литератор будет писать каждую новую вещь новым стилем. Верю в обратное: стиль в его глубинном понимании у писателя неизменен в своей основе, стиль — это, собственно, сам писатель.

Я и раньше читал «Тень друга...». Вообще-то перечитывать бывает рискованно: даже у крупного писателя что-то понравившееся при первом чтении при повторном может оставить равнодушным или ты замечаешь несовершенство, ускользнувшие, когда знакомился с произведением впервые. А вот «Тень друга...» я перечитывал с теми же интересом и увлеченностью, что и прежде.

Повесть не случайно называется «Тень друга, или Ночные чтения сорок первого года». Отправной точкой сюжета (имеется в виду сюжет, движимый не столько внешними событиями, сколько развитием авторской мысли) можно считать чтение писателем редкостных книг зимними ночами сорок первого года. Читал он в холодном, уютном кабинете «Красной звезды», иногда вместе с Петром Павленко, иногда один, но всегда делясь со своим старшим другом мыслями и чувствами от прочитанного.

Павленко и Кривицкий были верные и неразлучные друзья: несмотря на разницу в возрасте, они подходили друг другу — натуры увлекающиеся, заводные, в то же время ироничные и даже, что существенней, самоироничные. Они жили в редакционном кабинете «Красной звезды» на казарменном положении, деля на двоих армейский паек и работая каждый за троих, впрочем, как и другие сотрудники газеты. Я написал «неразлучные» — так оно и было. Случалось, один убывал на фронт. Но ведь фронт-то находился рядом, в московских пригородах, в получасе езды на машине...

Ночные чтения! Военные писатели-журналисты листали прекрасные страницы, освещенные светом российской истории и отсветом недалежных пожаров. Читали после напряженной дневной работы в редакции или поездок в войска, и невольно сопрягались события отшумевших зим и лет и события зимы сорок первого, когда враг подступил к стенам Москвы. Уроки тех давних лет не были забыты, Павленко с Кривицким остро это чувствовали.

В «Тени друга...» щедро используется подчерпнутое из прочитанного в сорок первом. Но в книжности Александра Кривиц-

кого не упрекнешь, может быть, потому, что извлеченное из других источников окрашено у него личностным отношением к событию или историческому деятелю. Чего стоит, к слову, рассказ о князе Михаиле Семеновиче Воронцове: герой Отечественной войны 1812 года, талантливый и храбрый генерал, близкий к умеренной части декабристов, а впоследствии крупный царский чиновник, генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии, наместник на Кавказе. Ценность этого рассказа в том, что Александр Кривицкий стремится докопаться до существа характера Воронцова, характера сложного и противоречивого.

В повести «Тень друга...» перед читателем проходят люди, знакомые автору по страницам научных трактатов, мемуаров, романов, и те, с кем ему посчастливилось познакомиться лично. Посчастливилось, потому что это были — увы, были — незаурядные, яркие люди. Запоминаются образы маршала Рокоссовского, генералов Панфилова и Лизюкова, писателей-фронтовиков Николая Тихонова, Владимира Ставского...

Наиболее выразительным в книге мне показался образ Петра Павленко. Исподволь, штрих за штрихом воссоздает Кривицкий портрет интеллигентного, талантливого, целеустремленного человека, неколебимо преданного своим идеям, своей работе. Павленко показан преимущественно в деле — писатель, газетчик, идеологический боец партии.

В повести «Елка для взрослого, или Повествование в различных жанрах» под пером Кривицкого оживает немало замечательных людей. Но прежде всего поставленный в центр повествования Константин Михайлович Симонов, с которым автор сдружился в той же «Красной звезде». Эта строгая мужская дружба продолжалась до самой смерти Симонова.

Поэзия, проза, драматургия, публицистика Константина Симонова общепризнанны, популярность его была, да, пожалуй, и остается огромной. Из личного общения знаю, с каким достоинством нес Константин Михайлович бремя литературной славы. Кривицкий в своей повести подтверждает это далеко не всем известными фактами.

Мы видим Симонова — писателя, солдата, гражданина, коммуниста, наконец, просто человека. Со своими поступками, мыслями, чувствами. Нельзя не подпасть под его обаяние, все в нем привлекательно: талант, трудолюбие, мужество, бесконечная пре-

данность родине и партии, принципиальность, отзывчивость, благородство натуры. Разумеется, были у Симонова и заблуждения и ошибки, в которых он потом раскаивался и которые старался непременно исправить. В том-то вся штука: кто из нас вольно ли, невольно не совершал такого, что противоречит собственной совести, собственным принципам. Главное же, как потом отнесешься к этой ошибке — постарайся забыть о ней, успокоиться (дескать, со всеми бывает) или, наоборот, беспощадно осудишь себя, будешь помнить о своем проступке, постарайся искупить его. Известно, как относился к этому Константин Михайлович...

На правах старого друга Александр Кривицкий дерзает даже задаться вопросом: был ли Симонов счастливым? И честно отвечает: не знаю. Тут есть над чем задуматься нам, читателям.

Признаюсь, не без пристрастия читал я страницы, посвященные работе Симонова и Кривицкого в «Новом мире». Послевоенная судьба их сложилась так, что когда Константин Михайлович редактировал «Литературную газету» и «Новый мир» рядом был Александр Юрьевич. Это я их столь официально называю, они же обращались друг к другу по-иному: Костя, Саша.

Так вот, о «Новом мире». В свое время мне довелось работать в этом журнале, как и Кривицкому, заместителем главного редактора. С понятным интересом узнавал я — в подробностях, деталях, — как делался тогдашний, симоновский «Новый мир», журнал с богатейшими традициями, знавший, впрочем, не одни только взлеты. И опять думалось о Симонове уже как о редакторе: смел, принципиален, широк, демократичен. И еще: авторитет журнала и авторитет редактора как бы сливались в одно целое...

Все три тома Александра Кривицкого прочитываются взахлеб. Думаю, тому две основные причины: ценная, порой редкостная информативность и художественность. Такой сплав порождает, в сущности, настоящую, без скидок прозу.

Кривицкий среди наиболее образованных, наиболее начитанных наших военных авторов. У него неисчерпаемые запасы писательской эрудиции и общественного темперамента. Сильная сторона крупных произведений Александра Кривицкого — насыщенность военно-исторической информацией о нашей армии, ее традициях, восходящих к далеким временам, о ее людях — нынешних, вчерашних и из времен, отдаленных веками. Писателя в Кривицком пре-

красно дополняет историк, и потому отечественная военная история предстает перед читателем в мастерски описанных событиях и лицах.

Углубляясь в историю, Александр Кривицкий уделяет много места прославленному полководцам Суворову, Кутузову, Румянцеву, старой русской армии, борьбе народного начала в ней с монархическим, передового с косным. Убедительно показывается процесс классового расслоения армейской и флотской среды накануне Октябрьской революции и в ходе гражданской войны. Автор делает это на добротном историко-литературном уровне.

Читая повести-хроники Александра Кривицкого, ощущаешь, что они созданы в 70-е годы: столько в них сквозь пласты истории пробивается остросовременного, будь то американская агрессия во Вьетнаме или Договор ОСВ-2. И это тоже особенность повестей Кривицкого: о чем бы он ни рассказывал — не преминет перебросить мостик к дням нынешним.

Кривицкий — публицист милостью божьей. Кому не знакомы его статьи, очерки, памфлеты на международные темы! Глубокие, острые, точные, они изобличают наших идеологических противников за океаном и в Европе, обнажая суть так называемого свободного мира.

Второй том — «Портреты и памфлеты» — отдан чистой публицистике. В разделах «Кое-что о Пентагоне и его окрестностях», «Из биографии дьявола» и «Разнообразная Европа» Кривицкий ведет непримиримый бой с американскими поджигателями войны: пентагоновцами, цэрэушниками и теми кто стоит за их спиной, — ретивыми представителями администрации, алчными воротилами военно-промышленного комплекса, с другими разновидностями международной реакции. По-солдатски отстаивает он идеи мира, прогресса, социализма. Написанные в разные годы статьи, очерки, памфлеты чувствительно били по врагу. Думаю, и сейчас они по-прежнему попадают в цель: хорошо сказанное слово не стареет.

«Бранденбургские ворота», «Жара в Агудзере», «Старая история», «Курская антоновка» — эти порожденные жизнью «почти рассказы» как определил их Константин Симонов, приоткрывают новые грани дарования писателя: его способность искренне восторгаться, мягкий, лирический юмор. Все это органично сочетается в прозе Кривицкого с иронией и сарказмом. К упомянутым произведениям примыкают «Мужские беседы» и «Непри-



думанные истории». Хотя тональность их сдержанней, строже.

Но вернемся к повестям-хроникам. Не-возможно даже перечислить темы и проблемы, затрагиваемые в них. Автора интересуют и социальные вопросы, и принципы организации вооруженных сил, и стратегические доктрины, и эволюция тактического мышления, и то, каково значение дисциплины, и роль командира, его взаимоотношений с подчиненными, и многое другое. Не лучше ли было бы сосредоточиться на малом числе проблем, углубившись в них? Может, и лучше, но тогда это были бы иные книги, в принципе отличные от тех, которые задумал автор. Эти—художественно-публицистические, широкоформатные. О написанном именно так и следует судить.

В орбиту разговора о военной истории Александр Кривицкий постоянно вовлекает искусство и литературу, классическую и современную. Точны, тонки, порой артистичны его суждения о так называемых военных произведениях Л. Толстого, М. Лермонтова, К. Батюшкова...

Особо хотелось бы сказать о «Подмосковном карауле», жанр которого автор определил как быль. По-моему, эта быль — одна из вершин творчества Кривицкого. И по-видимому, особую роль здесь играет тот жизненный материал, который лег в основу произведения. На весь мир прогремел бой у разъезда Дубосеково 16 ноября 1941-го. Подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев, вступивших в неравную схватку с полусотней немецких танков и не пропустивших их к Москве, достоин преклонения. Но ведь не один же он был! Сколько героических поступков осталось просто в политдонесениях или в лучшем случае стало достоянием дивизионной газеты! А в том, что о бое у Дубосекова узнали миллионы и миллионы, в том, что он до сей поры живет в памяти народной, заслуга «Красной звезды» и Александра Кривицкого.

Напомню вкратце: на сто сорок седьмой день войны Гитлер возобновил генеральное наступление на Москву под кодовым названием «Тайфун» (сухие, педантичные немецкие генералы любили, однако, звучные наименования). На столицу были брошены 13 танковых, 7 моторизованных и 31 пехотная дивизии. Для сравнения: весной сорокового года против Франции действовали 10—11 бронетанковых дивизий. Чем это кончилось — известно, а вот Москва устояла!

Кривицкий пишет в «Подмосковном карауле»: «Героизм есть результат целесооб-

разного военного воспитания, говорит нам военная история. И моральный дух, поднявший двадцать восемь гвардейцев на вершину героизма, был не даром судьбы, не минутной вспышкой отваги, а славным итогом терпеливого, упорного воспитания людей». Да, воспитанные горячими патриотами, гвардейцы-панфиловцы не дрогнули в час испытаний, бесстрашно отдавая родине свою жизнь до конца. И до победы.

Автор не скрывает правды: против 50 танков было 29 человек, но струсил лишь один. Приблизившиеся к нашим окопам вслед за танками автоматчики закричали: «Рус, сдавайся!» — и тот, единственный, поднял руки, и сразу же несколько гвардейцев выстрелили в него. Покарав предателя, двадцать восемь приняли смертный бой. Подбивали танки из противотанковых ружей, жгли бутылками с горючей смесью, и вдохновлял их политрук роты Василий Клочков. Сам он погиб, как и большинство бойцов.

Спустя двенадцать дней «Красная звезда» опубликовала передовую Александра Кривицкого, посвященную подвигу двадцати восьми. Бывший редактор газеты Д. Ортенберг в книге «Время не властно» вспоминал об этой передовице: «Автор нашел красноречивое, удивительно емкое выражение подвига двадцати восьми героев. Он торжественно и беспощадно правдиво нарисовал самую суть того, что произошло у разъезда Дубосеково. Это и было первооткрытием героизма двадцати восьми гвардейцев. Для самой формулы завещания героев Кривицкий нашел слова прямо-таки хрестоматийного звучания и тем самым уже открыл этому подвигу широкую дорогу в массы... Да, это передовая и была первооткрытием подвига двадцати восьми героев».

В последующем очерке А. Кривицкий поведал подробности боя, назвал героев поименно, обнародовал знаменитый девиз Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва!» Добавлю, что первооткрытие важно не само по себе, главное тут — степень художественной силы и, следовательно, воздействия на читателя. Подлинным литературным памятником героям-панфиловцам стала повесть «Подмосковный караул» Многие годы Александр Кривицкий возвращался к этой теме, разыскивал уцелевших бойцов из группы Василия Клочкова, неоднократно встречался с ними, с другими воинами дивизии, с родными Клочкова и генерала Панфилова, поднял архивные документы — и в итоге редилось

произведение, во всей полноте показывающее события и людей той осени сорок первого. Правдивое, талантливое произведение, своего рода гимн мужеству и стойкости советских воинов. И конечно же, прежде всего нас поражают светлые, высокие образы политрука Клочкова и генерала Панфилова. «Подмосковному караулу» уготована долгая жизнь...

В главе «Поверья и заветы...» Кривицкий как бы мимоходом обронил: «Писать историю — дело нелегкое. Она не пишется в один присест. Время и наука промывают руду событий, отсеивая, отводя ложное, оговаривая сомнительное, выявляя запрятанное, движущееся в донном течении. Сознанию предстает достоверность, очищенная от искажений». Отрадно, когда ав-

тор сознает, что это такое — писать историю, стремится быть правдивым, доказательным, свободным от какой-либо предвзятости.

Трехтомник и составлен с учетом такого принципа. Да и художественный уровень выдержан от начала до конца. Хотя я пожалел, что за пределами собрания сочинений Кривицкого остались его литературно-критические статьи, рецензии на военно-художественную литературу.

Наша литература щедра на талантливые книги. В их числе и произведения, вошедшие в трехтомник Александра Кривицкого. Факт вроде бы частный. Но из этого и складывается целое, общее — современная литература.

Олег СМЕРНОВ.



### ТРИ ПОРТРЕТА ВРЕМЕНИ

Владимир Амлинский. Ожидание. Романы. М. «Художественная литература». 1985. 511 стр.

У каждого поколения есть свои проблемы помимо общечеловеческих. Непонимание и даже отчуждение между людьми разных поколений, между «отцами» и «детьми», не однажды встречавшиеся в разные времена, как правило, на совести старших, которые были молодыми, но не всегда помнят об этом. Писатель, не забывающий свою молодость, в зрелом возрасте может говорить в своих книгах от лица и тех и других, как бы принадлежа сразу двум поколениям.

Мы помним Владимира Амлинского как писателя молодежной темы. Не изменил этой теме он и сейчас. Правда, герои Амлинского повзрослели вместе с ним, свою молодость они уже не переживают, а вспоминают. Но выросли их дети и младшие братья. И если лет двадцать назад писателя больше всего волновала проблема самопонимания (главная проблема «исповедальной» прозы 60-х годов), то теперь, в возрасте отцов, его не меньше волнует проблема взаимопонимания поколений. Проблема, решение которой возможно только через взаимопонимание. Уважение к старшинству — это из области патриархальных традиций, которые нами основательно подзабыты. Уважение к растущему и самолюбивому юношеству — то, чему мы учимся с недавних пор и еще не научились.

В однотомник Амлинского, изданный «Художественной литературой», вошли три его романа, написанные в период с 1970 по 1983 год. Собранные вместе, они заго-

ворили между собой, начали объяснять друг друга, и в результате каждый приобрел добавочное измерение, стал объемнее, стереоскопичнее. Это три варианта судьбы человека, родившегося в середине 30-х годов. Три портрета одного и того же времени — от «до войны» и почти до наших дней. Своеобразный триптих.

Роман «Возвращение брата» — самый ранний по времени написания — обозначил своего рода переходный этап в творчестве В. Амлинского. Здесь еще нет диалога между поколениями, но он уже ожидается, потому что у героя, Ивана Лаврухина, есть младший брат (от второго брака их матери), который скоро подрастет и на все свои вопросы потребует честных и откровенных ответов. Иван почти двадцать лет не был в родной Орше и не видел еще младшего брата Сергея. И вот эта встреча произошла. Сергей гордится своим старшим братом, который служил далеко-далеко на границе (так мальчику говорила мать, и он свято верил ее словам) и теперь вот наконец приехал. На самом же деле он вор-рецидивист, последние семь лет отбывавший очередной срок заключения в колонии Иван — неординарная личность, но и условия, в которых он вошел в переломный подростковый возраст, когда формируется характер и намечается линия жизни, были экстремальными — война, безотцовщина, партизанский отряд, ранение, плен, угон в фашистскую Германию, послевоенная разруха и голод. «Одиннадцати

лет от роду он отправился в школу во второй класс. К тому времени он неплохо понимал по-немецки, но деньги считал по пальцам и не умел писать». Отец погиб, а мать, с которой он был разлучен всю войну, не смогла оказать ему моральной поддержки. Не сумев найти общего языка со своими сверстниками, тем более с одноклассниками, которые были младше его, он «толкался у пивных ларьков, где собирались инвалиды. Они любили Ваню: был он хотя и пацаненок, а солдат. инвалид, награжденный медалью „За отвагу“». Там и связался с ворами, после чего «отвага» Ивана Лаврухина стала принципиально иной.

«Возвращение брата» — это возвращение Ивана к людям, к нормальной жизни, к самому себе, наконец. У него нашлись силы, чтобы порвать внутренние (очень крепкие — ведь столько лет!) связи с преступным миром. Нашлись и люди, которые помогли ему в этой нелегкой душевной работе. В колонии он заставляет себя учиться и оканчивает восемь классов. Но это только начало возрождения. Борьба, первый раунд которой он когда-то проиграл вчистую, еще не окончилась. «С этим внутри него самого было разорвано намертво, навек... Но «внутри него самого» еще не означало, что все, порядок... Сколько раз так бывало: сам человек уже решил, уже оторвался с кровью, с кожей от прежнего, а обстоятельства выстраиваются так, что ведут его прямой дороженькой обратно». Познакомившись с Иваном Лаврухиным поближе, читатель проникается уверенностью, что на этот раз он не сдастся, одолеет, — уж очень велики у Ивана презрение к себе прежнему и жажда новой жизни. А как быть с младшим братом, которого Иван успел полюбить? Нельзя же и дальше скрывать от него правду, он не простит обмана. Иван не успеваешь решить этот, может быть, самый важный для себя вопрос — его, как гордиев узел, разрубаешь жизнь. Нашлась «добрая душа» — какой-то семиклассник в школе объяснил Сереже, где именно так долго служил его брат и в каком качестве.

Сценой в школе заканчивается роман. Сережа еще не знает, что в этот самый момент его брат находится в больнице в тяжелом состоянии. Вступившись за какого-то неизвестного ему парня, которого избивала ватага хулиганствующих подростков, Иван получает удар ножом. Мы верим, что он выживет, поступит на работу, женится и будет счастлив (ведь именно так и случилось с прототипом героя романа, о

чем мы узнали из авторского предисловия к книге). Верим мы и в то, что неизбежный разговор между братьями будет откровенным, мужским, что младший брат поймет и простит старшего...

Центральное место (в буквальном и переносном смысле) в триптихе Амлинского занимает роман «Нескучный сад», впервые увидевший свет в 1979 году. Совсем другая среда. Другие люди и обстоятельства. Любимая автором Москва. интеллигентная семья Ковалевских... Впрочем, одно совпадает — война.

Жизнь каждого человека, пережившего войну, хотя бы и в детском возрасте, поделена надвое — на «до» и «после». Война прошла через жизнь старшего Ковалевского — Андрея Сергеевича, ученого-биолога, вступившего добровольцем в ополчение, и его сына Сергея, потерявшего мать в эвакуации. И только сын Сергея, восьмиклассник Игорь, знает о войне по книгам, кинофильмам да еще по рассказам отца и деда. Действие романа происходит в середине 70-х годов и фокусируется на отношениях сорокалетнего археолога Сергея Ковалевского с сыном. Отношения эти затруднены тем, что Сергей ушел из семьи. Такое может быть воспринято подростком как предательство и роковым образом повлиять на его формирующийся характер и на всю дальнейшую жизнь. Сознает это, конечно, и Сергей, пытается наладить духовный контакт с сыном, ведущий к взаимопониманию. Тем более и повод подвернулся — вызов в школу. Но взаимопонимание может быть только ответом на понимание, а понять некоторые зигзаги в поведении скрытного сына-подростка, переживающего первую любовь, отцу сложно. И Сергей ворошит свою память, ищет аналогии в своем отрочестве, а это тоже сложно. У него совсем другое было детство — война, потом жизнь без матери, коммуналка, улица... Как же, оказывается, труден этот диалог поколений! Труден, но не невозможен.

Все «классическое» время действия романа замкнуто рамками одного дня и одной ночи. События, происходившие когда-то, показываются наплывами воспоминаний Сергея и в меньшей мере его сына Игоря. Перебивка временных планов — вообще излюбленный прием Амлинского. Так можно показать лёт времени — сопоставляя его срезы, сравнивая различные годовые кольца. В сознании человека время дискретно, поскольку представляется цепочкой событий.

Итак, Сергея Ковалевского вызвали в школу, потому что его сын последнее время проявлял «расхлябанность, неинтерес ко всему... леность в соединении с упрямством» и в довершение всего прогулял два дня. Отец соглашается с призывом классной руководительницы «думать вместе», но чувствует себя школьником, которого то ли экзаменуют, то ли отчитывают за какую-то провинность. Он остро ощущает свою вину перед сыном; тем более что повод, заставивший его решиться на уход из семьи, на разрыв с матерью Игоря, — новая любовь — не дает ему права на самооправдание. Из школы отец с сыном идут в парк Горького, в Нескучный сад, где раньше бывали «именно вдвоем и знали здесь все». Парк — это символ счастливого детства Игоря и счастливого отцовства Сергея. Но попытка доверительного разговора не состоялась...

Да, для отца Игорь еще мальчик. Конечно, сам он был не такой — более умудренный, что ли, жизненным опытом, всякого уже насмотревшийся и напробовавший. Но ведь и время было другое. Однако тут он ошибается. Подросток в любое время ищет для себя испытаний, чтобы побыстрее приобрести этот самый опыт. Суждениям взрослых о подростках противопоставляется в романе суждение подростка о взрослых: «В глубине души он был убежден: они не знают нас, как мы не знаем их, и поэтому то, что они думают о нас неверно». И ведь Игорь, пожалуй, более прав, чем не прав. Такова, собственно, и позиция автора, выраженная ненавязчиво, но вполне определенно.

Что же касается «испытаний», то они к Игорю, разумеется, приходят. И в том же Нескучном саду, куда, невольно вспоминая отца, Игорь приглашает любимую девушку и где, как и следовало ожидать, на них нападают хулиганы. Игорь бьется изо всех сил, защищая девушку, но силы не равны. Его жестоко избивают. В отделение милиции, в которое они все (вместе с хулиганами) попадают, приезжает отец Игоря «и боковым зрением видит как Игорь в стороне держит руку этой девочки смотрит ей в глаза стоит как копаный держит не выпускает руку». И кое-что Сергей начинает понимать. Как и героям романа «Возвращение брата» отцу и сыну еще предстоит нелегкий и откровенный разговор.

В романе «Нескучный сад» то и дело всплывают в воспоминаниях Сергея Ковалевского эпизоды его отрочества и юности, приметы времени. Вспоминает он своих

школьных товарищей, Чистые пруды, коммуналки с многочисленными звонками на дверях, пленных немцев, идущих по Садовому кольцу, песни военных и послевоенных лет, моды, словечки и выражения, футбол 40-х годов и его героев, свой институт, профессоров, экспедиции, поездку на целину («то было время эшелонов, идущих на целину»); даже такие мелочи, как бутерброды с крабами и майонезом в рыбном магазине на Покровке, не ускользают от его цепкой памяти. Не астрономическое, а историческое время вспоминают автор и его герой. Из этих примет, как из отдельных разноцветных камушков мозаики, складывается портрет Времени.

«Вспоминательность» и мозаичность прищипки и третьему роману Амлинского. «Борька Никитин (Ремесло)» — роман о художниках, о трех товарищах по художественному институту, об их состоявшихся или несостоявшихся судьбах, о призвании и меньше всего о ремесле художника, хоть о нем и говорится много. На этот раз повествование ведется от первого лица, рассказывает, вспоминает о себе, о своих друзьях — Борьке Никитине и Сашке — их товарищ Юрий Афанасьев. Нелегкая судьба талантливого и бескомпромиссного Борьки Никитина в центре повествования.

Время действия то же, что и в романе «Нескучный сад», то есть середина 70-х годов. И вот рассказчик, уже довольно известный московский книжный график, вместе с Сашкой, «прирожденным профессионалом», добившимся больших успехов на поприще изобразительных искусств, спустя двадцать лет после знакомства едут в день рождения Борьки Никитина в подмосковный городок, где живет и преподает рисование в интернате для трудных детей их друг. Никитин не забросил живопись, но она дается ему все труднее и труднее, потому что он ставит перед собой предельные задачи, пытается добиться почти невозможного. Потому и не может закончить большую, очень важную для него картину. Да и работа с детьми его захватила. «Учитель воспитай ученика». Не обязательно художника считает Никитин, но Человека непременно. Именно во взаимоотношениях Никитина с одним из учеников проблема диалога поколений выступает в романе на первый план.

Вскоре после встречи друзей с Никитиным случается несчастье. Закрывая последнюю страницу романа, мы не знаем, сумеет ли главный его герой отразить неожиданный удар судьбы, но вместе с его другом-рассказчиком верим в жизненную

силу талантливого Деревенского паренька, приехавшего когда-то поступать в художественный институт с двумя портретами — отца и матери...

Все рассказанное выше занимает относительно небольшое место в тексте романа, как бы растворено в ретроспективе, в событиях прошедших двадцати лет. Но прошлое у Амлинского объясняет настоящее, а нередко даже предсказывает будущее. И естественно, в романе появляются уже знакомые нам опознавательные знаки: та же Москва 50-х годов — время молодости автора и его героев. Время не только изображается — оно (вернее, ощущение его быстротечности) во многом определяет восприятие мира героями и их самосознание. Рассказчик говорит о себе: «... меня удивляет то, что не должно удивлять, и то, что всегда ощущаешь с каким-то внутренним изумлением: лёт в ре м е н и, все нарастающую его скорость». И в другом месте: «Еще в самые молодые свои годы я физически ощущал время». Борька же Никитин «острее, чем другие, чувствовал в ре м я: переход от одного времени в другое».

Нельзя сказать, чтобы характер талантливого «неудачника», созданный автором, был уж очень оригинальным в литерату-

ре. Но, думается, конструирование оригинальных характеров не было главной заботой писателя. Если герои похожи на кого-то, то это потому, что они типичны. Ощущение подлинности, а не умозрительной сконструированности изображаемой жизни не покидает читателей романов Амлинского. Это именно то качество, которое сделало реалистическое направление господствующим в литературе. Но добиться эффекта подлинности удастся далеко не всем писателям. Амлинскому удастся.

Второе название романа — «Ремесло» — можно понимать метафорически, то есть как ремесло всякого художника, в том числе, конечно, и писателя. Сомнения, ответственность собой и сделанным — неотъемлемое свойство каждого настоящего художника. Без этого не может быть движения вперед, на новые творческие рубежи. Самоуспокоенность и самодовольство для художника — сладкий, но смертельный яд. Три романа, вошедшие в однотомник Владимира Амлинского, свидетельствуют о постоянном развитии писателя, об углублении им своей главной темы. Тема эта — становление характера человека. Человека во Времени.

Аркадий ГАВРИЛОВ.



## ТРУДНЫЕ ПЬЕСЫ

Л. Петрушевская. Три девушки в голубом. «Современная драматургия», 1983, № 3.

Виктор Славкин, Людмила Петрушевская. Пьесы.

М. «Советская Россия». 1983. 156 стр.

Среди произведений Л. Петрушевской есть одно, помеченное особой, сказочной судьбой. Оно обошло весь мир, получило множество премий и совершило переворот в отдельно взятом виде искусства. Но так как в кино все, что ни происходило бы, происходит под именем режиссера, то «Сказка сказок», принесла исключительную — и более чем заслуженную! — славу мультипликатору Ю. Норштейну, как-то остается за скобками послужного списка Петрушевской. Между тем сценарий этой на редкость содержательной при бездне искусства небольшой вещи принадлежит им обоим.

Конечно, фильм на экране не очень-то похож на вдохновившие его первоначальные словесные наброски. Но для мультипликации это нормальное, естественное положение вещей. Зато сценарий, даже только заявка на него, может служить как бы эпиграфом ко всему, что пишет Петрушевская. Это всего лишь нота, но как важно,

прислушаться к ней при начале разговора об авторе. Вот первая прикидка Петрушевской:

«Это должен быть фильм о памяти.

Помните, какой длины были дни в детстве?

Каждый день стоял сам по себе, сегодняшнее исполнялось сегодня, а для завтрашнего счастья отводился завтрашний день.

...Не об этом фильм.

Это должен быть фильм с поэтом в главной роли, причем не обязательно поэт появится на экране..

...Белье на веревках, бык с кольцом в ноздре, полный ужасных, гибельных страстей, дяденька на деревяшке с одной ногой, наш сосед, пришедший так с войны... Наш сосед в одном ботинке...

Все это может быть организовано в простой сюжет, но сюжет особенный, сюжет-гармошку, раздвигающийся, расширяющийся, а в конце сведенный к одному простому звуку: «живем».

Потому что наше детство пришлось на конец войны, и мы вечно должны помнить, что счастье — это каждый мирный день. Каждый день».

А вот уже непосредственно сценарий «Сказки сказок»:

«Не знаю, как у вас, а у нас каждый летний вечер — и после дождя, когда солнце садилось в тучах и мокрая листва пахла над мокрой землей, — каждый тихий и погожий вечер в парке играли «Утомленное солнце».

...Так надоела эта музыка, что спустя три десятка лет я все ищу эту пластинку и не могу найти — заиграли в войну...

Теперь бы войти в это бедное, по карточкам росшее детство, в этот длинный коридор, в воскресный, солнечный, без взрослых двор...

...Откуда было столько счастья в те времена?

Столько счастья...

Но мы ведь прожили уже то счастье, набегались под летними дождями, вообще набегались, отбегали свое, отскакали, отпрыгали...

...А я — поэт.

Все увиденное, услышанное потрясает меня до глубины души. Чувства меня раздрают, я чувствительное существо. Мое рабочее место на площади, на улице, на пляже. На людях. Они, сами того не зная, диктуют мне темы и иногда даже целые фразы. Не говоря уже о красках: их я просто списываю с натуры.

Вот я сижу на площади.

Это, как я уже сказал, мое рабочее место.

Пусть оно неудобно...

...А я все равно поэт. Я вижу каждого из вас. Ваша боль — моя боль».

Важно сказать об этом, чтобы перейти к текстам пьес Петрушевской, которые долго жили изустно на театральных подмостках. Теперь они стали литературой, появились в журнале «Театр», альманахе «Современная драматургия», библиотечке «В помощь художественной самодеятельности». А печатный шрифт — жесткая проверка для изустного.

Первое — язык. Вроде бы и слова все знакомые, обиходные, даже затасканные, но стоят они как-то так ловко, так тесно и обязательно одно к другому, что, бывает, смеешься от радости словам. Это свойство таланта: радость от самого искусства, даже если речь идет о вещах нерадостных. Так, к примеру, играл своих мерзавцев великий комик и реалист Тарханов.

Считается, что для драматурга исключительное внимание к речи — прямая как-никак! — обязательно. На самом деле многие современные драматурги пишут в этом смысле нейтрально. Иные — не без кокетства — обволакивают героев собственной интонацией, предлагая читателю некую суммарную языковую странность.

Петрушевская самоотверженна по отношению к языку. Неопровержимость, схваченность каждодневного городского жаргона в ее пьесах вовсе не есть стенографическая запись. Между его похожестью и бытовой расхожестью — терриконы отработанного трепана всех уровней существования: от деревенской завалинки во дворе московской новостройки до лаборатории какого-нибудь НИИ, который так и хочется написать непрописными буквами, настолько он универсален. Поэтому Петрушевскую трудно цитировать: у нее нет афоризмов и словесных бутаф, но вся ее лексика, сам синтаксис речи сообщают читателю о персонажах не меньше, чем «сюжет» тех слов, которыми они обмениваются. Поэтому же ее пьесы, особенно одноактные, трудно пересказать: обмен словами часто и есть то главное, что в них происходит. Но за ними жизнь человеческая со всем тем малым по видимости, что, однако ж, уходит корнями в ее глубину.

Здесь мы вынуждены сделать небольшое отступление и вспомнить о той традиции в драме, к которой Петрушевская имеет вроде бы прямое отношение. О ней, как и о молодых сегодняшних драматургах, окрещенных «новой волной», обычно пишут, что это «послевампилловское».

Действительно, и круг героев, и вопросы, которые эти пьесы трактуют, и их «изнаночность» по отношению к прежней, производственной по преимуществу драме — все это обозначилось немногими, но очень заметно вошедшими в жизнь театра пьесами рано умершего А. Вампилова.

Впрочем, если бы мотивы эти не были собраны в фокус внезапной гибелью автора, то пьесы его, поражающие столь ранней зрелостью, правомерно было бы назвать «послеволодинскими». Недавняя премьера старой пьесы А. Володина «Фабричная девчонка» на малой сцене Театра имени Моссовета, известные фильмы «Пять вечеров» и «Осенний марафон» сделали очевидными как черты сходства, так и различия. Но дело в том, что «послевампилловская» А. Петрушевская отличается от всей послевампилловской драматургии как раз тем, с чего мы начали: всецелой **выраженностью** через язык.

Другие драматурги открывали социальные явления поворотом сюжета. А. Казанцев, например, в «Старом доме» показал вырождение «розовских мальчиков» — героев ранних пьес В. Розова, — превратив их в относительно благополучных, но утративших «святое беспокойство» циников. Драма осваивала «белые пятна» изменяющейся социальной структуры. Так, В. Арро в пьесе «Смотрите, кто пришел» продемонстрировал эмпирически знакомую каждому, но не зафиксированную до него сценой смену престижности в обществе: торжество всемогущей сферы обслуживания. Пусть даже он не ответил, кто же все-таки пришел — хапуга или художник нового, неучтенного профиля, но ведь ответа не дает пока и сама жизнь. Примеры можно было бы умножить. И всегда публика благодарно отвечает на снайперски поставленный вопрос повышенным спросом на спектакль. Не потому, чтобы публика специально любила «задворки», а оттого, что драматургия эта не по частям, а в целом проблемна, а социальные проблемы выдвигаются социальной действительностью, увы, без готовых оптимистических ответов...

Но к этому — послевампиловскому — направлению в драме при всем его разнообразии Петрушевская имеет «несобственно-прямое» отношение. Все происшедшие, происходящие и имеющие быть социальные процессы всосались у нее в слова, в связи между ними и пропитали собою речь, как влага пропитывает губку. Современная бытовая речь — то, что мы иногда приблизительно именуем жаргоном, и то, что испокон века было питательной языковой средой для драмы, — сгущена у нее до уровня литературного феномена.

При этом нетрудно заметить, что лексика — то, из каких рядов берутся слова (интеллигентные, деревенские, научные, канцелярские, телевизионные или, например, словечки 30-х годов) и какие реалии они собою обозначают, — дает возможность заглянуть в биографию персонажа, определяет его социальную принадлежность, личность, наконец. Именно лексика служит различительности в пьесах Петрушевской. Она индивидуализирует.

Напротив, полуразрушенная грамматика — разговорная инвалидность языка «остраняет» даже самую интеллигентную речь и служит нивелировке героев. Коррозия речи — показатель повышения уровня социальной энтропии.

Когда я говорю, что обмен словами и есть главное действие пьес Петрушевской, то это не метафора. Структуру сюжета в са-

мом общем виде можно определить словечком из ее же лексикона: выясняловка.

Не надо быть профессиональным драматургом, чтобы заметить, какие возможности для сюжета, для театра положений представляет, например, изначальная ситуация «Лестничной клетки» — встреча по сватовству, да еще троих: герой является на свидание вместе с другом. От этой возможности Петрушевская, однако, уклоняется, оставив своих героев при видимо бессюжетном выяснении отношений у двери. Отношений почти безличных — ведь в личные отношения эти трое так и не вступают.

Особенность сюжетосложения в пьесах Петрушевской, где персонажи приносят на сцену весь ворох своего «человеческого, слишком человеческого» (исповедального, как писали мы в 60-е годы), а в то же время между ними ничего как бы и не происходит, выступает в «Лестничной клетке» очень наглядно. Еще очевиднее черты этой своеобразной драматургической структуры в паре одноактных пьес — «Чинзано» и «День рождения Смирновой». Здесь «выясняловка» имеет место с двух сторон.

Сначала за итальянским вермутом «Чинзано» («завоз!») собираются мужчины. Речь идет всего-навсего о том, чтобы один другому отдал не слишком огромный — полсотни — долг. Но это простое действие так и не совершается — искомая и отложенная сумма как раз и обеспечивает выпивку. При этом в приятелях, которых зритель готов было принять за каких-нибудь деятелей сантехники (тем более что встреча имеет место в каком-то ничейном помещении наподобие той же лестничной клетки), он не без удивления распознает мэнээсов некоего НИИ — один из них даже оформляется за границу. В зрительском удивлении есть та радость от искусства, о которой говорилось выше: как точно схвачено! Ибо проблемы этой разложившейся и отчасти уже выродившейся недоинтеллигенции выражают себя не только в предмете диалога, но в самом диалоге, естественным ходом «выясняловки». Перефразируя Чехова: люди пьют, иногда закусывают, а в это время...

А в это же время их жены, сослуживицы и возлюбленные, в свою очередь, за тем же итальянским вермутом «Чинзано», выясняя свои, женские дела, бросают как бы дополнительный свет на процессы, происходящие с сильным полом, между тем как диалог мужчин уже отбросил свои рефлексии на проблемы пола, некогда прекрасного.

Принцип дополнительности, осуществленный в двух одноактных пьесах — «Чинзано» и «День рождения Смирновой» (по су-

ти, это два акта одной пьесы, но с разными героями), так же показателен для структуры сюжетосложения Петрушевской, как диалог у двери, не переходящий в отношения. Зато как непрменный участник в этих диалогах присутствует весь опыт человека и его судьба.

При внешней статике сюжеты пьес Петрушевской вовсе не лишены перипетий (перипетия — «перемена событий к противоположному», как сказано у Аристотеля). Молодожены, например, вернувшись из загса, в результате некоторого выяснения отношений тут же решают развестись. Однако приход матери мгновенно сплавивает их в семью. Целых две перипетии на очень малом пространстве пьесы «Любовь». И в конечном счете все остается, говоря юридическим языком, *status quo ante*.

Перипетии же случаются чаще всего посредством узнавания (узнавание — «переход от незнания к знанию», как сказано у того же Аристотеля). И это узнавание есть особый способ драматурга для постановки текущих, а также вечных и проклятых вопросов бытия. К текущим относится, например, «право на выпивку» за которое отчаянно борются два приятеля на лестничной клетке.

Наступающая по ходу «Чинзано» алкогольная нирвана как раз и спутывает социальные страты, обнаруживает обескураживающее сходство между выпивающими мэнэ-эсами и каким-нибудь аналогично выпивающим афоней из ЖЭКа, обнажает в смешном и страшноватом диалоге гибельный — для дома, семьи и работы — распад личности. Одним словом, «пьянству — бой!» как энергично формулируют тему современные антиалкогольные лозунги. Ведь не бороться же с зеленым змием простой «фигурой умолчания»!

И в самом деле, оборонительно-наступательная позиция — мол, кому какое дело? — оказывается при ближайшем рассмотрении вовсе не столь безобидна. В сюжетном движении того же «Чинзано» происходит «узнавание» того, что у одного из «гостующих» умерла мать и ее надо хоронить. Но когда это выясняется, у него уже нет денег на похороны, да он и физически не в состоянии добраться до морга, чтобы свезти туда минимальные похоронные принадлежности. И здесь из сферы текущих вопросов мы незаметно переходим на уровень вечных

Вспомним, что и у Вампилова мерилом личности героя было выполнение сыновнего долга, и не кто иной, как герой «Утиной охоты» Зилов, проворонивал отцовские

похороны. Но если Зилов просиживал их в ресторане с девушкой, то приятели из «Чинзано» довольствуются уровнем лестничной клетки.

«Послевампиловский» характер пьес Петрушевской очевиден и в том, что ее персонажи хлопочут, по видимости, из мотивов сугубо житейских, даже менее того — из житейских пустяков, ничтожная малость которых на первый взгляд выглядит почти вызывающе. Но в том-то и дело, что заметная малость, даже плевать мотивов делает видимой типологическую укрупненность характеров. Современные драма и кино чрезвычайно изощрялись в показе милых человеческих чудаковатостей, в изобретении причудливых характеров и ловких сюжетных поворотов. И правда поговорить о странностях любви всегда к месту. У персонажей Петрушевской по большей части другие, более прозаические странности. При коротком метраже ее пьес они всегда обусловлены, собирательны, укрупнены до типа За ними — толща жизни.

Человек бьется вроде бы из-за пустяков (не для сравнения вспомним «Шинель» Гоголя, над экранизацией которой Петрушевская трудится с тем же Норштейном). Но эта малость, этот пустяк нужен человеку, чтобы выжить.

Три вздорные «девушки в голубом» оказываются, к примеру, в буквальном смысле без крыши над головой при первом же дожде на своей разваливающейся даче, за которую они грызутся, и вынуждены собраться в одну комнату. Поклонник одной из них (его имени даже не хочется запоминать, настолько он фигура и узнаваемо-бытовая и универсальная) доказывает свое чувство, в два счета поставив на участке... сортир. В этом легко опознать прием гиперболы. Но без сортира-то действительно не проживешь!..

«Простой звук: „живем!“, которым суммировала Петрушевская замысел своего сценария (а могла бы суммировать и свои маленькие житейские драмы) в динамическом поле драматургии преобразуется, выражаясь по-научному, в «преодолительную совершаемость» того же глагола «выжить». Выжить, выдержать в разваливающемся или, напротив, слишком плотно обступающем быту — вот, если угодно двигательная пружина, лейтмотив пьес Петрушевской. При этом все то, что дискутируется по отдельности на страницах периодической печати как проблемы социологические, да просто как проблемы — взаимное перемещение социальных слоев, их перетасовка и перемешивание, убывание идеальности и грубый



вес материальных забот, кризис брака, непредвиденные последствия женской эмансипации, отношения «отцы и дедушки», не говоря уже о женском одиночестве и детской безотцовщине, цена алкогольной нирваны, — все это так или иначе присутствует в пьесах Петрушевской, но не с публицистической декларативностью, а в слитности повседневного бытия, в его коллоидном, некристаллизуемом состоянии, преломленное через своеобразную, по видимости неподвижную (*status quo ante*) структуру ее пьес.

Разумеется, разные пьесы построены по-разному, и не всё автору одинаково удается. К примеру, превращение Нади в фигуру страдательную, а Николая в циника в пьесе «Уроки музыки» может показаться кому-то несколько натянутым, между тем как «узнавание» требует не новеллистических поворотов сюжета, а исповедальной подлинности. Можно сослаться и на другие примеры.

Но мы не разбираем в данном случае отдельные пьесы, а пытаемся выяснить лишь некоторые общие закономерности своеобразного явления, каким представляется нам театр Петрушевской.

Разумеется, все, о чем говорилось выше, — литературные приемы. Но о том и речь, что в этом случае мы имеем дело именно с явлением литературы, и поверять его жизнью надо, памятуя о коэффициенте литературного преломления, как это и принято у нас в литературоведении. Ведь сюжет пьесы — если она не просто бытовая — так или иначе распространяется за рамки житейского случая, неожиданно ему, по отношению к нему расширителен или даже иносказателен («сюжет-гармошка» у Петрушевской). Пресловутый некорректный вопрос критиков к «трем сестрам», когда Чехов еще был их современником, — почему бы не съездить на вокзал и не взять билет на поезд, вместо того, чтобы взывать «в Москву, в Москву!»? — имеет своим источником как раз неразличение жизни и литературы.

Главнейшая же из закономерностей, вне которой коэффициент преломления не мог бы и существовать, — это авторская точка отсчета, с нее начиналась наша статья.

При всей невысказанности общих начал, на фоне которых только и становится заметна деформация личности, начала эти в пьесах Петрушевской остаются традиционными для русской литературы. Человеческая отзывчивость автора на искажение личности тем выше, чем стремления этой личности на вид мизернее.

На самом деле потребность в чем-то чело-

веческом у героинь «Лестничной клетки» или «Любви» обратно пропорциональна их обделенности Потребностью в любви, чувстве ее даже не назовешь — это было бы с запросом. Она нерасчлененное, неназываемое, молекулярнее: желание какой-то общности, взаимопонимания. И эта потребность изначальна, глубинна.

При всей видимой малости интересов, коммунальной склочности, суетности, женщины — как это, впрочем, традиционно в русской литературе обнаруживало *gender* vous с героем — оказываются той половиной человечества, на которой как-никак держится жизнь. Хотя бы потому, что именно им приходится — с отцами и без отцов, с алиментами и без мужней зарплаты, с помощью родителей — растить детей, тоже не ангельских созданий. Все это особенно наглядно в пьесе «Три девушки в голубом».

Может быть, именно оттого, что она «полнометражна», фабула ее традиционнее большинства других пьес, а в сюжетосложении заметнее движение от первоначальной склочки всех со всеми к взаимопониманию. И героиня пьесы, Ирина, с редкой для автора прямоотой и полнотой формулирует уроки жизненного опыта, когда после безумного и жалкого любовного приключения она возвращается с сыном на разваленную дачу. Позволим себе процитировать ее монолог:

«И р а (так же радостно): Ой, а у меня маму в больницу положили, прямо на операцию! Оказалась грыжа, уже защемилась, еще немного — опоздали бы! Я уезжала на два дня, ничего не знала. Павлик один на целый день оставался. И на часть ночи. Я никак не могла сесть в самолет, билетов не было, я у дежурного реву: выручайте, мальчик мой один остался, бабушка его заперла! Бабушку в больницу, а мальчик больной! Он говорит: «Вы выберите что-нибудь одно — или мальчик больной, или бабушка, тогда ползайте тут на коленях». Умора! (Радостно смеется.) Потом еще того прекрасней: билет есть, а Москва не принимает. (Смеется.) Я — к летчикам. Ну, они меня взяли в первый же самолет. Говорю: «Мне в катастрофу попадать нельзя, у меня мальчик маленький погибнет!» Они хохочут! Я вхожу в дом, дверь отпираю, а она не отпирается! (Хохочет.) Оказывается, Павлик на половике перед дверью уснул. В Москве такой дождь! А я без плаща, как назло! (Хохочет.) Цыганке одной продала».

Читатель без труда узнает в этом трагикомическом монологе классическое и абсолютное мерило русской литературы — «сле-

зинку ребеночка». Не говорим уже, как больно саднит у разбитной и в меру циничной Смирновой из продолжения «Чинзано» ее бездетность — то, что она не посмела родить «от моложе себя».

Недаром режиссер, который первым в Москве осуществил постановку пьесы Л. Петрушевской на профессиональной сцене, — М. Захаров сформулировал для себя главное: «Л. Петрушевская умеет через казалось бы хаотичное течение малоприятных событий приблизиться к душевным истокам своих героинь, умеет разглядеть в их глазах не только... духовное свечение, но и сам процесс его возникновения, развития и утверждения» («Правда» 10 марта 1985 года).

Возвращаясь к началу, можно сказать, что нетривиальные пьесы Петрушевской основаны не только на живом любопытстве к людям, на прилирчивой чаятливости слуха, но и на сочувствии ко всему человеческому, на любви к людям — условии: *si ne qua pop*, самого их существования.

Если есть что бесспорное в пьесах Петрушевской, то это их спорность. Иных они эпатажируют — так бывает часто когда литератор делает шаг в сторону нового (с Вампиловым было то же самое). Одним они могут нравиться, другим — не нравиться, как все живое еще не застывшее в хрестоматийный глянец, — это святое читательское право.

Спорить можно не только о вкусах, но и о разных уровнях содержания. С точки зрения социолога, например, проблемы одного зеленого змия в пьесах Петрушевской хватило бы на целое обсуждение (недаром пресмыкающееся это теперь рассматривается в масштабе государственном). Но Петрушевская не только зоркий наблюдатель нравов, она еще литератор, художник, и, разумеется, пьесы ее в конечном счете не только о пьянстве. Это лишь жизненный материал, что и отличает их от специальных антиалкогольных вещей.

Впрочем, проницательный читатель давно уже догадался об этом.

Тем страннее и огорчительнее мне было в статье «Чи же это голоса?» не только вчуже уважаемого мною, но и всегда с интересом читаемого Игоря Дедкова («Литературная газета», 31 июля 1985 года) столкнуться со случаем неразличения жизненного явления как такового и жизненного явления как материала искусства. Это нередкая читательская ошибка (И Дедков ссылается на мнение читательницы И Карповой) и это не столько вина читателей, сколько беда школьной программы, которая учит чему угодно, кроме грамоты восприятия искусства. Досаднее, когда народной артистке СССР А. И. Степановой приходится давать урок профессиональной вежливости не критику, а коллеге Петрушевской, драматургу («Правда», 1 августа 1985 года).

Но напоминать об альфе критики коллеге-критику?

В качестве аргумента И Дедков пользуется уже известным читателю сортиром. С изяществом и иронией которыегодились бы для более существенного предмета. И Дедков постепенно, исподволь, не жалея строк, подводит читателя, сидящего будто бы «в театральном благородном кресле» к опознанию этого скандального — как бы выразиться поделикатнее — объекта.

А Маяковский, притом в стихах? А его хрестоматийная «Парижанка»? А до дыр процитированный Бахтин, пресловутый «телесный низ» и прочие термины, ставшие общепринятым местом мировой теории литературы?

Знает все это Игорь Дедков не хуже меня. Я, право, думаю, что он лукавит — не знаю сознательно или нет. Лукавит ради любимой мысли о «надбытовом явлении литературы» и «божественном глаголе».

Вот тут есть о чем подумать и поспорить. Но это уже другая статья.

М. ТУРОВСКАЯ.



## ЛЮДИ, КНИГИ И ЛАБИРИНТЫ ХОРХЕ ЛУИСА БОРХЕСА

Хорхе Луис Борхес. Проза разных лет. Перевод с испанского. М. «Радуга». 1984. 319 стр.

Хорхе Луис Борхес. Юг. Рассказы. Перевод с испанского. М. «Известия». 1984. 175 стр.

**И**мя Борхеса было на слуху задолго до перевода его произведений на русский язык. Когда публика приходила в восторг то от одного, то от другого латиноамериканского писателя (Кортасара, Мар-

кеса, Амаду Онетти Фуэнтеса, Карпентьера), специалисты хранили невозмутимость: вот погодите, переведут Борхеса — тогда увидите! Сами латиноамериканские писатели называют его своим учителем. Без

прозы Борхеса, пишет мексиканец Карлос Фуэнтес, «просто-напросто не было бы современного испано-американского романа». Это «ослепительная проза, такая холодная, что обжигает губы», пишет он. Интриговало и то, что многие достаточно крупные нынешние культурологи и философы Запада поминают имя аргентинского писателя в ряду скорее философском, нежели литературном, как мыслителя, повлиявшего на их собственные построения. И вот наконец у нас появились две его книги, в чем-то пересекающиеся и повторяющие друг друга, в чем-то дополняющие, но, во всяком случае, дающие представление о масштабах этого художника-мыслителя.

Заранее можно сказать, что его начнут цитировать, что ссылки на Борхеса будут «престижны», как некогда на Томаса Манна или Германа Гессе. Разумеется, ничего дурного в этом нет: Борхес сложен, мудр, многозначен, порой двусмыслен, но «двусмысленность — это богатство», как говорит он сам. При этом можно сказать, что иные его рассказы так сложны, что без философской подготовки их не одолеешь, более того, в них невольно стирается грань (иногда нарочито) между художественным произведением и научным исследованием: не то перед тобой рассказ, не то эссе, не то трактат-пародия.

Читать Борхеса трудно. Он требует чтения пристального, неспешного, затем перечитывания «два ли не по фразам, каждая из которых удивительна по отточенности и законченности мысли, он требует размышления над прочитанным. Я бы даже сказал «смакования», если бы это слово можно было воспринять в контексте духовном, а не гастрономическом. И вчитываясь, постепенно начинаешь замечать и воспринимать борхесовскую мысль во всех разнообразиях его тем и интересов. Поэтому даже человек, не видящий и не замечающий сложных культурных аллюзий писателя, его игры с понятиями и древней и новейшей философии, филологии, историософии, тем не менее окажется в состоянии одолеть, если приложит к этому усилие, прозу Борхеса, более того, получить от нее наслаждение. Обе книги сопровождает вступительная статья И. А. Тертерян, позволяющая читателю понять, какое место занимает Борхес в кругу латиноамериканских и европейских писателей.

Попробуем выделить центральную проблематику писателя, определяющую, на наш взгляд, и его мировоззренческую по-

зицию и его художественный метод. Но для начала несколько биографических штрихов. В прошлом году Борхесу исполнилось восемьдесят пять лет, он лауреат множества литературных премий, 20-е годы провел в Европе, сейчас живет в Буэнос-Айресе, долго работал директором Национальной библиотеки...

Первое, что бросается в глаза: предметом художественной рефлексии у Борхеса выступает вся мировая культура. Порой даже начинает казаться, что писатель задумал дать свои вариации практически всех имеющихся в литературе вечных тем. Перед нами встают то эпизоды древней китайской истории, то истории мусульманства, то эпоха войны Севера и Юга в США, то борьба Ирландии за независимость. Писатель обращается к древнегреческому мифу о Минотавре, звучит у него тема Вавилона, Древнего Рима, обсуждается евангельская легенда о предательстве Иуды. Творчество Сервантеса, Кеведа, Паскаля, Колриджа, Честертона становится темой своеобразных рассказов-эссе, возникают сюжеты, являющиеся парафразами сюжетов По, Конан Дойла, Уэллса, Свифта, не говоря уж о сюжетах из аргентинской истории.

Существенно отметить, что тема обычно разрабатывается писателем лаконично, в пределах небольших рассказов, удивительно емких и глубоких по своему содержанию. Заметим также, что многие темы и сюжеты самого Борхеса послужили как бы зерном, из которого выросли объемистые романы следовавших за ним латиноамериканских писателей. Здесь невольно вспоминается Пушкин, в творчестве которого, как известно, находили отклик мотивы и европейской и восточной культуры (древней и новой), то свойство его таланта, которое Достоевский определил как всечеловечность. Именно через усвоение и свою трактовку, свое прочтение классических, вечных тем и сюжетов входит молодая культура в ряд культур зрелых, уже сложившихся.

Мексиканский философ и культуролог Леопольдо Сеа назвал латиноамериканскую культуру маргинальной по отношению к европейской. Связано это с многовековой колониальной зависимостью Латинской Америки, когда даже после обретения политического равноправия латиноамериканские деятели культуры ощущали себя и наследниками европейских духовных достижений, и вместе с тем вторичными по отношению к ним, пытаясь через освоение европейского опыта выявить собствен-

ную сущность. «Европа,— пишет Леопольдо Сеа,— создает культуру, никогда не задаваясь вопросом о возможности или существовании таковой. Создает литературу и философию, не спрашивая, являются ли они подлинными, поскольку ей не перед кем утверждать свою подлинность. Но в нашей Америке этот вопрос возникает и приобретает смысл, поскольку латиноамериканцы постоянно соотносят себя с кем-то, от кого чувствуют себя зависимыми и кто ущемляет их человеческую сущность. Именно осознание этих фактов породило чрезвычайно острую в последние десятилетия озабоченность тем, чтобы определить собственную сущность, которая не нуждалась бы в гарантиях извне. Ее нужно отыскать в феноменах истории, которая хотя и была нам навязана, но тем не менее переживалась людьми нашей Америки в соответствии с их скрытой сущностью» («Вопросы философии», 1982, № 6). Именно такими маргиналиями, заметками на полях мировой культуры, представляются многие рассказы Борхеса, через полемику с символами иных культур пытающегося выразить свою собственную.

Рассказывая историю, легенду, миф, интерпретируя привычные и именитые в иных культурах идеологемы, Борхес часто доводит их до абсурда — справедливо или нет, это другой вопрос. Так, обращаясь к истории США, он рассказывает о некоем «освободителе негров», который на самом деле, получив от обманутых людей деньги, убивал их, чтобы создать у оставшихся иллюзию, что он выполнил свое обещание («Жестокий освободитель Лазарус Морель»). Тем самым писатель как бы задает вопрос: а не было ли освобождение, о котором так много говорят американские деятели, по сути своей фальшивым? Иронична и его трактовка ковбойской мифологии в рассказе «Бескорыстный убийца Билл Харриган» или гангстерских легенд в рассказе «Возмутитель спокойствия Монк Истмен». Еще более сложными являются его рассказы-исследования, проигрывающие варианты мировых религиозных систем — мусульманства, иудаизма, христианства,— своего рода саркастические философские притчи.

Рассматривая разнообразные структуры сознания в мировой культуре, Борхес проводит свою основную художественную мысль, которая явлена в образе, скрепляющем практически все его рассказы,— образе Лабиринта. Люди блуждают по жизни, блуждают среди различных представлений и легенд, в истории, в сказке, в

своих отношениях с другими людьми, спотыкаясь, ошибаясь, но пытаюсь пробиться к некоей цели...

Опираясь на известный древнегреческий миф, аргентинский писатель создал образ-понятие, символизирующий человеческую жизнь и очерчивающий пределы и возможности человека разобраться в собственной жизни. В рассказе «Дом Астерия» речь ведет сам Минотавр-Астерий, который излагает свою философию, являющуюся иронической и грустной парафразой философии Канта, иронизирует над европейским антропоцентристским представлением о мире. Здесь отчетлива позиция, характерная для латиноамериканского интеллектуала, полагающего, что именно Латинская Америка окажется Ноевым ковчегом мировой цивилизации, что именно здесь будет угадан подлинный смысл Лабиринта, именуемого вселенной, историей, цивилизацией.

В рассказе-антиутопии, написанном в годы второй мировой войны («Тлэн, Укбар, Orbis Tertius»), Борхес рассказывает, как благодаря усилиям европейских мыслителей и денежной поддержке североамериканского миллионера создается вымышленный мир, который исподволь перестраивает земную жизнь посредством книг, газет, энциклопедий, посвященных несуществующей стране. Если иметь в виду одно из названий вымышленной страны — Орбис Терциус, или Третий Мир,— то он легко приводил на память третий рейх, возникший в европейской стране Германии не без влияния идеологических и философских построений о сверхчеловеке. Фашизм Борхес не принимает категорически, как явление, подменяющее подлинными ценности культуры псевдоценностями, пытающееся остановить процесс развития человека и человечества, ограничивая его, насильственно не давая развернуться ему во времени и пространстве, во всей заложенной в человеке сложности, строя искусственный лабиринт жизни, в котором властвуют измышленные, сочиненные законы вместо естественных

Пожалуй, самым суровым приговором современной цивилизации явился у Борхеса рассказ «Сообщение Броуди», написанный как парафраз Свифта и Конан Дойла. В рассказе описывается некий «затерянный мир», где живет племя Иеху, образ жизни которого так напоминает образ жизни современных цивилизованных сообществ, что это замечает даже простодушный миссионер-рассказчик: «Сейчас я пишу это в Глазго. Я рассказал о своем пре-

бывании среди Иеху, но не смог передать главного — ужаса от пережитого: я не в силах отделаться от него, он меня преследует даже во сне. А на улице мне так и кажется, будто они толпятся вокруг меня. Я хорошо понимаю, что Иеху — дикий народ, возможно, самый дикий на свете, и все-таки несправедливо умалчивать о том, что говорит в их оправдание. У них есть государственное устройство, им достался счастливый удел иметь короля, они пользуются языком, где обобщаются далекие понятия... Они верят в справедливость казней и наград. В общем, они представляют цивилизацию, как представляем ее и мы, несмотря на многие наши заблуждения». Таково мизантропически-гротескное прочтение известного Борхесу общественного буржуазного мироустройства, в котором человек существует, не осознавая законов, по которым в его жизни происходит что-либо, человек, отчужденный от подлинной культуры.

Размышляя напряженно о трагическом развитии европейской культуры, ставя под вопрос ее ценности и достижения, Борхес это делает как художник и мыслитель, ощущающий себя ее наследником, только усваивающий это наследство, исходя из собственного опыта, стараясь избежать видимых ему ошибок. «У нашего народа, как у всякой молодой нации,— говорил он после второй мировой войны,— очень развито чувство истории. Все случившееся в Европе, все драматические события последних лет имели у нас глубокий резонанс».

Борхес воистину «человек книги», человек культуры, художник-культуролог, по справедливому определению автора предисловия И. А. Тертерян. Мир для него есть книга, которая пишется человеком и человечеством. Книга, расположенная в лабиринтах библиотеки,— такой необычный образ вселенной мы встречаем в его рассказе «Вавилонская библиотека» («Вселенная — некоторые называют ее Библиотекой — состоит из огромного, возможно, бесконечного числа шестигранных галерей, с широкими вентиляционными колодцами, огражденными невысокими перилами», — начинается он этот рассказ). Но как явления культуры прошлого существуют сегодня? Могут ли они быть живыми и в наше время, или их необходимо постоянно переосмысливать, переписывать, переделывать? Не устаревают ли они, если быть точнее,— вот вопрос и проблема Борхеса. Этой проблеме посвящено несколько рассказов писателя, лучший из которых, по

моему мнению, «Пьер Менар, автор „Дон Кихота“».

Писатель полагает, что «Дон Кихот» во все времена, как и всякое вечное и бессмертное произведение искусства, актуален и равен самому себе. Именно в неизменяемом, непеределанном виде он сохраняет наибольшую актуальность и жизненность.

Даже сам великий Гомер (рассказ «Бессмертный») блуждает века по миру в поисках обычной жизни, изменяясь, приспособляясь к каждой стране и каждой эпохе, но неизменными и вечно юными и прекрасными остаются его великие поэмы, ибо в них вложил он свою сущность, которая далеко не всегда совпадает с быденным, бытовым обликом и существованием человека. Различию между сущностью и житейским существованием художника посвящен небольшой, но удивительно емкий рассказ «Борхес и я». «Я» быденной жизни заявляет: «...я живу, остаюсь в живых, чтобы Борхес мог сочинять свою литературу и доказывать мое существование». Связь между этими двумя «я» сложная, неразрывная, но вместе с тем все лучшее, что есть в человеке, постепенно перекочевывает в его творения.

Эта позиция, как несложно понять, насколько не отменяет для Борхеса ценности, уникальности каждой человеческой личности. Один из его героев задумал создать Вселенский Конгресс, который представлял бы всех людей и все нации без исключения. Но как найти «критерий представительства»? Скажем, сам герой «мог представлять скотоводов, но также и уругвайцев, и славных провозвестников нового, и рыжебородых, и всех тех, кто любит восседать в кресле». Как представить всех в их разнообразных человеческих и социальных проявлениях? В конце рассказа на героя нисходит прозрение, и он понимает, что каждый человек в своей уникальности есть представитель самого себя и всех других, а все люди в целом, все человечество, состоящее из отдельных индивидов, и составляет этот Конгресс.

Понимание неповторимости человека и высшего в нем — творений его духа — является для Борхеса той точкой отсчета, которая позволяет ему подойти и оценить героев аргентинской истории, кровавые сражения, стихию дикости в войнах диктаторов, по очереди грабивших страну и уничтожавших людей, увидеть легендарных гаучо в их реальном, не романтизированном облике, понять законы маргинального, окра-

инного, блатного мира Буэнос-Айреса. Эти персонажи, живущие сиюминутными интересами, у которых дело было прямым и немедленным продолжением слова, очень интересовали Борхеса. Он показывает, что, несмотря на сиюминутность, сила обычая, сила вещей, сила традиции, рожденной в этих кругах, живет не одно поколение. Писатель рассказывает историю, как два поссорившихся человека хватают старое оружие двух враждовавших когда-то гаучо. Это оружие неожиданно начинает управлять ими, и один из героев убивает другого. Борхес доводит метафору о силе вещей до гротеска: «...в ту ночь сражались не люди, а клинки... В стальных лезвиях спала и зрела человеческая злоба». И писатель резюмирует: «Вещи переживают людей. И кто знает, завершилась ли их история, кто знает, не придется ли им встретиться снова». Актуальность этого образа, этой мысли, думается, не требует доказательства. Повторим, однако, что

Борхес оценивает людей действия, доступный его наблюдению маргинальный мир как бы извне. Рассказывая о блатном квартале Буэнос-Айреса (Палермо), он пишет: «Много лет я не уставал повторять, что вырос в районе Буэнос-Айреса под названием Палермо. Признаюсь, это было попросту литературным хвастовством; на самом деле я вырос за железными копыями длинной решетки, в доме с садом и книгами моего отца и предков».

Действительно, он и в самом деле глядит на окружающий мир «из дома с книгами». По этому поводу можно говорить и осуждающие и оправдывающие слова, заметим только: опыт Борхеса показывает, что и из библиотеки можно увидеть и прочитать мир и человеческие отношения так, чтобы это прочтение стало в свою очередь новым и большим явлением мировой литературы.

Но читать Борхеса надо внимательно и усидчиво.

В. КАНТОР.



### Политика и наука

#### РЕПОРТАЖИ С ПЕРЕОДЕВАНИЕМ

Герхард Кромшрёдер. За фасадом: журналист в роли нациста, «рокера», вора в универмаге. набожного католика. Западногерманские репортажи. М. «Прогресс». 1984. 151 стр.

«Ремер извлекает из кармана газовую зажигалку. Он говорит: «А ну-ка. помолчать!» Водаряется тишина. Он подносит зажигалку к носу, осторожно давит на рычажок, чтобы не воспламенился газ, с шипением выходящий из баллончика. «Что я изображаю? — спрашивает он, ухмыляясь, и отвечает: «Еврея, которому захотелось в Освенцим!» Все покатываются от смеха, бьют себя по ляжкам»

Западная Германия. Май 1985 года. Встреча бывших солдат войск СС в баварском городе Нессельванг

Эсэсовские сборища обычно закрыты для прессы. Журналистам пытающимся проникнуть в городские залы и рестораны снятые уцелевшими представителями преторианской гвардии фюрера угрожает расправа. В лучшем случае: кулачная. Но встреча ветеранов эсэсовских дивизий «Мертвая голова» и «Лейбштандарт Адольф Гитлер» в Нессельванге нашла весьма красочное отображение в иллюстрированном западногерманском еженедельнике «Штерн». На встречу проник сотрудник «Штерна» Герхард Кромшрёдер, работающий в распространении в ФРГ журналистском жанре — репор-

таже с переодеванием (или репортаже в ролях, если буквально перевести немецкий термин). В Нессельванге он появился с приклеенной бородой в сопровождении ассистентов. Незваные гости назвали себя австрийскими единомышленниками эсэсовцев прибывшими для обмена опытом и установления контактов.

Репортаж в «Штерне» открывается большой фотографией. За пиршественным столом упомянутый Отто Эрнст Ремер, генерал-майор войск СС, ныне глава и основатель неонацистской организации «Германское освободительное движение». Рядом — Герхард Кромшрёдер. По другую сторону от него — бывший гестаповец Эрих Панек, участник расправы с населением в чешской деревне Лидице. «Бывший фельдфебель войск СС Гельмут Ок подходит к нам. В руке у него пивная кружка. Он говорит: «Нынешняя молодежь... Что они могут?» Показывает, что «может» он сам. «Если ты сбил противника с ног, тут же ему сапогом на горло: вот так, хрясь, хрясь...» Затем достает из кармана пистолетные пули и показывает, как их надо обтачивать, чтобы раны получились глубокими.

На указательном пальце управляющего делами сообщества «Мертвая голова» Вальтера Крюгера репортер «Штерна» заметил большой серебряный перстень. Попросив эсэсовца снять эту реликвию, Кромшрёдер внимательно ее разглядел: перстень украшали нацистские эмблемы, надпись «Генрих Гиммлер» и номер 50374, под которым Крюгер числился в СС. Оказалось, однако, что это всего лишь копия. Подлинник отобрал американский солдат в 1945 году...

Ностальгические переживания не мешают бывшим эсэсовцам думать о будущем. Кромшрёдер сообщает, что главной темой обмена мнениями в Нессельванге были контакты между ветеранами войск СС и молодежью. «У нас нет конфликта поколений,— говорил ему Ремер.— У нас общие убеждения». Сидевший рядом бывший эсэсовский офицер добавил: «Молодые люди, выступающие под знаком свастики, нуждаются в образцах для подражания».

За неделю до поездки в Нессельванг репортер «Штерна» мог убедиться в том, что молодые неонацисты в ФРГ достойны своих предшественников. Под той же маской представителей австрийских единомышленников Кромшрёдер и его коллеги побывали на слете молодых поклонников третьего рейха в Аахене. Незадолго до этого западногерманская Фемида после длительной проволочки все же упрятала за решетку кумира неонацистской молодежи лейтенанта бундесвера Михаэля Кюнена, причастного не только к обычным бесчинствам коричневых, но и к мокрым делам. Собравшиеся в палаточном городке на одной из окраин Аахена были поэтому настроены особенно агрессивно. Они пылали жаждой отомстить за новоявленного фюрера.

В Аахене Кромшрёдера и его коллег приветствовал заместитель Кюнена: коричневый галстук, бежевая куртка, «пивное брюшко», зычный голос — вылитый штурмовик 30-х годов. «Солдаты СС — славные ребята,— заявил он Кромшрёдеру.— Мы продолжаем их дело».

Наутро он руководил «маршем на Аахен». Шесть колонн двинулись к центру старинного западногерманского города. По дороге избивали всех, кто выражал недовольство или просто не нравился нацистам. Итог «марша» — десятки раненных, многие тяжело.

Побывал Кромшрёдер и в личной резиденции эсэсовского «патриарха» Ремера в городе Кауфбойрен. Узнав, что гости намерены отбыть восвояси, Ремер попросил их о небольшом одолжении. Речь шла о Беате Кларсфельд, вместе со своим мужем французским гражданином Сержем Кларсфель-

дом занятой розыском нацистских военных преступников, в том числе палача Менгеле, занимавшегося изуверскими экспериментами над узниками концлагерей. Зная, что Беата Кларсфельд иногда работает в австрийских архивах, Ремер поручил своим гостям: «Затащите ее в какой-нибудь подвал, разденьте донуга, исхлестайте плетью так, чтобы она стала похожа на зебру, а затем выбросьте на улицу с биркой на шее: „Я свинья!“».

Опубликованный в «Штерне» репортаж вызвал поток читательских откликов. Многим он открыл глаза. Дело в том, что власти ФРГ и поддерживающая их пресса всерьез преуменьшают опасность западногерманского неонацизма. В стране активно действует более полтораста различных неонацистских групп, но официальные представители Бонна упоминают об этом лишь с усмешкой: стоит ли поднимать шум из-за жалкой кучки полупомешанных?.. Корпорация эсэсовских объединений ХИАГ в последнем ежегодном отчете западногерманской охранки не упоминается в числе так называемых экстремистских организаций. Зато большой раздел в отчете посвящен деятельности ГКП, легально действующей партии западногерманских коммунистов, отвергающих, естественно, какие-либо экстремистские методы политической борьбы.

Репортаж Кромшрёдера показал многим читателям «Штерна», где таится подлинная угроза правопорядку в стране. Его воздействие было тем более значительным, что публикация почти совпала по времени с клебнопреклонением Рейгана и канцлера Коля у эсэсовских могил в Битбурге. Американский гость и его боннский хозяин мотивировали свой скандальный жест тем, что погребенные в Битбурге были жертвами нацистской демагогии, затуманившей их «юные головы». «Допустим, что истинная причина воздаваемых почестей была именно в этом,— писали в редакцию «Штерна» читатели.— Но не пора ли в таком случае сделать выводы из уроков истории и оградить западногерманскую молодежь от тлетворного влияния ремеров, крюгеров и прочих продолжателей „дела фюрера“?»

«Штерн» и раньше публиковал сенсационные «репортажи с переодеванием» Герхарда Кромшрёдера на самые различные темы. О «рокерах» — хулиганствующих юнцах наводящих ужас на западногерманского обывателя и создавших свою довольно гнусную, полуварварскую субкультуру. О расплодившихся в ФРГ сектах полумистического-полууголовного толка, нередко с изуверскими ритуалами. О филиале амери-

канского ку-клукс-клана. Разоблачительные материалы талантливого журналиста появляются не только в «Штерне».

Недавно в издательстве «Прогресс» была переведена на русский язык и выпущена в свет книга, позволяющая нашему читателю познакомиться (в сокращенном виде) с публикациями Кромшрёдера за последние годы, оценить возможности его острого, злободневного пера.

Кромшрёдер обладает выдающейся способностью к мимикрии. Сегодня он в роли турка, испытывающего на себе ксенофобию западногерманского обывателя. Завтра — ворюшка в магазине самообслуживания, избиваемый частными детективами. Послезавтра — правверный католик, которого «святой отец» вразрез с официально провозглашенным политическим нейтралитетом церкви убеждает отдать свой голос лидеру баварской реакции Францу Йозефу Штраусу.

Конечно, есть в работе Кромшрёдера свои недостатки. По глубине проникновения в социальную действительность ФРГ репортер «Штерна», бесспорно, уступает другому западногерманскому мастеру «репортажа с переодеванием», своему учителю Гюнтеру Вальрафу, прославившему себя разоблачением секретов газетной империи Шпрингера. Специфика иллюстрированного еженедельника, рассчитанного на невзыскательный вкус широкой публики, чувствуется в языке и стиле репортажей Кромшрёдера, в его боязни показаться читателю скучным, в стремлении уйти от обобщений и анализа...

Репортера «Штерна» не раз пытались притянуть к суду за его методы. Реакционная западногерманская пресса предает анафеме «нарушения» профессиональной этики и норм добропорядочного, с ее точки зрения, поведения. Допустимы ли «переодевания» репортера? Позволительно ли ему втираться в доверие к людям, которых он намеревается разоблачить? Эти вопросы задают конкурирующие со «Штерном» буржуазные издания чуть ли не после каждого репортажа Кромшрёдера. Спрашивающие

делают вид, что не знают, какие препоны стоят в ФРГ на пути осуществления хваленной буржуазной свободы печати. Да, предварительной цензуры в стране нет. Но есть «священное» право частной собственности, преграждающее журналиста путь на любое западногерманское предприятие, какие бы безобразия там ни творились. Есть законы об охране чести и достоинства бундесбюргера, допускающие весьма широкое толкование (впрочем, прибегнуть к их защите может лишь обладатель туго набитого кошелька). Есть множество других законоположений, на первый взгляд отвечающих интересам общества и личности, но в действительности сводящих к минимуму гласность, без которой журналистика обречена на жалкое прозябание.

Кромшрёдер преодолевает эти барьеры. Конечно, он сломал бы себе шею, если бы за ним не стоял «Штерн» с его многомиллионным бюджетом, связями в Бонне и публицистическим влиянием на публику. Тот самый «Штерн», с которым хотели покончить, подсунув ему несколько лет назад фальшивые «дневники Гитлера» — приманку, перед которой еженедельник не мог устоять. Публикация этой липы на его страницах должна была подхлестнуть коричневую волну в ФРГ и подорвать репутацию «Штерна» в глазах того многоликого человека с улицы, которому внушают страх гонка вооружений, растущее засилье реакции в ФРГ, зыбкость капиталистической экономики.

Репортажи Кромшрёдера все более притягивают внимание публики, интересующейся не только альковными похождениями эстрадной и титулованной знати, но и политической и социальной жизнью ФРГ. Небезынтересны они и для советского читателя. На страницах хорошо переведенного и снабженного содержательным предисловием сборника разворачивается пестрая панорама жизни одного из ведущих капиталистических государств с ее невыдуманными проблемами и тупиками.

**В. ОСТРОГОРСКИЙ,**  
*кандидат исторических наук.*



## ФЛОТОВОДЕЦ, УЧЕНЫЙ, ПИСАТЕЛЬ

**И. С. Исаков. Избранные труды. М. «Наука». 1984. 584 стр.**

**-**Как же вам удается совмещать в жизни военно-морскую службу, науку и литературу? — спросил я однажды у Адмирала Флота Советского Союза, члена-корреспондента Академии наук СССР, члена

Союза писателей СССР Ивана Степановича Исакова.

— А что поделаешь, приходится! На первом месте, конечно, море. У нас, моряков, оно начало всех начал. Рассказывать о том,



как сын армянина, дорожного мастера из города Тбилиси, ушел в море, дело долгое. Может быть, когда-нибудь я об этом напишу... Ну а если коротко, то сообщаю: военным моряком, морским офицером сделали меня Октябрьская революция и партия.

Давний этот разговор вспомнился мне сейчас в связи с выходом «Избранных трудов» И. С. Исакова. На титульном листе этой редкостной книги указано, что в нее вошли некоторые труды автора в области океанологии, географии и военной истории. Всего же в разное время выдающийся советский флотоводец опубликовал в нашей стране и за рубежом 200 научных трудов!

Я познакомился с Иваном Степановичем уже после войны, когда он передвигался на костылях. В 1942 году заместитель командующего фронтом адмирал И. С. Исаков выехал вместе с другими членами Военного совета в район Туапсе, чтобы на линии огня изучить сложившуюся опасную обстановку. Именно здесь его настиг осколок бомбы, сброшенной с фашистского самолета. Рана была настолько опасной, что врачи едва отстояли жизнь адмирала, ампутировав ему ногу. Однако и после этого труднейшего испытания Иван Степанович продолжал неустанно служить флоту, науке, литературе.

В 1965 году в связи с двадцатилетием победы над фашистской Германией редакция журнала «Вопросы литературы» провела анкету среди писателей, работающих над военной темой, в числе которых был и Исаков. На вопрос: «Какие традиции русской, советской, мировой литературы о войне Вам особенно близки?» — Иван Степанович ответил так: «Советская литература всех жанров обязана — и это ее первейший долг — помочь понять происходившее, происходящее и то, что может произойти. Итак, военная тема далеко не исчерпана, не исчерпана ее современность, не притупилась ее острота. Мы в долгу и перед мертвыми и перед живыми. Перед героями, известными нам и еще невыявленными, перед воинами, дравшимися в полную силу, но не подходившими под статут звания Героя и кавалера орденов а благородный лозунг «Ничто не забыто — никто не забыт!», — которым вооружена наша молодежь и искатели героики Великой Отечественной войны, к сожалению, все еще только лозунг. Его нужно реализовать...»

Этот принципиальный подход И. С. Исакова к литературному труду отражен в новом сборнике его сочинений. Книгу открывает раздел «Выдающиеся флотоводцы Рос-

сии». Здесь опубликованы два историко-литературных этюда «Адмирал Ф. Ф. Ушаков» и «Адмирал П. С. Нахимов», написанные со знанием дела и несомненным беллетристическим блеском. Исаков был великолепным знатоком истории вообще и военно-морской истории в частности. Созданный им литературный портрет адмирала П. С. Нахимова можно отнести к самым блистательным образцам отечественной документально-исторической литературы.

Другие разделы книги — «Флот в первой мировой войне 1914—1918 гг.», «Боевые действия Красного Флота в гражданской войне 1918—1920 гг.», «Военно-морской флот между двумя мировыми войнами», «Военно-морской флот во второй мировой войне 1939—1945 гг.» и, наконец, «Океанология. География. Публицистика». Читатель познакомится здесь с такими произведениями И. С. Исакова, как «Минная оборона Циндао», «Военно-Морской Флот СССР в Великой Отечественной войне», «Приморские крепости». По богатству фактического материала в соединении с глубоким анализом эти работы вошли в золотой фонд военно-исторической литературы. Не случайно их изучают во многих военных академиях мира. Книга дает возможность углубиться в тонкости военно-морской стратегии и тактики, напоминая о главных эпизодах героической борьбы нашего славного флота с фашистскими флотами в годы Великой Отечественной войны. Важнейшие выводы автора имеют определенное значение и сегодня, когда США объявили чуть ли не все моря и океаны мира зонами своих «жизненно важных интересов». Известно, что советский Военно-морской флот за послевоенные сорок лет стал флотом могучим, океанским, ядерным, что он зорко стоит на страже наших морских рубежей.

Нетрудно представить себе, сколь сложную задачу решали составители и редакторы этой книги, пытаясь дать читателю наиболее полное представление о богатом флотоводческом, научном и литературном наследии И. С. Исакова. Бывая у него дома, я не раз изумлялся его огромному личному архиву. Слово «огромный», надейся, не покажется преувеличением, если скажу, что только неопубликованных художественных произведений И. С. Исакова — повестей, рассказов, очерков — сейчас в ЦГАЛИ хранится свыше шестидесяти. Какое великолепное собрание сочинений советского мариниста получили бы читатели, если бы наконец издательство «Художественная литература» удовлетворило их давние просьбы и пожелания...

Значит ли все сказанное, что книга совершенно свободна от просчетов? Нет, не значит. Адмирал Флота Советского Союза И. С. Исаков, по выражению К. М. Симона, был и надолго останется в нашей литературе одним из самых ярких советских писателей-маринистов. Следовательно, у создателей этого сборника были все основания выделить специальный раздел для собственно художественных произведений И. С. Исакова. Увы, такого раздела, показывающего нам Исакова как прозаика, рассказчика, эссеиста, в книге нет. Несравненную морскую документалистику автора представляет здесь лишь его широкоизвестный рассказ «Кронштадская „побудка“», воскрешающий один из эпизодов граждан-

ской войны,— этого для большой (37 печатных листов!) книги маловато. Талант писателя в высшем адмиральском звании давно уже по достоинству оценен читательской аудиторией, но, увы, еще недостаточно учитывается издательствами.

Хочется в заключение поблагодарить Академию наук СССР. Военно-морскую академию имени Маршала Советского Союза А. А. Гречко, Институт океанологии имени П. П. Ширшова, Институт военной истории Министерства обороны СССР за издание сборника избранных трудов И. С. Исакова, который сразу встал в боевой строй. Что ни говорите, а книга все-таки получилась достойной своего высокого автора.

**Наум МАР.**



---

---

## КОРОТКО О КНИГАХ



**ГАЛИНА СЕРЕБРЯКОВА** *Юность Маркса*. Роман. Киев. «Радянська школа». 1985. 383 стр.

Литературно-исторические судьбы прослеживаются в наше время легко. Иное дело предыстория книг, то стечение, сплав, по Марксу, обстоятельств и воспитания, благодаря которым становится неизбежной встреча автора с темой.

В предисловии к первому изданию «Женщин эпохи Французской революции», сочинению двадцатичетырехлетней Галины Серебряковой, академик М. Н. Покровский писал: «...позволю себе закончить надеждой, что женскими портретами автор не ограничится». То, что эта надежда сбудется, не сомневался никто. У Серебряковой уже сложились и стиль и язык, выработались ясные марксистские (подчеркнем это слово) литературные вкусы и критерии. Но кто мог думать, что следующим героем начинающей писательницы станет сам Маркс?

«В тридцатых годах... я дерзнула начать работу над романом «Юность Маркса»...» — напишет Серебрякова в одной из биографических новелл. Именно дерзнула. Видно, собственная отвага не переставала удивлять ее всю жизнь.

А в самом деле — почему? Как? Какими путями пришел к писательнице этот замысел? Дежурный ответ — время было такое. Впрочем, и в то время были писатели помаститей, поумудренней, со вкусом к истории. Может, как раз не молодость, а умудренность часто оказывается неодолимой помехой?

Время действительно было такое. Революционное вчера цепко жило в настоящем и не спешило покрываться хрестоматийным гляncем. Серебрякову, выводящую первые строки «Юности Маркса», отделял от октября семнадцатого меньший срок, чем нас, сегодняшних, скажем, от того дня, когда полетел Гагарин. Октябрьский гром разбудил не знающую границ веру в собственные силы.

Галине Серебряковой в этом декабре было бы восемьдесят лет. Дочь профессиональных революционеров, она в четырнадцать лет сбегает на фронт. Сестра милосердия. Работник полиотдела армии. В пятнадцать — член Коммунистической партии. В плотно населенной коммунальной Москве 20-х годов среди ее знакомых — Фрунзе, Куйбышев, Ораджоникидзе, Киров, близкие Ленина. Из писателей — Горький, Фурманов. Но все это не ответ на вопрос.

Не объяснение, а скорей дополнения к объяснению. Предпосылки, а не первопричина, как вспаханное поле — не урожай.

В том же предисловии к «Женщинам эпохи Французской революции» Покровский излагает свои взгляды на отличия исторического романа в социалистическом искусстве: «Наши исторические портреты» всегда останутся классовыми портретами. Нечего этого стыдиться. Одно дело фальсифицировать историю в угоду интересам известного класса, другое дело и з о б р а ж а т ь ее с точки зрения этого класса».

Слово «портреты» соскальзывает с пера Покровского постоянно. Случайно ли? Литературный (и не только литературный) портрет — овестьленная память, из личного пользования для себя отданная в совместный фонд памяти национальной, памяти мировой. За интересом к поступкам и побуждениям людей других эпох стоит естественнейшая потребность понять время, его законы, ритм. А значит, постичь мастерство превращения памяти в материальную силу.

Галина Серебрякова учится писанию быстро и жадно. Ранние ее книги просто поражают информативной емкостью, постоянной сменой планов, пропагандистской страстностью и, конечно, стройностью логики. Тугая диалектическая пружина — взгляд на историю глазами своего класса — обнажается без сомнений.

Древнее, слишком буквально понятое «о мертвых либо никак, либо добрым словом» уместно на вечере памяти, но едва ли в истории литературы. Многие из того, что писалось о Серебряковой — не недругами, а пристрастными доброжелателями, — справедливо. В романе «Юность Маркса» удалось не все, да и не могло все удалиться. Она словно торопилась писать, не всегда успевая рационально осмыслить накопленный опыт. Но не в этом суть. Сегодня тиражи произведений Галины Иосифовны Серебряковой исчисляются сотнями тысяч экземпляров. К сожалению, подробности ее непростой жизни атмосфера в литературе тех лет, когда создавалась первая книга о Марксе, борьба, в эпицентре которой оказалась писательница, оставляются комментаторами ее книг как бы в тени. Не много добавляют к нашему знанию исторической истины и издания последних лет. Между тем жизнь Галины Серебряковой — подвиг. О подвигах же — ничего, кроме правды!..

**Борис Багряцкий.**



**НИКОЛАЙ НИКОНОВ.** Глагол несовершенного вида. Повести. Свердловск. Средне-Уральское книжное изд-во. 1984. 479 стр.

По существу, рецензируемая книга — избранное известного уральского писателя Н. Никонова, и вошедшие в нее повести некоторым читателям уже знакомы. Отзывалась на них и критика. Но ведь замечено: оказавшись под одной обложкой, художественные произведения начинают влиять друг на друга, смещать акценты, оттенять новые детали и частности. Собранные в томе «Уральской библиотеки» повести Никонова, как мне показалось, отчетливее обозначили круг заветных тем и проблем писателя, позволили нам подметить в героях нечто такое, чего мы не замечали прежде.

Откровенно близки повести «Глагол несовершенного вида» и «Кассиопея». Дело тут даже не в сюжетном сходстве, хотя это есть тоже, обе они — истории неудачной, несостоявшейся любви. Общность их в тональной близости, в сосредоточенном интересе писателя к особому типу характера — человеку совестиальному, рефлексизирующему, постоянно недовольному собой, просто-таки обреченному на неуспех в делах сердечных. Таков Толя Смирнов в «Глаголе...», сначала старшечкинский, потом молодой рабочий, напряженно ищущий свое место в жизни. Таков и Михаил Снегирев — герой повести «Кассиопея», студент, уезжающий после института в северную глушь — Усть-Туман, отказавшийся от престижного места ассистента на кафедре лесоводства. Бежит куда подальше наперекор несчастной своей влюбленности.

Казалось бы, истории первой любви известны нам в стольких литературных вариантах, в том числе и классических. Повести Н. Никонова лишки раз свидетельствуют о неисчислимости их, ибо, перифразируя Толстого, можно сказать, что каждый несчастный влюбленный несчастлив по-своему. Писатель, конечно же, хочет, чтобы нам понравились его целомудренные и застенчивые герои. Не очень удачливые, неуверенные в себе, неловкие с девушками. Влюбленность для них словно болезнь: подавляет, мешает жить. Несчастен Толя Смирнов — стечение обстоятельств навсегда разводит его с любимой девушкой. Несчастен Снегирев — та, о которой он думает день и ночь, не хочет даже замечать его. И он изводит себя, силясь понять почему. Читатель сострадает героям. Еще бы! Его собственная память начинает согревать сюжет дополнительно чем-то своим, давним и недавним, но доподлинно пережитым.

Правдивы и впечатляющи в повести картины военного детства Толи Смирнова. Детства угрюмого, уязвленного бедностью, голодом, той несправедливостью жизни, которую обязательно приносит война, порой оборачиваясь в тылу дикой мальчишечьей вольницей, смещением представлений о добре и зле, культом грубой силы. Нет, у героя Н. Никонова есть четкие собственные понятия о справедливости, достоинстве, честности. Он не способен совершить ничего непрямого, воспользо-

ваться чьей-то слабостью, расчетливо потеснить кого-то. Но, похоже, автор убежден — именно совестиливость и прямота мешают его герою добиться большего, преуспеть, завоевать взаимность, наконец. Так, в финале обеих повестей встреча героя с бывшим одноклассником (или сокурсником) отчетливо являет, что успеха в жизни достигают те люди, которые умеют хотеть, не стесняясь, добиваются своего во что бы то ни стало. В «Глаголе...» таким баловнем судьбы предстает Юрка Тартын, в классе приметный только «желтозубой обезьяньей улыбкой» да еще настырностью и несмущаемостью; теперь он — директор «известного на весь Союз» завода, женат на первой красавице школы Оле Альтшулер. В «Кассиопее» герой, оказавшись в родном городе, испытывает состояние шока, увидев Ее рядом с бывшим своим соседом по общежитию Шашкиным, человеком скрытным, посредственным, выдавшим виды пошлаком.

Эти авторские противопоставления, если вдуматься, ни на чем не основаны. Причина сердечных неудач Толи и Снегирева совсем не в Тартыне и Шашкине. Эти персонажи ведь едва ли не механически оказываются на том святом месте, которое, как известно, пусто не бывает. А объяснение неуспехов героев Никонова, думается, следует искать прежде всего в них самих. Но не в их простодушии и простоте, как полагает автор. А в том, какими угрюмыми, скучными выглядят они, когда, подавленные своим чувством, хандрят, оказываются рабами сколько-нибудь усложнившейся ситуации, терзаются мыслями о собственной нескладности, обстоятельно страдают от неумения объяснить, что с ними происходит. Этого достаточно, чтобы пожалеть героя, но мало, чтобы полюбить.

Автор послесловия к книге Евгений Сидоров, высоко оценивая третью повесть — «След рыси», называет ее «книгой-размышлением». В этой необычной по жанру вещи причудливо чередуются публицистика, романтические рассказы о лесных животных, незамысловатые житейские истории, страшные сцены бездумного, безразличного уничтожения зверей. А в целом это — гимн Природе, лесу, всему живому. Органично внутренне связанная с первыми повестями, эта вещь расширяет общий смысл книги, заставляя размышлять над существенными проблемами сегодняшнего дня: как жить дальше человеку, понимающему всю меру своей ответственности перед природой, землей, другими людьми

Г. Петрова.



**В. В. КУНИН.** Библиофилы и библиоманы. М. «Книга». 1984. 478 стр.

Любовь к книгам и их собирательство, ставшие у нас массовым явлением, имеют многовековую историю. О ее увлекательных событиях, о судьбах книг, их поисках и утраках, о формировании частных и общественных книжных собраний, о драматических отношениях между библиофилами, библиотеками и библиоманами — обо

всем этом рассказывает новая книга В. Кунина. Она состоит из восьми новелл, посвященных европейским и американским собирателям книг — «пленникам книги» XIII — XX веков. Среди них знаменитые коллекционеры, создатели библиотек, вошедших в историю культуры, собиратели-«разбойники» (были, увы, и такие). По мнению автора, «граница между библиофилией и библиоманией — это граница между порядочностью и непорядочностью, между целями благородными и низкими, между способами собирательства чистыми и грязными, между истиной и ложью». Ведь во все времена рукописи и книги не только сокровища мысли, но и валютный эквивалент; переходя от хозяина к хозяину, они могут доставлять духовное удовлетворение или тепить тщеславие, могут ввергнуть в нищету или принести богатство.

Времена меняются, но многие проблемы, связанные с собирательством книг, не перестали быть актуальными и сегодня. В частности проблемы этические. Причем они шире рамок личной этики и психологии тех или иных библиофилов и библиоманов, потому что история книги и чтения — это история культуры.

К сожалению, до сих пор приходится говорить о существовании таких «любителей» книги, которые, заполоучив раритет, хоронят его на своей книжной полке или становятся спекулянтами. До сих пор существуют «любители», которые, не мучась угрызениями совести, похищают книги у своих знакомых и в библиотеке.

Баварский подданный, член Мюнхенской академии Алоизий Пихлер, ограбивший Императорскую публичную библиотеку в Петербурге и сосланный за это в Сибирь; Гуальермо Либри, удачливый книжный вор, из-за доверия к которому погал в тюрьму Проспер Мериме; Томас Уайз, мошенник от библиофилии, — эти «книжные злодеи» встают как живые со страниц книги В. Кунина. Им — авторское и читательское презрение.

Симпатии же и восхищение вызывают подлинные герои книги, истинные библиофилы. Это Ричард де Бери, считающийся отцом европейской библиофилии; Габриель Ноде, европеизировавший библиотеку, названную именем Мазарини; Томас Филипс, целью жизни которого было сберечь рукописные и печатные памятники для грядущих поколений; Дмитрий Петрович Бутурлин, переживший гибель своей великолепной коллекции иностранной литературы во время нашествия Наполеона и создавший на склоне лет новую — Россикву; русский парижанин Александр Федорович Онегин, собиратель-пушкинист, завешавший свое бесценное собрание Пушкинскому Дому.

Читая о них, с благодарностью вспоминаешь и других наших соотечественников и современников, внесших значительный вклад в развитие теории и практики библиофильского дела. Среди них литературовед Розанов (после смерти его уникальная библиотека русской поэзии XVIII — XX веков была подарена Музею Пушкина в Москве), народный артист РСФСР Смирнов-Сокольский (свыше 10 тысяч изданий его коллекции теперь в Библиотеке имени Ленина), академик Маркушевич (безвоз-

мездно передал собрание инкунабул этой же библиотеке), литературный критик Тарасенков (около 8 тысяч книг и брошюр его коллекции составили в отделе редких книг Ленинской библиотеки особый фонд)...

Думается, что прекрасному рассказчику В. Кунину удалось достичь цели — передать читателю свое уважение к библиофилам, делающим все, что в их силах, чтобы сберечь Книгу — материализованную мысль человечества.

М. Вашкевич.



**И. ФОНЯКОВ, Сергей Марков, Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 1983. 67 стр.**

**Р. ДИЯЖЕВА, С. Н. Марков. Очерк творчества. М. «Советский писатель». 1983. 175 стр.**

Сергей Николаевич Марков хорошо известен и как поэт и как прозаик. Его художественное наследие составили поэтические сборники разных лет, романтические рассказы о людях Сибири и Казахстана, исторические повествования о русских путешественниках и первопроходцах.

Более чем полувековая деятельность писателя (в будущем году ему исполнилось бы восемьдесят лет) заслужила общее признание. Наблюдения и открытия, сделанные Марковым в архивах, журналистских поездках по стране, ставшие основой многих его художественных книг, помогли автору и в его многолетней научной работе — в составлении уникальной «Тихоокеанской картотеки» на шесть с лишним тысяч карточек, где хронологически соотнесены разнообразные факты истории Сибири, Азии, русских владений в Америке.

Богатство тематической и жанровой палитры этого писателя во многом связано с характером его дарования. Но нельзя не согласиться с мыслью, которая является главной в книге И. Фонякова: о Сергее Маркове прежде всего следует говорить как о ярком, оригинальном русском поэте. Именно поэзия может объяснить особенное пристрастие Маркова к истории, которое является не только живым интересом к прошлому, но и духовной потребностью:

Чужая жизнь — безжалостней моей —  
Зовет меня. И что мне делать с ней?  
Ведь можно лишь рукою великана  
В лазоревой высокогорной мгле  
Куском нефти рта выбить на скале  
Рассказ о гордом подвиге Чоанал!

Чокан Валиханов, Суворов, Ломоносов, Беринг, Козьма Минин и Евпатий Коловрат, Пушкин и Хлебников воспринимаются под пером Сергея Маркова как наши собеседники, а далекий нам мир, окружающий их, представляется обжитой до мелочей реальностью.

Как Фоняков, так и Дияжева отмечают в своих исследованиях характерное для Маркова тяготение к необычайному, необычному, ярко предметному и выразительному его поэтическому слову, когда романтическая приподнятость повествования сочетается с предельной точностью реалий, вплоть до цвета кисти с петровской шпаги,

вплоть до марки ружья, если уж оно в стихотворении упоминается:

Я с жизнью кочевой сросся,  
Не знал ни крова, ни огня,  
Когда ружьё системы Росса  
В ущельях берегло меня.

Маркова можно было бы представить в образе поэта-«рудознатца», который, исследуя разные исторические пласты, каждый раз открывает одну и ту же, вечную породу — ту, которая удерживает мир. Этой же породы и марковское воодушевление жизнью: «Ровно дышат теплые уста. Пусть приснится: наша жизнь чиста и крепка, как ветка винограда!»

Лирический герой Маркова умеет увидеть и с большой теплотой передать своеобразие «югорской золотой землицы» — первые стихи были написаны поэтом в Казахстане в годы гражданской войны. Он носит в сердце Россию с ее исконными рябиновыми городками (потому что «алою рябиной на сугробе пламенеет русская душа»), с образом молодой женщины («веснянской стороны», идущей берегом Мологи.

Мир щедро открывается Маркову-ученому и Маркову-поэту, человеку внимательному, любознательному и влюбленному. Недаром и в литературоведческих статьях и в жизни поэта называли искателем живой воды. Именно таким он предстает и в книгах И. Фоянкова и Р. Дяжевой

Елена Алексеева.



**НА БАРРИКАДАХ. Воспоминания участников резолюции 1905—1907 гг. в Петербурге.** Л. Лениздат. 1984. 422 стр.

У подлинных свидетелей прошедшей жизни — будь это предмет или документ — есть одно свойство: всякий раз, сталкиваясь с ними, испытываешь ощущение своего личного присутствия при том или ином историческом событии... Помню, побывал я как-то на острове Березань у Очакова, одиноком клочке земли посреди моря, где был расстрелян лейтенант Шмидт. Об этот маленький необитаемый остров с крутыми скалистыми берегами даже в тот солнечный день волны разбивались с какой-то особенно дикой свирепостью. Стоя у обрыва к морю, слыша резкие, как выстрелы из пушки, удары черных волн о камни, вдруг начинаешь видеть, как все тут было в день казни 6 марта 1906 года. Царь мог расстрелять мятежного лейтенанта где угодно, но он выбрал унылый пустынный остров, на котором под холодный рев моря еще до рокового залпа палачи убивали дух революционера-романтика.

Воспоминания участников революции 1905—1907 годов в Петербурге, собранные в рецензируемой книге, тоже невольно переносят нас в прошлое. Что способствует этому? Деталь, которую мог сохранить в памяти только очевидец? Эпизод, переданный с протокольной точностью? Волнение автора, воссоздающее эмоциональную атмосферу тех дней?.. Наверно,

все это, вместе взятое, и что-то еще, не поддающееся формулировке.

Кому не известно о Кровавом воскресенье 9 января 1905 года! Любой школьник скажет: в этот день царь расстрелял мирную демонстрацию рабочих, несших петицию в Зимний дворец; события этого дня привели к общероссийскому революционному взрыву. Но вот читаешь воспоминания Лидии Иннокентьевны Субботиной — активной участницы тех событий — и волнуешься так, как будто узнаешь о происшедшем впервые. Да тут и впрямь все первично: как обсуждалась петиция к царю, как строились баррикады, как оказывалась медицинская помощь раненым рабочим... Рассказывается об этом не вообще, все передано так, как было увидено и пережито автором воспоминаний. Значительности рассказу добавляют и обстоятельно составленные примечания к сборнику. Из них мы узнаем, что в январе 1905 года двадцатитрехлетняя Субботина была впервые в жизни арестована, а до победного Октября она, став профессиональной революционеркой, сидела в 27 царских тюрьмах

На Третьем съезде РСДРП, состоявшемся в апреле — мае 1905 года, было, как известно, принято решение о вооруженном восстании. Где большевики добывали оружие? Каков был план восстания? Какие организационные меры были приняты, чтобы осуществить решение съезда? Об этом в сборнике рассказывает Н. Е. Буренин — член Боевой технической группы при Петербургском комитете РСДРП. Еще до событий 1905 года он вместе с другими членами партии доставлял из-за границы в Россию ленинскую «Искру», другую нелегальную литературу, устраивал явочные квартиры, ведал подпольными типографиями, а в дни первой русской революции много сделал на опаснейшем участке партийной работы — снабжал оружием боевые отряды пролетариата.

Воспоминания, помещенные в сборнике, раскрывают различные стороны событий тех лет. Есть рассказ о подготовке к вооруженному восстанию; о действиях боевой дружины в 1905 году; о том, как работал в дни революции Петербургский комитет РСДРП, как был создан первый Совет рабочих депутатов... Десятки имен героев первой русской революции встречаются на страницах книги. Но есть среди этих имен одно особо дорогое нашему сердцу. Воспоминания, показывающие деятельность Владимира Ильича Ленина в те сложные дни, написали Н. К. Крупская, Л. А. Фотиева, А. В. Луначарский.

Книгу составили воспоминания, созданные авторами в разное время. Например, очерк А. М. Горького «9 января» был написан в декабре 1906 года, воспоминания Б. М. Кнунянца «Первый Совет рабочих депутатов» — весной 1906 года. А вот Е. Д. Стасова опубликовала свои мемуары в 1957 году... Несмотря на это, для всех воспоминаний характерно одно: они — подлинные свидетельства, их правдивость подтверждает, в частности, то волнение, которое при знакомстве с ними охватывает нас, читателей.

В. Казаков.



**П. С. ГРАЦИАНСКИЙ. Политическая и правовая мысль России второй половины XVIII в. М. «Наука». 1984. 253 стр.**

Вторая половина XVIII века — время, озаглавленное для России победоносными войнами с Турцией, освоением Причерноморья и Крыма, воссоединением с Россией захваченных польскими феодалами украинских, белорусских, литовских, латышских земель, общим расцветом русского абсолютизма. В этот период самодержавие добилося не только значительных внешнеполитических успехов, но и предприняло очень активные попытки склонить на свою сторону общественное мнение страны и всей Европы, изобразив себя в качестве силы, способной урегулировать внутренние социальные противоречия и обеспечить благоденствие своих подданных.

Книга П. С. Грацианского показывает, что даже в эпоху просвещенного абсолютизма, когда российское самодержавие переживало свой золотой век и обладало наибольшими возможностями идеологического воздействия, общественное сознание русского народа отнюдь не склонялось к оправданию, а тем более к прославлению деспотических форм правления. Царизм явно проигрывал идейный спор с русским просвещением, представители которого не только отстаивали идеи правового государства и народного суверенитета, обосновывали внесословную ценность человека и его права на свободу, резко критиковали произвол, фаворитизм и беззаконие, царившие в тогдашней России, но и в ряде случаев поднимались до осознания принципиальной неспособности самодержавия решать стоящие перед страной социальные проблемы.

Такая постановка вопроса характерна для Я. П. Козельского, Д. И. Фонвизина и в особенности для А. Н. Радищева. Именно Радищев, как показывает П. С. Грацианский, первым среди русских мыслителей вскрыл глубокий механизм взаимоотношений монарха и народа, указав на то, что власть, не опирающаяся на свободное волеизъявление и свободное обсуждение общественных проблем, неизбежно теряет связь с жизнью народа. Отсюда идет развенчание той модели власти, которая воплощена в концепции «идеального государя». Любые попытки монарха «осчастливить» своих подданных, опираясь на неограниченную власть, неизбежно таили в себе неразрешимые противоречия и были обречены на провал.

Политическая литература эпохи русского Просвещения при всем своеобразии выдвигала те же идеалы, что отстаивали в то время и передовые деятели других стран, в том числе идеологи третьего сословия во Франции и лидеры американской революции. Полемизуя по этому вопросу с буржуазными исследователями, считающими, что появление в России идеи конституционализма и прав человека, а затем и революционных идей было плодом искусственной «вестернизации» сознания части русского общества, П. С. Грацианский доказывает, что русская передовая мысль шла к этим идеям самостоятельно. В ее основе лежали потребности и задачи общественного развития самой России, а также национальный политический опыт, в первую очередь борьба народных масс против дворянского государства, вершиной которой была крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева.

Автор уделил значительное внимание наследию забытых авторов, многие из которых выдвигали весьма интересные для своего времени идеи и проекты (таковы, в частности, последователи Радищева — Ф. В. Кречетов, П. И. Челищев, С. Н. Янов, В. В. Пасек, Г. Попов). К сожалению, в книге не в полной мере использованы возможности, которые открывает перед исследователем истории политической мысли художественная литература. П. С. Грацианский анализирует лишь небольшую часть литературного наследия рассматриваемой эпохи. Между тем литература и театр XVIII века были насквозь пропитаны социально-политическими идеями, что делает их частью не только художественной, но и политической культуры того времени.

В идеологических битвах нашей современности вопросы истории русской политической и правовой мысли выдвинулись на одно из центральных мест. Для тех, кто пытается представить нашу страну «империей зла» и оправдать этим свои собственные агрессивные устремления, чрезвычайно важно убедить мир в том, что русским якобы исторически присущ принципиально иной тип политического сознания, чем народам, принадлежащим к «западной цивилизации». В противоположность идеалам демократии русское политическое мышление, с их точки зрения, всегда было пронизано идеей авторитарности. Одна из важных заслуг книги П. С. Грацианского состоит как раз в том, что в ней на строго научной основе развенчивается этот миф.

**А. Андреев,**  
доктор философских наук.

---

---

## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



### ПОЛИТИЗДАТ

**Г. Гемков.** «Мы прожили не напрасно...» Биография К. Маркса и Ф. Энгельса. Перевод с немецкого. 336 стр. Цена 1 р. 50 к.  
**Л. Давыдов.** Высокое стремление. 351 стр. Цена 65 к.  
**О Вячеславе Менжинском.** Воспоминания, очерки, статьи. 272 стр. Цена 80 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Весь свет.** Сборник. 271 стр. Цена 2 р. 90 к.  
**Ветер и птицы.** Творчество молодых поэтов и прозаиков Кубы. Перевод с испанского. 271 стр. Цена 1 р. 50 к.  
**А. Макаров.** Последний день лета. Повести. 383 стр. Цена 1 р. 40 к.

### ВОЕНИЗДАТ

**М. Карим.** Родина, хлеб, любовь. Стихи, поэмы. Перевод с башкирского. 256 стр. Цена 1 р.  
**Г. Степанов.** Закат в крови. Роман. 479 стр. Цена 2 р. 50 к.  
**Д. Фекете.** Январь, февраль, март... Роман. Перевод с венгерского. 432 стр. Цена 2 р. 80 к.

### «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Поэзия народной Монголии.** В 2-х тт. Перевод с монгольского. Т. 1. Произведения 1921—1970 гг. 447 стр. Цена 2 р. 50 к.  
**Рассказы канадских писателей.** Перевод с английского. 359 стр. Цена 2 р. 30 к.  
**П. Элюар.** Стихотворения Перевод с французского. 223 стр. Цена 70 к.

### «РАДУГА»

**М. Астуриас.** Маисовые люди. Ураган. Романы. Перевод с испанского. 351 стр. Цена 2 р. 90 к.  
**Зарубежная повесть.** Вып. 4. По страницам журнала «Иностранная литература». 637 стр. Цена 4 р.  
**И. Супен.** Еретик. Роман. Перевод с хорватско-сербского. 317 стр. Цена 2 р. 10 к.

### «СОВРЕМЕННОИ»

**Е. Исаев.** Чувство глагола. Книга статей и размышлений. 336 стр. Цена 90 к.

**А. Крашенинников.** В черте жизни. Рассказы. 144 стр. Цена 35 к.  
**В. Лебедев.** Маков свет. Повесть. 47 стр. Цена 20 к.  
**В. Распутин.** Повести и рассказы. 736 стр. Цена 3 р.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**А. Марьямов.** Поезд дальнего следования. Очерки. 335 стр. Цена 1 р. 20 к.  
**М. Пьяных.** Поэзия Александра Межирова. 208 стр. Цена 55 к.  
**Ю. Смуул.** Проза. Перевод с эстонского. 423 стр. Цена 1 р. 50 к.  
**Е. Янищиц.** Спроси у чебреца. Стихи. Перевод с белорусского. 87 стр. Цена 35 к.

### «НАУКА»

**Е. Дашнова.** Записки. 1743—1810. 288 стр. Цена 1 р. 90 к.  
**А. Демин.** Писатель и общество в России XVI—XVII веков. Общественные настроения. 352 стр. Цена 2 р. 50 к.  
**Песни о Гильоме Оранжском.** («Литературные памятники») 575 стр. Цена 5 р. 30 к.  
**Философия и история культуры.** 319 стр. Цена 1 р. 60 к.

### «ИСКУССТВО»

**Е. Гоголева.** На сцене и в жизни. 253 стр. Цена 1 р. 60 к.  
**Древний Новгород.** Прикладное искусство и археология. 167 стр. Цена 13 р. 50 к.  
**А. Зархи.** Мои дебюты. 287 стр. Цена 1 р. 70 к.  
**М. Павлова.** Илья Фрэн. («Мастера советского кино») 176 стр. Цена 75 к.

### «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**А. Барнов.** «Питомец муз, питомец боя...» Рассказы о жизни и ратных подвигах героя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова. 79 стр. Цена 20 к.  
**И. Дик.** Встреча с отцом. Повесть. 191 стр. Цена 50 к.  
**Р. Сайто.** Огненный конь. Роман для детей. Перевод с японского. 158 стр. Цена 50 к.  
**Ж. Санд.** История истинного простофиля по имени Грибуль. Пересказ с французского. 95 стр. Цена 1 р. 20 к.



## СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1985 ГОД

Материалы внеочередного Пленума Центрального Комитета КПСС. IV—III.

С. Ахромеев. Великая победа и уроки истории. V—3.

Коллективу, авторскому активу и читателям «Нового мира». I—5.

### РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

Маргарита Алигер. Соловьиная песня. Рассказ. III—13.

Виктор Астафьев. Жизнь прожить. Рассказ. IX—59.

Григорий Бакланов. Свет вечерний. Рассказ. XII—152.

Александр Белай. Вот-вот зацветет сирень. Рассказ. VIII—53.

Юрий Бондарев. Игра. Роман. I—6; II—80. Сергей Голицын. Дедов дом. Повесть. IX—87.

Андрей Евпланов. Чужаки. Рассказ. VI—91. С. Есин. Имитатор. Записки честолюбивого человека. II—11.

Валентин Катаев. Спящий. I—83. Станислав Кондрашов. В чужой стихии, или Путешествие Американиста. XI—5.

Анатолий Кудравец. Посеять жито... Роман. Перевел с белорусского И. Кирееенко. XII—7.

Владислав Леонавич. На работе и дома. Записки рабочего человека. X—39.

Г. Марков. Э. Шим. Из новостей этого дня. Пьеса в двух частях. VII—102.

Гарий Немченко. На фоне неба... III—126. Евгений Неचाев. Победные залпы. Документальная повесть. V—55.

Победа в моей жизни, в моей судьбе: Леонид Леонов, Валентин Катаев, В. Каверин, Аркадий Сахин, Анатолий Софронов, Савва Дангулов, Максим Танк, Даниил Гранин, Ю. Нагибин, Василий Росляков, Михаил Колосов; Анатолий Ананьев, Анатолий Геватулин, Владимир Еременко, Юрий Рытхэу; Феликс Кузнецов, Витаутас Бубнис, Мих. Рошин, Владимир Орлов, А. Проханов, Владимир Крупин. V—21, 115, 139.

Тамара Подорова. Баба Гутя. Бурлов и другие. Повесть. X—88.

Борис Рунин. Писательская рота. III—95. Юрий Рытхэу. Магические числа. Роман. VI—26; VII—139; VIII—98.

Евгений Савицкий. В небе над Крымом. V—127.

Георгий Семенов. Земные пути. Рассказы. VII—95.

Н. М. Скоморохов. Атакуют истребители... Главы из книги IV—99.

Уильям Стайрон. И поджег этот дом. Роман. Перевел с английского В. Гольшев. I—101; II—158; III—150; IV—148; V—191; VI—112.

Николай Стариков. Самый трудный день. Повесть. X—5.

Кирилл Столяров. Федор Терентьевич. Рассказ. III—40.

Франц Таурин. На баррикадах Пресни. Главы из книги. IV—10.

Виктор Тельпугов. Вкус арбуза. Рассказ. IV—82.

Виктория Токарева. Между небом и землей. Рассказ. III—60.

Василий Травкин. Экскурсия. Повесть. VIII—66.

Борис Харчук. Соломония. Повесть. Авторизованный перевод с украинского Э. Мороз. III—70.

Ю. Черниченко. Свой хлеб. VIII—6.

Михаил Чулаки. Приключенец. Рассказ. VI—91.

### СТИХИ И ПОЭМЫ

Ираклий Абашидзе. Стихи. Перевел с грузинского Михаил Синельников. XII—3.

Михаил Басманов. Из китайской тетради. Стихи. III—57.

Михаил Беляев. На подлодке. Стихотворение. X—85.

Михаил Борисов. Земля моя. Стихи. II—6. Констанция Ваншенкин. Из лирики. I—74.

Виктор Василенко. Два стихотворения. IX—86.

Юрий Воронов. Из новой книги. Стихи. VII—3.

Михаил Гаврюшин. Свет. Стихи. VIII—49.

Расул Гамзатов. Стихи. Перевел с аварского Яков Козловский. I—78.— Колесо жизни. Из непальского дневника. Перевели с аварского Юлия Нейман, Яков Хелемский. VI—3.

Геннадий Гоц. Военруки. Стихотворение. V—159.

Андрей Дементьев. Из новой лирики. VIII—66.

Олег Дмитриев. Из военной тетради. Стихи. VII—97.

Евгений Долматовский. Раздумья. Стихи. I—97.

Николай Доризо. Из тетради военных лет. Стихи. II—3.

Юлия Друнина. Стихи. V—51. Евг. Евтушенко. Фуку! Поэма. IX—3.

Владимир Жук. Стихи. V—123. Зульфия. Мушоира. Поэма. Перевел с узбекского Яков Козловский. IV—78.

Из словацкой поэзии: Милан Руфус, Микулаш Касарда, Владимир Райсел, Андрей Плавка, Мариан Ковачик. Перевел А. Январев. IV—94.

Римма Казакова. Из цикла «Панорама». Стихи X—3.

Валерий Капралов. Вера в победу. Стихотворение. IV—90.

Алим Кешоков. Из новой книги. Стихи. Перевел с кабардинского Яков Козловский. VIII—3.

Яков Козловский. Стихи. VII—99.— Князь Барятинский. Поэма. XII—173.

Вадим Кузнецов. Два стихотворения. VIII—154.

Валентин Кузнецов. Ты меня позови. Стихи. XII—176.

Татьяна Кузовлева. Новые стихи. III—10.

Ибрагим Кэбирли. На сегодня опирался я. Стихи. Перевел с азербайджанского Владимир Цыбин. X—86.

- Марк Лисянский. Стихи. V—125.  
 Марк Максимов. Стихи. V—51.  
 Александр Межиров. Лирика. X—39.  
 Виктор Меньшиков. Из цикла «Испания» Стихи. XII—177.  
 Моя судьба. Кама 3. В твоей судьбе: Николай Алешков, Мансур Сафин, Ямаш Игэнэй (перевел Николай Беляев), Инна Лимонова, Назип Мадьяров (перевели Петр Прихожан, Лариса Василенко). Стихи. IV—119.  
 Назар Наджи. Братья Поэма. Перевела с башкирского Елена Николаевская. XI—131.  
 Марина Некрасова. Стихи III—59.  
 Александр Николаев. Стихи. V—162.  
 Любовь Никонова. Стихи III—69.  
 Александр Петров. Из лирики. VI—111.  
 Леонид Решетников. Стихи. IV—1.  
 Ной Рудой. Стихи II—10.  
 Вадим Сикорский. Стихи. VII—135.  
 Владимир Соколов. Три стихотворения. XI—3.  
 Валентин Сорокин. Светлый миг. Стихи. III—93.

- Федор Сухов. Стихи. II—79.  
 Георгий Трифонов. Граница. Стихи. II—8.  
 Николай Флёров. Воспоминание о военном Севере. Стихотворение IV—8.  
 Сибгат Хаким. Память. Стихи. Перевел с татарского Равиль Бухараев. XII—150.  
 Яков Хелемский. Из военных дневников. Стихи. IV—5.  
 Феликс Чуев. Стихи. II—79.  
 Галина Шергова. Стихи. III—124.  
 Геворк Эмин. И только в этом счастье... Стихи. Перевели с армянского Ю. Кузнецов, Е. Евтушенко, П. Грушко, Л. Григорьян. XII—171.  
 Суюнбай Эралиев. Из лирической тетради. Перевел с киргизского Станислав Куныев. VIII—98.

#### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

- С. Апт. Черным по белому. II—223.  
 Василий Бойко. Через Большой Хинган. XI—205.  
 Василий Быков. В атаке — торпедные катера. V—220.  
 А. Воронский. Серго Орджоникидзе в Праге. Публикация Г. А. Воронской. Предисловие Евгения Сидорова. I—216.  
 В. Дымшиц. Броневой стан. Записки строителя. VI—183.  
 Михаил Макотинский. Записки фронтового маскировщика. IV—213.  
 Александр Перегудин. Разведчики идут первыми. III—200.

#### ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

- Сильва Капутякян. Моя тропка на путях к Акрополю. Перевела с армянского Татьяна Смолянская. XI—177.  
 Цезарь Солодарь. И вечный бой... II—207.  
 Юрий Черниченко. Очерк про очерк. I—175.

#### ПУБЛИЦИСТИКА

- Зорий Балааян. Без промаха XII—179.  
 В. Белоус. Лучи смерти. VII—198.  
 Валерий Выжutowич. Инженерный расчет. IX—173.  
 Геннадий Лисичкин. За ведомственным барьером. X—167.

- Александр Никитин. От околицы до окраины. VII—179.  
 Василий Селюнин. Эксперимент. VIII—173.  
 Симон Соловейчик. «Агу» и «бука». Педагогические размышления. III—179.

#### ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

- Николай Санеев. Камчатская селедка VI—167.  
*Прикамье — продолжение встреч*  
 Е. Н. Батенчук. Новостройка у Елабуги. III—3.  
 Григорий Резниченко. Бригадир XI—194  
 Михаил Шевченко. Поэзия молодого года. I—169.

#### НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

- Владимир Цветов. Пятнадцатый камень Сада Реандзи. IX—185; X—191.  
 Виктор Цоппи. Кельтский крест. VI—198.

#### ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

- Петрусь Бровка. Стихи. Публикация и перевод с белорусского Ивана Бурсова VIII—171.  
 Павел Вежинов. Радости и муки. Перевела с болгарского Л. Дмитриева. IX—158.  
 Леонид Мартынов. Неопубликованные стихи. Публикация Г. А. Суховой-Мартыновой. Предисловие Сергея Залыгина. I—160.  
 «Работа с государственной ответственностью...». Из писем Константина Симонова. Публикация, предисловие и комментарии Л. Лазарева. XI—138.  
 Марина Цветаева. Флорентийские ночи. Публикация и предисловие А. Саакянц. Перевела с французского Р. Родина. VIII—155.  
 Мариэтта Шагинян. Уральский дневник (июль 1941 — июль 1943). Публикация и примечания Елены Шагинян. IV—122; V—160.

#### ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

- К. М. Азадовский. Достоевский глазами современников. По материалам дневников Ф. Ф. Филлера. VIII—213.  
 С. В. Белов. Вокруг Достоевского. Предисловие С. Д. Лихачева. I—192.  
 Петр Мирошниченко. Десять огненных дней. Публикация А. Шинделя. V—212.  
 Обратить в пользу для потомков... Публикация, предисловие и примечания Михаила Маковеева. VIII—195; IX—218.  
 Р. Романова. «Я ступал в тот след горячий...». К 75-летию со дня рождения А. Т. Твардовского. Публикация писем М. Г. Плещачевского. VI—219.  
 Н. Эйдельман. Секретная аудиенция. XII—190.

#### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- Сергей Абрамов. Война и журнал. О страницах «Нового мира» сорокалетней давности. I—225.  
 Л. Авьянский. Прижизненные и посмертные приключения немецкого механика Гуго Пекторалиса в России. Из истории лесковских текстов. VIII—236.  
 А. Бочаров. По строгому счету. VII—215.

**Игорь Дедков.** Наше живое время. III—217.—Вертикали Юрия Трифонова. VIII—220.

**А. Зверев.** Дворец на острие иглы. Динамика романа в мировой литературе. IX—237.

**Сергей Земляной.** Действенность принципа партийности. XI—243.

**В. Камянов.** В строке и за строкой. К 125-летию со дня рождения А. П. Чехова. II—237.

**Валентин Катаев.** Обоюдный старичок. VII—235.

**И. Кацев, Б. Хессин.** В литературе и на экране. О телевизионном кино. XII—218.

**И. Козлов.** Читаю книги о границе... Записки критика. IV—222.

**Владен Котовсков.** Шолоховская строка. К 80-летию со дня рождения М. А. Шолохова. V—229.

**Феликс Кузнецов.** Обостренность гражданской совести. Размышляя над публицистической Федора Абрамова. VI—229.

**Юрий Лотман.** Биография — живое лицо. II—228.

**Ирина Луначарская.** А. В. Луначарский — редактор и автор «Нового мира». I—234.

**Алла Марченко.** Обещает встречу впереди. X—229.

**Игорь Мотышов.** На школьную тему. IX—254.

**Николай Потапов.** Портрет сражающегося народа. V—236.

**Е. Старикова.** Ищущая душа. Заметки при чтении повести В. Распутина «Пожар». XII—232.

**М. Храпченко.** Метаморфозы критического субъективизма. XI—225.

**Ольга Чайковская.** Из двух источников. IV—228.

#### *Актуальный вопрос*

**Л. Беловинский.** Культура слова. VIII—224.

**Михаил Беляев.** Родники бьют из глубин. XII—237.

**Александр Носов.** Комментарии нелишни. VI—249.

**Иван Панкеев.** Как в кино говорят. X—242.

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

#### *Литература и искусство*

**В. Адмони.** Роман испытания (Борис Виан. Пена дней. Роман. Новеллы). II—257.

**Н. Анастасьев.** Impregno критика (Ц. Кин. Алхимия и реальность. Борьба идей в современной итальянской культуре). IV—257

**Ав. Афанасьев.** От простого к сложному (Николай Самвелян. Счастливчик Пенкин Повести рассказы). XI—258.

**Владимир Бондаренко.** Искушение (Александр Проханов. Горящие сады. Романы. Александр Проханов. И вот приходит ветер. Роман). VI—252.

**А. Бочаров.** Внутренний свет (Евгений Воробьев. Избранные произведения в двух томах). I—243.

**Василь Быков.** Талант ученого — талант художника (Тыняновский сборник. Первые Тыняновские чтения) I—248.

**Я. Варшавский.** Портрет слова (Ст. Расадин. Испытание зрелищем. Поэзия и телевидение). IV—252.

**А. Василевский.** Залог долговечности (Воспоминания об И. С. Соколове-Микитове. Творчество И. С. Соколова-Микитова). X—256.

**Игорь Волгин.** «Только дух скрепляет мирозданье...» (Евгений Винокуров. Собрание сочинений в трех томах. Евгений Винокуров. Ипостась. Стихи). X—246.

**Аркадий Гаврилов.** Три портрета времени (Владимир Амлинский. Ожидание. Романы). XII—244.

**Г. Громан.** В русле большой традиции (Н. Заболоцкий. Собрание сочинений в трех томах. И. И. Ростовцева. Николай Заболоцкий. Опыт художественного познания). IX—266.

**В. Днепров.** Симонов: личность, писатель (Константин Симонов в воспоминаниях современников). XI—255.

**Татьяна Иванова.** Романтика рабочих строек (Гарий Немченко. Возвращение души. Роман, повесть. Гарий Немченко. Избранное. Повести, рассказы). VIII—248.

**В. Кантор.** Люди, книги и лабиринты Хорхе Луиса Борхеса (Хорхе Луис Борхес. Проза разных лет. Хорхе Луис Борхес. Юг. Рассказы). XII—252.

**В. Кардин.** Неисчерпаемо, невосполнимо (Владимир Тендряков. День, вытеснивший жизнь. Константин Симонов. Софья Леонидовна). IX—262.

**Константин Кедров.** Столетний Хлебников (Велимир Хлебников. Ладомир. Поэмы, стихотворения). XI—249.

**А. Лебедев.** Движение души (Янка Брыль. Поиски слова. Миниатюры и лирические записи). X—250.

**Григорий Левин.** Песня в строю (Николай Старшинов. Мое время. Стихи). IV—250.

**Андрей Мальгин.** Поэт переводит «Слово о полку Игореве» (Игорь Шкляревский. Избранное. Стихотворения и поэмы. Игорь Шкляревский. Слово о мире). VII—245

**Алла Марченко.** Поэты и портреты (Сергей Чупринин. Крупным планом. Поэзия наших дней: проблемы и характеристики. Сергей Чупринин. Рубеж. Взгляд на русскую поэзию конца 70-х — начала 80-х годов) III—251.

**Михаил Матусовский.** Песни с переднего края (Обоях-пожарищах. Фронтовой фольклор и малоизвестные песенные тексты из армейских многотиражных газет. Песни в боях за Украину. Песни Великой Отечественной войны). V—261.

**Левон Мкртчян.** Слово — как фляга (Михаил Дудин. Три круга. Книга новых стихотворений). V—258

**А. Николаевская.** Цвета, и вкус, и тоны бытия (Виражиния Вулф. Миссис Дэллоуэй Роман) VIII—258

**О. Новикова. Вл. Новиков.** В мире простых истин (В Каверин. Собрание сочинений в 8-ми томах В Каверин. Наука расставания Роман) III—242

**Александр Овчаренко.** Поведение итогов (Владимир Солоухин. Собрание сочинений в четырех томах Владимир Солоухин. Бедствие с голубями. Рассказы и очерки). VII—239.

**А. Пария.** Дар письма и вечных превращений (Ален Боске. Избранные стихотворения). X—261.

**И. Питгяр.** Достоинство человека. (Борис Екимов. Елка для матери. Рассказы. Борис Екимов. Холощино подворье. Рассказы и повесть. Борис Екимов. Рассказы). VIII—250.

**Григорий Резниченко.** Такие разные судьбы (Вильям Александров. Коснуться молнии. Роман. Рауль Мир-Хайдаров. Дамба. Повести и рассказы). VI—256.

**Н. Сибиряков.** Привлекательность теории (А. Я. Зись. Эстетика: идеология и методология). VII—249.

**Евгений Симонов.** Так любите театр... (М. М. Морозов. Театр Шекспира). X—258.

**Павел Сиркес.** Путь и итог (Константин Ваншенкин. Собрание сочинений в трех томах). VIII—254.

**Олег Смирнов.** «Писать историю — дело нелегкое...» (Александр Кривицкий. Собрание сочинений в трех томах). XII—240.

**Г. А. Соловьев.** Книга о Твардовском (Алексей Кондратович. «Ровесник любому поколению»). X—255.

**Светлана Соложенкина.** «...поэзия — это биография...» (Марк Лисянский. Избранные произведения в двух томах. Марк Лисянский. Сигнальный огонь. Новая книга стихотворений). III—247.

**Алекса́ндра Спаль.** Апрель сорок пятого и будущее (Александр Чаковский. Неоконченный портрет. Роман). IV—245.

**П. Топер.** День и вечность (Владимир Михайлов. В свой смертный час. Роман). V—255.

**М. Туровская.** Трудные пьесы (Л. Петрушевская. Три девушки в голубом. Виктор Славкин, Людмила Петрушевская. Пьесы). XII—247.

**В. Хмара.** О времени и о себе (Виталий Озеров. Современники и предшественники. Литературно-критические очерки). I—246.

**Д. Черняк.** Время диктует поэту (Владимир Соколов. Избранные произведения в 2-х томах. Владимир Соколов. Александровский сад. Поэма). II—254.

**Сергей Чупринин.** На ясный огонь (Булат Окуджава. Стихотворения). VI—258.

#### Политика и наука

**А. Галкин.** На полях дипломатических сражений (Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941—1945. Сборник документов в 6-ти томах). V—263.

**А. Гулыга.** В поисках объективности (Historisches Wörterbuch der Philosophie.— Исторический словарь философии). VI—262.

**Вик. Ерофеев.** Похвала здравому смыслу (Гилберт Кит Честертон. Писатели в газете. Художественная публицистика). XI—262.

**В. Казаков.** У истоков Вооруженных Сил. К 100-летию со дня рождения М. В. Фрунзе (М. В. Фрунзе. Избранные произведения). II—259.

**Михаил Кривич.** Не так страшен стресс... (Л. А. Китаев-Смык. Психология стресса. Ф. Е. Василюк. Психология переживания. Анализ преодоления критических ситуаций). VII—255.

**С. Кузнецова, Л. Фридман.** Три книги о Востоке (Восток: рубеж 80-х годов. Освободившиеся страны в современном мире. Развивающиеся страны: экономический рост и социальный прогресс. Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного). VII—251.

**И. Левин.** Слагаемые подвига (А. И. Шахурин. Крылья победы). XI—260.

**Наум Мар.** Неисчерпаемая тема (Д. Ортенберг. Июнь — декабрь сорок первого. Рассказ-хроника). IV—262.— Флотоводец, ученый, писатель (И. С. Исаков. Избранные труды). XII—258.

**С. Меринов.** Наше общее достояние (Знакомьтесь: опыт друзей). I—254.

**Владимир Николаев.** С верой в силу разума (Лев Толкунов. Главный урок). VIII—261.

**Ф. Новиков.** Пионеры советской архитектуры (С. О. Хан-Магомедов. Архитектор Константин Мельников. С. О. Хан-Магомедов. Александр Веснин. С. О. Хан-Магомедов. Николай Лядовский). III—256.

**Ю. Овсянников.** «Когда Россия молодая...» (Н. И. Павленко. Александр Данилович Меншиков. Н. И. Павленко. Птенцы гнезда Петрова). VII—258.

**В. Острогорский.** Амнистии не подлежат (Лев Безыменский. Разгаданные загадки третьего рейха. Книга не только о прошлом). III—254.— Репортажи с передеванием (Герхард Кромшрёдер. За фасадом: журналист в роли нациста, «рокера», вора в универсаме, набожного католика. Западногерманские репортажи). XII—256.

**А. Разгов.** Главный рубеж революции (А. Я. Грунт, В. И. Старцев. Петроград — Москва. Июль — ноябрь 1917). XI—261.

**Владимир Ситников.** «Парадоксы» хозяйствования (Геннадий Лисичкин. Тернистый путь к изобилию. Очерки). II—262.

**Ю. Шаранов.** На пути к сближению (В. И. Ленин, КПСС о борьбе с национализмом. Документы и материалы). IV—260.

**Г. Шахназаров.** Всего дороже (А. А. Громыко. Ленинским курсом мира. Избранные речи и статьи). I—249.

**Леонид Шинкарев.** «Я бы аннексировал планету...» (Аполлон Давидсон. Сесиль Родс и его время). X—263.

**С. Яковлев.** «Посвяти пламень свой правде» (Петербург в русском очерке XIX века). VIII—263.

#### КОРОТКО О КНИГАХ

**В. Суслов.** — Инесса Буркова. «Я — должен!». Повесть о Николае Бирюкове. Татьяна Бек. Кавказские. Литературный сборник. Г. Петрова. — Вацлав Михальский. Тайные милости. Романы. Е. Полякова. — Т. И. Бачелис. Шекспир и Крэг. Петр

Черкасов.— Э. А. Арсеньев. Франция под знаком перемен. Очерки о классовой борьбе в современной Франции. М. Буянов.— В. М. Блейхер. Эпонимические термины в психиатрии, психотерапии и медицинской психологии. Словарь. В. Бабушкин.— Ю. К. Мельвиль. Пути буржуазной философии XX века. I—257.

А. Филимонов.— Николай Полотай. Черноморская Мадонна. Севастопольские новеллы. Андрей Василевский.— С. Шервинский. Стихи разных лет. Н. Чегодарь.— А. И. Мамонов. Пушкин в Японии. Эдгар Чепоров.— Борис Асоян. «Дикie гуси» убивают на рассвете. И. Кондаков.— В. Ф. Асмус. Историко-философские этюды. Константин Кедров.— Д. С. Лихачев, А. М. Панченко, Н. В. Поньрко. Смех в Древней Руси. II—267.

И. Завьялова.— А. Егоров. Мы — танкисты. Ю. Шишенков. Был отец рядовым. А. Л. Михайлов.— Григор Маргарян. Поэмы. Владимир Осинин.— Антонина Баева. Тобол — степная река. Стихи. Антонина Баева. Голосники России. Стихотворения и поэмы. Игорь Михайлов.— Виктор Мануйлов. Стихи разных лет. 1921—1983. М. Злобина.— Современная китайская проза. Владимир Лесовой.— Бэгзийн Явуухулан. Полдень. Стихи. Бэгзийн Явуухулан. Стихи. Б. Явуухулан. Где я родился. Стихи. А. Курбатов.— Яков Гордин. Три войны Бенито Хуареса. Повесть о выдающемся мексиканском революционере. Н. Макарова.— Первопроходцы. Сборник. С. Станкевич.— В. О. Печатнов. Гамильтон и Джефферсон. Наталья Василькова.— Александр Линков. Все краски экрана. Владимир Яковлев. Фундаментальная структура материи. III—264.

А. Еремин.— Лариса Васильева. Книга об Отце. Роман-воспоминание. А. Дегтярев.— П. А. Жилин. Михаил Илларионович Кутузов. Жизнь и полководческая деятельность. В. Казаков.— Владимир Клипель. Солдаты Отечества. Г. Койранская.— Алла Ахундова. Выражение лица. Пять повестей. Ю. Трифонов.— Александр Ливанов. Солнце на полдень. Лирическая повесть. В. К. Ерофеев.— Поэзия Плеяды. Е. Борисова.— Образ человека и индивидуальность художника в западном искусстве XX века. Михаил Буянов.— Синтаро Накамура. Японцы и русские. Из истории контактов. С. Яковлев.— Пауль Вернер Ланге. Великий скиталец. Жизнь Христофора Колумба. IV—264.

Александр Борщаговский.— Константин Колесов. Самоходка номер 120. Повесть. Ксения Бродер.— Михаил Шевченко. Только бы одну весну. Повести, рассказы, стихи. Валентин Тарас.— Александр Дракохруст. Сквозное ранение. Новая книга стихов. Герман Ризаев.— Виталий Воловик. Обязаны выстоять. Повесть. Б. В. Ефимов.— Плакаты огненных лет. V—267.

Вл. Сайтанов.— Друзья Пушкина. Переписка. Воспоминания. Дневники. В 2-х томах. Ю. Коваль.— Виктор Крючков. Барабан бьет тревогу. Леонид Быков.— Феликс Чуев. Избранное. Стихи. В. Оскоцки.— В. Косолапов. Летопись мужества (Историко-революционная и военно-

патриотическая тема в советской литературе). Сборник статей. Петр Черкасов.— Виктор Александров. Мафия СС. Ю. Лукасик.— Эрве Базен. Сталивицы с острова Отчаяния. Роман. Р. Баландин.— Мир географии. География и географы. Природная среда. VI—266.

Е. Савицкий.— Станислав Грибанов. Тайна одной инверсии. Документальный триптих и рассказы. Юрий Болдырев.— Лилия Волхонская. Куда улети ласточки? Повесть. Андрей Арьев.— Сергей Тхоржевский. Портреты пером. Исторические повести. М. Кораллов.— Н. А. Дурова. Избранное. Х. Хапсировков.— Алим Кешоков. Огонь для ваших очагов. Стихи. Владимир Дагуров.— Николай Зиновьев. Бродячее дерево. Стихи. Уран Гуралини к.— С. Макашин. Салтыков-Щедрин. Середина пути. 1860-е—1870-е годы. Биография. Ю. Манн.— А. Мацкин. На темы Гоголя. Театральные очерки. С. Островский.— Н. Зоркая. Алексей Попов. Л. Юрьева.— Т. Мотылева. Анна Зегерс. Личность и творчество. М. Каменская.— Георгий Губанов. Третий цвет радуги. Донская нива: грани обновления. А. Алексеев.— Х.-Э. Гросс, К.-П. Вольф. Че: «Мои мечты не знают границ». В. Полещук.— Олег Мороз. Жажда истины. Книга об Эренфесте. А. Йоирыш.— А. М. Петросьянц. Атомная энергия в науке и промышленности. VII—261.

Владимир Шлёнский.— Во имя жизни. Зарубежные поэты о мире. В. Сурганов.— Марианна Яблонская. Фокусы. Рассказы. Эдуард Пронилов.— Вячеслав Левыкин. Вечерние тени. Стихи. Вячеслав Левыкин. Воздушный поток. Стихотворения и поэма. Е. Луцкая.— Наталия Сац. Новеллы моей жизни. А. Курбатов.— Геннадий Расильев. Америка меняющаяся и неизменная. А. Валентинов.— М. Беккерт. Железо. Факты и легенды. VIII—267.

А. Аванесов.— Музы вели в бой. Деятели литературы и искусства в годы Великой Отечественной войны. Сергей Чупринин.— Людмила Копылова. Счастливая полоса. Стихи. М. Вольпе.— Н. М. Карамзин. Сочинения в двух томах. IX—270.

Н. Ткачук.— Борис Олейник. В зеркале слова. Стихотворения. Поэмы. Лев Разгон.— В. Поруадоминский. Друг бесценный, или Восемь дней на пути в Сибирь. Повесть про декабриста Ивана Пущина. Т. Мотылева.— Л. Зонина. Тропы времени. Заметки об исканиях французских романистов (60—70 гг.). Д. М. Брудный.— А. Закушняк. Вечера рассказа. И. Беловус.— Александр Шмаков. Азиат. Документальная повесть. В. Френкель.— В. Крайнин, З. Крайнина. Человек не слышит. А. В. Ушаков.— А. А. Формозов. Историк Москвы И. Е. Забелин. X—266.

Ксения Бродер.— Евгений Ратнер. Вверх по крутой лестнице. Роман. Александра Спаль.— Владимир Рынкевич. Пальмовые листья. Повести и рассказы. Марк Лисянский.— Владимир Адмони. Из долготы дней. Стихотворения. 1925—1983. Наталия Булгакова.— Прекрасная Дама. Из средневековой лирики. С. Овчинникова.— Игорь Попов. Почему «город» пал? Страницы истории

американского радиотеатра. В. Иванова.—А. Баталов. Судьба и ремесло. А. Ирин.—Иствуд Атватер. Я Вас слушаю... (Советы руководителю, как правильно слушать собеседника). А. Белорусец.—Герман Хафнер. Выдающиеся портреты античности. 337 портретов в слове и образе. Ю. Дмитриевский.—Э. М. Мурзаев. Словарь народных географических терминов. В. Станцо.—В. Штрубе. Пути развития химии. В двух томах. XI—265.

Борис Багаряцкий.—Галина Серебрякова. Юность Маркса. Роман. Г. Петрова.—Николай Никонов. Глагол несовершенного вида. Повести. М. Вашкевич.—

В. В. Кунин. Библиофилы и библиоманы. Елена Алексеева.—И. Фоняков. Сергей Марков. Р. Дияжева. С. Н. Марков. Очерк творчества. В. Казаков.—На баррикадах. Воспоминания участников революции 1905—1907 гг. в Петербурге. А. Андреев.—П. С. Грацианский. Политическая и правовая мысль России второй половины XVIII в. XII—261.

Благодарность редколлегии. V—271.

Из редакционной почты. II—265; III—259.

Летопись «Нового мира» продолжается. I—263.

Книжные новинки: I—XI—272; XII—266.



Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции: 103803 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 24.09.85 г. Подписано к печати 30.10.85 г. А 10461.  
Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Высокая печать Объем 17 п. л. (23,8 усл. печ. л.)  
27,05 уч.-изд. л.

Тираж 422.000 экз. (1-й завод 1—200 000 экз.). Зак 3591.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
103798 Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.



Цена 1 р. 20 к.

70636